

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

11-12 (423)

2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ
Михаил Матвеев. «Картинка с выставки» *и др.* 3

ПРОЗА
Сергей Шикера. Стень. *Роман. Окончание* 8

ПОЭЗИЯ
Михаил Окунь. «...И вот вознеслись до восторгов, до звёзд...» *и др.* 105
Василий Чепелев. «Вы жили в городе цвета замёрзших бутылок...» *и др.* 107

ПРОЗА
Оксана Ефремова. Забракованный патриот. *Рассказ* 110

ПОЭЗИЯ
Фаина Гримберг. Простое повторное стихотворение 132
Виталий Зимаков. «я не то что устал за лето...» *и др.* 138
Андрей Пермяков. Стихи для Лены Горшковой 141

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ
Евгений Сидоров. «В Медведково будет дождь...» *и др.* 145
Илья Иослович. «Граф Потоцкий к себе возвратился домой...» *и др.* 147
Елена Горшкова. «...выхожу из ванной, не сплю второй день...» *и др.* 148
Халид Мамедов. «Меня не вернуть и не выдумать снова...» *и др.* 150

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Вячеслав Лопатин. Саратовская школа. Эволюция. Контекст. XIX-XXI века. 152

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Игорь Савельев. «Большой взрыв» в большом городе 273
Анна Голубкова. Встреча на ином берегу 276
Сергей Трунев. Тайная метафизика скупого жеста 279
Андрей Пермяков. Облака московского метро 280
Олег Рогов. Маленький двойной без сахара 282
Виктор Селезнев. «Привязанность к истине соответствует...» 283

КИНООБОЗРЕНИЕ
Иван Козлов. Бесславный ублюдок Джонни Д. в разомкнутых объятиях 286

© «Волга», 2009

Михаил МАТВЕЕВ

Картинка с выставки

Старушка у мадонны Бенуа,
Старушка в инвалидном дремлет кресле,
Ей хочется сказать, конечно, если
Она француженка,
«madame» и «bon soir».

Но нет, никак – старушка под опекой
Заботливых попутчиц и возниц,
Владелиц перевозбужденных лиц,
Но бдящих за картиной и калекой.

Старушка спит, закончив долгий путь,
У полотна работы Леонардо.
Казалось бы, ну, два квадратных ярда.
Так стоит ли проснуться и взглянуть?

А может не лишать старушку шанса,
Нарушить все же благостный покой
Ее попутчицам? Я думаю, на кой
Старушке той шедевры Ренессанса.

Имеет разве большее значенье
Еще один увиденный шедевр,
Чем мерное движенье слабых плевр?
А что потом? Потом одно – забвенье.

Но вдруг в паркете все-таки изъян,
И вздрогнет в кресле старческое тельце,
И бросит все же на Франческо Мельци
Старушка взгляд. А рядом – Тициан!

Дождь. Последовательность.

Дождь рухнул вдруг, плеснув под козырек.
Одна, 2, 3, 5, 8 – не иначе –
13 капель! – числа Фибоначчи?...
Под козырьком, а все-таки промок.

Михаил МАТВЕЕВ родился в 1958 году в городе Рыбинске. В 1980 году закончил математико-механический факультет ЛГУ. Живет в С.-Петербурге. IT-специалист. Как переводчик (стихи Л. Кэрролла, Т. Гуда) публиковался в журналах «Детская литература», «Кукумбер», «Семья и школа». В 2008 году в издательстве «ТриМаг» в его переводе вышла книга Льюиса Кэрролла «Фантасмагория и другие стихотворения».

На каждый см² кап!...
21, теперь – 34,
а дальше – больше: больше, чаще, шире...
Закономерность – а иначе как б
я смог исчислить. Тут же – пятьдесят
пять капель, тотчас – 89,
и 144 ровно. Мне ведь
заняться нечем. Льет. На первый взгляд
так быть не может. 233.
Не только капли, но и пузыри.

Август, 2005

Озеро Гарда. Предположения.

Как в Плещеевом, плещемся в озере Гарда:
Входим в воду, стопой попирая базальты,
Те, что встарь попирала стопа лангобарда,
Те, что солнцем (частично) и озером залиты.

Не базальты (возможно), но все-таки в иле –
Трудновато дается такое попранье:
Можно просто сползти (по возможности) или
Каждый шаг свой отмерить изысканной бранью.

Может статься, во время неспешных прогулок
Брань отборной латынью смягчиться могла бы,
Если б только дошли мы до грота Катулла,
Где слагал Гай Валерий гендекасиллабы

(Или проще – фалекии). Вдаль, вглубь и вширь мы
Присмотрелись; вгляделись в со времени она
Здесь прилепленный город, по-древнему – Сирмий,
А сейчас именуемый так – Сирмионе.

Присмотревшись, взглянув, обойдясь без латыни,
Мы попрали (примерно) три илистых ярда
И на фоне разросшихся (видимо) пиний,
Как в Плещеево, канули в озеро Гарда.

Сентябрь, 2005

* * *

Я убиваю время – я убийца –
Безжалостно по мигам, по минутам,
Безделием, как лезвием, как спицей,
Терзаю плоть..., потворствуя кому-то?

Кому? Чему? Своей кромешной лени
Потворствуя?.. творя и претворяя
Безвременье истерзанных мгновений,
Что расточил намеренно и зря я.

Слоняясь – чашка кафе – чашка чая –
Сев на диван – потрогав телевизор –
Бессмысленно, бесцельно – расточая –
Скучая – не вспылив – не бросив вызов.

Счет ран и дат уныл и посекунден,
Нетороплив... как время терпеливо
Хватается упрямо за герундий
И не дает достичь инфинитива.

Май, 2005

О дружбе

У меня есть друг. Друга зовут НинСанна.
Она весьма многогранна.
Она тетка моего друга, а тетка моего друга – мой друг. Буду в формулировках четок –
Эта максима верна на множестве, состоящем из одной НинСанны, и не верна
на множестве всех прочих теток.
Мы знакомы с моего рождения,
Вернее будет сказать – она знакома со мной. Все-таки. Тем не менее.
(Тетка – это такой английский литературный персонаж,
Кочующий аж,
Не знаю, с какого века, из книги в книгу, порождение английской ментальности –
слово плохое! – склада ума,
Что, конечно же – ведь она преподавала английский – знает НинСанна сама).

НинСанна человек весьма сложный, чтоб
Не сказать, что она мизантроп.
Она может без малейшей тени сомнения, раздражения, гнева или досады,
Произнести свою любимейшую сентенцию: «Все гады!»
С усмешкой. С удивлением. Как можно в этом усомниться. Здесь ничего личного!
«НинСанна, неужто все?» – «Уууууу...Все!» Скажет, не теряя
расположения духа отличного.
А какой-нибудь очевидный вывод сделает с такой интонацией, что будет похоже на
Превосходную негативную степень. «Роса – мокрая», «Кофе – черный», а «мороженое –
Холодное». И ведь все будет сказано с таким ярко выраженным окрасом,
Что по сопровождающим высказывания гримасам
Станет ясно, что роса – наимокрейшая
Мерзейшая,
Мороженое холодное –
В пищу совсем не годное,
А кофе черный, но как-то слишком черен.
Как будто именно здесь кроется зла вселенского корень.

НинСанна безусловно пессимист, но все-таки чуть-чуть играя, нарочито, невсерьез.
Курьез?
Вовсе нет, просто она жизнь свою и окружающую во всех ее проявлениях приемлет
Предпоследние семьдесят пять и последние семь лет.
В голову не придет назвать ее бабушкой, она по-прежнему тетя Нина.
Она любит сладкие (превосходные степени помните?) крымские вина.
НинСанна не любит современную литературу, (любит классику), а вот злободневную
беллетризированную квазипублицистику
Зачитает до дыр, от корки до корки, разберет по листику.

Я, бывает, приношу НинСанне, скажем, коньяк,
И мы беседуем о том, о сем или просто так.
Когда беседа тянется эдак уже с полчасика,
Я привожу решающее утверждение: «НинСанна, Сэлинджер – это классика!»
«Какая же это классика?». Таково возражение. «А, по-вашему, что же, классика – это
ругательство?»
«Для вас – конечно!» Говорится так, что не требует доказательства.
Есть скрытый парадокс в таком диалоге.
Попробуем быть в рассуждениях строги.
Классика – это плохо. Пусть так
Тогда получается, что я Сэлинджера ругаю, а НинСанна хвалит. Ну да ладно! Но этот
пустяк
Будет тревожить теперь меня.
Требуется уточнение значения термина.
Простите, я, кажется, отвлекся
На обнаружение пустячного парадокса.
Что имеем в сухом остатке? Каково же сальдо?
Мы оба любим Бердслея и Уайльда.
Правда, Бердслея она любит стыдливо, как будто она читательница «Ледиз будуар»,
то есть, леди, а
Я – во всем хулиганском многообразии его наследия.
Альбом Бердслея, подаренный мной, тщательно отцензурован
Так что он теперь не таков, на самом деле каков он.
У меня такое подозрение, что больше всего
НинСанна любит тление, декаданс, модерн и ар нуво.

Вряд ли я раскрыл все нинсаннины грани.
Но у нее наверняка отыщется повод поговорить о каком-нибудь изъяне
В моем стихотворении. А как же иначе? А может быть раскритикует все подряд.
Но я все же льщу себя надеждой, что я либо не все, либо не гад.

Декабрь, 2004

О дряни

Теперь
поговорим
о дряни...

В. Маяковский

Хочется, знаете ли, иногда быть мусорщиком, презрев
Собственную брезгливость, а также разумного, доброго, вечного самозабвенный
посев;
Вставать ни свет, ни заря, в чудовищную рань
И, наоборот, не сеять, а убирать всякую нечисть и всяческую дрянь,
Нанизывать с наслаждением на длинную палку с насаженным на нее
наконечником: гвоздем, иглой или спицей, –
То, что уже никому не сможет пригодиться;
Складывать нанизанные отходы в черный блестящий пластиковый мешок;
Шок? –
...но слышать пробуждение птиц, утреннее потрескивание льда или досадный
нападавших за ночь прелых листьев шелест; –
Прелесть!
Махать метлой, собирая в кучи податливый мусор – жеваные бумажки и ветошь,
И рассудив, – дескать, нет уж,
Пора и передохнуть в чадном дыму зажженного костра, утилизирующего
собранный за день хлам,
А там,
Глядишь, глядя на растекающийся в огне кусок полиэтилена,
Спокойно поразмышлять о том, что все тленно,
Смирясь
С тем, что вокруг – все та же грязь;

Не зарекаться от сумы,
Устав и отстав от того, что тревожит умы;

(Круг общения? С бродячими псами
В ближайшей, как она называется, выгребной яме
И с оглашающими утренний воздух
Воронятами в вороньих гнездах).

Не чувствовать себя носителем миссии
По освобождению человечества от отходов его деятельности, как ни возвысь ее.
А ведь появится искушение возомнить себя Холденом Колфилдом, эдаким
скромным трудягой – ловцом человеков во ржи.
Не блажи.
Все равно
Каждый вступит туда, куда ему предопределено.

Сергей ШИКЕРА

Стень

Роман

(Окончание. Начало см.: «Волга». 2009. №9-10)

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I. Людвиг

После жизни с матерью и Леной (а точнее, между матерью и Леной) такое бестревожное существование (пусть и в крохотной комнатке, пусть и в большой коммуне) казалось Тимницыну раем. Да-да: ра-ем. Приходила ночевать Лидия; встречались и днем. О будущем теперь не думалось, а если и случалось, мысли о нем и виды на него, как в уютнейшем футляре, располагались в узком темном с давно не крашенными полами коридоре, которого самый воздух был ласков и постоянен. Некоторое время, полтора-два месяца, существовал и еще один повод для благодушия: полное отсутствие общения с соседями: редкие встречи в кухне и коридоре, молчаливые уступания дороги, короткие кивки. Будь на то его воля, Тимницын так бы длил и длил эти отношения, хоть всю жизнь, однако первая же маленькая стычка с соседкой – тощей старухой, с унылым, легко переходящим в раздражительное-злое-агрессивное лицом – из-за не убранной на ночь посуды, якобы привлекающей со всех этажей тараканов, первая же эта стычка прорвала неподвижное пространство, отделявшее Тимницына от остальных жильцов, и спустя неделю он уже всех знал по именам-отчествам, отвечал на вопросы, вступал в беседы, ну и т. д.. Сладкое оцепенение первых недель улетучилось, не оставив и воспоминаний. Вторая перепалка с той же соседкой упрочила его новое положение, поставила Тимницына в один ряд с другими оппонентами старухи (а вот ее фамилию он запомнить никак не мог; вместо фамилии в памяти сквозила какая-то черная дыра). Очевидно: для стосковавшейся старухи Тимницын был нов и интересен. И посыпались перепалки, перебранки, скандальчики, скандалы... От первой реплики до криков и страшных проклятий умещалось порой не больше минуты, меньше. С намерением брошенное слово с тошнотворной быстротой выбрасывало корни, побеги, ветви, листья, и вот уже скрипело, шумело, выло: «Старая стерва! Идиотка! Что вы хотите от меня?!» – «Подонок! А ну, убирайся отсюда! Негодяй! Мерзавец! Вон! вон! вон!!!»

У себя в комнате, перебирая причины, обстоятельства, детали отшумевшего, Тимницын всякий раз с беспокойным удивлением отмечал: первое – старуха его определенно провоцирует; второе – затеяв скандал и как бы опасаясь, что Тимницын на середине сорвется и отступит, доводит его, с усмешечкой подбрасывая в топку дровишки, до той грани, когда он, не выплеснув все до последней капли, остановиться уже не может; сама же Черная Дыра у этой грани смолкает и уже до последнего тимницынского выкрика не произносит ни звука, так и стоит где-нибудь возле холодильника или умывальника, повернувшись спиной. И третье («она к тебе неравнодушна», – сказала как-то Лида, нагишом сидя на постели, опустив в таз целомудренно склоненные набок ноги), и третье – неприятные странности, которые Тимницын замечал за собой: заслышав или почувствовав, что старуха в кухне, тут же изобретал себе повод (иногда, впрочем, не удосуживался) туда пойти; и еще, главное: Тимницын получал от этих скандалов некое удовлетворение. И еще вот это, последнее: как бы ни было это отвратительно, однако Тимницын не скрыл от себя, что ощущение после скандала очень похоже на то, что он чувствует после близости с Лидией...

Сергей ШИКЕРА родился в 1957 году. С 1978 живет в Одессе.

Тьфу! – плевался Тимницын, какая мерзость, и давал себе слово: больше ни-ког-да-и-ни-за-что... Однако, откликался, вступал, ввязывался, орал, и так до того самого вечера, когда, брызгая слюной, он с воплем подскочил к умывальнику возле которого стояла Черная Дыра, и крепко, с расчетом причинить боль, схватив за локоть, рывком развернул ее к себе... Гримаса сладострастия, заострившая старушечье личико, как смерть, так напугала его, что, простояв в оцепенении несколько секунд, он опрометью бросился к себе и в тот день уже не выходил.

Крепко-накрепко положив себе со старухой больше не встречаться, он стал выбираться в кухню ближе к ночи, когда та наверняка уже спала, и это удавалось ему с месяц до того дня, когда он вернулся с ночной смены простуженный и разбитый. Раздевшись, он повалился в постель под свинцовое неподъемное одеяло, у которого тотчас начали расти, впиваясь в горячее тело, подернутые шелковистой шерстью шипы. Когда он от жажды проснулся, было уже темно. Тесно заставленное громоздкой тьмой пространство с неожиданной легкостью раздвигалось, шарахалось, отскакивало от него в разные стороны, как от чумного. Тимницын натянул брюки и отправился в кухню по нескончаемому коридору, то и дело чокаясь о стену пустой кружкой.

«Идите сюда, – услышал на обратном пути шелестящий голос, – сюда, пожалуйста, входите...» Дверь была приоткрыта. На запястье той руки, в которой Тимницын держал клонившуюся то в одну, то в другую сторону наполненную кружку, легла чья-то ладонь. Испытывая слезную благодарность к неведомому помощнику, Тимницын поднял глаза и увидел перед собой лицо Черной Дыры. Она пригласительно кивала. Зазывала. Убежденный в том, что его подозвали только затем, чтобы помочь удержать кружку, он никак не мог связать воедино руку на своем запястье с лицом старухи. Рука, между тем, тянула его, затягивала в проем. Где-то далеко-далеко, в другом конце комнаты, может быть даже в конце какой-то другой комнаты, горела настольная лампа. Споткнувшись о тонкую пружинящую ножку подставки, на которой стояла деревянная кадка с фикусом, Тимницын грудью припал к растению, тем самым и его и себя спасая от падения. «Вот, поглядите, – вполголоса говорила старуха, – это наш сын, наш с вами сынок, с вами наш...» На кровати, застеленной нежно-розовым покрывалом, отражаясь во всех четырех ее никелированных шарах, лежал не менее розовый, распеленутый младенец.

«Оставьте меня, ради Бога, оставьте», – взмолился Тимницын, вспоминая как когда-то вода из опрокинувшейся кружки мощно лилась ему на ногу...

Младенец жил своей новорожденной жизнью: неожиданно и резко дергал то ногой, то рукой, после чего они медленно, как будто нехотя возвращались в исходное положение; младенец вращал глазами; двигались уши... и Тимницын, превозмогая температурную одурь, вдруг понял, что младенец растет: ну, конечно, ну вот же рука опять дрогнула и вытянулась, и кажется, ну да, пополнела; зашевелились, словно осваиваясь в натянутой перчатке, растущие пальцы. Тимницын развернулся.

«Постой, миленький ты мой, постой-ка, – говорила вслед старуха, – его ведь назвать как-то надо, ведь не чужой же ты ему, а?.. сам же по ночам приходил, под дверью, как собачка, скребся...»

Тимницын шел к выходу мимо стола. Стол был бесконечен; вдоль него тянулся нескончаемый ряд стульев, и через каждые три-четыре стула ему встречались соседки Черные Дыры, ласково просившие: «Ну, хочешь – Боренькой или Альбертиком, а?..»

Тимницын расплакался. «Оставьте меня, оставьте, оставьте...» Как-то незаметно вокруг стемнело, стихло, и, мягко спотыкаясь на войлочных стыках, потянулись составы темно-зеленых снов сквозь шерстистые удушливые пространства: мимо наших, мимо ваших, мимо башен, шахт и пашен...

«Людвиг!» – «Как вы сказали?..» – «Людвиг! Прекрасное имя, не правда ли? Прекрасное, прекрасное!.. и весьма соответствует. Есть в нем нечто такое, я не побоюсь этого слова: царственное, нет не барственное, а именно царственное, да, да!.. А вы вот все спите, так ведь можно все на свете проспать! – укоризненно восклицал ближайший сосед Тимницына (Сеня-старшина что ли?..), – я понимаю, вам нездоровится, но надо пересилить себя, и потом, вы сами увидите,

он излучает столько энергии, что мне кажется даже мертвый поднимется, окажись рядом с ним. А какая поразительная внешность, это точеное благородное лицо, осанка! – Сосед застонал.– А эта пара роскошных перепончатых крыльев за спиной, позволяющих ему со скоростью ветра перемещаться из одной точки в другую – чистый бархат! чистый бархат!.. Да что я вам буду описывать – слова бессильны! Выходите. Только приведите себя в порядок. И вы сами увидите. Да и нехорошо, неразумно в такую счастливую, долгожданную для всех нас минуту отсиживаться у себя, – сосед медленно пятился к двери, – это может быть истолковано как, – одергивал пиджак, поправил очки (Жижин что ли?..), – как... как..., – глянул попеременно на подошвы, – как... ну, вы сами понимаете... не надо быть легкомысленным... это, наконец, просто эстетическое наслаждение смотреть на него, следить за сложнейшими фигурами, которые он выделывает над нами! Торопитесь!» – затворил за собой дверь.

Тимницын глянул на часы, было одиннадцать, где-то било одиннадцать; должна была прийти Лидия. Выходить не хотелось. Он помочился в таз, задвинул его под кровать, подошел к двери, прислушался: аплодисменты, возможно просто лилась где-то вода; кажется, щелкнула входная дверь, чуть приотворил свою, самую малость, чтобы – но: стремительное напористое движение воздуха откуда-то сверху и слева – в лицо – справа, крупный треск невидимых крыльев над головой, и в углу, в конце коридора, возле входной двери что-то затрепетало, забилось, шумно завозилось с гортанными звуками и просьбами о помощи вперемешку и, высвобождаясь из перепончатой тьмы, мелькало обнаженное женское тело: ноги, вывернутый торс, рука... и вновь со стонами, с грохотом падения, со сладострастным повизгиванием покрылось тьмой. Тимницын закрыл дверь.

В дневнике записал: «Где же Лидия. Наверное, передумала. Сегодня не придет». До двенадцати бродил по комнате, выпил анальгин, съел треть батона. В дневнике записал: «Двенадцать часов». В два часа, почесывая бороду, записал: «Два часа. Что-то почки пошаливают. Выходить сегодня не буду. Может быть еще придет Лидия?»

Занялся перестановкой мебели. Увлеченно передвигал до тех пор, пока не почувствовал боль в пояснице. Шифоньер так и остался стоять посреди комнаты. Отметил это в дневнике. Для хождения по периметру вместо палки приспособил ручку от швабры. Проходя в очередной раз мимо зеркала, отметил стремительное наступление лысины.

«Который час? – спросил у заглянувшей к нему соседки, она принесла яблоки. – У меня часы стоят». – «Около пяти». – «А как там?» – «Что?» – «Ну, вообще», – помолчал, наконец решился, «Людвиг, например...» – «Людвиг?» – переспросила, тоненько срезая кожуру. – «Да». – «Ну как может быть Людвиг? Как обычно». – «А как, обычно?» – «Не понимаю, что ты имеешь в виду, – сказала, забираясь к нему под одеяло. – Имеет место быть. Или происходит. Как еще можно сказать об атмосферном явлении?» – «Ах, вот оно что!» – он долго и упорно пытался, но понял, что бессилен, пуст. «А! Ну тебя!..» – раздраженно сказала она, поднялась, взяла платье. «Атмосферное явление... А что он делает, оно делает?» – «Выйди и посмотри». – «Гром гремит, дождь льет, снег падает или идет, – задумчиво перебирал он, – жара стоит, мороз тоже стоит... и туман стоит... Может быть, Людвиг – стоит?» – «Все стоит! – злобно ответила она, – кроме...» Он не дал ей договорить, схватил за руку. «Расскажи, пожалуйста, ну, пожалуйста, как это выглядит!..» Она оттолкнула его. «Выйди и посмотри! Чучело...» – «Тебе что, жалко?..» Он едва не плакал. «Ты же видишь: я стар, беспомощен... я с трудом поднимаюсь...» – «Вижу, вижу», – сказала она и что было силы хлопнула за собой дверью.

Илья проснулся.

II. Теренц(т)ий Плуг

Илья проснулся. Вывернутая кисть правой руки покоилась на неопрятной кипе машинописных страниц с сочинениями Теренция Плуга, среди которых был и рассказ «Людвиг», легший в основу сновидения. Опять хлопнула дверь в комнату матери. «Сейчас же отпусти! Сейчас же!

– строго потребовала Лена, очевидно вытягивая дверь на себя; хлоп! – Ты пожалеешь!» Хлоп-хлоп-хлоп. Бережно переложив с бумаг на грудь тяжелую ледяную ладонь с крепко застоявшейся, а теперь быстро закипавшей колючей кровью, Тимницын спешно вспоминал подробности сна, растворявшиеся в подробностях посюсторонней жизни скорее, чем теплела и воскресала рука, и торопился сличить увиденное с прочитанным.

Папка с рукописями, полученная Ильей от Левадийского (только на одну неделю, но лежавшая уже третий месяц), оказалась довольно объемистой, и произведения Плуга были разложены в ней в таком порядке (хронология Левадийского):

1. Четыре ранние поэмы. Даты отсутствуют. Судя по сходству названий, перекрученность которых вызывает легкую дурноту – «Индустриальный как гигант», «Глубокий как прискорбие», «Неокрепший как ум» и «Солнечный как затмение» – все они написаны примерно в одно время. О содержании говорить не приходится, поскольку все четыре представляют собой по большей части беспорядочный набор слов, междометий, звуков и цифр.

2. Уже упоминавшаяся повесть «НКВД (Неожиданный конец Владимира Дэдэ)», 1961 г.

3. «Записки космонавта». Роман, 1965 г. Действие происходит на космическом корабле, отправленном в отдаленную галактику, на котором уже сменилось три поколения экипажа. Путешествие рассчитано на семь поколений. Один из космонавтов не может смириться с мыслью, что он всего лишь промежуточный человек, который не был на старте и никогда не увидит финиша. Он кончает жизнь самоубийством, оставив после себя несколько тетрадей с крамольными записями. Начальник особого отдела звездолета ведет расследование, допрашивая одного за другим всех членов экипажа, пытаясь выяснить, кому из них достались эти тетради.

4. «Белая Лапка». Повесть, 1969 г. Одинокая пожилая женщина получает письмо от своей пропавшей кошки. Женщина сначала думает, что ее кто-то разыгрывает, но в письме приводятся такие подробности, о которых могли знать только она и кошка. Белая Лапка (так зовут кошку) пишет, что устала жить в атмосфере лжи, притворства и бессмысленной жестокости. Последней каплей стали несколько унизительных шлепков, которые она получила за то, что нагадила на постель. Но нагадила-то она не просто так, а в знак протеста и скорби по утопленным котятам. Впрочем, уйти она задумала гораздо раньше, поскольку не могла себе позволить жить в тепле и достатке, когда тысячи ее обездоленных братьев и сестер прозябают на помойках. И хотя она теперь еле сводит концы с концами, домой уже ни за что не вернется. Хозяйка кошки хочет объясниться, попросить прощения, но не знает, как это сделать. С этой целью она обходит близлежащие дворы, но безуспешно. А спустя некоторое время приходит еще одно письмо. Написано оно дрожащим почерком на мятом грязном обрывке. В нем Белая Лапка сообщает, что видела хозяйку, и советует ей больше не утруждать себя поисками, потому что она ее прощает. О себе же Белая Лапка пишет, что дни ее сочтены, у нее появился лишай и тяжелый кашель, которые наверняка сведут ее в могилу, к тому же не за горами зима, так что это письмо последнее. Бедная женщина вновь пускается на поиски. Целыми днями она ходит по дворам, помойкам и чердакам, разбрасывая покаянные записки; она пробует даже мяукать и скоро превращается в жалкую полусумасшедшую бродяжку.

5. Рассказ «Человек-скорняк», 1971 г. История убийства с целью наживы скорняком своей соседки по коммунальной квартире, женщины-оборотня.

6. «Пустое». Пьеса, 1974 г. Герой пьесы всю жизнь ищет некое слово. Произнесенное девяносто девять раз кряду оно должно круто изменить его жизнь: вывести в другое, более счастливое измерение, или раскрыть в мозгу тысячелепестковый индусский лотос, или же еще что-нибудь в этом роде. Слово должно быть обыкновенным, из подручных, например: «заварка», или «присядьте», или «минимум» – в общем, вполне обычное. Таково условие. Герой приближается к нему долго, многие годы, одно за другим отыскивая промежуточные, ступенчато ведущие к ключевому. Предпоследним, непосредственно предшествующим самому главному, оказывается слово «целителен». И вот оно-то и губит героя. То есть: он настолько заворожен пребыванием на пороге желанного измерения, что никак не может и даже не пробует войти, а только, образно говоря,

гладит, ласкает и любовно разглядывает последнюю запертую дверь и на все лады неутомимо повторяет: «целителен». Его спрашивают: «кофейку не хотите?», а он вкрадчиво шепчет: «целителен...»; ему сообщают: «с завтрашнего дня вы уволены», он хрипло кричит в ответ: «целителен!!!»; «ваша жена только что попала в страшную аварию!» – нараспев: «це-ли, це-ли, целителен!». Возможно искомым, но не найденным словом было вынесенное в название пьесы.

7. Упоминавшаяся ранее повесть «Две девушки в черном», 1975 г.

8. Рассказ «Людвиг», 1975 г.

9. «Система сновидений. Саморазрушающийся роман», 1978 г. Сознание героя романа оказывается вывернутым наизнанку: мир сновидений он воспринимает как реальный, а мир реальный – как сон. Герой обнаруживает изъян и хочет вернуть все на свои места.

Это было далеко не все, что написал Теренций Плуг, а, так сказать, избранное, отобранное Левадийским. «Саморазрушающийся роман» оказался последним и в некотором смысле итоговым произведением Плуга. Дело в том, что «саморазрушающимися» можно было смело называть и все остальные его сочинения. Жанровые определения – «рассказ», «повесть», «роман» – данные Левадийским тем или иным вещам Плуга, обозначали прежде всего их фактический объем, поскольку ни одна из них, строго говоря, не была дописана автором до конца. Вполне степенно начавшись, все они – одна раньше («рассказ»), другая позже («повесть», «роман») – неуклонно, как одеяло с беспокойного больного на пол, сползали в чепуху и бред. И прежде не обремененные логикой и здравым смыслом, герои в какой-то момент отбрасывали всякие приличия, пускались во все тяжкие и тогда несли уже совершеннейшую околесицу и вытворяли Бог знает что. Но и это продолжалось сравнительно недолго, и обычно повествование заканчивалось нетерпеливо-раздражительным «ну и т.д.» или просто обрывалось на полуслове. Возникало впечатление, что сам текст уставал, надоедал себе до смерти, сходил с ума и кончал с собой. (К слову говоря, тут наблюдался странный неожиданный эффект: именно там, где начинали проступать первые признаки разъедающей чинное повествование эрозии и гладь текста подергивалась рябью безумия, и происходило самое интересное: наивно абсурдистские, порой вполне графоманские опусы Плуга вдруг обретали удивительную свежесть, даже тонкость, и подчас такую, что Тимницын понимал написанное словно по наитию, будто, затаив дыхание, мчался во весь опор через трясину по рыхлым рассыпающимся под ногами в прах кочкам, пока незаметно для себя не терял, наконец, опоры и не тонул в исподволь нагнетаемой и вот уже широко разлившейся бессмыслице или не налетал со всего разбега лбом на лаконичное «ну и т. д.»).

В «Саморазрушающемся романе», если судить по названию, Плуг, кажется, впервые попытался сознательно, как прием, использовать эту стихийную особенность своей прозы, и весьма знаменательно, что попытка закончилась неудачей: едва начавшись и не обнаружив никаких, даже первичных признаков распада, так солидно названное сочинение внезапно обрывалось на 32-ой странице.

Познакомившись и сойдясь с Плугом, Тимницын очень скоро понял, что саморазрушающееся творчество Теренция есть только частный случай его общего саморазрушения, и вся-то разница между Плугом-сочинителем и Плугом-человеком исчерпывалась единственной влекущей в латынь буковкой «ц» в его псевдониме. «Терент(ц)ий Плуг. История саморазрушения» – так озаглавил бы Тимницын биографию Плуга, если бы взялся за ее написание.

Согласно свидетельствам Жижина и Левадийского (да и Хнычев упоминал о том же) Терентий Плуг всю жизнь только тем и занимался, что проверял на прочность свой организм. Природа наделила его крепким здоровым телом, в котором без хлопот можно было бы прожить лет восемьдесят, а то и все девяносто, но Терентий вел себя так, будто решил во что бы то ни стало износить его в сорок. Жижин уверял, что тут было не что иное, как лишенная религиозной подоплеки борьба с плотью, и усматривал в этом, как известно, некий эстетический момент, а иногда называл поведение Терентия «русской йогой».

Среди прочих похождений особого внимания заслуживала готовность Плуга при любом удобном случае и на любых условиях заключать самые безумные пари. В несоразмерности между

опасностью таких пари, если не для жизни, то для здоровья, с одной стороны, и мизерностью вознаграждения в случае победы с другой, было даже что-то циничное. Он мог, например, выпить из горлышка одну за другой две бутылки водки, когда призом служила третья. За ту же награду влил в себя однажды бутылку постного масла (свидетель Жижин). Посреди зимы мог залезть в море и плыть вдоль берега за плату, едва превышавшую расценки – 10 коп. за 1 км – таксомоторов (точной цифры никто не помнил). Как-то заспорив с бригадой дорожных рабочих, решил повторить подвиг Муция Сцеволы (не оттуда ли псевдоним?) и сунул в их костер ногу. Уверяя, что «пробьет со свистом» известняковую стену сарайчика у приятеля на Голодаевке, сломал себе пальцы; последнее, кажется, безвозмездно, «на интерес». Справедливости ради надо бы сказать, что все это происходило по большей части в нетрезвом состоянии. Как и участие в бесконечных и по любому поводу драках. Поскольку в одиночку, вдвоем и даже втроем совладать с Плугом было непросто, то ходили на него, как на медведя, артелью – богатейший перечень ушибов, разрывов, переломов и сотрясений. К этому надо прибавить травмы, полученные на работе, некоторые профессии скажут сами за себя: грузчик, электрик, кровельщик... И, наконец, если добавить, что через многие годы Плуг пронес роковое увлечение мотоциклом (объявление о его продаже – единственное, что было напечатано из написанного Терентием), то, пожалуй, можно и подвести черту. Конечно, это были только эпизоды, то здесь то там раскиданные (правда, щедрой рукой) по бурной жизни героя, но в воображении Тимницына они, следуя один за другим, сливались в дурную бесконечность. Несмотря на ненадежность таких источников, как Жижин и Левадийский, Илья нисколько не сомневался в подлинности их свидетельств, и лучшим подтверждением ему служил медный цирюльнический таз, всегда стоявший в углу за рукомойником, на который он не мог взглянуть без содрогания. Наутро после перепоя, когда у Плуга сильно подскакивало давление, а опохмелиться было нечем и не на что, он вытаскивал этот таз, брал первое попавшееся, чуть ли не ржавое лезвие, и с деловитостью закройщика полосовал себе грудь, чтобы выпустить лишнюю, томившую его кровь. Перед лицом такого усердия сама природа, казалось, опустила руки, и в свои неполные пятьдесят Плуг выглядел на все шестьдесят пять, причем на не самые лучшие шестьдесят пять. Одним словом, Тимницын застал уже развалины – больного, спившегося, впадающего временами в детство старика. Сгоряча он взялся было за восстановление, первонаперво поставив себе целью во что бы то ни стало отвадить Терентия от вина (!). Пользуясь тем ласковым, почти отеческим расположением, которое выказывал ему Плуг с первых же дней знакомства, он повел с ним разъяснительную работу, потом, видя, что уговоры не имеют решительно никакого успеха, перешел к скорбной практике жен алкоголиков, то есть старался, не отставая, пить с подопечным, чтобы тому досталось меньше (хотя там, где в ход шли лосьоны и одеколоны, ему приходилось отступать), но когда понял, что скорее сопьется сам, чем угомонит Плуга, снова вернулся к уговорам. Плуг слушал его внимательно, виновато глядя красными слезящимися от умиления глазами, кивал, вздыхал и, наконец, говорил: «Деточка, к чему все это? У меня здесь, – он постукивал указательным пальцем по лбу, – у меня здесь уже сплошная жижа, да... Мне один врач в Дальних Ключах как-то сказал: «Ты, Терентий, свои мозги уже насквозь пропил, у тебя там вместо них сплошная жижа». Недавно врач этот, кстати, помер, Царствие ему Небесное... Видишь как: молодой, здоровый – и умер, а я вот с жижей живу», – добавлял он не без самодовольства.

– Вы так говорите, точно гордитесь этой своей жижей! – возмущался Тимницын (с досадой обнаруживая в собственном негодовании, как, впрочем, и во всей затее по оздоровлению Плуга, глумливо-подмигивающее присутствие вездесущей аппассионатки). – Что же в этом хорошего, что у вас там жижа?!..

– А кто ж говорит, что это хорошо, – соглашался Терентий. – Ничего хорошего здесь нет. Но только что ж тут уже поделаешь... так оно теперь и будет, с жижей... А то как этот: «Господи, научи мя оправданием твоим!»... спохватился. А ему: «Да какие уж теперь оправдания, милый, когда уже вовсю горелым несет и вон, шкура на тебе подпалена... Давай, ступай в геенну, не смеши народ...»

Он тяжко вздыхал, опускал, качая, голову и начинал что-то негромко горестно бормотать, держась по зимней своей привычке обеими ладонями за секцию радиатора, хотя уже был конец

весны и отопление давно отключили. Явилось ли это результатом «русской йоги» и многолетнего пьянства, или же это были уже симптомы долгожданной старческой немощи, но к тому времени, когда Илья познакомился с Плугом, тот почти постоянно пребывал в состоянии слезливого благодушия, своего рода просветления. Все окружающее, особенно когда он выходил из дому, чтобы пройтись по винным подвалам, приводило его в тихую слезоточивую радость. Умиляясь и как бы перенимая свойства объекта умиления, Плуг и сам возбуждал подобные эмоции (так иногда чрезмерно брезгливые люди сами вызывают брезгливость), и Тимницын не раз на себе это ощущал. Встретив где-нибудь на улице пару собак, занятых лихорадочным увеличением популяции, он не мог пройти мимо, не похвалив и не подбодрив их, а заодно, поймав их пугливо косящие взгляды, и не успокоив; прослезившись и благословив на пложение и размножение, шел себе дальше, тяжело опираясь на палку, сунув свободную руку в карман парусиновых самолично сшитых штанов (он, кстати, был, что называется с руками: умел шить, вязать, чинить часы, любил всякую тонкую канительную работу). К животным Плуг испытывал особую нежность, величина которой была обратно пропорциональной их размерам. Он обожал даже этих маленьких, нервно дрожащих от переполнявшей их злобы собачек с выкаченными глазками, которых терпеть не мог и побаивался Илья. Вообще Плуга привлекало все мелкое, миниатюрное, вплоть до насекомых; фаворитами тут были пауки и всякие жучки, но он был вполне лоялен и к обычным домашним тараканам, которых никогда не давил, а просто сметал со стола, как крошки, которые он, впрочем, никогда и не сметал, а смахивал их вместе с тараканами, которые за этими крошками на стол как раз и приходили.

Жил Плуг на какое-то жалкое пособие по инвалидности, от случая к случаю подворовывал по мелочам в магазинах, не гнушался и попрошайничеством. Немного помогал Левадийский, который использовал просторную комнату Плуга под склад и перевалочный пункт: сюда обычно свозилась приобретенная им мебель, отсюда, если в том была необходимость, ее на реставрацию забирали мастера, и сюда же возвращали для дальнейшей продажи. Иногда наплыв был такой, что кое-что приходилось, к негодованию соседей, ставить даже в коридоре, а в самой комнате оставался не занятым лишь узенький проходец от двери к окну и кровати – все остальное пространство было сплошь забито буфетами, комодами, креслами, столиками и прочим. После удачной сделки Плуг получал от Левадийского скромные премиальные.

Илья полюбил Терентия сразу и всем сердцем, и теперь дня не проходило, чтобы он не побывал у него; а иногда, если засиживался допоздна и не надо было идти на работу, оставался и ночевать. Так они и прокоротали большую половину весенних вечеров втроем: Терентий, Илья и Никита – маленький чахлый пьянчужка, недавний, но верный друг Плуга, подобранный им в каком-то из подвалов. Что-то было в обаянии Терентия такое, что делало жизнь более сносной, сообщало ей некоторую добавочную, веселую теплоту, и, как заметил Илья, это касалось не только его и Никиты, но и Жижина с Левадийским, да и многих других, кто сталкивался с Плугом. Мысль о том, чтобы написать его биографию, нет-нет да и навещала Илью. Она вообще пришла довольно неожиданно, вначале появилось название «История саморазрушения» и только потом сама идея. И хотя Тимницын сомневался, что когда-нибудь всерьез возьмется за это дело, он теперь уже внимательней слушал рассказы Плуга, подробнее его расспрашивал, кое-что записывал и даже выпросил, на всякий случай, несколько фотографий.

Сверх того дружба с Плугом заключала в себе еще одно немаловажное достоинство: для Тимницына она послужила весомым оправданием мертворожденной затеи с наставничеством Жижина.

III. Касательно Жижина

А с Петром Андреевичем Жижиным отношения складывались вот как. Вторая записка от него, переданная Илье Левадийским у дома Плуга в тот достопамятный день, когда он отправился к Навроцкому, гласила: «Следуя тем же курсом, продолжаем в том же духе!» (так что Илья

совершенно напрасно опасался ее прочитать до визита к Виктору). Поддерживать себя все время в заданном состоянии (даже ничего не предпринимая) оказалось делом непростым, порой невыполнимым, и свидетелями (и жертвами) его стараний тут были по большей части мать и Лена. Но Тимницын полагал, что это дело наживное.

Примерно через неделю пришло по почте следующее указание: «Он был далек от мысли выполнять предписанное, увы...» Игривая двусмысленность записки показалась Тимницыну занятной: трудно было понять, освобождала ли она от исполнения предыдущих предписаний или же предостерегала от невыполнения; словом, обрекала на полную неопределенность. Буквально на следующий день к Илье пожаловал сам Жижин. Был он взбудоражен и нервически весел.

– У меня к вам предложение, собирайтесь, – затараторил он с порога, – будете меня сопровождать. Оч-чень удачно, что я вас застал!

– Куда? – поинтересовался Тимницын.

«Куда...» – передразнил Жижин. – Ну что это такое?.. Разве это вопрос смиренного послушника? Надо отвечать: сей момент! Или, на худой конец, просто: яволь.

– Хорошо. Сей момент.

– Одевайтесь потеплее, на улице гадко.

Тимницын распахнул дверцу шкафа и скрылся за ней переодеваться.

– Не беспокойтесь, это вам не Гегеля зубрить, – говорил Жижин. – Мы с вами идем на день рождения.

– На день рождения? К кому? – спросил, выглядывая, Тимницын.

– Черт побери! – хлопнул себя по лбу Жижин. – Какой день рождения!.. На годовщину. Годовщина свадьбы моей второй жены с ее вторым мужем. Как ни отнекивался – нет, приходи и все! Никаких отговорок не принимает. Странный народ эти женщины. У тебя уже другая жизнь, другая семья, другой муж – я-то тебе на кой сдался, нет – приходи и все. Счастьем своим что ли решила передо мной пощеголять? Ладно, думаю, шут с тобой, приду. Все-таки женщина она неплохая... А потом, видно, эта интеллигентская закваска не дает покоя. Мол, надо оставаться во что бы то ни стало друзьями... Останемся друзьями, добрыми знакомыми. Тьфу!..

– Погодите, – остановил его Тимницын. – А я вам для чего?

– Вы? – удивленно спросил Жижин, словно этот вопрос застал его врасплох. – Ну как это для чего! Вы мне как раз просто необходимы! Вы мне как воздух нужны! Там ведь у меня ни одной знакомой души, кроме жены, и то уже не моей. Если будут гости, то все со стороны мужа, а это такая чопорная публика – преподаватели, сами понимаете... Что ж я там буду сидеть, как сыч, брошенный муж, не с кем словом перемолвиться? Я ей сразу выдвинул условие, что один не приду, она согласилась, – добавил Жижин, но как-то скомканно и не очень убедительно. – Да вам-то чем плохо? Выпьете, закусите, может с кем-то познакомитесь... Я в молодости страсть как любил оказываться в незнакомых компаниях! Придешь, сядешь, а напротив тебя или прямо под боком, того лучше, какая-нибудь молодая гурия с влажным блеском в глазах от предчувствия грядущего счастья... аж мурашки по спине... вы готовы?

– Готов.

– Ну вот и отлично. Надо только подождать немного, – Жижин было поднялся, как-то суетливо передернулся и снова сел. – Не хочется приходить первым. Лучше сразу затеряться в толпе. Не волнуйтесь, мы там пробудем недолго. Так только отметимся, да и пойдем себе... у вас чай есть?

– Есть.

– Какой?

– Не знаю. Ах да, грузинский какой-то, номер 36, кажется. Сделать?

– Нет, спасибо, я эту гадость не пью. Тридцать шестой... Вроде бы есть такой поезд, скорый... ну да!.. Москва – Одесса. Или наоборот? Не помню. Странная фантазия: назвать чай именем поезда. Поезд мчится... Вы, кстати, любите всякие поездные, дорожные истории? Я обожаю. В самое ближайшее время расскажу одну – заслушаетесь...

Если бы не букет роз, по внешнему виду Жижина нельзя было бы заподозрить, что он собрался в гости, тем более на какое-то празднество. Был одет он как всегда: невзрачное серенькое пальто, из-под которого виднелись давно не глаженные, в брызгах грязи брюки и замызганные ботинки почти детского размера, на голове сидел синий берет, ну и любимый портфель на коленях.

– Ладно, – хлопнув по нему, сказал Жижин и поднялся, – идемте! Пока доберемся... час пик, сами знаете...

Добирались они до ипподрома, возле которого жила бывшая жена Жижина, и в самом деле долго, муторно, с двумя пересадками, в переполненных троллейбусах. Тимницын как мог оберегал в толчее цветы, которые Жижин у него отобрал, как только позвонил в дверь. Открыла им сама хозяйка, маленькая миловидная женщина (Тимницын встречал ее фотографию на столе у Жижина), и тут же, с порога, выяснилось, что их не ждали, и даже более того.

– Ты с ума сошел?! – воскликнула женщина. – Я же просила тебя не приходить!

– Э-э, брось, брось кокетничать, ты же прекрасно знала, что я приду. На словах это одно, но ведь существует еще и подтекст, – говорил Жижин; положив цветы на вешалку, он в мгновение ока разделся и уже стаскивал пальто с Тимницына.

– Какой еще подтекст?! – возмущалась вполголоса женщина. – Ну какой еще подтекст, когда я тебе русским языком сказала, чтобы ты и не думал появляться!

Больно толкая пальцами в поясницу опешившего от такого приема Илью, на которого, кстати, хозяйка не обратила никакого внимания, Жижин уже пробирался в сторону комнаты, откуда доносилась негромкая музыка.

– И потом, мы же интеллигентные люди: ну, разошлись, но мы же можем при этом оставаться добрыми друзьями, – говорил на ходу Жижин. – Просто захотелось удостовериться, что ты счастлива, и все! Дай хоть погреться у чужого костра, хоть руки обогреть...

– Какой же ты негодяй! – выдохнула хозяйка.

Войдя в комнату, Тимницын поразился тому, что она была полна гостей, ну во всяком случае человек пятнадцать в ней было точно, никак не меньше, просто сидели тихо, негромко переговариваясь, очевидно, дожидаясь хозяйку. В большинстве своем это были супружеские пары, люди возраста Жижина, никаких молодых гурий с блестящими глазами Тимницын среди них не обнаружил. Народ был все серьезный, со значением, как сказал бы Терентий Плуг, и Тимницын сразу уловил атмосферу чинной благопристойной скуки. И еще он успел заметить, как при появлении Жижина потемнело лицо у сидевшего во главе стола, рядом с пустым стулом, юбиляра. Жижин протянул ему ладонь и затрясся в рукопожатии, приговаривая:

– Поздравляю, Георгий, поздравляю! Первый год, как правило, самый трудный, и вот он уже позади, поздравляю!

Георгий, изображая радушие, поморщился. Жижин пожал руки всем остальным мужчинам и представил Тимницына, да так, что того в пот бросило:

– А вот это Илюша, мой сын от первого брака. Мы только на днях, можно сказать, познакомились, и теперь всюду ходим вместе, как попугаи-неразлучники. За столько лет вынужденной изоляции многое накопилось...

Гости тем временем сдвинулись потеснее, чтобы Жижин с Тимницыным смогли сесть. Хозяйка принесла недостающие приборы; держалась она с вымученной бодростью. Хозяин был, что называется, темнее тучи, с демонстративной сдержанностью вздыхал и, заметив это, гости старались не смотреть в сторону новоприбывших. Жижин всего этого не замечал. С ним вообще творилось что-то неладное. Он суетливо озирался, ерзал на стуле, словно никак не мог усесться поудобнее, и, как показалось Тимницыну, даже мелко дрожал. Впрочем, выпив рюмку, другую, как будто успокоился. Тимницыну тоже полегчало, когда он выпил. Гости продолжили очевидно прерванную их появлением беседу, говорили о новой постановке в лидийском драматическом театре. Постепенно даже хозяева, кажется, смирились с присутствием Жижина и Тимницына, и хозяйка им предложила отведать буженины. Выпив и закусив, Жижин несколько приуныл, но ненадолго. Тимницын медленно, не отрываясь, ел и не столько потому, что очень был голоден,

сколько желая как-то спрятаться за этим занятием. Прошло с полчаса, как вдруг Жижин, хлопнув еще рюмку, морщась, затолкал локтем Тимницына и потребовал холодец. Тимницын передал. Торопливо сгребая холодец в тарелку, Жижин вдруг громко вмешался в общий разговор:

– Я прошу прощения, но, вы знаете, мне почему-то вспомнилась одна история полуторагодичной давности...

Это «почему-то», прозвучавшее в заявлении Жижина, было как нельзя более к месту, потому что история, которую он взялся рассказывать, как оказалось, не имела абсолютно ничего общего с тем, о чем говорилось за столом.

– Полтора года назад, в августе месяце ехали мы с Илюшей из Полтавы, помнишь, Илюша?..

Тимницын, не поднимая глаз от тарелки, кивнул. А Жижин, вероятно напрочь забывший, что встреча неразлучников состоялась только на днях, продолжил.

– Сели вечером в поезд и покатили, значит... Поезд такой неторопливый, очень пассажирский, к грузинскому чаю не имеет никакого отношения. Вагон плацкартный. А духота в те дни стояла необыкновенная, все окна открыты и никакого облегчения. Ну, значит, сели, едем, и на том спасибо. В вагоне дети плачут, те, что постарше, по проходу бегают... Пассажиры, как водится, только тронулись – сразу за еду. Надо сказать, я часто и глубоко задумывался над этой страстью нашего народа приступать к приему пищи одновременно с началом движения и никогда не мог постичь ее до конца – тут какая-то тайна! Еще даже вокзал не проехали, последние, самые преданные провожающие еще за поездом бегут, а они уже разворачивают свертки, а там колбаса, сало, крутые яйца, лук, и запахи все самые натуральные... В общем, каждый занялся своим делом: кто ест, кто выпивает, кто в картишки... этот спать собирается, носки снимает, что, по известным причинам, тоже привлекает внимание, а за окном тиха украинская ночь, сверчки, мисяць и прочие гоголевские аксессуары – так и тянет прыгнуть в окошко и оставить этот оживленный поезд навсегда. Тут еще в нашем отсеке небольшое недоразумение: чувствуем, что ко всем прочим гастрономическим запахам примешивается, и довольно явственно, какой-то нездоровый и даже, прямо скажем, трупный. А у нас на боковой верхней полочке уже с тех пор как едем лежит ничком и совершенно неподвижно, уткнувшись в подушку, какой-то гражданин. Мы с Илюшей даже решили, что кто-то таким образом, под видом пассажира, покойника транспортирует; духота опять же... Только вдруг после очередного сильного вагонного толчка смотрим: наш покойничек приходит в себя, спускается и оказывается он не кем иным, как представителем одной из далеких слаборазвитых стран, сравнительно недавно лишившихся колониального ига. Спускается, значит, этот попутчик вниз, тяжело спускается, с риском для жизни, своей и окружающих, и теперь уже вполне видно, что человек совершенно жив-здоров, но только пьян необычайно. Садится он, протирает лицо, что-то бормочет по-своему... Кстати, и насчет запаха тоже потом все выяснилось: один из пассажиров вез с собой сумку мяса. Ну так вот... А между тем наступает время вечернего чая. Разносит его по вагону такая немолодая взмыленная проводница довольно банальной наружности, усталая неприветливая женщина... И вот замечаю я, что наш зарубежный гость, должно быть студент, с проводницы этой глаз не сводит и заказывает ей один стакан чаю, второй, третий, а тут и от одного впору на стену лезть... ну, он-то человек привычный... Наконец проводница со своим пожилым напарником собирают пустые стаканы, и вагон начинает постепенно готовиться ко сну. Смотрю я, наш студент встает и нетвердой походкой уходит в сторону купе проводников, а оно от нас совсем рядышком, и через некоторое время оттуда начинают доноситься звуки каких-то нестроений. Ну, мне, как всегда, что-то любопытно стало, и я тоже туда, то как будто в туалет, то за кипяточком, то расписание почитать... А там, между тем, действие разворачивается и даже уже развернулось: проводница заперлась в своем купе и оттуда грозно так погавкивает, а сам студент стоит возле кипятильника и беседует с пожилым и тоже нетрезвым проводником, о чем-то слезно его просит. В общем, в процессе моих челночных перемещений выясняется следующее: оказывается, данный студент загорелся странным желанием... желание, прямо скажем, тем более если учесть обстановку, неординарное, даже не знаю как подступиться, как бы это выразиться поаккуратнее, чтобы не оскорбить слух, и я бы с удовольствием опустил бы этот момент, но, к сожалению, без него

никак не обойтись... Есть такой международный термин, но я его, конечно, здесь произносить не буду...

Тимницын взглянул на Жижина: тот как-то торопливо, по всей видимости лишь для профор-мы, ничуть не заботясь о натуральности, изображал крайнее замешательство.

– Одним словом, – продолжал он, – сей студент возжелал, как в истории с Тилем Уленшпигелем, хотя там было несколько иначе и даже совсем наоборот, сей студент возжелал во что бы то ни стало приложиться к тем устам нашей проводницы, которыми она не говорит по-фламандски, впрочем, и по-русски тоже – ни больше, ни меньше... что поделать, и среди угнетенного студенчества попадаются такие извращенные типы! Хотя, очень может быть, что там, у них, такие отношения между проводниками и пассажирами обычное дело, но мы-то живем в цивилизованной стране....

– Так, Жижин, все! Хватит! – хлопнув по столу ладонью, вмешалась хозяйка. – По-моему, уже вполне достаточно!

Насколько успел заметить Тимницын, гости слушали Жижина с выражением снисходитель-но-брезгливого смущения, беря пример с хозяина застолья, который всем своим видом показы-вал, что решил выпить эту чашу до дна и предоставляет присутствующим право самим судить, кто таков этот Жижин; только один румяный бородач справа от Ильи, чем дальше, тем больше заходился в кашле, расчетливо выпуская порции душившего его смеха.

– Да я вот-вот закончу, самое трудное уже позади, и так тороплюсь, как будто меня в шею гонят! Что ж на середине-то останавливаться? Какая бы ни была история, а всегда же хочется знать, чем закончилась. Мы же взрослые люди, в конце концов, а в жизни всякое бывает, – возра-зил Жижин своей бывшей жене. – В общем, чтобы не тянуть, расклад такой: Уленшпигель через проводника предлагает проводнице деньги, последовательно увеличивая вознаграждение, а та, запершись в купе, неизменно отказывается. Нашла коса на камень. Ее уже и напарник уговари-вает, просит уступить, а она ни в какую. А суммы уже фигурируют совершенно невероятные, но проводница – кремень. С ней там, в купе, уже даже истерика, кричит: «Скажи ему, что я его сейчас с поезда ссажу!» А студент, знай, свое гнет. Она во гневе-то ему, может быть, еще желаннее... Сло-вом, полное взаимонепонимание и кардинальное различие взглядов на дружбу народов. Ничего не поделаешь: север есть север, юг есть юг, и вместе им не сойтись ни в каком виде. Долго все это продолжалось и, по всей видимости, ни к чему так и не привело. И вот, когда все как будто затих-ло, выхожу я в очередной раз, не помню там уже зачем, и застаю поразившую меня финальную сцену. Стоит довольно удрученный проводник – старик, наверное, тоже рассчитывал на кой-какие комиссионные – и, по-отечески положив руку на плечо, утешает убитого горем студентика, а тот таки убит горем... И говорит ему старый проводник следующее: «Да ладно тебе, подумаешь, чего уж тут... она всегда такая упрямая... такая уж вредная баба... нэ журысь... Ну, хочешь я буду вместо нее?» Студент горько качнул своей кудрявой головой и грустно так сказал: «Нет, не хочу...»

Громко сдвинулся один из стульев, и смешливый быстро вышел из комнаты, унося в коридор свой кашель.

– Ну вот, собственно говоря, и вся история, – подытожил Жижин.

Несколько секунд длилась полная тишина.

– И для чего ты нам ее рассказал? – спросил хозяин.

Жижин развел руками.

– Да я, в общем-то, это так, к вопросу о всемирной отзывчивости славянской души, как при-мер. Хотя я знаю примеры и поярче...

– Давай-ка выйдем с тобой на минутку, мне тебе надо кое-что сказать, – предложил хозяин.

Они вышли, и дверь за ними закрылась.

Не смея поднять голову, Тимницын сидел и думал, что сейчас сойдет с ума от стыда; опасаясь привлечь внимание хотя бы самым незначительным движением, он сидел, не шелохнувшись, раз-глядывая носок ботинка, чувствуя как затекают ноги, и ему казалось, что все сидящие за столом глядят на него. Спасительный крик Жижина «Илюша!» буквально сорвал его с места и уже через секунду он стоял в коридоре.

– Илюша, мы уходим, – сказал Жижин. – Одевайтесь.

Хозяин, сунув руки в карманы брюк, уставившись в пол, дождался пока они оденутся и распахнул перед ними дверь; из кухни выглядывал, пуская дым, бородач.

– Жижин, я надеюсь, ты меня понял? – произнес им в спину хозяин.

Жижин промолчал. Дверь захлопнулась. Они молча спустились по лестнице, вышли на улицу. Когда, не доходя до остановки, Жижин остановился, у Ильи вдруг вырвалось:

– А для чего вы это сделали?

Ему тут же стало неловко за глупый пустой вопрос. Петр Андреевич не ответил. Поглаживая себя по груди, улыбаясь, он беззаботно промолвил:

– Ну, что ж... вечер удался. Спасибо за участие. Вам в какую сторону?

– Туда, – Тимницын растерянно показал в сторону остановки. – А вам?

– А мне в противоположную. Всего хорошего.

Однако он не двинулся с места и выжидательно уставился на Илью. Тому не оставалось ничего другого, как, попрощавшись, идти к остановке. Он сделал с десяток шагов и вернулся, чтобы уточнить, на какой номер троллейбуса ему лучше садиться. Петр Андреевич стоял все там же и встретил его крайне неприветливо. Всего лишь за минуту он переменился чрезвычайно, так что, когда он обернулся, Илья удивился: столько злобы выражало его бледное с крепко поджатыми губами лицо. И одновременно было что-то жалкое во всем его облике. Таким Илья Жижина видел впервые.

А со следующего дня на Тимницына обрушился бурный поток жижинских предписаний. Они приходили по почте чуть ли не ежедневно, иногда сразу по два в день и, надо отдать должное изобретательности Петра Андреевича, прямых указаний как таковых среди них почти не попадалось. Жанровое же разнообразие даже поражало: характеристика с места работы, ремарка из пьесы, жалоба жильца на соседа, застольное чествование, разведдонесение («седьмому от Центра»), некролог, отрывок из школьного сочинения, чистосердечное признание, рецензия на кинофильм и проч.; свои рекомендации давал Тимницыну некий Хор поселян, с пожеланиями обращалась Белая Лапка, было даже одно стихотворение:

Каков он, мой герой?
Он стар и дурно пахнет.
Каков он мой герой?
По вечерам он чахнет
Над рюмкою своей.
Каков он, мой герой?

Не любит он детей... и т.д. (интересно, как должен был Тимницын это исполнять, строку вторую, например?)

Часто два предписания, пришедшие вместе или с разницей в сутки, в корне противоречили друг другу; многие были написаны через копирку (близорукий Жижин, должно быть, путал экземпляры), и у Тимницына, в конце концов, возникло подозрение, что все они были приготовлены заранее и вот теперь разом, демонстративно пущены в ход. Несуразное количество записок, их частота и, в большинстве своем, заведомая невыполнимость как будто убеждали в том, что относиться серьезно ко всему этому не следует. Илья и не пытался: баба с воза – кобыле легче. Только иногда, когда он вспоминал свою искреннюю готовность следовать выбранным путем, ему становилось неловко. «Теория всегда слаще практики», – сказал как-то Жижин, имея в виду гарнизоновские игры, и эта фраза, кажется, была ключом и к его собственной затее. Жижин забрасывал Тимницына письмами почти три недели, а потом ему, видно, надоело и все прекратилось так же внезапно, как и началось.

Что касается «сбора материалов об ушедшей Яме», то тут подтверждались слова Хнычева: похоже, что никакой истории не было. Жижин прислал Тимницыну («пока вот это») три фамилии с адресами и три без – их Тимницын должен был отыскать сам. По первому адресу жилец два года как скончался, по второму давно уехал. По третьему жил нищий пропойца с двумя старыми и как

будто тоже испитыми спаниелями, который не мог ничего вспомнить и вообще с трудом понимал цель визита Ильи, но, кажется, рассчитывал на вознаграждение: услышав чье-нибудь имя, он тут же с восторгом на все лады его повторял, кивал, гримасничал и, наконец, умолкнув, принимался ждать когда мелькнет следующее. На этом Илья счел свою миссию по сбору материалов выполненной. Не забыл он и про Арсения Птицелова. Хнычев оказался и тут прав. Левадийский, которого Тимницын спросил об этом персонаже, с напускной бодростью ответил: «Ну, это была выдающаяся личность!..» и поспешно добавил: «Вы спросите у Жижина, он лучше знает». Плуг долго морщил лоб, но только и смог вспомнить, что однажды в Яме дрался с прапорщиком по фамилии Ястреб. Тимницын понял, что Птицелов нужен был Жижину лишь для того, чтобы его «теория расширения пространства жизни», подкрепленная выдуманным авторитетом, выглядела убедительней. Вот, в сущности, и все. От затеи с Жижиным у Тимницына только и осталось: дружба с Плугом (плюс) и служба у Гарнизонова (минус).

IV. Перед игрой

– Кажется, он догадался, что между нами что-то есть, – сказала Лида.

Речь шла об ее отце. Несколько дней назад Тимницын, уходя от Лиды, столкнулся с ним в подъезде.

– Это имеет какое-то значение? – с некоторым раздражением спросил Илья, стряхивая пепел с папиросы в пепельницу на полу. Он сидел на краю кровати, поставив локти на колени; за его спиной, подперев голову ладонью, вытянулась Лида. В илисто-зеленом омуте телевизора выпукло отражались их уменьшенные обнаженные тела, опутанные скользкой ажурной тенью оконной решетки. Как всегда в такие минуты, Тимницын ощущал крайнюю степень опустошения и не мог понять, как это всего лишь полчаса назад он не мог думать ни о чем другом, кроме желания обладать Лидой. Более всего ему сейчас хотелось оказаться одному, у себя дома, или хотя бы просто помолчать некоторое время.

– Для него имеет, – ответила Лида, свободной рукой поглаживая Илью по спине, и тот еле себя сдерживал, чтобы не передернуться; ему еще действовали на нервы ее потуги изображать многоопытную, уверенную в себе любовницу. – Он все хочет свести меня поближе со своим сотрудником Васенькой, часто приглашает его к нам ужинать...

– Васенька – это фотограф? – спросил Илья, вспоминая свой зимний привод в контролерскую, и подумал: «Наверное, ждет сцены ревности... Перебьешься».

– Нет, он тоже контролер, просто увлекается фотографией. Папа в нем души не чает и, я думаю, не прочь с ним породниться...

– Так за чем же дело стало?

– За мной.

Помолчали.

– Он, кажется, пьет как сапожник, этот ваш Васенька, – сказал Илья; сказал просто так, без задней мысли, но как раз и получилось что-то ревнивое.

– Выпивает, – поправила Лида, возобновляя прерванное поглаживание, как будто утешая и успокаивая ревнивца. – Он вообще-то парень хороший, добрый, только вспыльчивый. И не очень развитой... вот сейчас решил заняться собой...

– Да? Интересно, каким образом?

– Ну, он стал читать книги, записался на бальные танцы... Меня зазывает...

Илья украдкой взглянул на нее: она это серьезно? Да, серьезно.

– И что же ты? – спросил он и подумал: «Что за дурацкие вопросы я все время задаю?»

– Пока отказываюсь, – игриво ответила Лида.

– Может быть зря?

– Может быть.

Взгляд Ильи остановился на экране телевизора и невольно задержался на нем; тень решетки, сползая с их тел, медленно взбиралась на стену.

– Бальные танцы... Это хорошо... – задумчиво произнес Илья после долгой паузы.

Что-то как будто изменилось. Да. Менялось... В опостылевшую комнатку, кажется, вернулось ощущение уюта. Вроде того. И еще: утихала или уходила ноющая тоска неприкаянности, уступая место возвращавшемуся вожделению, которое при первом, еще отдаленном своем появлении, как успел заметить Тимницын, было замаскировано под увлекательнейшую, захватывающую, вгоняющую в трепет мысль о том, что он вправе как ему угодно распоряжаться вот этим лежащим рядом телом.

Тимницын завел руку за спину и положил ладонь на Лидино бедро.

– А еще куда он тебя приглашал?

– Да он все время меня куда-нибудь зовет: то в кино, то в гости, то прогуляться... не то, что некоторые...

Ее упреки показались ему (особенно в эту минуту) в какой-то мере справедливыми, и он решил сводить ее к Гарнизонову.

– Ты не поверишь, но как раз сегодня я думал пойти с тобой в одно место.

– В какое?

– Увидишь. Здесь недалеко. Нам надо быть там к пяти, так что, я думаю, мы успеем, – сказал Илья, укладываясь рядом с Лидой.

На завтра была назначена большая игра (вторая за последний месяц!), и по этому случаю у Гарнизонова намечался полный сбор. Когда Тимницын с Лидой вошли, в комнате, за исключением опаздывавшего Почивалова, уже присутствовали все: Швец (запомнившийся Тимницыну еще по вторжению к Левадийскому), Громов, Азиатцев и Вытютенев. Кроме них явились два молодых человека, Илье не знакомых, хотя встречал он их здесь уже не в первый раз. Был и еще некто бородатый, длинноволосый, лет сорока; сутулясь, скрестив на груди руки, стоял в углу, нервно и настороженно поглядывая исподлобья.

Покивав игрокам, Тимницын усадил Лиду рядом с прямым, как единица, всегда одетым в черное молодым художником Вытютеневым и, налив ей и себе чаю, опустился подле. Из-за присутствия Лиды и новичков он впервые почувствовал себя здесь старожилом, и ему это не понравилось.

Как всегда в канун игры, в комнате Гарнизонова с большим полуциркульным окном, обращенным на запад, было душно, накурено, громче, чем следовало бы, работал проигрыватель. Кроме длинноволосого незнакомца в углу и Гарнизонова с Азиатцевым, беседовавших у двери, все остальные участники молча сидели за столом, чаевничали; было немного вина. По огромной, выполненной на заказ карте г. Лидии на стене качались, дрожа и волнуясь переливчатой рябью, размытые тени от ветвей каштана.

Пластинка кончилась, и пока негнущийся Вытютенев торжественно, словно венок к монументу павших героев, ставил ее оборотной стороной на проигрыватель, в комнате висела неловкая тишина и только был слышен голос Азиатцева, любимца Гарнизонова, говорившего что-то на ухо хозяину, что удваивало неловкость. Улыбаясь, бросая на застолье веселые невидящие взгляды, Гарнизонов, мелко поплевывая на указательный палец, стирал чернильное пятнышко с пластмассового телесного цвета протеза на месте левой кисти (у него был еще и черный, парадный).

– Тебе удобно? – обратился Илья к Лиде.

– Да, – сказала она и ответила виноватым и ласковым взглядом.

Он смущенно отвел глаза, потянулся было за чайником, но вспомнил, что еще не сделал ни глотка из своей полной чашки.

Последним пришел Почивалов, старинный приятель Гарнизонова, когда-то горячий его поклонник.

– Ну, наконец-то! Где тебя черти носят!.. – воскликнул хозяин. – Все, начинаем, к столу!

– Еще секундочку! – останавливаясь в дверях, взмолился опоздавший и отозвал Тимницына на кухню. – Вот, от Жижина, велел передать лично, с глазу на глаз, – сказал он на кухне, вручая сложенный вчетверо листок без конверта, что очень покоробило Илью.

Когда, плеснув в раскрасневшееся лицо водой из-под крана, Почивалов ушел, он развернул листок.

«Пей покорно воду унижения...» И подпись. Число.

– Кретин! – невольно вслух вырвалось у Ильи.

– Еле выкарабкался, ей Богу! – громко рассказывал в комнате Почивалов о поездке в трамвае. – Давка такая, что не то что кошелек, душу вынут – не заметишь!..

– Не помешаю?

Тимницын резко обернулся. Перед ним, одетый, как всегда, с иголочки и по самой последней моде, с неизменной улыбочкой, сообщавшей ему вид снисходительно-ироничного наблюдателя относительно всего, что только доводилось встречать, стоял Азиатцев.

Тимницын выжидательно молчал.

Кашлянув в кулак и продолжая улыбаться, словно посмеиваясь и над Тимницыным, и над собой, и над всей ситуацией в целом, как бы беря все это в кавычки (и Илью, чуть ли не явственно слышавшего, как щелкают эти кавычки, до зубовного скрежета бесил решительный неуспех собственных попыток взять их в свои или хотя бы сделать вид, что он их просто не замечает!), Азиатцев сказал:

– Тут видишь ли какое дело... Если помнишь, там у тебя завтра по маршруту, на Кровельной, возле автостоянки...

– Мне маршрут еще не показывали, – оборвал его Илья, ударяя на «мне», и тотчас сознавая, что он уже в проигрыше: «ну, зачем я это, зачем...»

– Да, в самом деле, я не подумал, извини, – притворно спохватился Азиатцев и продолжил. – Так вот, там на Кровельной, не доходя до автостоянки, дом, кажется, 27-ой номер, и тебе по маршруту предписано войти в подъезд... это самый напряженный момент игры... в подъезде, на втором этаже ты должен прочитать гарнизоновский текст, но... вот какая нам пришла мысль: не мог бы ты для пущего, так сказать, напряжения – дом этот, кстати, вполне дикий, наполовину отселенный, – не мог бы ты там же на втором этаже... Сейчас! – отозвался он на приглашение хозяина. – Не мог бы ты, читая текст, немного порукоблудничать, ну, хотя бы несколько секунд, не доводя, так сказать, до финала... это было бы... Все, все! Уже вижу, что не смог бы! – оборвал он себя, смеясь, примирительно вскидывая руки. – Мое дело только предложить, я...

– У меня есть предложение получше, – с красноречивой сипотцой произнес Илья, борясь с сильнейшим желанием ухватить Азиатцева за грудки и как следует съездить по этой улыбочке. – А что если тебе в этом подъезде удавиться ради напряженного момента в игре? Или, хотя бы, просто побиться об стену головой? Я бы с большим удовольствием помог...

– Отлично! – ответил Азиатцев. – Мы в тебе не ошиблись. Открою секрет: мое предложение и твой ответ на него, как и все сегодняшнее собрание, кроме всего еще и часть игры. И завтрашняя игра тоже будет ее частью. Так что не сердись, и спасибо за участие. А теперь идем, нас ждут.

Первой мыслью Тимницына было взять Лиду за руку, вытянуть из-за стола и уйти, но, во-первых, это было бы уж слишком много чести Азиатцеву, а во-вторых, в кармане все-таки лежала жижинская записка.

Лида встретила его все той же раздражающей виновато-ласковой улыбкой. Не ответив ей, Тимницын мрачно уселся рядом и задумался вот о чем: если все это была игра, то не являлось ли и предписание Жижина ее частью (уж очень оно совпадало с предложением Гарнизонова-Азиатцева)? То есть, не написано ли оно было прямо по заказу Гарнизонова? Или, что совсем уж скверно, по заказу Азиатцева? И хотя, подписав то злосчастное заявление на имя начальника жэка, Тимницын предоставил своему наставнику такие обширные полномочия, что любые действия последнего оспаривать было бы весьма затруднительно, все же эта история расстроила его чрезвычайно.

Между тем, Гарнизонов, уже раздавший всем маршрутные карты, неожиданно отвлекся от завтрашней игры и ударился в свои навязчивые фантазии относительно будущих «больших» игр. (Присутствие Лиды что ли его так возбудило?) То была давнишняя мечта Гарнизонова: организо-

вать игру, которая бы охватывала половину страны, по крайней мере всю ее европейскую часть, в которой игроки, рассредоточенные фельдмаршальской дланью Гарнизонова по обширным просторам Родины, в течение двух-трех недель исполняли бы его предначертания. На поездах, самолетах, пароходах, попутках, пешком они бы перебирались из одной точки в другую, включали бы в действо встречных, в условленное время читали запасенные тексты, рассылали письма и телеграммы, вели дневники и т.д. и т.п.

Высокое эпическое парение вдруг было прервано неожиданной репликой из угла:

– Не то это все, не то! – качая опущенной головой произнес длинноволосый незнакомец. – Вы вот все наружу стремитесь, вовне, а надо наоборот, вовнутрь. Царство Божие сами знаете где... Возьмите Лао-Цзы того же... дао, там, путь, да?.. но в обратную сторону... а так не то направление просто...

И споткнувшийся на полуслове Гарнизонов, и Азиатцев с Почиваловым, и все остальные гости, привлеченные сбивчивой тирадой, поворачивали головы к говорящему и при этом все, как один, почему-то улыбались – так в музыкальных фильмах посетители кафе или ресторана с приятным удивлением обнаруживают в своем кругу поющего.

Почувствовав их взгляды, длинноволосый затравленно выглянул исподлобья и забормотал еще глуше и непонятней, громче прочего произнеся: «это мое такое мнение...»

– Ах, это ваше мнение! – уцепился тотчас Гарнизонов. – Я уже заметил, что у вас всегда при себе есть мнение. Вы однажды уже испортили всю игру, потому что руководствовались исключительно своим мнением и не выполняли того, что вам написали в маршруте, хотя накануне получили от меня рубль именно за то, что должны были строго следовать всем указаниям в карте, а не за ваше драгоценное мнение! Вы для чего сегодня пришли? Проповедовать?.. У меня для вас ничего нет и не будет, так что прошу вас сейчас же выйти!..

Длинноволосый несколько секунд стоял, не двигаясь, словно не мог сообразить, чего от него требуют и, наконец, медленно пошел к дверям, стараясь не глядеть на остающихся и в то же время как-то неловко им кивая.

– С ума можно сойти! – тараща глаза, произнес Гарнизонов. – Каждый мнит себя стратегом... у него – мнение! Все. Давайте по завтрашней игре.

Когда, спустя часа полтора, стали расходиться, Тимницын захотел переговорить с Почиваловым, но тот торопился, да и Тимницына еще задержал Вытютенев; остановив его, он сказал:

– Я согласен с тем, что вы говорили...

– Что я говорил? – нетерпеливо спросил Илья.

– Что надо искать в другом направлении, внутри... Я согласен.

– Вы перепутали. Это был не я. Другой человек.

Вытютенев некоторое время смотрел прямо в глаза Тимницыну, как если бы тот продолжал говорить, потом спросил:

– Он уже ушел?

– Да вы что, спали что ли? Извините, я спешу.

Когда он выбежал на улицу за Почиваловым, тот уже исчез; Тимницын остался у ворот дожидаться Лиду.

Она вышла, взяла его под руку и прильнула лицом к плечу.

– Так интересно! – сказала она, кокетливо ежась. – Я, правда, почти ничего не поняла, но все равно...

– Ничего, – сдержанно произнес Тимницын, – я тоже мало что понимаю.

– А ты знаешь, вот этот, хозяин... как его?

– Гарнизонов.

– Да. Он мне тоже предложил играть. Даже телефон взял на всякий случай.

– Ну, а почему бы и нет... – пожал плечами Тимницын.

V. Встречи на маршруте

Игра называлась «Пядь за пядью»; продолжительность – 2 часа 10 минут; количество играющих – 7 человек.

Начиналась игра в 16.09, Илья вступал только в 16.35; в 16.00 он сверил по радио выданные ему Гарнизоновым часы и отправился к артиллерийскому училищу, у центрального входа в которое был его отправной пункт.

В назначенное время, прошептав: «строго по форме», он тронулся в путь и, касаясь ладонью каждого третьего дерева (отцветающие акации), пошел в сторону Голодаевки вдоль училищной ограды, за которой под упругий рев труб, колеблемый теплым ветром, и буханье барабана маршировали по плацу курсанты. В разных концах города в это время двигались в разных направлениях и совершали предписанное остальные игроки.

С самого первого появления у Гарнизонова Тимницын четко и добросовестно выполнял все, что от него требовалось, но никакого дополнительного любопытства не проявлял, раз и навсегда удовлетворившись объяснением Жижина, что игры это своего рода компенсация для лишившегося руки Гарнизонова-музыканта; он даже ни разу не взял пролистать лежавший всегда на видном месте французский журнал по современному искусству, где была напечатана статья, посвященная гарнизоновским играм. В этом невнимании было что-то старательно-демонстративное, но оно помогало сохранять независимость (или иллюзию ее) и держаться особняком в компании Гарнизонова, иногда чрезвычайно напоминавшей секту Чмонова. Однако Тимницын не стал бы утверждать, что совсем уж не испытывал к играм никакого интереса. Было, было в них что-то завораживающее, что-то роднящее с теми, до муки бестолковыми, беспорядочными метаниями по Лидии, которым он никогда не мог найти вразумительных объяснений. Впрочем, с объяснениями и здесь было не лучше; стихийность тут прикрывалась степенностью и расчетом, а смысла было ровно столько же.

Тимницын был честным и исполнительным игроком. Сюда, правда, вмешивалось и одно щекотливое обстоятельство. Как уже было сказано, служба у Гарнизонова оставалась единственным, что еще связывало послушника Тимницына с наставником Жижиным. Тимницын совсем не дорожил этой связью и давно бы послал Жижина ко всем чертям, но сначала ему пришлось бы признаться, что Жижин послал раньше его самого. Тимницын вообще в этой истории чувствовал себя обесчещенной и брошенной девицей и, чтобы избавиться от такого неблагородного ощущения (уже только поэтому), он продолжал выполнять распоряжение Жижина участвовать в гарнизоновских играх. К тому же окончательно разорвать с Петром Андреевичем – может быть, это и покажется смешным – ему мешало заявление, адресованное начальнику жилищно-эксплуатационной конторы № 21 тов. Тахтасьеву. Странное дело: порой Илье казалось, что ни один любой другой договор не смог бы держать его крепче, чем та проклятая бумажка с его закорючкой вместо жижинской подписи.

Проходя мимо голодаевской церкви, Тимницын увидел расположившихся на паперти Плуга и Никиту, который где-то неподалеку жил. Нечесаный и небритый Плуг сидел прямо на плитах, вытянув сложенные одна на другую ноги, и деловито рылся в карманах, рядом лежали его палка и раздавленная кроличья шапка; Никита же, напротив, со всею возможной серьезностью исполнял роль нищего: он стоял в двух шагах от Плуга, скорбно склонив голову и шапку держа в руке. Путь Ильи лежал по другой стороне улицы, и он остался незамеченным.

День был теплый, душный; дул размеренный ветер; утром прошла гроза, часа два назад опять лил дождь, и чистые тротуары до сих пор были в мокрых пятнах. От крохотного базарчика с пятком старушек, торговавших цветами и зеленью, улица круто шла вниз; на мостовой асфальт уступил место булыжнику, а на тротуарах он пошел буграми и трещинами, и в разрывах на черной земле резко зеленела вымытая трава.

Из подворотни ему навстречу выбежал плотный крепколапый щенок и, весело облаяв, сел в лужу чесаться. Илья вошел в перекошенный, заплеванный подсолнуховой шелухой подъезд,

поднялся на второй этаж, встал перед дверью квартиры № 8 и достал листок с гарнизоновским текстом.

«Из тьмы – во тьму, из немоты – в немоту, из паузы – в паузу: скорбя, стеная, путаясь, спотыкаясь...»

Прошедшая мимо него женщина уже снизу спросила:

– Кого-то ищете?

Илья молча покачал головой.

Когда записка была дочитана, он сложил ее вдвое и бросил в щель для почты.

Выйдя из подворотни, он быстро поднялся до Варварьевской и свернул налево. Теперь надо было торопиться. Путь его лежал в сторону мечети, далекий куполок ее минарета время от времени проскакивал между кронами деревьев. Игра заканчивалась в 18.19. (ох, уж эта гарнизоновская точность), и Илья должен был остановиться там, где его застанет конец игры. По дороге ему предписывалось инструкцией перекладывать монету за монетой горсть мелочи из одного кармана в другой.

На углу Варварьевской и Бригадной его окликнули. Озираясь, Тимницын ожидал увидеть кого-нибудь из игроков, чей маршрут в этом месте пересекался с его, но обнаружил рядом с собой Алхимова.

– Извините, я не могу сейчас останавливаться! – смущенно улыбаясь, сказал он. – У меня игра, я...

– Я понял, понял. Гарнизонов. Хорошо, что я вас встретил, – отвечал Алхимов. В облике его почти ничего не изменилось с зимней их встречи возле тюрьмы: те же сандалии на босу ногу, тот же вещмешок, та же короткая стрижка; похудел, пожалуй.

Вспомнив, чем закончилась та встреча, Тимницын нахмурился.

– Прежде всего я бы хотел вас предупредить о том, что вы попали в нехорошую историю, – сказал Алхимов, шагая плечом к плечу с Тимницыным, – я имею в виду Жижина. Сейчас нет возможности подробно говорить, но что такое работа на учителя, вам ведь, наверное, известно?..

– А вам-то что?.. – недружелюбно произнес Тимницын.

– Я понимаю, вы сердитесь на меня за последнюю нашу встречу, но я тогда не мог... так получилось, поверьте... и извините. Если бы вы прочитали ту книгу, тем более раз уж вы играете у Гарнизонова, то может быть поняли бы... А сейчас я хотел попросить вас о помощи. Это важно. Я чаще всего бываю в одном доме на Безменовке, возле морга, и если бы вы согласились встретиться, я бы сказал вам адрес и мы бы условились о времени... В чем дело?!..

Вопрос был обращен к невесть откуда взявшемуся Азиатцеву.

– Молодой человек! Вы тут сейчас не совсем кстати, – сказал с одышкой Азиатцев, продолжая держать Алхимова за локоть и вклиниваясь между ним и Тимницыным. – Я говорю вам: вы мешаете!..

Так, словно рассорившиеся, но куда-то вместе спешащие приятели, они молча прошли быстрым шагом метров пятьдесят. Тимницын не глядел на попутчиков и только краем глаза видел, как сошел с тротуара на мостовую и ушел в сторону Алхимов и тотчас же отстал за собственной ненадобностью Азиатцев. Однако, не прошло и минуты, как Алхимов опять подскочил к Илье и скороговоркой проговорил ему в ухо что-то, из чего тот – проревевший мимо автомобиль сожрал середину фразы – услышал лишь вступительное «если ты готов...» и заключительное «твоя воля, будь!», и где-то в середине мелькнуло «расстанься» или «останься». Набег Алхимова был столь стремительным, что когда недалеко отошедший Азиатцев подбежал его отогнать, того уже и след простыл. Запнувшийся Тимницын прибавил шаг, чтобы поскорее уйти с места происшествия и избавиться от обоих.

С Азиатцевым как раз все было понятно. Гарнизонов крайне редко использовал его как игрока, зато довольно часто привлекал в качестве контролера. Таким образом, каждый играющий должен был иметь в виду, что, возможно, находится под надзором Азиатцева, а через него, естественно, под недреманным оком самого Гарнизонова. С нарушителями Гарнизонов был строг:

лишал вознаграждения и отстранял от игр на время или же навсегда, как это, должно быть, произошло с тем длинноволосым бородачом. Илья мог предположить, что после вчерашней беседы с Азиатцевым его будут пасти, и поэтому появление Азиатцева, хотя оно и явилось неожиданностью, его не удивило.

Что же касается Алхимова... Впрочем, и тут все было ясно. Теперь у Ильи не оставалось сомнений, что Алхимов – сумасшедший.

VI. Поиски и находки

День начался с переполоха.

Ночью Тимницын ездил по самому длинному 33-му маршруту, в Дальние Ключи. Из-за опоздавшего водителя выехали поздно, в половине пятого, так что домой он вернулся только к девяти, лег спать в десятом. А около двух его разбудила Лена и сообщила, что исчезла мать, вышла из дому в тот момент, когда та стирала. К этому времени Лена уже успела обежать квартал и все близлежащие магазины, опросить соседей и продавцов – никто из них матери не видел. Сквернее же всего было то, что в комнате матери осталась лежать картонная бирка на шнурке с именем и адресом, которую аккуратная Лена каждое утро вешала ей на шею.

Лена все быстро рассказала и ушла. Спустя считанные минуты выскочил на улицу и Илья. Он тоже обежал квартал, обошел магазины, обследовал все дворы, покружил в Губернаторском саду, вернулся домой проверить, не появилась ли мать, и снова отправился на поиски.

На улицах, как и положено в воскресенье, было многолюдно, и скоро внимание Тимницына, переутомленное пристальным вглядыванием, принялось шутить с ним шутки, то и дело предлагая на роль матери кого-нибудь из прохожих, подсовывая в качестве приманки то одно, то другое неуловимое сходство с нею, и на доли секунды привязывая к очередному претенденту.

Тимницын еще раз вернулся домой, покурил и опять вышел. Понимая всю безнадежность затеи и в то же время не смея отсиживаться дома, Илья на этот раз решил внести некоторый порядок в поиски. Он вспомнил неоднократно звучавшие материнские угрозы бросить их с Леной и уехать к какой-то самой близкой своей подруге, которая от угрозы к угрозе меняла имена и была одержима небывалой страстью к перемене мест, исколесив за последние годы всю страну вдоль и поперек. Тимницын отправился на вокзал.

По дороге (сесть в какой-либо транспорт не было никакой возможности, и потому он пошел пешком) Тимницын задумался о том очень неприятном ощущении, которое до сих пор преследовало его после разговора с Азиатцевым на кухне у Гарнизонова. В особенности не понравилось ему сообщение, что беседа их была частью игры, а следовательно и сам Илья, хотел он того или нет, был участником, то есть им распоряжались, даже и не поинтересовавшись его мнением на этот счет. Илья не смог бы толком объяснить, чем именно он был так сильно раздражен. В конце концов любого первого встречного можно с таким же успехом объявить участником какой-то своей игры – что до того первому встречному? Так живущие рядом с душевнобольным и не подозревают, какой ролью наделило каждого из них больное воображение их соседа, а если бы даже узнали – так что? На то он и душевнобольной. И все же было в этом что-то гнетущее. Впрочем, возможно он просто не вовремя об этом думал, и растущая тревога за пропавшую мать отбрасывала на его размышления свою тень.

Проведя на вокзале почти час, обойдя все углы и закоулки, прошагав из конца в конец все заплеванные раскаленные перроны, вдоволь надышавшись зловонным воздухом залов ожидания и касс, наглядевшись на потных измаянных пассажиров, наслушавшись детских рыданий и хамских окриков носильщиков, Тимницын, как в райский сад, вышел наконец на привокзальную площадь и, словно в знак благодарности за освобождение, опустил в ладонь нищенки гривенник и немедленно получил за это «спаси Господи!».

Следующим пунктом была Безменовка. Илье пришло в голову, что мать вполне могла отправиться туда, на их старую квартиру. И хотя он был почти уверен, что там наверняка уже побывала

Лена, все-таки решил проверить. Беспокойство за мать, немного было утихшее, как будто растворившееся в вязком равномерном гуле вокзальной сутолоки, вновь овладело им, и когда он по дороге на Безменовку еще раз зашел домой и опять никого там не обнаружил, то встревожился уже не на шутку. А между тем окружающая жизнь всевозможными намеками, мелкими происшествиями пыталась ему лишний раз доказать, что опасения его совсем не напрасны. Сигналы тревоги были самыми разнообразными: раздавленный колесами, геральдически распластавший крылья на мостовой голубь; отдаленный вой медицинской сирены; догнавшая и обогнавшая его фраза: «Ты же знаешь: его хоть режь, хоть убей, а он все равно будет свое гнуть!..», в которой ключевыми словами были, конечно же, «режь» и «убей»; шумное падение на другой стороне улицы неловко затормозившего велосипедиста... – одним словом, к бывшему своему дому на Безменовке Тимницын подошел уже в довольно взвинченном состоянии, и совсем упало у него сердце, когда ему навстречу из подворотни две женщины вывели избитого пьяного парня; в разодранной рубахе, с разбитым лицом, со смоченной свежей кровью и в то же время грязной, свалявшейся, будто снятой с чужой головы повязкой над рассеченной бровью пьяный своим тяжелым неживым взглядом словно подытожил все полученные Ильей до его появления сигналы, не оставляя никакой надежды на благополучный исход в поисках матери.

Однако двор, в котором некогда жил Илья, был, как всегда, завороженно тих, так же необитаемо гулок был подъезд, и длинные отчетливые звонки никого не выманили из их бывшей квартиры, и только грустно отозвался на них телефон.

Тимницын вышел на залитый солнцем бульвар и долго стоял, упершись коленями в каменный парапет над обрывом, глядя на волшебно теснящиеся ослепительно белые облака над линией горизонта. Внизу покрикивали буксиры; как будто сами по себе двигались и разворачивались желтые портовые краны; в сторону ямской насыпи медленно тянулся товарный состав, увозя из города на посыпанных мукой крышах ненасытных лидийских голубей.

По узкой небезопасной лестнице с запавшими кое-где в ступенях плитами, распугивая ящериц, лежавших зелеными пряжками на горячих камнях, Илья спустился на Лабазную и вскоре оказался на ул. Героев Стратосферы, повинуясь тому плотскому разжению, что охватило его еще на бульваре, когда он среди прочих узнал крышу Лидиного дома. Однако, когда он уже был почти у цели, во всю ширь его распалившегося воображения на полных правах соседки по дому расположилась Пчелка, чья доступность (не требовалось ни прологов, ни предлогов, ни послесловий) сразу же взяла верх. «Только бы она была дома, только бы была дома!..» – просил Илья. Она оказалась дома; замкнув в кулак халатец под тяжелой приподнятой грудью (у Тимницына заныли ладони), молча и холодно оглядела гостя.

– Вот... зашел проведать, – сказал Илья, изо всех сил удерживая на губах улыбку, норовившую перейти в плотоядный оскал.

– Ну и напрасно, – ответила Пчелка, закрывая дверь.

Илья задержал дверь ногой.

– У меня сейчас Яков, – сказала Пчелка. – Может быть ты к нему?

Вид у Ильи был, должно быть, довольно жалкий, что и отразилось в презрительной усмешке хозяйки. Он убрал ногу. Дверь захлопнулась. Тимницын готов был волком завыть. Он ринулся в соседний подъезд.

Увидев его, Лида испугалась.

– Что случилось?!..

Илья молча прошел в комнату и зашагал по ней из конца в конец.

– Что-то произошло, Илья? – опять спросила Лида.

Тимницын опустился на кровать и закрыл ладонями пылавшее лицо, чтобы скрыть отчетливо на нем проступавшую, как ему казалось, гримасу похоти; выскочив из каких-то сновиденческих глубин, по темным углам его сознания, не пробиваясь на поверхность, но и не исчезая, отчаянно металась случайно вспугнутая мысль, фантастическое опасение: вот-вот под действием жара и нарастающего давления крови с мягким хрустом придут в движение кости и придадут его черепу самую что ни на есть безобразно красноречивую форму этой похоти.

– Мать пропала, – вымолвил Илья.

– Что значит «пропала»? Когда? – спросила Лида и (расчет оказался верным) села рядом, да еще положила руку на плечо.

– Сегодня утром. Днем... Незаметно ушла из дома. Я уже весь город обегал...

И больше не в силах себя сдерживать, Илья перебросил раскаленное лицо из своих ладоней на Лидину грудь, повалил ее навзничь, сгреб под себя; кажется он причинил ей боль, она, сопротивляясь, вскрикнула, застонала, но он уже был по ту сторону и застонал сам: словно тот тончайший шелк, в скользкой тесноте которого, задыхаясь, томились его туго-натуго спеленутые внутренности, наконец выдернули из него несколькими точно отмеренными рывками.

...Прошло сколько-то времени, должно быть совсем немного, пять-семь скверных минут. В ушах у Тимницына до сих пор стоял шум короткой схватки, как будто все это еще происходило где-то в соседней комнате; «Илья, погоди... ну, не надо, я не хочу!..» – просила Лида. Тимницын лежал ничком, уткнувшись в складку покрывала, и чувствовал неумолимое приближение депрессии; что-то предпринимать уже было поздно (да и что?), оставалось подчиниться. Она караулила его давно и, очевидно, объявилась теперь заполнить место, освобожденное удовлетворенным желанием. Илья ощущал ее медленно-тяжелый накат затылком и мог бы даже точно указать направление, откуда она надвигалась – с севера, со стороны Безменовки.

У внешнего края левого глаза шевельнулась прядь Лидиных волос. Осторожно приподняв и повернув лицо, он увидел, что она лежит на боку, спиной к нему. Так же бесшумно он отвернулся и уткнулся в ту же складку покрывала, чуть влажную от его дыхания. Менее всего на свете ему сейчас хотелось видеть ее лицо. Однако время шло, и надо было как-то выбираться из этого положения. Вероятно, о том же думала теперь и Лида.

– Илья, ты меня любишь? – вдруг тихо сказала она.

Тимницын едва не заскрипел зубами от отчаяния, но скрепился и ответил вопросом на вопрос:

– Зачем ты спрашиваешь?

И даже ухитрился поверх отчаяния и уже целиком овладевшей им депрессии залюбоваться отточенной неопределенностью этой фразы. Через секунду он вскочил и, стараясь не смотреть на Лиду, принялся приводить себя в порядок.

– Мне пора, извини, надо обязательно сегодня же найти мать, – скороговоркой произнес он.

В ответ он как будто услышал всхлип. Он замер. Нет. Ему почудилось. Но он готов был поклясться, что она сейчас все так же лежит спиной к нему, лицом прямо напротив того места на дверном косяке, где штришками отмечен по годам ее детский рост, и плачет, или вот только начинает. Нет, она не всхлипывала; может быть, он просто каким-то неизвестным чувством уловил чуть возросшую в воздухе влажность?.. И не дожидаясь развития, он вышел вон.

Хотя дело шло к вечеру, на улицах было все еще жарко. Подниматься на бульвар по лестнице у Ильи не было сил, и он направился в сторону фуникулера. Улица Героев Стратосферы была одной из самых малолюдных во всей Лидии, но автомобильное движение здесь не затихало ни на минуту. По всей ее длине не росло ни одного хотя бы самого чахлого деревца, а над мостовой постоянно висел густой синий чад выхлопных газов. Несмотря на все желание побыстрей попасть наверх, в город, Тимницын медленно и обреченно брел и брел мимо мрачных, как будто и нежилых вовсе, порыжевших от пыли и заката домов с их глубокими, как норы, зловонными подворотнями; кое-где в окнах горел свет, и это было отвратительно до отчаяния. В мозгу у него творился какой-то сумбур: мысли о матери, о Лиде, об Азиатцеве с Гарнизоновым и еще разные другие помельче роились, теснились, путались, прыгали друг через друга без всякой связи между собой, словно кто-то пригоршнями без устали забрасывал их ему в голову. А когда удавалось от них отвлечься, ему казалось, что идет он уже очень долго, не один час. Время от времени наплывали самые неожиданные и тоже как будто без всякого повода воспоминания. Так он вдруг вспомнил, как еще аж в марте шел с Жижиным в первый раз к Левадийскому и тот сообщил ему, что кто-то ударил по голове жену Навроцкого. И вот почему-то только сейчас, на этой выжженной солнцем, воню-

чей улице он крепко задумался над словами Жижина. Тот, кого он ударил тогда кирпичом (не по голове!), был, разумеется, не Виктор, потому что меньше чем через час он встретил Виктора с Сеней-старшиной у Жижина. Но это не могла быть и его жена. Конечно, в наброшенном на голову пальто он мог принять ее за мужчину, но поскольку свою жертву он застал за отправлением, так сказать, естественных надобностей, то тут вступают в силу аргументы анатомического свойства, и никаких сомнений в том, что он ударил мужчину, быть не может. Если Жижин знал о покушении, он не мог не знать, кто был жертвой, ну, во всяком случае, не мог не знать, что это не жена Виктора. Вернее, не мог знать, что жена. Но тогда для чего он сказал, что жена? С какой целью? Да: для чего это было сказано?.. Или кто-то ударил и жену Виктора? И злоумышленник тоже остался неизвестен?.. Нет, не то. Тогда что?.. Начиная сызнова и двигаясь все по тому же заколдованому кругу, Тимницын никак не мог нащупать хоть какой-нибудь смысл в жижинском сообщении и запутывался в нем все больше и больше. А может быть, это с таким расчетом, как головоломка, и было сказано, а он в тот момент не обратил внимания?.. Вроде этих дзен-буддистских загадок. Как их? Коаны. Да, коаны. Его, кстати, всегда от них мутило; раздражали; тьфу. Приторная парадоксальность; игривая умунепостижимость; узкоглазая хитреца... Случай, когда один заезжий востоковед решил озадачить Плуга парадоксом: «Известно, как звучит хлопок двумя ладонями, а как будет звучать хлопок одной?», и пьяный Плуг, не долго думая, съездил экзаменатору по физиономии. Илью неизменно веселила эта история, но сейчас он вспомнил ее с такой мрачной сосредоточенностью, будто то была трагичнейшая страница в его жизни. Приторная непостижимость, приторная непостижимость, крутилось в мозгу, но к чему относились эти слова, он уже забыл, попытался вспомнить и не смог. Приторная непостижимость, да.

Так он и шел, держась ближе к домам, стараясь не выходить из их куцей тени и не догадываясь перейти на другую сторону, где тень была пошире, пока вдруг едва не наскочил на сидевшую подле одной из подворотен женщину. В замешательстве он встал у нее за спиной. Это была молодившаяся, выкрашенная в брюнетку пожилая женщина, почти старуха; одной рукой она обнимала сидящего у нее на колене плачущего, перемазанного зеленкой ребенка двух лет, а другой потрошила лежавший в подоле ломоть серого хлеба и бросала крошки ходившим у ее ног голубям. Подкидывая коленом ребенка, который никак не хотел униматься, она неутомимо повторяла: «Смотри птички: гуль, гуль, гуль! Смотри птички: гуль, гуль, гуль!»

«И зачем они здесь сидят, среди этой вони, чада?..» – стоя над нею, оставаясь незамеченным, думал Илья и думал так упорно, точно ему обязательно надо было найти ответ, чтобы двигаться дальше.

«Смотри птички: гуль, гуль, гуль! Гуль, гуль, гуль!..» На мостовой, прямо напротив подворотни с визгом и грохотом затормозил тяжелый грузовик, и полуголый водитель прокричал Тимницыну: «Я так на объездную выеду?»

Медленно приподнимая плечи, Тимницын перевел взгляд на женщину, но та продолжала самозабвенно гулькать, не замечая никого вокруг, возможно она была глухая. Тимницын испуганно, и ровным счетом ничего не понимая, опять повернулся к водителю. «Ну так что? Чего молчишь?» – раздраженно крикнул тот.

Тимницын поднес ко лбу ладонь. Водитель сплюнул и скрылся в кабине; грузовик взревел и укатил. Тимницын стоял, потирая лоб. Тот едва наметившийся изъян в окружающем с ускользанием чего-то важного, насущного, который почувствовал Тимницын, приблизившись к женщине с ребенком, вдруг разом, обвально разверзся перед ним пропастью, и он, кажется, уже в нее летел, во всяком случае слабость, разлившаяся по всему телу, была весьма сродни невесомости свободного падения. Он стоял и никак не мог вспомнить, ни где он находится, ни кто он такой – ни имени, ни фамилии – ничего!

«Гуль, гуль, гуль! Гуль, гуль, гуль!..» «Меня зовут, а меня зовут...» – прошептал он, надеясь, что забытое само с разбега вытянется, откроется, и ему показалось, что он вот-вот грянется в обморок, растратив все силы на то, чтобы постичь самое простое, данное каждому: кто он такой? и где находится?..

Но оказалось, что никаких усилий и не требовалось. Внезапно исчезнувшее так же вдруг и объявилось, и в следующее мгновение он уже знал, что он – Илья Тимницын, который стоит на улице Героев Стратосферы в городе Лидия. Остались только сходящая на нет дрожь и холодный пот.

Илья обошел женщину с ребенком и скорым шагом направился к фуникулеру.

Когда он вернулся домой, мать уже была там; он слышал, как она на кухне объясняла Лене правила поведения во время землетрясений. Илья даже не стал узнавать, где и как она отыскалась. Он прошел прямиком в свою комнату и упал на кровать.

VII. Тревога

Тимницын едва коснулся затылком подушки, как тотчас же и поплыл. Однако не прошло минуты, и он испуганно подскочил: давешний неуклюжий велосипедист с Безменовки звонко рухнул у самого изголовья кровати. Бойко застучавшее сердце успокоилось сразу же, как только он опять улегся. Вернувшиеся было беспорядочные впечатления минувшего дня продержались недолго и ниже по течению растворились в сладостной путанице.

Проснулся он от того, что его трясли за плечо. Илья открыл глаза. Было темно. Прямо перед собой, в нескольких сантиметрах, он увидел чье-то лицо. В первую минуту он даже не мог сообразить, где находится. Он отпрянул и испуганно произнес:

– Что!

– Терентий Федорович умирает, – проговорило лицо.

– Что? – переспросил Тимницын и только тогда понял, что перед ним Никита.

Он медленно, тяжело поднялся и сел на кровати.

– Что ты сказал?

Никита повторил сообщение.

Илья встал; с трудом удерживая равновесие – до того хотелось спать – сделал несколько неверных шагов к столу. Никита жадно следил за каждым его движением.

– Надо идти? – спросил Илья, не узнавая собственного голоса.

– Пойдем, пожалуйста...

– Погоди, что значит «умирает»? – наконец опомнился Илья. – Напился что ли?

– Нет, он не пил сегодня, совсем чуть-чуть, еще утром... он заболел, горит весь...

– Идем,– согласился Илья.

Он поднес будильник к окну – свет зажигать не хотелось – было половина десятого; пригладил волосы и сказал:

– Идем.

По дороге он обстоятельней расспросил Никиту. Оказалось, что он уже дважды приходил к Тимницыну. Был он и у Левадийского, и тот обещал, что будет, но пока не появился. Что касается Плуга, то он почувствовал себя плохо еще вчера, ближе к ночи, однако ночь провел более или менее спокойно. Но уже сегодня утром он не смог встать с постели и жаловался на боли в груди и под лопаткой, а к вечеру начала быстро расти температура. Никита купил каких-то лекарств, но теперь был уверен, что дело гораздо опасней. Вид у Никиты, когда он все это рассказывал, был самый жалкий, он едва не плакал, хотя, кажется, несмотря на треволнения, свою дозу спиртного он принять не забыл.

Когда они без стука вошли в комнату Плуга, Левадийский был уже там, сидел за столом и тасовал карты. У него за спиной, у дальней стены сидела бок о бок молодая пара с грудным ребенком, кажется, соседи Плуга. Из-за шкафа, стоявшего параллельно кровати, выглянул Жижин.

Никита присел на стул у двери, а Тимницын, поздоровавшись с находившимися в комнате, прошел к кровати. Плуг лежал на спине, укрытый по подбородок лоскутным одеялом. Время от времени он начинал невнятно что-то бормотать. Лицо его осунулось, влажные свалявшиеся волосы плотно облепили голову, и оттого, должно быть, он казался моложе. Дышал он трудно, иногда морщась и пристанывая на выдохе.

Вдруг он громко, с какой-то мучительной тоской, словно кого-то просил и уже не в первый раз, произнес:

– Выше нельзя, нельзя!..

– Да уж куда выше, – негромко отозвался за спиной Тимницына Жижин; он сидел, откинувшись затылком на стену, обняв стоявший на коленях портфель.

С тяжелым сердцем Тимницын отошел от кровати, растерянно встал посреди комнаты.

– Что, помирает дружочек-то! – как-то зло выговорил Левадийский, раскладывая перед собой карты.

– Может быть, обойдется, – сказал Тимницын. – Может быть, это только простуда с высокой температурой... у меня такое бывает...

– Сравнил! – усмехнулся Левадийский и крепко хлопнул себя по шее. – Да сколько ж у него тут блох! С ног до головы уже искусали... Обойдется! Как же! Законы природы ненарушимы: коль уж стервятники слетелись, значит жди конца, они это за версту чуют!.. Что, родимые, чуете смертушку? – произнес он, оборачиваясь к молодой паре.

Илья, совсем не обративший на них внимания вначале, теперь оглядел их с изумлением; только после слов Левадийского до него дошел смысл их присутствия здесь: молодая семья, конечно, ждала смерти Плуга, чтобы первыми вселиться в его комнату. На руках у мужчины спал ребенок, принесенный сюда, очевидно, для того, чтобы никто не сомневался в серьезности их намерений. Можно было бы сказать, что они уже и вселились и только ждут выноса тела, которое к их досаде еще дышало, двигалось и бормотало. Впрочем, ни ожидания, ни досады их лица не выражали, они были усидчиво-бесстрастны. Это были, скорее, маски, надетые людьми, готовыми снести все: ругань, унижения, плевки, даже побои. Они сидели бок о бок на принесенных стульях, не шелохнувшись, и глядели перед собой, как прилежные посетители фотоателье. Это сходство заметил и Левадийский.

– Посмотрите на них, уселись, как на фотографии! Потерпите немножко, сейчас вылетит птичка!..

– Из самых недр, – отозвался Жижин.

– Как вас зовут, падальщики? Как ваша фамилия? – продолжал обращаться к молодой паре Левадийский. – А вы хоть знаете, что тот, кто там сейчас лежит, обессмертил вашу поганую квартирку и ваши никчемные имена! – эффектно тыча пальцем в сторону кровати, патетически воскликнул он, вероятно имея в виду манеру Плуга не мудрствуя лукаво давать героям сочинений фамилии соседей (а в «Записках космонавта» и весь интерьер звездолета дотошно был списан им со своей квартиры).

Илья только сейчас заметил, что Левадийский нетрезв.

– А там, – показывая большим пальцем за плечо, сказал Левадийский, – за стеной, еще один деятель с топором притаился, обещал, что как только все кончится, начнет врубаться. Он вам тут устроит ледовое побоище, уж будьте уверены!..

Из-за шкафа раздался довольно веселый смешок Жижина.

– Ситуайен дю монд! – произнес он.

– Я отсюда скорую вызвал, – немного успокоившись, сообщил Левадийский Тимницыну, – что-то их долго нет. Вы пошлите вниз этого вашего... как его... – он сделал жест в сторону Никиты, – пусть поглядит. Может они найти не могут...

– Я сам пойду, – сказал Илья и направился к двери; не доходя, остановился и грустно промолвил, – я знаю, где он простудился – на паперти в церкви на Голодаевке. Я его там видел...

– Ну и что?! – так и вскинулся Левадийский. – Какое это теперь имеет значение: на паперти или не на паперти?! Я ему это на надгробном камне выбью: «Здесь лежит Терентий Плуг, простудившийся на паперти»!..

– Отходит! – вдруг объявил Жижин, незаметно подошедший из своего угла к больному.

Илья вздрогнул; у двери шумно вскочил на ноги Никита; скрипнул стул под кем-то из молодой парочки; Левадийский быстро поднялся и направился к кровати.

– Я пошутил, – сказал ему навстречу Жижин.

Левадийский строго взглянул на него, укоризненно качнул головой и вернулся на место; достав из внутреннего кармана пиджака плоскую бутылочку, отпил несколько глотков.

Илья вышел. Он вызвался встречать «скорую» по двум причинам: во-первых, чтобы таким образом несколько сгладить хамство Левадийского по отношению к Никите (хотя, запоздало сообразил он, Никите, наверное, гораздо легче было бы сейчас встречать «скорую», чем сидеть там), а во-вторых, ему не хотелось находиться рядом с Жижиным. Илье почему-то казалось, что именно он явился поводом и целью жижинского более чем неуместного балагурства. Господи, да он и в самом деле ощущал себя обесчещенной и покинутой девицей!.. Впрочем, все это была такая чепуха по сравнению с больным и, может быть, умирающим Плугом...

Поскольку лифт не работал, Илья выбрал путь покороче и спустился по черной лестнице. Просторный гулкий двор (таких в Лидии было немного) никак специально не освещался, только усато вспыхивали упрятанные под проволочные сетки лампочки сигнализации, светились мелкие окошки магазинных подсобок и одно большое окно посудомоечной ресторана. В эту минуту в посудомоечной никого не было; на гору лежавшей в раковине посуды лилась, брызгая во все стороны, вода из крана, а рядом на столе теснились стопки уже вымытых тарелок, стаканы, фужеры, рюмки. По нехитрой ассоциации Тимницын вспомнил сверкающую, звонкую, поющую («венеция») посуду в комнатке Левадийского в тот вечер, когда он забрел к нему, разыскивая Жижина, чтобы разобраться по поводу Якова. Тут же ему смутно вспомнился и обрывок разговора, который он тогда, завороженный этим зрелищем, нечаянно подслушал. У Тимницына от возбуждения даже зачесалась голова. Ну да! Левадийский возмущался тем, что кто-то одалживает под его имя деньги, потом он пожелал, чтобы этот кто-то сдох, а Жижин сказал, что ждать осталось недолго, или что-то в этом роде... Ну, конечно, конечно, речь тогда у них шла о Плуге! Конечно! Да это же они все и... Но слово «подстроили» так и не сорвалось с губ Ильи. Нет, это глупо, осадил он себя. Что значит «подстроили»? Хотели – да, но «подстроили»... Илье стало неловко за свой торопливый восторг. Он обошел стоявшие во дворе, излучавшие сухое накопленное за день тепло автомобили, и вышел через глубокую высокую подворотню на освещенную улицу. Но все-таки хотели, ждали, только ждали не освобождения жилплощади, как эта супружеская парочка, а... А чего они ждали? Ну, Жижин ждет смерти Плуга, чтобы включить его в свои мемуары, записки, или что у него там? Занимательное краеведение?.. А Левадийский? Ему-то чего ждать? Нет, ему-то как раз ждать нечего, и даже наоборот: где он будет держать свою мебель, когда умрет Плуг? Да, если подумать, и Жижину ждать особенно нечего. Он и так может написать все, что ему заблагорассудится. Ну, во всяком случае ему должно быть все равно. Зачем ему смерть Плуга?.. Нет, ерунда все это... Совсем ерунда. Совершеннейшая.

Разочарованный ходом расследования, Тимницын стоял у угла подворотни под освещенной табличкой с адресом. Мимо него бесконечным потоком, приостанавливаясь на светофоре, двигались машины; в черных стеклах изогнуто отражались, текли неоновые буквы названия ресторана – «ЮЖНЫЙ». Среди неторопливо идущих с вечернего променада по Большому Сысоевскому бульвару пешеходов Илья краем глаза выделил одного, выбивавшегося из общей массы чересчур бодрой, какой-то взвинченной походкой. Но обратил на него внимание только тогда, когда тот подошел к самой кромке тротуара и встал точно напротив, дожидаясь возможности перейти улицу. Илья резко развернулся и пошел в подворотню. Но, увы, уже было поздно, за спиной взвизгнули тормоза, и Тимницына окликнули по имени. Илья остановился и нехотя развернулся навстречу спешившему к нему Сумарокову, с которым не виделся месяца три.

Тот приблизился все той же бодрой, пружинистой походкой, как-то беспокойно передергивая плечами, поигрывая сжатыми в кулак руками; речь его тоже была неожиданно громкой, возбужденно-развязной. Со времени последней их встречи он порядочно располнел и превратился в довольно-таки плотного крепыша, чему еще способствовала короткая стрижка. В общем, от прежнего Сумарокова мало что осталось. Тимницын смотрел на него с большим удивлением.

– Что ты тут делаешь, Илья? Кого-то поджидаешь? А я недавно как раз тебя вспоминал. Ты, кажется, не узнал меня?

– Да... не сразу. Ты изменился.

– Изменился? Надеюсь. Очень надеюсь.

Он еще и шепелявил; кажется, у него недоставало двух-трех зубов. Зато как будто меньше стал заикаться.

– А меня здесь два месяца не было. Вот, несколько дней, как вернулся оттуда.

– Откуда «оттуда»? – спросил Тимницын.

– Оттуда? Да уж оттуда, из Дальних Ключей... есть там одно заведение, может быть слышал? – с некоторым подъемом и как бы с высоты своего горького опыта объяснил Сумароков.

В Дальних Ключах находилась областная психиатрическая больница.

– А как ты, Илья? Все упорствуешь? Не хочешь меняться? Ни в какую? Но ты, ведь, все равно изменишься! Хочешь или не хочешь. Радуйся, Илья!.. – Сумароков вдруг крепко хлопнул Тимницына по плечу. – Радуйся! Скоро все изменится, ждать осталось недолго! Совсем чуть-чуть. Неужели ты этого не чувствуешь?!.. Я тут на днях к тебе заходил, тебя не было, открыла ваша домработница, я хотел проникнуть – не пустила. А жаль. Хотел оставить тебе свое послание... А я все равно стою на том, что тебе многое дано. И ты все это получишь, как только найдешь в себе силы переступить. Надо только отбросить гордыню, все отбросить!.. Я даже завидую тебе, честное слово! Тебе есть от чего отказываться. Посмотри на меня, Илья! А ведь я мельче тебя, и всегда был, я это признаю, и мне это легче далось. Тебе нужен толчок, Илья, хороший толчок. Чтобы все перевернул. Ищи толчок, поверь мне... Я тогда вот, ну, когда меня ваша домработница не впустила, знаешь для чего хотел войти?.. Я ведь даже проследил за тобой, когда ты уйдешь, и хотел войти. Хотя, конечно, об этом нельзя рассказывать, уничтожается весь эффект, это нужно делать, но ты ведь умный человек, с воображением, ты можешь все это, если захочешь, внутри себя смоделировать и вызвать то состояние, какое могло бы у тебя тогда возникнуть, когда ты увидел бы... Знаешь какое послание я хотел тебе оставить?.. Представь, ты заходишь в свою комнату, а у тебя на столе, прямо в центре – куча! Понимаешь? Куча дерьма!.. Ты представь, ты только сразу перескочи через это возмущение, через эту бурю, которую тут же поднимает твое «я», перемотай это, прокрути... и вот тогда... понимаешь?..

Сумароков с выражением отвратительно слащавой, заговорщицкой хитрости уставился на Тимницына.

– Можешь представить этот переворот внутри себя, а?..

И опять та же гримаса. На одно мгновение Илье подумалось, что Сумароков над ним смеется, разыгрывает, но он тут же отбросил эту мысль. Прищурив глаза, чуть склонив на бок голову, Сумароков теперь глядел на Илью так, словно ждал и не хотел пропустить преображения собеседника, которое вот-вот, и не иначе как на его глазах, должно было произойти. Илья хорошо знал этот всегда раздражавший его взгляд, но в укороченных вариантах, еще по сходкам у Чмонова.

– Слушай, ты, – произнес, наконец, Тимницын, – пошел на ...!

Взгляд Сумарокова стал как будто чуть суше, но и только.

– Я же тебя предупредил, Илья: прокрути, промотай. Это еще буря, неразбериха, – назидательно промолвил он.

– Я говорю: пошел вон! – сказал Илья. – И больше ко мне не приближайся...

Сумароков, кажется, не придал и этим словам никакого значения.

– Может быть, ты хочешь меня ударить, Илья? – вдруг проницательно спросил он. – Ну, ударь, если хочешь... ударь... это хорошо.

Илье и в самом деле очень хотелось.

– Бей... ну! Тебе же хочется... давай!

Сжав кулак, Илья не ударил, а скорее толкнул, впрочем довольно сильно, Сумарокова в грудь.

– Ну вот! – ободряюще воскликнул тот. – А теперь я!

И Сумароков ударил Тимницына в лицо, да так, что он отлетел к стене; и в ту же секунду – Тимницын не успел опомниться от удара – Сумароков с криком «А теперь ты!» набросился на

него и так крепко обхватил, что Тимницын, как ни пытался, никак не мог ни вырваться, ни высвободить рук – Сумароков с цепкостью летучей мыши перехватывал любое его движение; при этом он повторял, как заведенный:

– Бей, Илья, бей, бей, ну, бей, давай, бей, бей, бей...

«А я вот сейчас милицию вызову! А ну быстро пошли отсюда!», – прокричал женский голос из глубины двора, со стороны посудомоечной.

И в то же мгновение в подворотню ударил яркий свет с улицы. Тимницын, изловчившись, резко мотнувшись в сторону, стряхнул с себя зазевавшегося Сумарокова, отшвырнул его к противоположной стене и побежал во двор под прикрытием въезжавшей машины «скорой помощи».

– Сюда, здесь!.. – задыхаясь говорил он вышедшему из машины врачу, приглашая его на черную лестницу, и оглядываясь.

Подворотня была пуста.

VIII. День рождения

Покружив над Плугом и заглянув ему в глаза, смерть и на этот раз решила не прибирать его к себе, и отошла до времени. К концу недели Терентию стало легче, однако, истощенный болезнью, чувствовал он себя все еще плохо и почти все время проводил в постели. Заботы о нем легли на верного Никиту; чем мог помогал и Илья.

Окончательно выздоровел Плуг аккурат к своему пятидесятилетию. Левадийский объявил о намерении отметить юбилей. Он взял на себя финансовое обеспечение торжеств, оговорив при этом, что никаких приблудных знакомых, которых у Плуга было по полдюжины в каждой забегаловке, он не потерпит и строго очертил круг приглашенных. Никита сбился с ног, бегая и в предыдущий, и в самый день праздника за покупками; в перерывах он привел в некоторый порядок комнату Плуга. На деньги Левадийский не поскупился, и все было приготовлено на самом приличном уровне, так что мнение Тимницына об Александре Борисовиче как о беззастенчивом эксплуататоре Терентия несколько пошатнулось. Из холодных закусок была хорошая колбаса, дунайская селедка, сыр, брынза, шпроты, кальмары, было несколько салатов, на горячее предполагались котлеты по-киевски из ресторана на первом этаже с молодой картошкой; напитки были на разный вкус: водка, мадера, пронзительно кислое «Мерло» и даже несколько бутылок «Токайского»; на десерт торт и пирожные.

Накануне Илья зашел к Плугу и вручил ему комплект не ношенного теплого белья, найденный среди отцовских вещей. Плуг был в восторге. Кальсоны он тут же передарил Никите, заявив, что не помнит такого, чтобы у него когда-нибудь мерзли ноги, а сорочку сразу же натянул на себя и назавтра в ней принимал поздравления.

Когда следующим вечером, в шестом часу, Илья вошел в комнату Плуга, там за широким дубовым столом, предназначенным для продажи, уже сидели Левадийский, Жижин, альбинос, Хнычев, Почивалов, Никита и старый знакомый Терентия, приглашенный Левадийским в качестве музыкального сопровождения, который весь вечер играл на аккордеоне давно забытые, слышанные Тимницыным еще в детстве мелодии: «Домино», «Шестнадцать тонн», «Ландыши» и проч. Тотчас вслед за Ильей вошли Гарнизонов с Азиатцевым. Они чем-то напоминали школьных подружек, решивших навестить старую больную учительницу. Гарнизонов протянул Терентию через стол букетик нарциссов и конверт с деньгами. Похохотав, они, не садясь, выпили по рюмке и ушли, сославшись на неотложные дела. Уходя, Гарнизонов напомнил Тимницыну и Почивалову, что завтра большая и сложная игра, и предостерег от чрезмерных возлияний.

Плуг усадил Илью рядом с собой, и тот живейшим образом принялся за еду, поскольку последний раз ел почти сутки назад.

Атмосфера за столом была самая теплая, дружески-непринужденная. Илья давно не чувствовал себя так хорошо, как в тот день, среди приятелей Терентия. Даже Левадийский ничуть не раздражал своими французскими словечками. Когда Илья вошел, его несколько напугало при-

сутствие здесь Хнычева, но и это скоро прошло. А Жижин его встретил приветливой улыбкой, как ни в чем не бывало.

В очередной раз налили, и Левадийский коротко провозгласил: «За Терентия! Сегодня пьем только за него!»

– Да!.. – со вздохом отозвался Жижин под звон рюмок и бокалов, – жизнь неудержимо катится к закату, и ничего с этим не поделаешь. Здравствуй, племя младое, незнакомое. Хочешь не хочешь, а здравствуй. И прощай...

Аккордеонист, серьезный, обстоятельный мужчина с лицом умного мастерового, поставил рюмку и бережно, как ребенка, поднял на колени инструмент; задумчиво пройдясь по клавишам, негромко заиграл. Что-то такое знакомое. Илья прислушался. Ну да! Может быть, самое любимое в детстве – «Маленький цветок». Яма, мать, лето... – колыхнулось и исчезло.

– Что-то ты настроен как-то в последнее время... меланхолически, – заметил Жижину Левадийский, особенным брезгливым движением длинных пальцев подбирая с тарелки бутерброд с ветчиной.

– Что поделаешь, – отвечал Жижин, – сплин-с...

– И шутишь как-то странно, – добавил Александр Борисович и вкратце рассказал, как Жижин во время болезни Плуга перепугал всех в комнате своим «Отходит!»

– А может, я и в самом деле, того... немного отошел... а потом вернулся, – предположил Плуг.

– Уж очень мне понравились слова Терентия «выше нельзя», – объяснил Жижин, – и я решил, что они вполне годятся для последней фразы. Поторопился... Не знаю как вас, а меня такие вещи чрезвычайно беспокоят. Жизнь прошла кое-как, так хоть на прощанье что-то эффектное произнести. Великие люди знали в этом толк. Один крикнул «Больше света!» и испустил дух, другой морошки попросил – тоже трогательно... Всегда есть маленькое опасение, что ляпнешь на смертном одре что-нибудь непотребное. Как один мой дальний родственник. Последнее, что он сказал, «пищали». Что «пищали»? Зачем «пищали»? Кто пищал? И что вообще имелось в виду: факт извлечения звуков или оружие?.. Чепуха какая-то, ни к селу, ни к городу... А мало ли на свете хороших, интересных слов!..

– Следует ли это понимать так, что ты тогда в некотором смысле желал кончины Терентия? – с притворной строгостью спросил Левадийский.

– Ну... в некотором смысле... – покивал Жижин. – То есть, если бы Плуг решил помереть в тот вечер, это был бы самый подходящий момент... Но он, как видите, моих ожиданий не оправдал, так что опасность, о которой я говорил, сохраняется.

Выпили за то, чтобы эта опасность сохранялась еще как можно дольше.

– А кроме того, в те дни я находился под сильнейшим впечатлением, – продолжил Жижин. – Один мой клиент, психиатр, сделал мне дивный подарок...

– Как фамилия? – деловито осведомился Плуг.

– Ты с ним еще не знаком, он недавно в Лидии... Так вот, был у него пациент с некрофильскими наклонностями, переводчик, который написал самоучитель финского языка. Очень своевременное, конечно, пособие, но уж больно специфическое. Мороз так и гуляет по коже в процессе обучения. Один из первых учебных диалогов звучит, например, так. Встречаются двое. «Здравствуйте!» – «Добрый день!» – «Меня зовут так-то. А вас?» – «А меня так-то». – «Где вы живете?» – «Я живу возле кладбища. А вы?» И знаете что ему отвечает собеседник? – Жижин рассмеялся. – «Я тоже» . Поразительное совпадение. Соседи оказывается. Дальше – больше. Диалог «Разговор у гроба»: «Как умирал покойный?» – «О, покойный умирал очень муучительно!» Потом беседа хирурга с прозектором, и целые выдержки из «Судебной медицины» в переводе на финский. Этот суоми-учитель, не к ночи будь помянут, определенно новое слово в мировой практике перевода...

– Ты бы принес его сюда, вслух бы и почитали, – сказал альбинос.

– Хотел. В последнюю минуту передумал. Берегу как зеницу ока. Все-таки единственный уникальный экземпляр, мало ли что может случиться. Еще, не дай Бог, потеряешь... или сгорит, например...

Довольно неуклюжий намек не остался незамеченным; подвыпивший Хнычев качнул головой.

– Интересно, – сказал он, – если бы не та глупая история, о чем бы ты вспоминал, а, Жижин?..

– Понятия не имею! – радушно улыбаясь, отвечал Жижин, – память упорно кружит над этим фактом и дела ей нет до всего остального...

– Болтун, – произнес Хнычев, впрочем вполне беззлобно. Тимницын отвлекся от их перепалки и обернулся к Терентию, который толкал его в бок.

– Илья, – сказал Плуг негромко, протягивая хрустящую пятерку, – не в службу, сбегай за папиросами и купи заодно портвейна, молдавского, а то все это ни уму ни сердцу...

Тимницын взял деньги и стал пробираться к двери.

– Я почему еще так часто это вспоминаю, – говорил между тем Жижин, – там, в сожженных рукописях была прелестная плуговская вещица, вставная новелла, и вот ее-то мне больше всего и жаль. На мой взгляд, это одно из лучших произведений Терентия. К счастью, я запомнил ее почти слово в слово, так что мне грех жаловаться на свою память... Кстати, сегодня я мог бы ее рассказать – пусть это будет моим подарком юбиляру. Или же могу спеть тирольскую песню. На выбор.

Все сидевшие за столом единогласно выбрали новеллу Плуга.

– Тогда прошу внимания!.. – сказал Жижин. – Написана она в такой несколько сказовой манере, и я попробую держаться на этой ноте.

Он повернулся к аккордеонисту:

– Давай-ка что-нибудь задушевное...

Аккордеонист на несколько секунд задумался и тихо заиграл «Степь да степь кругом».

– Хорошо, – одобрил Жижин. – Итак: «Капитан Волгин и пес Кальвадос». Публикуется впервые.

Тимницын остановился у двери послушать.

Капитан Волгин и пес Кальвадос

Было это в сороковых годах. В один из небольших северных лагерей доставили как-то одного странного старичка. Выловили его где-то в сибирской таежной глухомани, где он неотлучно жил, должно быть, так давно, что никакого понятия не имел о том, что в мире происходит. Нашли старичка какие-то подконвойные геологи; сторожку его бревенчатую на всякий случай сожгли, ну а его самого в лагерь, вот, направили, на перевоспитание. Неизвестно откуда и от кого, а только сразу же по всему лагерю пошел слух, что новый арестант не обыкновенный человек, а святой старец, подвижник, и даже чуть ли не способен на чудеса. Старичок же выглядел вполне обычно, да еще остриженный, побритый и одетый во все лагерное – зэк зэком. Только вот взгляд какой-то уж слишком светлый, спокойный, и улыбка для тех мест непривычно ласковая. А начальником этого лагеря был не кто иной, как капитан Волгин, человек лютости необыкновенной, такой, что слава о нем шла по всем тюрьмам и пересылкам. Никого не щадил, вплоть до молодой супруги своей: только в чем она перед ним провинится, он ее в камеру на ночь, да еще перед этим и поколотит. Одним словом, зверь. И вот на второй-третий, а может на четвертый день доходит и до него слух, что в лагере у него объявился святой. На следующее утро во время поверки подзывает он к себе своего старшего помощника и спрашивает:

– Который?

Тот показывает ему новоприбывшего и кивает:

– Этот.

– Что, такой-сякой? – обращается капитан к старичку, – попал в переплет?

А старичок смотрит на него своим тихим благостным взглядом, и кротко, но твердо так, отвечает:

– На все воля Божья, сынок...

– Воля Божья за колючей проволокой осталась, – говорит ему капитан, – а здесь воля моя. Для тебя тут бог я, да вот он, – и похлопывает по холке своего любимого пса по кличке Кальвадос, а своим подручным отдает такое распоряжение:

– Давайте его для начала в карцер определим, пусть над моими словами подумает.

Ну, схватили старичка под руки и бросили а карцер, в бетонную такую каморку с ледяной водой по щиколотку и с тоненькой жердочкой вместо скамейки.

Через трое суток приходит к нему капитан самолично и спрашивает:

– Ну что, старый хрен, уразумел, наконец, чья тут воля?

– Как не понять!.. – спокойно и даже радостно отвечает ему узник. – Яснее прежнего теперь вижу, что Господь меня не оставил. И тебе, сынок, благодарствую, молиться за тебя буду...

– Так, – говорит капитан Волгин, – опять не понял. Видишь, Кальвадосушка, как глубоко в человека въелся опиум этот проклятый?..

И дает старичку еще десять суток. На одиннадцатые вызывает к себе помощника и спрашивает:

– Как там наш дедушка, жив еще?

– Жив, – отвечает помощник. – Все молитвы читает, да поет. Да иногда как будто с кем-то разговаривает...

– Ах, поет!! – взбеленился Волгин. – Значит у него еще силы для пения есть?! Нет, пора этот курорт кончать. На работу его, сукина сына! И чтоб не до пения ему там было, понял?!..

Сказано-сделано. Вытолкали старичка из карцера, и на лесоповал, да еще специально особого конвойного к нему приставили по распоряжению Волгина, чтобы разогнуться не давал. Только вернется он в лагерь, как его тут же еще на какую-нибудь работу, а после этой на другую, и так чуть ли не до самого утра. Старичок, конечно, от такого строгого режима исхудал весь, ослабел, «дошел», как говорят в лагерях, но вот лицом почти что совсем не изменился, а даже как будто еще посветлел.

Зато Волгин потемнел. Папиросы одну за другой курит, сам не свой ходит, видит, что старичок вот-вот Богу душу отдаст, а он так и останется ни с чем. Он его уже и Кальвадосом травил, и к уголовникам в камеру для всевозможных издевательств сажал, а старичку все нипочем. Волгин уже не то что о каком-то там стариковском раскаянии мечтает, а просто желает хотя бы на минутку, хотя бы на одно-единственное мгновеньице эту его благостность, это тихое спокойствие в глазах нарушить!..

Тут уж было все в лагере решили, что капитану старца не одолеть, да и сам Волгин уже готов был руки опустить, как вдруг однажды утром прибегают к нему, запыхавшись, и сообщают – а старичок на тот момент опять в карцере сидел за какую-то провинность, – и сообщают: нет старичка в карцере, убег. Дверь заперта на замок снаружи, а старичка нет.

– Не выдержал-таки, паскудник, убежал! – возликовал Волгин, даже и не задумавшись, как же это полумертвый старичок сумел из наглухо запертого карцера утекти, но уж так был рад, так был рад, что только повторял: «убежал-таки, убежал...» А тут следом прибегает и наружная охрана и докладывает: мол, ночью только снег выпал, а от лагеря, от самых ворот свежие следы прочь ведут.

– Ну, попался! – кричит Волгин, всякое даже приличие перед подчиненными потеряв от радости. – Далеко не уйдешь, Божья воля! – и, схватив своего любимца Кальвадоса, бросается в погоню за беглецом.

Ну, побежали, значит. Бегут... Бегут, значит, а только странность какая-то. Вроде бы и правда не должен был старичок далеко уйти при его-то никудышном, совсем плохом самочувствии, а только бегут Волгин с Кальвадосом во весь опор, а догнать его никак не могут. И следы перед ними все самые свежие, ну словно минуту назад оставленные, – так, что если бы не деревья, то наверняка бы видели убегающего, – а догнать все равно не могут – как в тошном сне. Бегут километр, два, пять... Кальвадос уже задыхаться начал, да и у Волгина в глазах рябит, а старичка все нет. А следы есть.

Долго они еще так бежали и вот, наконец, выбегают на заснеженную лесную полянку, и прямо посреди полянки следы вдруг и оборвались. Вот здесь еще есть следы, а дальше уже нет, чисто. Волгин стоит, аж кровью харкает, смотрит на этот самый последний следок и ничего понять не может. А Кальвадос, не отдышавшись, бегает по кругу вокруг центра опушки и все вверх лает, аж заходится. Пригляделся тогда Волгин повнимательней, и вдруг видит, что следы-то не исчезли, а продолжаются, только ведут они – вверх! Ну, вот, как если бы стояла посреди опушки лестница, старичок взобрался бы по ней, а она сразу же после того возьми и исчезни. Лестница, ступеньки исчезли, а тонкие снежные подковки, осыпавшиеся с подошв стариковских ботинок, остались, в воздухе висят – как висят, Бог их знает! – так и уходят в высоту от ступени к ступени и где-то там, в высоте растворяются. Взмахнул Волгин растерянно рукой – только пушистый невесомый снежок этих подковок и почувствовал, а больше ничего.

Стоит он, как вкопанный, а Кальвадос все не унимается, носится кругами, лает...

– Не уйдешь!!! – закричал тогда Волгин, да так, что и все остальные подковки вниз посыпались. – От Волгина не уйдешь!

Схватил он своего пса за поводок и побежал в лес. Отбежал на сотню метров, развернулся и, не переведя дух, из последних сил помчался назад. «Взять, Кальвадос!» – прохрипел капитан Волгин, добежав до центра полянки, и, выхватив наган, выстрелил в затылок Кальвадосу и следом себе в висок.

Так их и нашли лежащих рядышком, застигнутых смертью на бегу.

Жижин закончил. Взяв со стола двумя пальцами рюмку, он откинулся на спинку стула, и молодцевато обвел взглядом слушателей.

Плуг, кивая, обеими ладонями утирал взмокшие глаза и, шмыгая носом, говорил:

– Помню, помню... в каком же это году?..

– Это что они, этот капитан с собакой, на тот свет отправились? За тем старичком что ли?.. – спросил осмелевший Никита.

– Ага! – обернувшись к нему, радостно подтвердил Плуг и опять уткнулся в ладони.

– Сетюн кельке шоз времан манифик! Лихо, Терентий, лихо, ничего не скажешь... За тебя! – поднял бокал Левадийский. – Представляю, какой там был переполох, в Царствии Небесном, когда туда ворвался капитан Волгин с наганом и с Кальвадосом и стал рыскать по кущам!..

– Хорошая у тебя память, Петруша, – с недоверчивой усмешкой произнес Хнычев.

– Отличная! – ответил Жижин и опрокинул рюмку.

– Я бы даже сказал, неправдоподобно хорошая, – продолжил Хнычев. – И почему-то наводит на мысль, что сожженный экземпляр был все-таки не единственный...

– Не принимается! – возразил Жижин, энергичным движением ладони отметая подозрения. – Очернять свою память я не позволю никому!

Тимницын вышел.

В комнате Плуга, затененной огромным тополем, горел свет, и когда он спустился вниз, для него оказалось полной неожиданностью, что вечер только начинается; на улицах было полно самостоятельных детей, не думали пока отходить ко сну голуби, еще была уйма времени до темноты, и душа его радостно и протяжно улыбнулась этой поправке. Продуктовые магазины, однако, уже все, как один, были закрыты, в ресторане таких напитков не держали, и оставалось только отправиться в центральный гастроном или же к вокзалу, что было дальше, но удобнее. Илья выбрал второе и сел в трамвай.

На третьей остановке, едва закрылись двери и трамвай тронулся, по вагону побежало волнение, торопливо заклацали компостеры и с задней площадки к передней, где стоял Илья, потянулись вспугнутые контролерами безбилетники. Не доезжая до следующей остановки, трамвай остановился перед светофором. Илья тем временем протиснулся к самым дверям. Тревожно прикидывая, успеют ли контролеры добраться до него, высматривая их среди пассажиров, он вдруг столкнулся взглядом с отцом Лиды. Илья испуганно отвернулся, но не выдержал и повернулся

опять к нему, и теперь увидел, что тот не один, а с Васенькой-фотографом; разгребая пассажиров, потеряв к ним всякий интерес, они молча и целеустремленно, не сводя глаз с Ильи, приближались к передней площадке. Трамвай, между тем, стоял уже в считанных метрах от спасительной остановки, дожидаясь, когда ему уступит место стоявший впереди. Середина вагона была, по обыкновению, свободней, и добравшись до нее, контролеры неожиданно быстро оказались в нескольких шагах от Ильи. Трамвай наконец тронулся; «приготовьте талоны!» – громко и отрывисто выкрикнул опередивший своего напарника Васенька и уже потянулся к водителю, чтобы, по всей видимости, попросить того не открывать двери, как трамвай встал; загудев, разошлись створки, и Илья выскочил на улицу.

Хотя до привокзального гастронома еще было неблизко, и Васенька с отцом Лиды поехали дальше, сесть в следующий трамвай Тимницын все-таки не решился и пошел пешком. Пешком же он вернулся к Плугу.

В комнате уже не было ни Почивалова, ни Хнычева; за увядшим столом сидел и закусывал аккордеонист, рядом стоял футляр с инструментом; сам юбиляр полулежал на кровати и, уткнувшись подбородком в грудь, крутил маленький подаренный ему приемник, а у него в ногах, поперек кровати, с выражением мучительного внимания на лице спал пьяненький Никита.

Но все это Илья увидел потом, а первое, что ему бросилось в глаза, как только он вошел, – сидящий в конце стола Алхимов. Перед ним стоял полный бокал вина, а напротив него сидел улыбающийся Жижин. Рядом с Жижиным курил свою сигару Левадийский, а дальше, на подоконнике, сидел, прикрыв глаза, и тоже курил альбинос. Кого-кого, а Алхимова Тимницын здесь никак не ожидал увидеть.

– Вот и Илюша! – воскликнул Жижин. – А мы тут, пока вас не было, сошлись в полемике с Алешей, представителем славного племени метафизических бегунов и летучих голландцев. Присаживайтесь. Вы ведь, кажется, еще не знакомы с этим учением?..

Тимницын кивнул Алхимову, отдал Плугу портвейн и папиросы и сел за стол.

– Так на чем мы остановились? – сказал Жижин. – Да: на страхе...

– Вы ведь читали книгу Решетилова, – сказал Алхимов.

– О, мы читали и перечитывали! «Страх, страх, страх и еще раз страх!» Страх как нечто положительное, позитивное... Это, конечно, огромное новшество и, может быть, относительно чего-то там даже шаг вперед... да... допустим... но все-таки возникают сомнения, так сказать, нравственного порядка. Ведь объявлять трусость неким достоинством – это как хотите, а... А впрочем, для этого, пожалуй, даже какое-то мужество надо иметь...

Алхимов слушал Жижина спокойно и серьезно.

– Есть такая пословица, – сказал он, – «заяц не трус, себя бережет». Вместо «заяц» поставьте «метатопограф». Если рассуждать по-вашему, то тогда можно и каких-нибудь монахов обвинить в трусости за их бегство от мира и за страх перед соблазнами, да и любого человека, который боится переходить улицу на красный свет. Если хотите, «метатопография» это правила уличного движения. Таких понятий как «трусость» или «смелость» в ней не существует. А вот страх, нежелание попасть в беду есть.

– Правила уличного движения это убедительно, и с монахами хорошо, но все это теория. А что у нас на практике? Возьмем, к примеру, такую ситуацию: два здоровых негодяя где-нибудь, поздно вечером поймали пятнадцатилетнюю девчушку с самыми серьезными намерениями. Еще немного, и эти громилы отберут у нее невинность, а это единственное, что у нее есть, не считая цепочки, сережек и кой-какой мелочи в сумочке. Вы пробегаете мимо (как там это у вас называется, коррида?). Ваши действия?

– Вы смеетесь надо мной? – спросил Алхимов.

– Ну, это я так, по форме, чтобы не было уж очень нудно и обличительно. Вы не обращайте внимания, смотрите в корень. Ладно, пусть не два негодяя, а один, и девчушке не пятнадцать, а тридцать пять, смягчим... Так да или нет?

– Что: да или нет?

– Ну, броситесь на крики?

– Вряд ли. Скорее всего и близко не подойду. Это все-таки не прогулка, во время которой можно заняться и тем, и этим...

– Понятно. Ответ удручающе ясен. И еще хотелось бы знать вот что: насколько известно, любое учение стремится к расширению, пытается завладеть как можно большим количеством умов. И вот как вы себе представляете: что если все вокруг начнут бегать сломя голову, кто будет заниматься всем остальным? Печь пироги, тачать сапоги?..

– Вы все время задаете какие-то странные вопросы. А кто будет заниматься пирогами и сапогами, если вдруг все захотят стать... ну, например, аккордеонистами или переплетчиками?

– Но игра на аккордеоне или переплетное дело это не мировоззрение, а всего лишь занятие, ремесло... Впрочем, я вижу, вам пальца в рот не клади, у вас на все готовый ответ, – сказал Жижин, потягиваясь, видимо, потеряв интерес к разговору, как это часто у него бывало, и повернулся к Плугу. – Терентий, давай выпьем твоего портвейна, что-то на сладкое потянуло...

Плуг отложил приемник и стал, кряхтя, подниматься. Алхимов пересел ближе к Тимницыну.

– Я из-за вас сюда пришел, – сказал он вполголоса. – Вы бы могли пройтись со мной? Это недалеко... Или вы еще собираетесь сидеть?

– Нет, – сказал Тимницын. – Можем пройтись.

Он хотел было встать, но Алхимов удержал его и, перейдя на шепот, попросил прихватить чего-нибудь из недоеденного.

– У меня вот и кулек есть, – добавил он.

Испросив разрешения Терентия, Тимницын под заинтересованным взглядом Жижина собирал кое-что с тарелок.

Когда они с Алхимовым уже были у двери и Тимницын взялся за ручку, Жижин, доглатывая пирожное и утирая рот салфеткой, вновь обратился к Алхимову:

– Еще один вопрос под занавес, если можно: вы-то сами когда-нибудь видели книгу этого Себастьяна Браво? Я имею в виду оригинал.

– Нет, – ответил Алхимов.

– Вы знаете, и я не видел. И, боюсь, что ее вообще никто и никогда не видел. Я к тому, а что если все это сам Решетилов и сочинил, а?..

Алхимов пожал плечами.

– Ну и что? А хотя бы и вы сочинили. Какое это имеет значение?

– Спасибо, – Жижин отвесил поклон. – Вопросов больше нет.

IX. Ночь великих открытий

– У вас есть собака? – поинтересовался Тимницын, когда они вышли на улицу.

– Нет... Это не для собаки.

Тимницын мысленно ругнулся в свой адрес; ему только сейчас пришло на ум, что Алхимов мог попросить объедки для себя. Чтобы как-то сгладить неловкость, он спросил:

– Который теперь час?

– Не знаю, – Алхимов пожал плечами и, перехватив взгляд Тимницына, направленный на его запястье, сказал: – это компас.

Обогнув квартал, они вошли в гулкий, освещенный витринами Книжный пассаж. Время от времени у Алхимова мелко подергивался правый глаз, и Тимницын не мог вспомнить был ли у него тик раньше.

– А как вы узнали, что я у Терентия?

– Меркурий.

– Вы с ним знакомы?

– Да. Недавно. Он иногда ко мне сюда заходит.

– Почему же он не привел вас ко мне домой? Он должен знать, где я живу.

– Да, он предлагал. Но мне нежелательно было появляться в том районе. По некоторым причинам.

Компас вместо часов, «некоторые причины»... – став свидетелем беседы Алхимова с Жижиным, Тимницын теперь догадывался, что эти странности, как и все прошлые, как-то связаны с учением, о котором шла речь, однако заводить разговор на эту тему не решался, опасаясь, что он опять коснется той подаренной ему зимой рукописи. «Надо бы все-таки почитать», – подумал он.

Между тем они уже вышли к улице Парижской коммуны, по ту сторону которой начиналась Безменовка. Алхимов выглядел крайне настороженным: он поминутно осматривался, и чутко вслушиваясь, реагировал на каждый звук. Тимницын попытался было определить, что же так беспокоит его спутника, но, повертев головой, ничего не обнаружил. Время, скорее всего, уже приближалось к полуночи, и вокруг было безлюдно и тихо.

– Вы где-то здесь живете? На Безменовке? – спросил Тимницын.

– Нет, что вы... нет. Вообще-то я живу возле Андреевского рынка, в Известковом переулке. В одном дворе с Витей Навроцким... когда он там жил...

Илья даже сбился с шага.

– Вы знаете Навроцкого?! И давно?

– С детства. Я же говорю: мы соседи.

Вдруг в самом центре пустынного перекрестка, на пересечении трамвайных путей Алхимов, не говоря ни слова, остановился; встал и Тимницын; справа лежала тяжелая неподвижная тень от переплета проводов над головой; четыре светофора по углам перекрестка, помигав желтым, перекинулись между собой красным и зеленым. Приподняв кулек с объедками, Алхимов сказал:

– Это не для собаки. Может быть слышали, еще зимой из части убежал солдат? Вот это для него. Но это, конечно, очень большая тайна, сами понимаете...

– Солдат? Вы его где-то здесь прячете?

– Нет, я его не прячу, он сам прячется. Я поэтому вас искал. Меня иногда подолгу не бывает, я могу вообще на какое-то время исчезнуть, не могли бы вы чем-то ему помочь? Ну, что-то из продуктов иногда... хорошо бы какую-нибудь одежду, ненужную. Я принес кое-что свое, но ему коротко, он примерно такого роста, как вы. Вообще-то он собирается, пока тепло, пробираться домой, но все никак не решится... Может быть, немного денег, если есть? – добавил Алхимов смущенно.

– Хорошо, – сказал Тимницын. – Насчет денег не знаю, вряд ли, но что-то из вещей можно поискать... и еды, наверное...

– Вы помните два дома-близнеца в Зенитном переулке? – спросил Алхимов и опять тревожно огляделся.

– Что? В Зенитном? Да, знаю... – рассеянно отвечал Тимницын. – Они, кажется, выселены. Я недавно там проходил. А что?

– Нет, выселен только один, пятый номер, – уточнил Алхимов. – Вы вот что: вы идите к нему, а я вас буду там уже ждать. Договорились?

– Как скажете, – растеряно промолвил Илья. – А может быть я с вами?..

– Нет, для вас это будет слишком хлопотно. Ну, до встречи, – сказал Алхимов и, убыстряя шаг, направился вниз по переулку, в сторону Большого Сысоевского бульвара.

Тимницын зашагал дальше по спуску. Сообщение о беглом солдате его, конечно, сильно поразило, но куда интереснее ему сейчас было другое. Итак, Алхимов, оказывается, знаком с Виктором Навроцким. Давно знаком. Однако, откуда он знает, что с ним знаком и Тимницын? Меркурий, конечно. Разумеется – Меркурий. Кто ж еще. Но в таком случае вполне вероятно, что Алхимову известны и подробности его последнего визита к Виктору. Хотя, вряд ли: Меркурий мог только видеть, как он вошел к Навроцкому и спустя некоторое время вышел, больше ничего. Ничего? А дверь-то он тогда оставил за собой открытой... А через окно? В комнате горел свет, а были ли задернуты занавески, он не помнит. Да и щелочки для любопытного было бы достаточно. Значит, можно предположить и такое (и как же он не выпытал у Меркурия, что он тогда видел!)...

Тимницын остановился у входа в Зенитный переулок; мимо молча трусила собачья свадьба. Если все это допустить, то вновь встречаться с Алхимовым не хотелось. А впрочем, подумал Тимницын, ловя настороженно замаянные взгляды измельчавшего, растянувшегося на полпереулка арьергарда, не все ли равно? Кому какое дело до его отношений с Виктором? Наплевать. Да и не ему понадобился Алхимов, а он Алхимову. К тому же тот мог узнать о том, что Тимницын знаком с Навроцким, и как-нибудь иначе, от того же Виктора, например; он, в конце концов, мог просто где-нибудь видеть их вместе, что самое вероятное...

Когда Илья подошел к дому № 5, из парадного выглянул Алхимов.

– Сюда, – сказал он.

Как только Илья вошел, Алхимов включил карманный фонарик и повел его вверх. На каждом этаже между полом и потолком стояли сосновые подпорки, и создавалось впечатление, будто десяток-полтора сосен проросли дом насквозь. Поднявшись на площадку последнего, четвертого этажа, они вошли в одну из квартир, и Алхимов толкнул одну из дверей. Они оказались в какой-то комнате, довольно просторной, насколько можно было судить по прыгающему лучу алхимовского фонарика – других источников света, даже таких косвенных, как щели в ставнях или тусклый лоск стеклянных предметов, в комнате не наблюдалось. Темнота была полная.

– Это я! – сказал Алхимов. – Я привел Илью.

Луч, пролетев по стене и осветив по дороге глухой шкаф, ушел в раскрытый дверной проем, в смежную комнату.

– Илья, вот, согласился помочь, если что... – произнес в том же направлении Алхимов. – Здесь такая темень, что никто твоего лица не увидит. Может быть выйдешь?..

Его обращение осталось без ответа. Алхимов вздохнул и вернул луч в комнату; осветив белую кафельную печь в углу и два диванных валика на полу возле нее, он предложил сесть.

– Я сейчас чай сделаю.

На мраморной площадке перед печью лежали плашмя два кирпича; Алхимов положил между ними и разжег таблетку сухого спирта, сверху установил ковшик с водой.

– Несколько дней его уговаривал, чтобы вас привести и познакомить, – негромко сообщил Алхимов. – Вроде бы согласился... Он, кажется, крепко увяз в своей нерешительности. Хуже нет. Уже и волосы отрастил, и бороду, а все тянет, откладывает. Не сегодня, завтра займутся этим домом, и что тогда? Хотя, с другой стороны, куда ему деваться? Я бы к себе его поселил, но там семья большая, да и сам бы он не согласился, боится. Вот, домой хочет, а куда домой – там-то уже наверняка его поджидают...

– Тут очень душно, – сказал Илья.

– Мы завешиваем окна по ночам, чтобы не увидели свет с улицы. Милиция или еще кто...

Из соседней комнаты донесся сиплый скрип проволочной кроватной сетки, потом стук об пол. Это были первые звуки оттуда. Чуть погодя что-то упало.

– Чаю будешь? – спросил Алхимов.

– Бляцкая темнота! – произнес в ответ молодой, с негибкой басовитой зычностью голос.

– Буду.

– Тут Илья тебе кое-что поесть принес. Выходи.

– Не хочу.

У себя в комнате солдат зажег свечку; стояла она, по всей видимости, на полу: огромная бесформенная тень залила стену и часть потолка, потом разделилась на два широких рукава (Илья не сразу угадал, что это ноги – солдат стоял над свечой) и исчезла.

Алхимов взял с мраморной плиты кулек с едой.

– Пойду отнесу ему.

– У него есть часы? – спросил Илья.

– Да, часы у него есть.

– Пусть скажет, когда будет половина третьего, мне еще на работу...

– Хорошо.

История с солдатом в сознании Тимницына стояла в одном ряду с прочими лидийскими мифами и легендами, и теперь его присутствие за стеной как будто подтверждало существование и женщины в белом, и чечеточника в черном, и младенца с мужским небритым лицом.

– Отказывается выходить, – сказал Алхимов, вернувшись спустя несколько минут. – Кажется недоволен, что я вас привел... Ладно. Вы, если что-то принесете, а меня не будет, оставьте прямо в коридоре, перед дверью.

Тимницын кивнул. Невиденный солдат уже был ему неприятен, и он порадовался, что тот не вышел. Сюда еще добавлялось смешанное из брезгливости и безотчетного страха ощущение, какое вызывает тяжелый больной. Впрочем, у Ильи был повод отвлечься. Посидев и поразмыслив, что другого такого удобного случая может не представиться и что Алхимов сейчас в некотором роде его должник, он, наконец, решился:

– Я бы хотел вот что у вас спросить, – начал он, и, помолчав, подобрав слова, продолжил, – раз уж вы так давно знаете Навроцкого... Как вы считаете, что с ним произошло или происходит? Если только вы понимаете смысл моего вопроса. Если нет, то можете не отвечать, я объяснять не буду.

Алхимов ответил не сразу, некоторое время сидел, не шелохнувшись, глядя на синенький огонек спирта. Наконец, видимо, спохватившись, что пауза чересчур затягивается, он вздохнул и, подобрав под себя ноги, произнес:

– Да, я, кажется, догадываюсь о чем речь, думаю, что догадываюсь... Действительно, все гораздо сложнее, чем представляется на первый взгляд. И совсем-совсем другое. Но я не могу говорить, не зная как отнесся бы к этому сам Навроцкий. Это не моя тайна, понимаете?.. Тем более, что мои догадки...

Его на полуслове оборвал солдат, потребовавший курева. Тимницын даже передернулся, услышав его голос.

– У вас есть что-нибудь? – спросил Алхимов.

Илья, отложив три папиросы, протянул ему пачку.

– Можете отдать.

Алхимов отнес папиросы и, вернувшись, встав над ковшиком, сказал:

– Все, что я могу сказать, это то, что Виктор Навроцкий – великий человек.

Тимницын как-то автоматически усмехнулся на это неожиданное высказывание.

– Даже так! – произнес он. – Интересно, в чем же его величие?

Он поднял глаза и встретился взглядом с Алхимовым. Тот отвернулся и отошел вглубь комнаты.

– У вас это, кажется, вызывает иронию? – промолвил он.

– А я должен отнестись к этому серьезно? – отвечал Тимницын, оборачиваясь и ища в темноте Алхимова. – Ну ладно, великий так великий. Вам, наверное, виднее...

– Да, я понимаю, – сказал Алхимов, опустив лицо и, насколько мог видеть Илья, потирая лоб. – Ирония вещь удобная. И выгодная. Выигрывает тот, кто ироничен, да? В этом все дело... Встречаются, например, двое, разговорились. И вот один говорит о чем-то серьезном, важном, говорит увлеченно, со страстью, а второй не так уж и умен и даже, может быть, ужасно глуп, но достаточно ему все это выслушать с легкой усмешкой, или же еще проще: рассказать кому-нибудь третьему об этой встрече в ироническом ключе, посмеиваясь даже не над смыслом сказанного, а всего лишь над горячностью рассказчика, над его мимикой, жестикуляцией, и вот он уже как будто и умен, и даже умнее своего собеседника. И умнее, и выше. И только потому, что он взял себе подлое право быть ироничным! Если подходить с такой меркой, то умнее шутника Жижина, может быть, и нет никого на свете. Но вот если вам приставят нож к сердцу, до иронии ли вам будет? Так почему бы не допустить, что существуют люди, которые живут с этим ножом постоянно?! Я не о себе, конечно, сейчас говорю, но я тоже предпочитаю быть кем угодно – тупицей, идиотом, простаком, чем таким вот умником. Я хочу принимать все за чистую монету. Я хочу все принимать всерьез.

Алхимов говорил, как и всегда, негромко, но с убежденностью и, пожалуй, с горячностью собеседника из своего примера. Тут, вероятно, было что-то личное, пережитое, наболевшее,

зацепившее, впрочем, и Тимницына (Азиатцев), который даже несколько растерялся от такого напора.

– Вы меня не так поняли, – сказал он, как только Алхимов умолк, – и я с вами совершенно согласен. Я не то чтобы иронизировал... это скорее недоверие. Я ведь не знаю того, что, может быть, известно вам. Извините, если я что-то не так сказал...

Алхимов молчал; за спиной Тимницына только скрипели половицы; в соседней комнате покашливал солдат.

– Нет, это вы извините меня, – вдруг, после долгого молчания произнес Алхимов. – Я действительно что-то слишком уж на вас налетел. Иногда бывает: слово за слово...

– Мне это знакомо.

– Да. Вы извините... Я совсем не вас имел в виду... Знаете, иногда кажется, что судьба специально свела вместе две такие противоположности, как Жижин и Навроцкий, с умыслом. Для наглядности что ли: вот один и вот другой, полюбуйтесь... отцы и дети...

– Ну, не так уж она их и свела, – как можно дружелюбней возразил Тимницын, – это скорее вы сами их сводите. – Но внезапно на него пахнуло странным беспокойством от слов Алхимова. – А что вы имеете в виду: судьба свела?

– Что я имею в виду? – задумчиво переспросил Алхимов. – Да все то же: их непродолжительную родственную связь, что ж еще?..

Тимницын повернулся к Алхимову.

– Вы что это такое говорите? – испуганно произнес он.

– А вы? – спросил Алхимов, глядя на Илью. – Что вы имеете в виду, когда спрашиваете?

– Какая связь? О чем вы?!

Алхимов внимательно смотрел на Тимницына.

– Вы хотите сказать, что не знаете, что Жижин был женат на матери Навроцкого?

– Я слышу об этом первый раз, – отвечал пораженный Тимницын.

– Вы учились с Навроцким, дружите с Жижиным...

– Я вам говорю, что слышу об этом первый раз!

Тимницын вдруг, как будто против своей воли, вскочил и зашагал по комнате; с разбега он чуть было не зашел в комнату солдата, но в последний момент, у самого порога остановился, ухватившись за косяк. Известие его ошарашило. Однако первое, что ему пришло в голову, когда он с ним немного освоился, это опасение, что Алхимов как-то тут нечаянно проговорился и теперь наверняка сожалеет о сказанном, а значит, чтобы он не замкнулся и можно было бы продолжить разговор, надо попытаться его успокоить и сделать это поаккуратнее.

Тимницын вернулся к печке.

– Вот уж чего никак не мог предположить: Жижин отчим Виктора! – как можно беззаботней воскликнул он и по¬спешил объяснить свое удивление: – Но меня больше поражает не столько сам факт, сколько то, что я до сих пор этого не знал!..

– Да, странно, – подтвердил Алхимов.

Илья, кажется, совершенно зря опасался: его собеседник не проявлял никаких признаков сожаления.

– Как-то однажды, – продолжил Илья, – Навроцкий назвал Жижина «папашкой», но я не придал никакого значения... а оказывается вот оно что!.. И долго Они прожили вместе?

– Года два... или больше? Не помню. Мы были тогда уже почти подростками.

– И как у них было?

– А как вы думаете? Вы же знаете Виктора.

– Да, могу представить!..

– Хотя, насколько я помню, сначала они как-то уживались. Но это длилось недолго. А потом уже и до драк дело доходило. Жижин, он, ведь, только прикидывается шутом, а на самом деле считает себя умнее всех остальных. А тут вдруг наталкивается на подростка, который ни в чем не собирается ему уступать, и не из подросткового упрямства, а потому что не глупее. Разве мог Жижин это вынести... Что-то такое, мне кажется, там у них было...

– Но каким образом они опять сошлись?! Я их часто видел вместе.

Алхимов пожал плечами.

– Как сошлись?.. Да где-то в подвальчике за вином и сошлись. Подразнить друг друга... И потом, кто ж из них признает себя обиженным или оскорбленным? Думаю, что инициатором тут был скорее всего Виктор, это в его духе. А Жижин, сами знаете, ему хоть плюй в глаза... И Виктор ему, должно быть, интересен. А может быть надежда взять реванш... Хотя, не знаю...

– Я всегда замечал что-то странное в их отношениях, но чтобы такое...

– Значит, вы даже этого не знали... – промолвил Алхимов.

– Наверное это как-то случайно прошло мимо меня, – сказал Тимницын, и спохватился: – А что значит – «даже»? Есть что-то еще?.. Ну, раз вы уже начали... а?..

Алхимов вздохнул.

– Пейте чай, остынет, – сказал он.

– Не хочу. Я лучше покурю.

Алхимов болтал ложечкой в кружке. Тимницын ждал. Он вздрогнул, услышав из соседней комнаты резкое отрывистое шипение и следом удар в стену.

– Крысы, – не поднимая головы произнес Алхимов и, помолчав, сказал: – Вообще-то это совсем не мое дело, и мне, наверное, лучше бы было не вмешиваться, но я просто считаю несправедливым то, что вы этого не знаете. Я сейчас имею в виду ваши отношения с Жижиным...

– Ах, это... Работа на учителя, что ли? – разочарованно протянул Тимницын, готовый услышать что-нибудь поинтереснее.

– Ну что там чай, будет сегодня или нет? – крикнул солдат.

– Да, и это тоже, – сказал Алхимов, беря кружку и поднимаясь, – и еще то, что... Вы знаете, что Жижин вас продал?

Тимницын усмехнулся. Алхимов понес кружку солдату. Когда он вернулся и сел, Тимницын усмехнулся еще раз.

– Вы думаете у меня есть какие-то иллюзии на счет Петра Андреевича? – сказал он. – Я прекрасно знаю, что это за тип. Вы, когда говорили об иронии, сказали, что согласны быть идиотом. Так вот у меня с Жижиным что-то похожее. Я захотел хотя бы раз в жизни побыть человеком, который не ищет выгод, не оглядывается. Жижин здесь только средство. Хотя, вот вам уже и выгода. И, знаете, я иногда предпочел бы отказаться и от нее... А то что, допустим, Гарнизонов пользуется моими услугами с подачи Жижина, мне хорошо известно. Не исключаю, что и мои гонорары за игры Гарнизонов отдает ему. Ну и ладно. Пусть их.

– Что-то в этом роде я и предполагал, – проговорил Алхимов, когда Тимницын умолк. – И это ваше дело, конечно... Но вы меня не совсем поняли. Жижин вас продал в буквальном смысле слова.

Тимницын уставился на Алхимова.

– Что значит в «буквальном смысле слова»? Как это может быть? Кому? Если он продал, значит кто-то купил?!

– Левадийскому.

– Ну, что за глупость! Кто это вам такое сказал?

– Меркурий. Он ненароком услышал. Левадийский оплатил карточный долг Жижина, рублей сорок, кажется, а потом выменял вас на какую-то антикварную вещь у Гарнизонова.

– И вы во всю эту чушь верите? – бодро произнес Илья.

– А вы?.. Впрочем, как хотите. Я просто считал, что вы должны знать...

– И вы во все это... – Тимницын осекся. – Вот сволочь! – произнес он, помолчав. – Если только это правда... – начал он и опять замолчал.

– Вообще это довольно мутная компания: Жижин, Левадийский, Гарнизонов... – сказал Алхимов, и после паузы добавил, – Яков...

– Тоже – Меркурий? – спросил Тимницын.

– Да.

– А что Яков? Вы что-то знаете о нем?

– Яков квартирный вор. Почти легендарный. Это известно всем. Он ни разу не был пойман, потому что всегда работал исключительно в одиночку. Даже не понимаю, как он решился брать вас с собой. Или Жижин его как-то уговорил, или же ему это было необходимо...

Алхимов умолк. Молчал и Тимницын.

– Без двадцати три! – объявил солдат.

– Надо идти, – сказал Тимницын. – У вас что-то есть еще?.. для меня...

– Нет, больше ничего.

– Ладно... спасибо, – Тимницын поднялся. – Нет, это и в самом деле здорово, что вы мне все открыли. Мне уже давно надоела эта история с Жижиным, а тут прямой повод. Я думаю, что могу теперь считать себя совершенно свободным от всяких обязательств. Хотя... – он несколько замялся, – есть одна мелочь, одна дурацкая бумажка, которую я спьяну подписал, но... это так... Меркурий вам об этом ничего не говорил?

Алхимов кивнул.

– Говорил. Жижин ему показывал.

– По-ка-зы-вал?! А что он мог ему показать? Заявление начальнику жэка? Это листок с заявлением в жэк, на котором стоит моя подпись и число, и ни одного слова больше. Ее значение известно только мне и Жижину, все остальное было на словах...

– Нет, я ничего не знаю про заявление, он ничего об этом не говорил. Он только сказал, что видел ваше обещание в полном послушании Жижину с вашей подписью, договор.

– Да этого не может быть! – воскликнул Тимницын. – Просто не может быть! Такая бумажка действительно была, с таким текстом, но – во-первых: никакой подписи я на ней не ставил, а во-вторых: она при мне была разорвана! Врет все ваш Меркурий! Может быть, он и все остальное придумал!..

Алхимов, помолчав, твердо возразил.

– Нет. Меркурий врать не умеет. Да и зачем ему?.. Я думаю, здесь может быть вот что: Жижин мог написать еще один такой договор, вместо разорванного, и поставить на нем вашу подпись. Я знаю, еще с того времени, когда он жил с матерью Навроцкого, что он увлекался графологией, я это помню, но еще он был неплохим каллиграфом, во всяком случае показывал, какой почерк какому характеру соответствует... Так что подделать вашу подпись он мог бы с легкостью. Впрочем, он мог бы ее подделать и не имея никаких навыков. Конечно, он сделал это не для того, чтобы Меркурию показывать, хотя он и на такое способен. Возможно, он изготовил эту бумагу перед тем, как передать вас Левадийскому, а затем Гарнизонову, для убедительности или какой-то гарантии. Они ведь, приобретая... приобретая вас, должны были быть уверены, что вы, в некотором роде, его собственность, и в полном подчинении у него... как гарантия вашей управляемости, что ли... Как вы думаете? Я понимаю, что вам неприятно все это слышать...

Аргументы были самые убедительные. К тому же Тимницын вспомнил еще того, помешанного на биографии своей жены знакомого Якова, который говорил о копиях писем, изготовленных Жижиным.

Тимницын едва ли не сожалел, что встретил сегодня Алхимова; но ни злости, ни гнева он не ощущал. Камнепад сенсационных открытий по нарастающей словно пробил в его груди брешь, и в сердце не было ничего, кроме опустошения и усталости. Он сейчас вполне равнодушно выслушал бы еще какую-нибудь сногсшибательную новость, ну, например, что он родной сын Левадийского или Никиты.

– Мне надо идти, – вяло вымолвил Тимницын. – Я, может быть, зайду к вам как-нибудь вечерком...

Алхимов поднялся.

– Я тоже ухожу. После всего, что я вам наговорил, мне здесь оставаться не стоит. И все равно вас надо вывести. Я бы только очень попросил вас не говорить обо всем этом Жижину. Вы поставите под удар Меркурия.

– Я не скажу, – пообещал Тимницын; ему не терпелось выйти на улицу.

– Мы уходим! – громко сказал Алхимов, и подобрав с пола вещмешок, открыл дверь.

Они дошли до лестничной площадки, когда Алхимов неожиданно, как и прежде на перекрестке, остановился.

– Я забыл возле печки коробку с сухим спиртом, – оборачиваясь, сообщил он едва не налетевшему на него Тимницыну, и протянул ему горящий фонарик, – вы не могли бы вернуться и забрать? Я не хочу возвращаться...

Тимницын взял фонарик и пошел обратно по коридору. Дверь от его толчка мягко и бесшумно распахнулась. Чтобы не потревожить солдата, он светил себе под ноги. Печь была сразу направо от двери. Сначала Тимницын решил, что солдат как-то странно и громко разговаривает, но, прислушавшись, понял, что тот поет; слух у солдата отсутствовал начисто.

Когда женщина с изменой
Снова в дом ко мне вернется,
Закурю я сигарету,
К небу синий дым повьется.

Сигарета, сигарета,
Ты одна не изменяешь!
Я люблю тебя за это,
И ты сама об этом знаешь...

Тимницын схватил коробку с сухим спиртом, благо она сразу же попала в луч фонарика, и вышел, так же неслышно прикрыв за собою дверь.

На улице Алхимов наскоро распрощался и направился в сторону моря. Обремененный последними сообщениями Тимницын пошел вверх по Зенитному переулку. Уснуть сейчас он вряд ли бы смог, а потому был несказанно рад, что ему надо идти не домой, а на работу.

X. Последняя игра. Разрыв

На следующий день после разговора с Алхимовым (а вернее, в тот же) Тимницын проснулся в четвертом часу пополудни и, прежде чем встать, долго ломал голову над вопросом: участвовать ему в сегодняшней игре или нет? И несмотря на то, что он считал себя теперь полностью свободным от каких бы то ни было обязательств перед Жижиным, а следовательно и перед Гарнизоновым, он все же решил участвовать. Рассудил так: лучше всего будет объявить о своем отказе принимать участие в дальнейших играх самому Гарнизонову. Зная его импульсивность, можно было допустить, что, возмутившись отказом, он как-то проговорится, и вот тогда, если к Тимницыну сунется Жижин, он сможет говорить с ним без риска выдать Меркурия. Однако, чтобы такой разговор с Гарнизоновым состоялся (Илья это чувствовал), надо было игру отыграть, иначе Гарнизонов может просто отказаться его слушать. Ну и то, что Илья уже был в списке и на него рассчитывали, тоже сыграло тут некоторую роль.

Без двух минут пять он стоял в пункте отправления возле филармонии и поглядывал на часы (которые, кстати, надо было вернуть). У него за спиной замер неожиданно опрятно одетый, гладко выбритый, похожий на покойника Почивалов.

Пять. Тимницын и Почивалов одновременно сделали восемь шагов и встали. Через четыре секунды сделали шестнадцать шагов и опять пауза – восемь секунд. Почивалов вытянул из кармана белый платок и встряхнул им. Тимницын подошел к витрине, дохнул на стекло и отошел в сторону. Почивалов протер платком то место на стекле, куда дохнул Тимницын, и их пути разошлись.

Игра носила странноватое название «Паутина дня». Она готовилась давно и тщательно, параллельно с другими, текущими играми. Позавчера, знакомясь со своей маршрутной картой, Илья ревниво отметил (самого удивило), что Гарнизонов с компанией на месте не стоят: игра заметно отличалась от всех предыдущих; в ней было даже какое-то изящество. Инструктируя игроков, Гарнизонов говорил: «Я хочу, чтобы в этой композиции все было теснейшим образом взаимосвязано, чтобы движение в одной точке немедленно отзывалось во всех остальных и, отразившись, опять возвращалось бы к исходной. Тончайшая, туго натянутая паутина. Это общее настроение игры, ее нерв. И, пожалуйста, никаких резких движений, все должно быть мягко, деликатно, на полутонах... и на ощущении друг друга...» Впервые Гарнизонов заставил каждого участника ознакомиться с картами других. Уже с первого взгляда, по густой россыпи цифр, обозначавших время, становилось понятно, что это была и самая сложная игра из всех тех, в которых Илье доводилось принимать участие и, судя по выражениям лиц игроков, не только ему. Кроме прочего здесь было два наукообразных текста, в которых шла речь о колебаниях – что-то вроде стилизации под сухое изложение технических пособий; распределены они были между участниками так, что начинал один, потом подхватывал второй, продолжал третий и так далее. Встречались отголоски прошлых игр; например, увидев на воротах написанное Громовым название «Смотри в оба», Илья должен был вспоминать, что во время упомянутой игры по этой улице шел Громов, а кроме того представить себе и самого Громова, увидевшего в ту же минуту на своей улице название игры «Шахматы», во время которой там некогда проходил Илья...

С самого начала игра у Тимницына не заладилась. Он все время то запаздывал, то что-то упускал, и даже подумывал, не бросить ли совсем и не отсидеть ли просто свои час пятьдесят три где-нибудь в укромном месте, но опасался, что за ним наблюдает Азиатцев. Опасался он почти бессознательно, а когда осознал, то вдруг разозлился, плюнул, и от Археологического музея пошел в сторону гарнизоновского дома, где минута в минуту должны были сойтись все участники игры, спокойно, не вскидываясь, когда что-то пропускал, и беспокоясь только о том, чтобы прийти не раньше и не позже назначенного срока.

Так он дошел до Губернаторского сада, в предвечерней, зеленовато-пыльной, прошитой наклонными лучами и еще жаркой толще которого было уже полным-полно гуляющих. Сделав всего несколько шагов по нему, Илья вдруг обнаружил на аллее справа от себя Азиатцева, который вместе с какой-то девицей усаживался на скамейку. «Вот тебе на! – подумал он, приостанавливаясь. – Кажется, фаворит Гарнизонова не прочь заняться в служебное время личными делами...» Однако тут же до него дошло, что Азиатцев не мог не знать, что через шесть минут (Илья шел с опережением графика) по аллее за его спиной должен пройти Тимницын. Конечно, Тимницын мог бы его и не заметить, да наверняка бы и не заметил, но... Но тут в девице в газовой завязанной на шее косынке и в черных очках, которой Азиатцев укладывал на плечо руку, Тимницын узнал Лиду. Он отпрянул назад, спрятался за дерево. «Ах, вот оно что! Напряженный момент в игре! То есть иду я себе спокойненько по Губернаторскому, и ни сном ни духом, какие тут, в двух шагах, бушуют страсти! Толково придумано, ничего не скажешь!.. Ну что ж...» Тимницын посмотрел на часы: с минуты на минуту он должен был появиться на своей аллее. Выглядывая из-за дерева, он увидел, что Азиатцев то и дело озирается, выискивая его среди гуляющих. То, что задумал Тимницын, полностью разрушало его надежды на разговор с Гарнизоновым, но удержаться он не мог. Выждав момент, когда Азиатцев отвернется, он вышел из сада и побежал в обход к противоположному, северному входу. Постояв там, отдышавшись, он неторопливой походкой никуда не спешащего человека пошел по аллее, которая проходила не за Азиатцевым, а перед ним. Он опасался, что его не заметят, прозевают, тем более, что Азиатцева больше интересовало происходящее за спиной, но его заметили.

– Тимницын! Илья!..

Илья, останавливаясь, обернулся и увидел перед собой Азиатцева.

– Ты куда идешь?!

– Привет...– поздоровался Илья, изображая удивление.– Я?.. Домой. А что?..

– Что значит «что»! Ты сейчас должен быть в игре!

– Ах, да... – протянул Илья, наслаждаясь тем, как гладко у него выходит; и гладко, и сладко. – Я совсем забыл предупредить, что не смогу. Вчера у Плуга немножко перебрали, сам понимаешь...

Тут подскочила Лида.

– Илья, ты что, сошел с маршрута?!..

На ней было короткое, тесное, белое в черный горох платье. Илья уставился на нее. Еще никого и никогда ему не хотелось так ударить, как ее в эту секунду.

– А ты что здесь делаешь, такая расфуфыренная?..

«Интересно, кто ей подбирал наряд: Азиатцев или сам?» Она была очень расстроена, очень, даже обижена.

– Илья, ну ты же все испор...

Азиатцев не дал ей договорить и раздраженно придержал рукой; судя по всему, он за это время пришел в себя и теперь догадывался, что появление здесь Тимницына не случайно, и, кажется, это разозлило его еще больше.

– Ты сейчас должен вернуться и идти по маршруту, – сказал он.

– Как это «вернуться»? То есть ты хочешь, чтобы я, не играя, сделал вид, что играл? Так что ли? – поинтересовался Илья. – И как я могу вернуться туда, где не был?

– Ты должен вернуться в игру, – повторил Азиатцев, по ненависти в его глазах Тимницын понял, что затея с Лидой принадлежала ему, и ему теперь отдуваться перед Гарнизоновым.

– А если не вернусь, что тогда? – спросил Тимницын, окончательно сбрасывая маску; он впервые наслаждался победой и, надо сказать, довольно беззастенчиво. – Ладно, ребята, мне пора...

Азиатцев вслед ему мстительно проговорил:

– Ты все равно наш игрок, и будешь играть независимо от того, хочешь ты или нет!

Тимницын остановился.

– Честно говоря, не ожидал от тебя такой философской глубины. Ну, скажи еще, что весь мир театр, а люди в нем актеры... Смешной ты, все-таки, парень...

И на этот раз пошел прочь, не оглядываясь. Вечером, довольно поздно, примчался Жижин, что уже явилось для Ильи косвенным подтверждением услышанного от Алхимова. Он встретил гостя неприветливо.

– Ну, что там у вас произошло с Гарнизоновым? – начал тот вполне добродушно.

Илья не ответил.

– Вы, между прочим, его чуть в могилу не свели, – продолжал Жижин, посмеиваясь и как будто не замечая мрачного настроения хозяина. – С ним случился сердечный приступ. Оказывается, посреди игры, то есть точно в тот момент, когда вы начали казенить, он вдруг почувствовал себя плохо, а потом все хуже и хуже. Даже «скорую» вызывали... Врет, конечно. Хотя, «скорую» может быть и вызывали, для убедительности... Так что там у вас стряслось?

– Я больше не собираюсь участвовать в этих играх, – сказал Илья.

– Что так?

– Не хочу и все тут.

– Ну, какие-то причины должны быть?.. – уже посерьезней спросил Жижин.

– Я сказал, что не буду. Все.

– Постойте, постойте. Это так не делается. «Не буду и все». Вы ведь играете не для Гарнизонова, гори он огнем, а прежде всего для себя. Я намеренно ввел вас в эти дурацкие игры, из соображений, так сказать, того, чем мы с вами занимаемся. То есть, они достаточно дурацкие, чтобы быть полезными для вас... Я считаю, что вам они необходимы, – добавил он, сделав ударение на «я».

– А я считаю, что нет.

Помолчав, Жижин промолвил:

– Илюша, объяснитесь толком, не вынуждайте меня козырять своими полномочиями на ваш счет, напоминать, и так далее...

– Мне на ваши полномочия наплевать.

– Не понял.

– Ну и черт с вами.

– Может быть, обойдемся без грубостей?

– Мне плевать.

– Вы слишком расточительны. Откуда столько слюны?

– На вас хватит.

– Фу-у-у!..

– Я вас сюда не звал.

Возникла длинная пауза. Жижин сидел и, свесив голову набок, задумчиво смотрел на Илью. Наконец он вздохнул и произнес:

– Странный вы народ, Тимницыны...

Илья не собирался вступать с ним в разговор, тем более, что и говорить-то ему было особенно нечего, но вот так сидеть и молчать тоже было невмоготу. Он усмехнулся.

– Ну и что должна означать эта ваша глупая фраза?..

– Ничего, – оживился Жижин. – Ровным счетом ничего. Просто вдруг захотелось сказать и все. Мне она показалась эффектной. Почему-то. Вы ведь знаете мою слабость к эффектным фразам. Я помню долгое время мечтал стать судебным обвинителем, даже на юридический собирался поступать, и знаете для чего? Только для того, чтобы хоть один разок в зале суда перед аудиторией, заканчивая речь, эффектно так тряхнуть руками и произнести: «Ну, какие тут еще нужны доказательства!» И все. Остальное меня, честно говоря, мало интересовало.

– Это было до того, как вы собирались стать разведчиком, или после?

– После, после! Разведчиком я мечтал стать в детстве, а это уже юность. Прыщи, грезы, нескромные сны, желание быть понятым, ну и вот это, страсть к эффектам... «Какие тут еще нужны доказательства!» Вот даже сейчас сказал, и как будто легче стало. Видно, до сих пор точило...

Тимницын понял, что Жижин хочет его разговорить, да у него самого чесался язык выложить ему все, что знает и что думает о нем, но он был по рукам и ногам связан данным Алхимову словом не ставить под удар Меркурия. И чтобы больше себя не мучить и сразу покончить с этим, он сказал:

– Идите к черту!

– Ну, знаете!.. – возмутился Жижин и поднялся.

Но тут Тимницыну пришло на ум, что есть кое-что такое, о чем он мог бы узнать и без Меркурия.

– Почему вы мне не сказали, что были женаты на матери Виктора Навроцкого? – спросил он.

Жижин, дернув головой, медленно изобразил на лице удивление, потом брезгливость.

– Вы знаете, Илюша, мы давненько с вами не общались, и я, к сожалению, вынужден констатировать, что вы за последнее время как-то заметно пообносились умом... Это с какой же стати я должен был посвящать вас в подробности своей личной жизни?.. Но это так, во-вторых, пока это оставим. А теперь во-первых: а что бы это изменило?..

– Я бы никогда не согласился иметь с вами дело, если бы знал! – воскликнул Тимницын.

– Вы уверены?

– Я никогда не стал бы иметь с вами дело, если бы знал!

– А я еще раз повторю: вы уверены?

– А я вам еще раз отвечу, что не стал бы иметь с вами дело!.. И убирайтесь отсюда!..

Жижин наконец разозлился.

– Послушайте, только не стройте из себя Козетту. Если бы знал, если б не знал!.. Я так думаю, что если бы я вам предварительно сообщил, что был когда-то женат на матери этого гаденыша, так мне бы вас и уговаривать потом не пришлось, вы бы согласились в первую же секунду, я мог бы на этом сыграть, но не сыграл, да, да, и нечего ухмыляться! (Тимницын и не думал ухмыляться.) Вы что же, полагаете, я не знаю, что вы и согласились только для того, чтобы досадить своему

дружочку, который, судя по всему, вас ни в грош не ставил, и это вас так, должно быть, раздражало, что вы готовы были его и кирпичом угостить, разве нет?..

Тимницына вдруг осенило.

– Так это вы мне кирпич подбросили?!

– Да какая сейчас разница, кто его подбросил! Почему такая избирательная память? Вы лучше вспомните, что я вам руки развязал, и вы тотчас же отправились этими развязанными руками бить ему морду, и неплохо, между прочим, получилось!.. И, небось, еще как были мне благодарны за это!..

Дрожа от волнения, позабыв о всякой осторожности, о данном Алхимову слове, Тимницын выпалил:

– А все-таки за какую сумму вы меня продали Левадийскому, и на что конкретно он обменял меня у Гарнизонова?

Вопросы свалились на Жижина совершенно неожиданно. Это было видно. Некоторое время он стоял перед Тимницыным с растерянной полуулыбкой и, вероятно, никак не мог собраться с мыслями.

– Все же я очень сильно заблуждался на ваш счет... Вы настолько недалеки... – Жижин покачал головой; он еще пробовал сопротивляться. – Наша с вами совместная деятельность приобрела карикатурные формы. Мы, кажется, уговаривались, что не я вам, а вы мне будете представлять отчеты по первому требованию, но все время происходит обратное. Вы постоянно требуете, чтобы я объяснял свои действия. В чем же тогда смысл?.. Ну, хорошо; раз уж дня не можете прожить без объяснений – объясняю: это тоже часть практики.

– Я мог бы согласиться, и то вряд ли, если бы знал об этом.

– Но вы ведь узнали?

– Я узнал случайно.

– Случайно?.. Вот-вот. А почему вы решили, что случайно?.. Ладно, так и быть, откроюсь: никаких продаж и обменов не было, я просто пустил слух. И вот вам результат...

Тимницын видел, что Жижин уже оправился от удара, и теперь пытается его запутать, и ему трудно было что-то возразить, но тут Жижин сам себя и выдал.

– Вы ведь узнали от Меркурия?..

– Нет, – сказал Тимницын. – И я больше не хочу об этом говорить. И больше не хочу вас видеть.

Жижин помолчал; вздохнул.

– Воля ваша, конечно, – сказал он, – но вы же что-то подписывали, как с этим быть?

– Вот именно «что-то»! Что-то! А не то, что вы показывали Меркурию! Все. Я хочу, чтобы вы ушли.

Жижин, усмехаясь, повернулся к двери.

– И запомните: я с вами больше никак не связан! – произнес ему вслед Тимницын, и вот это было уже совсем-совсем лишнее: какая-то неуверенность, чуть ли не просьба, прозвучала в его фразе, и Жижин мгновенно эту слабину уловил.

– Ну, это вы так считаете, – сказал он. – Срок нашего договора никак не ограничен, а я со своей стороны прекращать его действие не собираюсь... А вдруг вы одумаетесь?..

Выиграв несколько часов назад похожий поединок у Азиатцева, Тимницын теперь вчистую проигрывал Жижину. Он не понимал еще причин проигрыша, а только чувствовал, что проигрывает, и отвратительное ощущение, что он все равно каким-то образом остается во власти Жижина, не исчезало и доводило его до отчаяния. То, что раньше беспокоило его подспудно, теперь встало перед ним во всей своей непонятной силе.

– На днях я приду к вам и вы отдадите мне ту бумажку, которую я подписывал, – с угрозой проговорил Тимницын, пробуя выправить положение, и уже тем самым отягчая его.

– Ну уж это вряд ли. Вы ведь имеете в виду заявление начальнику жэка? Оно уже давно у него. Надо сказать, никакого впечатления оно не произвело: трубы продолжают течь, как и текли... Так

что его у меня, извините, нет. Но нам-то важен дух, а не буква; мы-то помним о его настоящем значении; и будем помнить еще долго, правда, Илюша? – сказал Жижин, недобро улыбаясь. – Все. Прощайте пока...

– Тогда и я напишу куда следует заявление, где подробно опишу чем мы занимались с вашим Яковым! – крикнул ему в спину Тимницын. – Может быть и вам кое-что перепадет! Сколько он вам заплатил за то, что я таскал его чемоданы?..

– Грозился Тимницын море поджечь, – усмехнулся Жижин, открывая дверь.

– Я вам твердо обещаю, что вы об этом еще пожалеете!..

– Это мы еще посмотрим, – сказал Жижин. – Посмотрим. Как говорил один мой знакомый из общества слепых: поживем – пощупаем...

И он ушел, хлопнув дверью.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I. Новая топография

Все полученные от Жижина записки уже были найдены и изорваны в мелкие клочья, но Илья продолжал рассеянно рыться в бумагах и книгах, которыми был завален год не убиравшийся письменный стол; копошась, перекладывая их с места на место, он вдруг одернул руки, его неожиданно напугала пришедшая на память примета: обирать себя – к смерти. «Ну, что за вздор еще!» – раздраженно подумал Илья. И однако же, чтобы (на всякий случай) свести примету на нет, он взял выглянувшую уголком из-под бумаг книгу Алхимова, как будто вот ее-то он и искал все это время.

И если б не счастливая случайность, она вряд ли бы задержалась в руках Тимницына больше минуты; скорее всего, как это уже и бывало, он нехотя бы ее полистал, а возможно, только переметнул бы из начала в конец и обратно и отложил бы до следующего раза. Но в ту памятную ночь, едва только Илья взял рукопись, как она, развалившись надвое, волшебным образом открылась на стр. 69, и прямо в смятенное сердце Тимницына тремя крутыми ступенями сошло следующее стихотворение:

ты выходишь из подъезда
в неподвижный душный вечер
не замечен не замечен
ты выходишь из подъезда
от ступеней до ступеней
пять шагов четыре даже
если делать шаг пошире
ты выходишь из подъезда
где-то женщина смеется
слон ладью с доски сгоняет
мысль о том чтобы вернуться
ты выходишь из подъезда
в вечном перечне событий
есть и это: ты выходишь из подъезда
в неподвижный душный вечер
ты пульсацией отмечен
время-место время-место
ты выходишь из подъезда
в каталоге всех предметов

есть и ты: выходящий из подъезда
есть подъезд: оставляемый тобою
ты выходишь из подъезда
нумератор всех явлений
и тебя пронумерует
слышишь: цифры цифры цифры
выбирай себе любую
ты выходишь из подъезда
в неподвижный душный вечер
то что было паутиной
превратилось в нить
помечен

Илья жадно перечитал стихотворение. Затем, то и дело к нему возвращаясь, поплутал по окрестному тексту, в полутьме которого – то там, то здесь – теперь мелькало и таинственно поблескивало что-то манящее, даже как будто знакомое...

Тимницын перешел на кровать. Умостившись, открыл первую страницу, где значилось:

Андрей Решетилов

Опыт сравнительной метатопографии городов Мадрида и Лидии

На первый взгляд книга была составлена весьма затейливо, если не сказать бестолково. Начиналась она с экзальтированного (частокол восклицательных знаков) приветствия Решетилова, в котором среди прочего рассказывалась история почти чудесного обретения им (на автобусной остановке возле порта) французского перевода книги Себастьяна Браво «Метатопография Мадрида»; вслед за предуведомлением Решетилова шло предисловие к французскому изданию, подписанное инициалами F.F., далее следовало пространное предисловие некоего Хуана Руфоса ко второму (1960) мадридскому изданию «Метатопографии Мадрида», за ним статья друга юности С. Браво – Луиса Герсиа, предпосланная ее первому (1949) изданию, потом ненадолго слово брал опять автор начального предуведомления, и вот только после всей этой вереницы предисловий наступал, наконец, черед самой книги, но это была не «Метатопография Мадрида» Себастьяна Браво, а «Опыт сравнительной метатопографии городов Мадрида и Лидии» Андрея Решетилова, как и было объявлено в заглавии. Автор, он же переводчик и составитель, в своем втором предисловии сообщал, что владея французским в недостаточной степени и боясь испортить первое (и зачастую, решающее) впечатление от знакомства с учением С. Браво, долгое время не брался за этот труд, надеясь, что «Метатопография Мадрида» рано или поздно дождется более достойного переводчика и осведомленного в метатопографии комментатора. Однако желание познакомить с «ММ» русского читателя в нем не угасало никогда. И вот только спустя четыре года, приобретя к тому времени собственный метатопографический опыт, он отважился на написание «Метатопографии Лидии», и постарался сделать это так, чтобы сквозь нее как можно отчетливее проступала «ММ» Себастьяна Браво, отсюда частые отсылки и обширнейшие цитаты. Так возник «Опыт сравнительной метатопографии... Таким образом, и просто читателям, и будущим «новым топографам» (прежде всего лидийским, разумеется) предоставлена возможность пользоваться двумя источниками одновременно.

Из французского предисловия (Тимницын пробежал его по инерции, не задерживаясь) можно было узнать о состоянии метатопографии на 1965 год. К тому времени учение С. Браво получило, так сказать, международное признание. «Новые топографы» появились во всех крупных (и не только) городах Европы и обеих Америк. Выходят даже три журнала – «Cat's Topography» в Нью-

Йорке, «Sebastian» в Лондоне и «La Course» в Париже. По утверждению F.F., со времен Браво метатопография изменилась чрезвычайно, порой неузнаваемо. Убыстряющийся темп жизни, бурное развитие транспорта и коммуникаций, увеличение городского населения, рост преступности, изменение звуковой картины городов, архитектурные нововведения последних десятилетий и прочее тому подобное, не говоря уже о бессчетных переменах помельче (хотя, как известно, для метатопографов не существует мелочей) – все это не могло не отразиться на «новой топографии», которая становится все изощренней и запутанней, и топографический опыт день за днем пополняется новыми изысканиями и открытиями. Это привело к возникновению разнообразных течений и толков, таких, например, как «слепые топографы», ориентирующиеся только на звуки, или «ночные топографы» (Гамбург, Копенгаген), практикующие исключительно в темное время суток. Дробление продолжается по сей день, вплоть до самых извращенных. Так, сам автор встречал даже гадателей по автомобильным номерам (и это несмотря на самый решительный запрет «не гадать!»); сюда же следует отнести и французских «новых новых топографов», утверждающих, что метатопография вещь настолько глубоко личная, интуитивная, что каждый человек, являясь волей-неволей топографом, живет по своим топографическим законам, хочет он того или нет, а потому нет никакой необходимости и никакого смысла в какой-то еще дополнительной практике. Однако все это еще было бы полбеды. Куда тревожней другое. У происходящих в современной «новой топографии» вышеперечисленных процессов есть один наиважнейший аспект, влияние которого на будущее учения Себастьяна Браво сейчас еще трудно вполне оценить и предвидеть, хотя основные тенденции уже налицо. Дело в том, что стремительное разрастание городов с появлением новых районов повлекло за собой (и с этим согласно большинство даже ортодоксальных топографов) невиданное увеличение особо опасных зон. Во многих городах зоны «28.8.28» и «тегеран» увеличились в два, три, а то и более раз! Существовавшие ранее соотношения нарушились и, похоже, что навсегда. Вот здесь-то и обозначился главный раскол. Для многих топографов город как масштабная константа перестает быть таковым. «Новая топография» начала и продолжает делиться на «малую» и «большую». «Малые топографы» ограничивают среду обитания несколькими районами, а некоторые даже каким-то одним. Сторонники же «большой» наоборот, упраздняя границы города, постепенно вводят понятие «национальная новая топография». Так уже появились «новые топографии» Нижней Сены, Вестфалии, Бельгии и Нидерландов. Очевидно, дело идет к общеевропейской НТ, и, возможно, приверженцы таковой уже имеются. (Не обошлось и без курьезов: «Международные топографы» – причуда бездельников-толстосумов, по преимуществу американцев, разъезжающих по всему миру).

Никак не обнаруживая своего отношения к современной НТ на всем протяжении статьи, французский комментатор только в самом ее конце раскрывается как ортодоксальный метатопограф, ревнитель «топографии Браво». Всех изменивших ей в той или иной степени он называет отступниками, спасовавшими перед возникшими трудностями, а сами течения и толки – «ересью, ставшую, по вполне понятной человеческой слабости, закономерным результатом последовательных компромиссов». Распаляясь от слова к слову, он клеймит все нововведения последних лет: метатопографические журналы и их тщеславных авторов; международные встречи топографов и так называемые «Себастьяновские чтения»; какие-то шутовские совместные НТ-инспекции городов и убогих шарлатанов, якобы способных своими заклинаниями и пассами очистить любое «проблемное пространство», и проч., проч., проч. Но особой «чести» у него удостаиваются сторонники национальных топографий и будущей общеевропейской; осыпав их едва не проклятиями, он приводит слова Себастьяна Браво: «Мадрид – это судьба!» и завершает свою статью вопросом: «Интересно, как далеко можно убежать от судьбы?..»

Предисловие Хуана Руфоса чуть ли не с первых же строк начиналось с жаркой полемики с Луисом Гарсиа, предисловие которого шло следом, поэтому Тимницын начал с последнего. Здесь он наконец кое-что узнал о самом виновнике. Себастьян Браво родился на юге Испании, в андалузском городке Херес-де-ла-Фронтера в семье врача. Произошло это в 1904 году. В 1906-м семья переезжает в Мадрид. Отучившись в монастырском колледже, Себастьян поступает на

медицинский факультет университета. Увлечения юного Браво: философия, оккультные науки и более всего поэзия. Часто публикуется в студенческом журнале. В начале и в конце 1927 года крохотными тиражами выходят две его книги: сборник стихов «Верлибрарий» (куда вошло и эссе «Оттенки черного») и сюрреалистический роман «Психофизические свойства города Мадрида», в котором, как полагают, среди прочего описана история его любви к дочери тюремного врача Виктории Э. Год 1928-ой: разрыв с Викторией и переход на положение метатопографа. Рукопись «Метатопографии Мадрида» была подарена Себастьяном Браво своему юношескому приятелю Луису Гарсиа в мае 1930 года. В этом же году Себастьяна Браво видели в последний раз в районе парка Аргансуэла. Дальнейшая судьба его неизвестна.

В своем предисловии к первому изданию «ММ» Л. Гарсиа дает довольно пространный портрет товарища. Особенно отмечает его неуравновешенный, контрастный характер и подверженность глубочайшим депрессиям, в которых уже тогда проглядывали первые признаки будущего помешательства. Депрессии были непохожи друг на друга, каждая имела свой норов. Гарсиа вспоминает, что Себастьян рассказывал ему о них, об их отличительных свойствах, еще когда им обоим было по лет 17–18. Так, например, та, что позже получила название «алкоголь», несла ощущение отупляющей дурноты, тяжкого, томительного недоумения, то, что в народе называют «хмель не туда пошел»; «пыль» – предельная степень скуки, унылого равнодушия; «кладка» – ощущение абсолютной неодушевленности окружающего, когда даже живая материя представляется состоящей из лишенных какой бы то ни было жизни, искусственных частиц... Остальные названия – «шум», «лихорадка», «скорбь», «теснота» – понятны, пожалуй, и без объяснений. Впрочем, все это подробно описано в «Оттенках черного» и потом в «Метатопографии Мадрида». Депрессии сменялись периодами бурной беспричинной эйфории, которые год от года становились все короче и короче. Особую роль в этой мрачной эволюции Гарсиа отводит неразделенной любви Браво к Виктории Э. Ее отказ (несмотря на то, что они были помолвлены) приходится как раз на тот роковой 1928 год, когда Себастьян Браво объявляет себя метатопографом, то есть, как считает биограф, окончательно сходит с ума. Название опаснейшей зоны Мадрида – «28.8.28», по мнению Луиса Гарсиа, есть не что иное, как двадцать восьмое августа тысяча девятьсот двадцать восьмого года, день последнего, решающего свидания Себастьяна с Викторией у нее дома, на бульваре Росалеса. После этого его видят то в одном, то в другом конце Мадрида, особенно часто в районе Ботанического сада, обсерватории и парка Эль Ретиро, но встреч со знакомыми он избегает, причем в буквальном смысле: завидев – убегает. От раза к разу выглядит он все более жалко и со временем производит уже впечатление полуненормального бездомного бродяги. Нередко наталкиваются на него около рынков, где бедняга, должно быть, подкармливался. Последний раз Луис Гарсиа видел своего друга в конце мая 1930 года. «Он пришел ко мне, на улицу Аточа, вечером. Мы не виделись с ним около года, а не разговаривали и того больше, и я был так ошарашен его появлением, что сразу не нашелся что сказать. Так, впрочем, бывает всегда, когда долго не видишь человека (а тем более когда знаешь, что человек этот душевно болен). По всей видимости, смущен был и он. Я молча провел его в комнату; едва переступив ее порог, он остановился и с каким-то скрупулезным и в то же время спокойным вниманием стал ее осматривать. С лица его, с того самого момента, как я открыл дверь, не сходила улыбка, которая сначала показалась мне смущенной, неловкой, и я даже подумал, что он вдруг стал здоров. Но уже спустя несколько минут я понял, что это улыбка безумца, погруженного в искаженный мир своих иллюзий. Одет он был так, как обычно одеваются рабочие с окраин: грубые штаны и куртка, тяжелые ботинки, на плече полотняная сумка; всему этому было, разумеется, очень далеко до опрятности.

– Как ты поживаешь, Себастьян? – наконец спросил я. – Как ты жил все это время, что мы не виделись?..

Мой вопрос повис в воздухе.

– Ты, кажется, что-то сказал? – вдруг спохватился он, отвлекаясь от осмотра комнаты.

– Да, я спросил: как ты поживаешь, Себастьян? – повторил я свой вопрос.

Он смотрел на меня, все так же улыбаясь, только на лбу, между бровями пролегла складка.

– Извини, – сказал он, – но я не понимаю, о чем ты говоришь...

– Я имел в виду... – начал я.

Но он вдруг подошел к столу, за которым я как раз собирался ужинать, и когда повернулся ко мне, в руке его был нож. Скажу откровенно, в первую секунду мне стало немного не по себе.

– Что это, Луис? – спросил он, показывая нож.

– Это? Нож, – ответил я как можно спокойней.

– Нет, – сказал он, качая головой. – Ты заблуждаешься. Это... Посмотри-ка хорошенько, Луис... Это – нож.

Я, ни слова не говоря, обошел его, подошел к столу, выдвинул стул и предложил ему поесть. Он взялся за еду жадно, стараясь перепробовать все, что было на столе, особенно налегая на жареный картофель; из наполненного мною бокала отпил два-три маленьких глотка вина и больше к нему не прикасался. Это было жалкое зрелище. Надо сказать, что я уже тогда был вегетарианцем, и мне, глядя на его худобу и бледность, вдруг пришло на ум угостить Себастьяна чем-нибудь мясным. Я предупредил его, что оставлю на несколько минут, и, быстро одевшись, спустился в лавку на первом этаже. Она оказалась закрытой, и я побежал в другую... Увы, когда я вернулся, Себастьяна уже не было. Стол был почти пуст. Вероятно, в своей сумке мой гость унес все, что на нем было, оставив только вино. Зато вместо унесенного на столе лежала рукопись «Метатопографии Мадрида». И больше никогда я его не видел...»

О сочинении С. Браво Луис Гарсиа отзывается так: «Это вдохновенная романтическая песнь о Мадриде, насыщенная энергичной и изощренной сюрреалистической образностью! ...Это поистине метафорическая топография, где Мадрид – главный и любимейший герой больного, полубезумного Браво – дан в десятках перетекающих друг в друга обликов, в головокружительных перепадах интонаций, в динамичном неисчерпаемом потоке метафор. Мадрид, пропущенный через воображение поэта. Метаморфозы города, прошедшего через горнило его воспаленного сознания. Мадрид Себастьяна это и есть сам Себастьян...»

С таким взглядом категорически не согласен автор предисловия ко второму мадридскому изданию Хуан Руфос (бывший, судя по нескольким обмолвкам, едва ли не единственным человеком, с кем в последнее время общался Браво, и сам практиковавший метатопографию). С первых же строк он обрушивается на Луиса Гарсиа («наш на удивление психически здоровый господин вегетарианец») за его «недопустимо вульгарное и совершенно ложное толкование жизни и деятельности Себастьяна Браво». Хорошо различимая нотка ревности пробивается сквозь эти горячие обвинения. Руфос начинает прямо с ложной расшифровки Луисом Гарсиа «метатопографии» как «метафорической топографии». Такой подход разом и на корню, по мнению Руфоса, уничтожает настоящий смысл всего, что сделал Браво. Ни о какой метафоричности здесь не может быть и речи. Согласно утверждению Руфоса, метатопография это «за» или «после» топография, и никакого иного значения, ни поэтического, ни метафизического, этот термин в себе не заключает. Тем не менее, Хуан Руфос усматривает некоторую досадную оговорку, непродуманность в выборе названия («если, конечно, у Себастьяна не было намерения вводить в заблуждение господ вегетарианцев»). Топографии Браво пришлись бы впору скорее такие определения, как «высокая» или же просто «точная». Сам Руфос, во избежание разночтений и вольных толкований, предлагает нейтральное название, которое позже и вошло в обиход – «новая топография». Покончив с вопросами терминологии, Руфос переходит непосредственно к предмету. Метатопография и есть истинная топография без всяких поэтических примесей, и обычная топография является ее составной частью. Это топография не косного, неподвижного пространства, а живого и меняющегося. В мире нет ничего, что могло бы сравниться изменчивостью с обыкновенной городской улицей, и ни одна изменчивость не красноречива так, как эта. Ею и только ею живет и дышит метатопограф. Грубо говоря: погода, освещение, количество и взаиморасположение пешеходов, наличие транспорта, звуки и запахи, перемещение теней и бликов, направление и сила ветра с результатами его вмешательства, и многое, многое другое, чего и не перечислить, – все это составляющие той совокупности, того каждую секунду возникающего целого, которое только и

можно назвать метатопографической картиной данного места в данный момент. Между топографом и пространством, в котором он находится, говорит Руфос, не может быть (во всяком случае, в идеале не должно быть) никаких зазоров, ничего постороннего. Метатопограф видит только пространство и реагирует только на него, избегая всякой там лирики вроде воспоминаний, ассоциаций и видов на будущее. Пространство живет своей самостоятельной жизнью, а мы никак не желаем этого замечать. Впрочем, иногда ведь замечаем, когда, оказываясь на кладбище, ощущаем тоску или печаль, а проходя мимо тюрьмы – в большей или меньшей степени тревогу, исходящую от ее неприступных стен. Не мы наделили их этими качествами. Разве мы наделяем неподвижную гладь моря или тишину сельского пейзажа способностью навевать на нас покой и безмятежность, а шторм и бурю приводить нас в трепет? Разве сами по себе благорасположенность или враждебность того или иного пространства не очевидны? Любой объект или явление будит в нас какие-то эмоции, часто едва различимые. Искушенность топографа определяется способностью расслышать эти сигналы и степенью доверия к ним. И если уж говорить об эмоциях, то все они где-то в самых своих глубинах сводятся к одной-единственной – к страху. Страх, страх, страх, и еще раз страх! В самых разных его видах и оттенках. Ведь в конечном счете за внешней пестротой топограф только и видит, что по-разному пугающие его темные, грозные лики пространства, и ничего больше. Ужаснувшись одним, он бежит от него, чтобы ужаснуться следующим. Его можно сравнить с человеком, обреченным постоянно испытывать боль, и все, на что он способен, это подставить боли другой участок своего тела, чтобы дать передышку измученному, потом следующий и так далее. Избавление от боли за счет иной боли. Вот это и гонит топографа из одной зоны в другую. Коррида и есть постоянное метание между зонами. Конечно, топограф бежит не всегда, место его отдыха – границы между зонами, межи, где он переводит дух; однако, надо заметить, что чем чутче топограф, тем меньше времени он проводит на меже. Зон всего девять: семь обычных, равнозначных, в которых в основном и пребывает топограф –«алкоголь», «пыль», «лихорадка», «шум», «скорбь», «теснота», «кладка»; одна особо опасная – «28.8.28» (в которой, если воспользоваться приведенным выше сравнением с болью, болит все сразу); и еще одна чрезвычайно, смертельно опасная – «тегеран», зона абсолютной, убийственной черноты (ее название, по мнению Л. Гарсиа, как и в случае с «28.8.28», связано с биографией Браво: в 1915 году, путешествуя по Персии, в Тегеране умер от чумы дядя Себастьяна по матери, к которому он был очень привязан). Весь город поделен на перечисленные зоны, и это уровень постоянный – блеклый, потенциальный – указывающий на склонность, предрасположенность пространства. Внимание же топографа почти целиком поглощено происходящим на уровне изменчивом, актуальном, состояние которого как раз и зависит от многоразличных сиюминутных слагаемых, о которых говорилось выше. Здесь существуют те же зоны, что и на постоянном уровне, но тут эти названия обозначают то состояние, в каком может оказаться пространство в любой своей точке в любой момент. Это уровень, где зоны находятся в непрерывном хаотическом движении. Здесь-то и обитает топограф. Исключением из общего правила являются две крайние зоны: зона «тегеран», опасность которой на постоянном уровне почти так же реальна, как и на актуальном. И зона «дом» (у Решетилова «мадрид») – обетованная земля топографа, его топографический рай. Это зона преображенного пространства, сменившего свой грозный лик на благожелательный. Существует она только на изменчивом уровне, и счастливчик, попавший в нее однажды, остается там навсегда. В остальное время самое большее, на что можно рассчитывать, это очень ненадолго оказаться где-то неподалеку.

В конце Хуан Руфос еще раз настойчиво повторяет, что рассматривать метатопографию как некий свод поэтических метафор каких-то психических состояний, как к тому призывают некоторые, значит до неузнаваемости искажать дело. «Скажу больше», – говорит Руфос, но закончить ему не удается, потому что на этой фразе его предисловие почему-то обрывается.

Далее шла книга Решетилова, поставившая безвестную провинциальную Лидию в один ряд с куда более именитыми «городами-приключениями» (Л. Гарсиа). Ее Илья прочитал на одном дыхании. Небольшая по объему, она представляла собой дневниковую запись четырнадцати дней

из жизни лидийского топографа, т.е. Андрея Решетилова. Она и в самом деле, как обещал автор, была буквально напичкана цитатами из Себастьяна Браво, особенно первая ее половина – выписки иногда занимали большую часть страницы. Приключения испанца, впрочем, Тимницына интересовали мало, так же как и совершенно неизвестная ему топография столицы Испании. А вот Решетилов и его Лидия взбудоражили не на шутку. Более всего, даже до какой-то радостной дрожи (дело происходило ночью), Тимницына восхищала живая всеядная отзывчивость героя и автора «Опыта» на происходившее вокруг. Откровения случались тут на каждом шагу. Во всяком случае, именно такое значение вкладывал Решетилов в любое из явлений окружающего мира, будь то пестрый птичий помет под деревьями, освещенный резким мартовским солнцем, толпа рабочих, вываливающая из фабричных ворот, или судорога вагонной сцепки, – все это на равных правах вмешивалось в кочевую жизнь топографа. Однако с каждым описанным днем топография Решетилова становилась все суше и суше, приближаясь к концу книги к поистине аскетической простоте. Так сначала где-то в середине он вводит понятие «стень», под которое сводит разом всё, что можно назвать отражением – от отражения в зеркале или еще в чем-нибудь до любой рефлексии, а потом заменяет его и вовсе безликим «давлением». А ближе к финалу он заявляет следующее: «Пространство обладает некими свойствами, которые не могут быть не то что выражены или хотя бы поняты топографом, они не могут быть даже толком им прочувствованы – назовем это давлением или стенью, все равно, – а потому топографу только и остается, что бежать».

Кроме упомянутых, данных в развитии четырнадцати дней, в рукописи Решетилова была еще одна, вероятно, самая последняя запись. Какой-то крайней загнанностью веет от этого предельно (или – запредельно?) сухого отчета. Вот эта страница:

разворот: солнце!
х.с. – 400м – ГРПШТ?
Т-вою мать!: назад лево/право, холодец
отрекаюсь! все? – 17 – лево 8 (опять)
ииииииииии
тпру
и т. д. – с.з, кручекруче хлип-хлип
странно-где? тучнеет: футы, нутф – сука!
пасть плюс вещь вошь, 5-16-3 и 3, тссс
крен крен ликуем!
288 – 10/4 заметь: забыто
мост пи-пи зюйд-вест заперто
ч/б-ч/б
держимся
место
грудью! зашился некогда – остынь
днище? еще? – место
еще место
закрыто
еще место
закрыто
еще место, закрыто!
зашился, кипит
мало-мало озон влево 7
насквозь вправо 9
алкопыль?
еще, еще, еще – какого? чур!
цепляет давай-давай маленькая 2 нет

остынь
точка крепость ползком
из
в
из
убегох!
отвяжись – даром, как дважды два четыре, мель
!
трава не расти
мимо

II. Дебют

К немалому удивлению Ильи, обаяние книги Решетилова за время, что он спал, не исчезло. Первые минуты по пробуждении, еще не вспомнив о ней, он провел в сладком трепете от предчувствия встречи с чем-то замечательным, долгожданным. Вероятно, он и проснулся раньше обычного, разбуженный этим беспокойством, как просыпался в детстве в дни рождения. Вспомнив о книге, он взял ее (она лежала рядом, на стуле) и пролистал: да, да, да!.. Можно было и не проверять, радость узнавания говорила сама за себя. «Ты выходишь из подъезда в неподвижный душный вечер...»

В пять часов пополудни Тимницын вышел из подъезда. В висевшей на плече холщовой сумке кроме книги Решетилова лежали: байковая рубашка, пачка папирос, спички, бутерброд и найденный среди хлама в ящике письменного стола школьный компас; он даже и не позавтракал толком, так не терпелось ему приступить. В газетном киоске купил за 40 копеек карту-схему Лидии.

Однако воодушевление, которому он с такой охотой доверился, оказалось штукой непрочной, и как только подготовительная часть была завершена и настало время делать первый шаг, оно внезапно и бесследно улетучилось. Вероломно им оставленный Тимницын потерянно встал посреди всегда людной Воскресенской. Развернул карту. Так. Ну и что теперь?..

«Гм... Теперь-то что?..» Каким должно быть начало?.. Как начинал Решетилов? Как начинал Алхимов?..

Подумал было отправиться в Зенитный переулок, но, во-первых, сомневался, что Алхимов там, а во-вторых, неловко было идти туда без обещанных продуктов и вещей для солдата, да и встречаться с солдатом не хотелось; впрочем, наоборот: солдат – во-первых, Алхимов – во-вторых.

«Гм...»

Он вспомнил совет Себастьяна Браво «не знаешь куда бежать – беги на юг!» и еще фразу Лены, которую она ему в детстве повторяла каждый раз, когда он, отказываясь от еды, говорил, что не хочет: «Ты начнешь и тебе захочется». Тимницын пошел на юг, в сторону порта. Лениво и сонно глядел он вокруг и не видел ничего, что могло бы сообщить начальный толчок, подсказать, намекнуть. Казалось, никогда еще окружающий мир не был так уныло и безнадежно молчалив. То, что лежало на поверхности и давалось само собой, без малейших дополнительных усилий во время его произвольных метаний по Лидии, теперь было от него сокрыто, и ни одна из мелочей, прежде таких красноречивых, ничего ему не говорила.

Спустя полчаса Тимницын повернул к дому, но сделал это только для того, чтобы его движение хоть на некоторое время приобрело какой-нибудь смысл: возвращаться домой ни с чем, потерпевшим неудачу и сидеть ждать трех часов ночи, когда можно будет наконец отправиться на работу, ему хотелось еще меньше, чем вот так бесцельно бродить по городу.

Может быть каким-то невольным жестом или промелькнувшей по периферии сознания мыслью он осквернил это предприятие в самом его начале, с первого шага?.. Он переворошил последний час своей жизни и ничего не нашел. В мозгу, подобно жерновам, тяжко ворочались два

вопроса, наличие которых, уже само по себе, вызывало тоскливую дурноту: «Что делать?» и «Куда идти?»

Тимницын завернул в первый попавшийся винный подвал. Кроме продавщицы, которая, налив ему стакан розового вина, опять уткнулась в журнал, в подвале находилась пара посетителей. Один из них – пожилой, широкогрудый, с отвратительно желтоватой, как будто прокуренной седой шевелюрой – подошел к Тимницыну и, протягивая раскрытую лодочкой ладонь, с притворной кротостью попросил тридцать копеек. Тимницын покачал головой.

– Ну, хорошо: давай двадцать, – уступил проситель.

– У меня нет денег, –угрюмо произнес Тимницын.

– Нету?.. А хочешь я тебе анекдот расскажу? – с брезгливой агрессивностью, щуря непромытые глаза, спросил тот.

– Не хочу.

– Не хочешь... А вот тогда скажи мне: у крысы может быть фамилия? – и обращаясь к своему дружку: – Посмотри на него! Я, инженер-конструктор первой категории, должен перед ним унижаться!..

Тимницын залпом выпил вино, поставил стакан и пошел к лестнице. «Окаянный, ты!» – крикнул ему вслед пьяный. «Хватит орать, не на митинге!..» – осадила его продавщица.

Тимницын выскочил из прохладного подвала в уличную духоту. Раздраженный то ли приставанием пьяного, то ли неудачей с метатопографией, он пошел быстро, не выбирая дороги. Теперь ему вдруг захотелось идти без всякой цели, куда глаза глядят, просто для того, может быть, чтобы израсходовать заряд энергии, предназначенный для метатопографического дебюта. К черту топографию! Транспарант над мостовой тотчас его поддержал: «Главное сегодня – не успокаиваться, наращивать движение вперед!» «Вот именно!» – отозвался Тимницын. Сюда еще примешивался невесть откуда взявшийся легкий кураж, который Тимницын не сразу догадался связать с выпитым вином. В пику совету Браво он взял строго на север, в сторону старого цирка, однако течение окружающей жизни, ее исподволь нарастающая конкретность все больше сносили его к западу, так что цирк, когда он проходил мимо него, оказался далеко справа. Как вольный путешественник, решивший осмотреть незнакомый город не от достопримечательности к достопримечательности, а просто так, полагаясь на собственную прихоть, Тимницын, постепенно замедлив шаг, шел по Лидии, все больше удаляясь от ее центра. Вмешательство мелких обстоятельств и их влияние на его маршрут им почти не ощущалось. Кое-какие надписи, впрочем, привлекали внимание. Так он некоторое время размышлял о том, каким бы мог быть метатопографический смысл объявления в окне парикмахерской «ЗДЕСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ УДАЛЕНИЕ ВРОСШИХ НОГТЕЙ И МОЗОЛЕЙ»; несколько позабавило его и полуразбитое стеклянное табло над швейным ателье, получившее из-за отсутствия последнего слова (платьев?) вполне сюрреалистическое звучание: «ПОШИВ И РЕМОНТ ЖЕНСКИХ ЛЕГКИХ». Но он ничего от них не ждал и долго на них не задерживался.

Вскочив на подножку трамвая, номер которого знаком был ему лишь понаслышке, проехал на нем до конечной и вышел у похожего на заброшенный замок мукомольного завода. Обойдя его, перешагнул через низенький парапет и оказался в маленьком, заросшем, совершенно безлюдном скверике; сверху, вместе с сухим липовым цветом неумолчно сыпался целлулоидный треск сорок, томно перегукивались голуби и время от времени попевала иволга. За окольцованным трамвайной колеей скверико потянулись одно- и двухэтажные дома с палисадниками вдоль разбитых мостовых, что-то совсем уже незнакомое; где-то звенела, взвизгивая, циркулярная пила, откуда-то издалека доносился размеренный стук свайного копра. Пройдясь по улицам и переулкам с неброскими названиями: Рекордная, Элеваторная, Бригадирский, он вышел к небольшой площади.

Тимницына, проведшего почти всю сознательную жизнь в центральной части города, издавна влекли всяческие захолустья и заброшенные, диковатые, лишенные парадной значительности места. Чем именно влекли, он никогда понять не мог, хотя и угадывал тут некоторую связь со

своим постоянным, напряженным ожиданием (вот за этим углом, вот в этом переулке) какой-то необыкновенной, решающей встречи с кем-то или с чем-то, которое выгоняло его на улицы Лидии, а теперь, возможно, подтолкнуло к метатопографии, и которое по странной закономерности возрастало по мере того, как хирело и оскудевало окружающее пространство. Может быть оно же заставило его остановиться и перед этой маленькой грязной площадью?..

В этот закатный час широкое, не чета городскому, небо окраины вмещало почти все цвета спектра: над головой оно было уже глубоко синее, а дальше, к западу – голубое, бирюзовое, зеленое, желтое, оранжевое и в самом низу не красное, а опаловое от смога; по всему его простору, размашисто перечеркнутому пушистыми, изогнутыми, кое-где разорванными перьями самолетных борозд, теснились многочисленные, разной величины, пестрые облака, от безукоризненно белых и чуть розоватых до нежно- и темно-сизых, в зависимости от их высоты. Таким небом стоило полюбоваться, но Тимницын смотрел на площадь. Он стоял неподалеку от пивной, у входа в которую несколько человек пили пиво. На противоположной стороне был продуктовый магазин. По периметру площади высились пыльные тополя и между ними бегали и кричали дети. А посреди площади тарахтел пустой автобус с распахнутой дверью. Вот и все.

Свою завороженность Тимницын и теперь, как всегда, не смог бы объяснить; его внимание скорее всего и было единственным поводом подозревать, что за этой бедной неказистостью кроется какое-то чрезвычайно важное, адресованное только ему сообщение. Вместе с тем было странное ощущение, что и пространство как будто присматривается к нему, и, как знать, не явилось ли внимание Тимницына только откликом на внимание пространства? Ощущение было несколько сродни тому, что он иногда испытывал, находясь рядом с Виктором Навроцким. Эта невзрачная площадь словно... нет, не любовалась им, конечно... но как будто была преисполнена самого жадного – затаив дыхание – интереса к нему... Может, он бывал здесь в детстве? Или же, еще проще, проезжал ночью на почтовой машине?.. И теперь площадь как бы надеялась, что он ее вспомнит?.. Тимницыну, однако, не хотелось такого плоского ответа на свое сладкое недоумение. Куда больше ему нравилось смотреть на озадачившее его скопление строений, деревьев и людей как на случайно попавший на глаза текст, только увидев который, сразу же чувствуешь, что вот сейчас найдешь в нем разгадку давно мучившего тебя вопроса, и в твоей воле попробовать еще раз найти ответ самому, поскольку текст уже под рукой, или же прочитать его тут же, не откладывая. Илья тянуть не стал и выбрал последнее, то есть принялся дотошно изучать предмет за предметом. И чем пристальней он вглядывался, тем явственнее в это занятие вмешивалось неприятное ощущение, что он здесь бывал. И даже не так давно. Всего лучше, наверное, было бы развернуться и уйти, унося с собой маленькую хрупкую отраду неразгаданной встречи, и Тимницын к этому уже склонялся, как вдруг услышал резкий короткий свист электрички – всё, поздно. И последовавший за свистом нарастающий поездной гул быстро вобрал в себя всю тайну без остатка. Да, увы: пивная, магазин, мусорные баки, тополя... Черт!.. В нескольких шагах темнел круг канализационного люка. Тимницын уже знал, что увидит, и поскольку терять теперь было нечего, сделал эти несколько шагов. Так и есть: «ПСКОВ. 1957. ВЫДВИЖЕНЕЦ». Да, это была Ленивая Слободка и площадь, где жил брат Жижина Николай. А вот, кстати, и его дом, в котором Илья провел чудную апрельскую ночь в качестве мальчика-чтеца. А вот сейчас и сам Николай выйдет к своему любимому люку поразмышлять о вечном...

Тимницын отвернулся от опоганенного пространства и пошел прочь. Ему стало невыносимо гадко от мысли, что его так зло, издевательски надули; что какой-то глумливый выверт сознания заставил его принять тупой до оскомины взгляд Николая за многообещающую заинтересованность пространства. И этим дело не ограничилось. Ему стало еще гаже, когда он вспомнил Жижина и свой договор с ним; потом сделку Жижина с Левадийским; ну а дальше посыпалось как из рога изобилия: Гарнизонов, Лида, Виктор, Яков... – Господи, ну и наворотил же он за последние месяцы!.. Мысли его перескакивали от одного воспоминания к другому, и он, незаметно для себя, ускорял шаг, словно пытаясь оторваться от них. И вот теперь, ко всему, еще эта нелепая, смехотворная затея с метатопографией – ну, не шут ли он гороховый после этого?! И не пора ли уже

понять, что все, во что бы он ни вляпывался, только так – унижением и отвращением к самому себе – и будет заканчиваться? Пора, мой друг, пора...

Но и трех кварталов не отбежал он от злополучной площади, как ему вспомнились слова Решетилова: «Близость к «тегерану» нельзя спутать ни с чем другим по тому особому ритму биения сердца, а точнее, по его стремительным перепадам, когда туго сжатое, оно – то частя, то медля, а то замирая вовсе, – так и эдак пытается высвободиться из мертвой хватки. По одному этому признаку «тегеран» узнается сразу...» Что и ощущал теперь Тимницын. Пометавшись, как по западне, по Ленивой Слободке, с чьей топографией он не был знаком даже приблизительно (а про карту в сумке он и забыл), и на все лады повторяя, как заклинание, «тегеран», Тимницын, наконец, взял курс на юг и побежал в сторону дома.

III. Илья Тимницын. Ритмы тегерана. Июль 1983 г.

Тегеран.

Те-ге-ран...

Вот он: теге-ран...
Тегеран-ран.

Вот он: там... здесь... здесь, там...
Тегеран...

Там... здесь... здесь... здесь...
Здесь...
Где?

Где тегеран?

Вот тегеран...
Там тегеран...
Здесь тегеран...
Где?

Вон тегеран,
он тегеран,
ты тегеран,
я тегеран –
кто?! –
он – я – ты: кто тегеран?
он – я – ты: где тегеран?
Здесь – тегеран,
там – тегеран,
вон – тегеран.
вот – тегеран!
Вон – там – вот – здесь тегеран! Здесь – вот – вон -
там тегеран!
Там – тегеран; здесь – тегеран; где – тегеран? кто –
тегеран?
Ты – здесь, я – там, тегеран!

Тегеран-ран...
Ты – там, я – здесь, тегеран!
Тегеран – там;
тегеран – там;
тегеран – там, там, там, там!
Тегеран-ран,
тегеран-ран,
тегеран-ран-ран-ран-ран!
Кто там? – Здесь я, тегеран.
Где ты? – Я здесь, тегеран.
То там, то здесь тегеран;
то ты, то я тегеран...
Тегеран-ран!
Тегеран – там!
Тегеран – в, тегеран – из, тегеран – с, тегеран – без.
Тегеран – твой, тегеран – мой, тегеран – ваш, тегеран – наш.
Тегеран – ночь, тегеран – день, тегеран – свет,
тегеран – тень.

Тегеран – под.

Тегеран – над.

Тегеран-ран.

Там – тегеран;
там-там – тегеран;
там-там-там – тегеран;
там-там-там-там – тегеран.

Вот – здесь – там – где тегеран?
Тегеран – плоть.
Он – я – ты – кто тегеран?
Тегеран – кровь.

Тегеран-ран...

Тегеран – там...

Тегеран – здесь...

Тегеран – где – где тегеран?
Вон – вон – вон – там тегеран.
Где – где – где – где тегеран?
Вот – вот – вот – здесь тегеран.

Тегеран-ран...

Тегеран-ран...
Тегеран-ран...

Тегеран – твой – там – свет – где – под – я – без –
тегеран!
Тегеран – ваш – кто – тень – ты – над – из – кровь –
тегеран!
Тегеран – ночь – вон – здесь – он – мой – плоть – наш
– тегеран!
Тегеран-ран...

Тегеран-ран...

Тегеран-ран...

Тегеран – вот, тегеран – кровь, тегеран – без, тегеран – тень, тегеран – он,
тегеран – наш, тегеран– вон, тегеран – над, тегеран – плоть, тегеран – из,
тегеран – мой, тегеран – где, тегеран – ты, тегеран – ночь, тегеран – в,
тегеран – под, тегеран – свет, тегеран – твой, тегеран – с, тегеран – я,
тегеран – ваш, тегеран – там, тегеран – кто, тегеран – день,
тегеран – здесь , тегеран-ран...

Тегеран-ран...

Тегеран-ран...

Тегеран – дрожь, тегеран – нож!
Тегеран-ран...

Тегеран-ран...

Теге-ран-ран...

Те-ге-ран-ран...

Те-ге...
Тегеран-ран – тегеран-ран?

IV. Тимницын – Алхимов. Из бесед

Т.: Вы так строго одернули меня в прошлый раз по поводу «тегерана», прошу прощения – «тегеран-рана»... Но все-таки хотелось бы поговорить об этом поподробнее...

А.: Надо быть очень осторожным с этим понятием. Лучше всего считать, что его нет вообще. Так, во всяком случае, советует Решетилов.

Т.: И упоминает его десятки раз.

А.: По необходимости. Во что ему это обошлось, мы не знаем.

Т.: Но оно же, это понятие, существует! Или вы имеете в виду: помяни лукавого, а он тут как тут? И что все-таки делать, если сталкиваешься с ним нос к носу?

А.: Это невозможно. Почти. Вероятность ничтожная. Можно привести другую пословицу, если перефразировать, то так: пока есть мы, нет его, а когда есть он, нет нас. Трудно представить, что там происходит. Те, кто исчез – неизвестно, исчезли ли они в нем, или уже пройдя через него,

по ту сторону. Новичок же склонен любое мало-мальски опасное испытание называть (двойной хлопок ладонью по колену). Обычная неофитская болезнь. Болезнь роста.

Т.: Погодите, но у Решетилова в одном месте мелькает еще и «тегеран-ран – тегеран-ран»! Что тогда это такое?

А.: (нетерпеливый жест) Забудьте.

Т.: Легко сказать... Вы-то сами бывали в «тегеран-ране»?

А.: Нет.

Т.: Ни разу?

А.: Никогда.

Т.: Но хотя бы приближались к нему?

А.: Может быть.

Т.: И как близко?

А.: Давайте сменим тему.

Т.: Жаль... Кажется, однажды я застал вас где-то рядом с ним. Тогда, возле тюрьмы, верно?..

А.: Может быть.

...

Т.: Такой вопрос: может ли оказаться... как бы это сказать... Может ли город оказаться мал? Вы понимаете, о чем я?..

А.: Кажется, понимаю. Нет. Думаю, что нет... Хотя, можно предположить, что большой город или, скажем так, город средней величины – оптимальное место для топографа. Наверное там более контрастная среда, и легче обнаруживать ловушки и подвохи, но, с другой стороны, если уж попадаешься, то, должно быть, крепко, не на шутку.

Т.: Так, может быть, имеет смысл перебираться в города побольше?

А.: Не думаю. Ну, во-первых, вы же читали во французском предисловии к «Метатопографии Мадрида», какие в больших городах возникают проблемы... А потом, в родном городе наши ощущения как бы оснащены впечатлениями прошлых лет, прежде всего детскими, которые, как правило, не подводят, а в чужом городе этого не будет. Хотя, если уж совсем туго приходится, не продохнуть, то, наверное, имеет смысл куда-нибудь уехать, поменять город... Не знаю... Такого опыта нет.

Т.: Вы только что произнесли ужасно крамольную фразу. С точки зрения НТ, конечно...

А.: Да? Может быть. А какую?

Т.: Вы говорили о воспоминаниях и детских впечатлениях как о чем-то положительном. Разве это не стень?

А.: Когда как. Когда – стень, а когда – нет.

Т.: Не понимаю.

А.: А я вряд ли смогу толково объяснить. Может быть это только мое, не знаю... Вы слишком многого от меня требуете. И еще, мне кажется, возможно я ошибаюсь, у вас чересчур догматический, книжный подход к НТ. Вероятно это из-за отсутствия опыта. А может быть я ошибаюсь...

Т.: Но вы же тоже признаете все эти зоны, предписания, запреты и прочее? Или нет?

А.: Да, конечно, но... Конечно признаю. Сейчас попробую объяснить. Я все-таки совсем не гожусь в наставники... Дело в том, что метатопография, как я ее понимаю, не строгое руководство, не жесткая схема, – да и как бы она могла ею быть? – а некий контур, попытка обозначить, вынести на поверхность то, что до сих пор проявляло себя лишь какими-то невнятными намеками, короткими неуловимыми вспышками... то, о чем мы всегда знали, но подспудно, втайне от себя... Тут каждый находит что-то свое, то есть у каждого топографа своя топография: у Решетилова, у вас, у меня. Надо добавить: своя топография Браво, поскольку мы выбрали именно ее. Могут ведь быть и другие, со своими масштабами, количеством зон, табу, предписаниями и прочим. Поэтому, кстати, не очень понятно негодование французского комментатора. Топографии, о которых он пишет, это просто другие топографии, не Браво, только и всего...

Т.: Вы опередили мой вопрос.

А.: Так мне представляется. Если вернуться к Себастьяну... Вряд ли он писал свою книгу с расчетом создать учение. В этом смысле его друг Гарсиа прав. Однако, как нередко бывает, годное для одного оказалось годным для многих. Открыв для себя, открыл для других. Что до всяческих советов, предписаний и запретов, включая сюда и темные афоризмы Браво (Решетилов верно уловил их сходство с пифагорейскими акусмами), то думаю так: НТ основывается только на личной интуиции, чутье и потому никаких твердых правил и законов в ней быть не может, но поскольку любая практика есть еще и неизбежное накопление опыта, то и НТ обросла всевозможными преданиями, рекомендациями и табу, среди которых какие-то нам близки и понятны, а какие-то нет. Взять те же акусмы Себастьяна: есть понятные и годные для всех; есть те, что наверняка нуждаются в каком-то истолковании; а еще немало таких, которые, должно быть, что-то говорили только самому Себастьяну. Вот, например, «Не наступай на тени людей в полдень!». Что это такое? Что значит этот полдень? Сколько он длится? Минуты? Секунды? Одно мгновение?.. Понятней бы было: не стой, или: избегай оказаться на чьей-либо тени в полдень. Но сказано: «не наступай». Не думаю, чтобы под полднем разумелось какое-то продолжительное время, до и после, это было бы слишком хлопотно, а порой и невыполнимо. Конечно, возможно это что-то личное, относящееся только к Себастьяну, имеющее не символическое, а прямое значение, результат какого-то происшествия, например, но мне тут видится нечто другое, своего рода ежедневное напоминание топографу о нем самом...

Т.: Напоминание?..

А.: Да, напоминание... Знаете, у меня есть дед, склонный пофилософствовать, особенно на религиозные темы; так вот он как-то сказал, что если существуют спасение и будущая жизнь, то приобретение их должно быть довольно простым: достаточно только не забывать себя и хотя бы раз в день, в неделю, даже в месяц, сказать самому себе: я такой-то такой-то, родился тогда-то, живу там-то, и все – будешь спасен. Вот и здесь что-то похожее: попытка удержать самого себя от окончательной потери. Каждый полдень топограф волей-неволей вспоминает о себе. Можно вспомнить еще такой совет: «Некуда бежать – беги на юг». Очень ценное, эффективное средство. Помогает всем. Проверено. Но для Себастьяна Браво это, возможно, имело вполне конкретный смысл. Достаточно вспомнить, что его родной город Херес-де-ла-Фронтера находится почти на самом юге Испании. То есть «на юг» можно понимать как в сторону детства... А чтобы чересчур не увлечься собственной персоной, наряду с этими существуют такие акусмы, как «забывай места ночевок» или «не оглядывайся», которые касаются, конечно, не только поведения во время кориды, но и всего, что Решетилов объединил в одно понятие «стень»... Все это, впрочем, только мои личные домыслы...

...

Т.: У вас есть какие-нибудь только ваши, только вам понятные ориентиры, приметы, запреты?

А.: Да, много. Я думаю, они есть у каждого. Будут и у вас.

Т.: Они существуют за счет тех, канонических, которые вы сочли непригодными для себя?

А.: А для меня непригодных кажется и нет. Несмотря на все мои рассуждения, я все-таки очень ортодоксальный, даже до суеверия, топограф. И я больше склонен дополнять, чем отбрасывать.

Т.: А вы никогда не думали изложить свою «новую топографию Лидии»?

А.: Вы шутите? С чего это?.. Нет, конечно.

Т.: Ну, хотя бы для того, чтобы пополнить своими изысканиями...

А.: А какой в этом смысл? Ведь, если бы я даже и взялся за такое, это была бы просто моя топография.

Т.: Но вы же сами как-то говорили: годное для одного может пригодиться многим...

А.: Нет-нет, что вы! Как можно сравнивать!.. И для этого надо быть Себастьяном Браво или Андреем Решетиловым. На такое испытание стенью могут отважиться только выдающиеся топографы, прошедшие огонь и воду...

...

Т.: Вы знали Андрея Решетилова? Или хотя бы видели?

А.: Нет, к сожалению. Он также бесследно исчез, как и Себастьян Браво. Я однажды, кстати, справлялся о нем у Жижина. Он отозвался о нем весьма презрительно, мол, да, был такой городской сумасшедший. Он, как известно, большой специалист по городским сумасшедшим... О Решетилове мало что известно. Даже те, кто были с ним знакомы, знали его довольно плохо, он был очень замкнутым человеком, а после его ухода в НТ и вовсе потеряли его из виду. Что же касается топографов, то у него, к несчастью, не было таких близких последователей, как Хуан Руфос у Себастьяна. А новое поколение – тут произошел пробел в несколько лет – его уже не застало. Есть только один топограф, который был с ним знаком, – Скобцов, но в его воспоминаниях слишком уж много... импровизации; Решетилов там иногда отходит даже на второй план. Хотя, некоторые его рассказы и похожи на правду... В общем, настоящая судьба метатопографа, а она, если хотите, есть одно из доказательств его подлинности.

Т.: Кстати, что вы скажете об исчезновении топографов? Куда они исчезают? Браво, Решетилов...

А.: Не знаю. Может быть, топограф вместе с пространством настолько меняется, что его перестают замечать или узнавать... Трудно сказать. Мы не можем знать, что происходит с топографом на этой грани. Да я никогда об этом и не задумывался. Не знаю...

...

А.: Топографам желательно не оставлять за собой следов, начиная с крошек на столе и кончая фотографиями...

Т.: А как быть с паспортами?

А.: Не знаю. Наверное, так и быть. Как с необходимым злом, с которым в наших условиях приходится мириться...

...

Т.: Постоянно забываю спросить: это посвящение в топографы на Голодаевке, помните, во время гарнизоновской игры, которое вы мне прошептали на ухо... я тогда его не расслышал. Могли бы вы его повторить?

А.: Нет, не смогу. Это был почти набор слов. Минимум смысла.

Т.: Это принципиально?

А.: Нет. Можно и со смыслом. Не имеет значения. Мне кажется, Решетилов это хорошо придумал. Так он посвятил Скобцова, а тот уже всех остальных. В необязательности, если хотите, отсебятине посвящения есть как бы намек на необязательность самой топографии и на полную свободу взглядов на нее.

Т.: А может быть это сам Скобцов выдумал?

А.: Все равно удачно придумано. Но я сомневаюсь, что это Скобцов.

...

Т.: Вы сейчас наверное рассердитесь, но, может быть, вернемся еще раз к «тегерану»?.. «-рану»... а? Ненадолго?..

А.: Вот дался он вам. Я не знаток в этом и не хочу им быть. Мне это не интересно... Могу только сказать, что если бы туда так легко было попасть, коррида лишилась бы всякого смысла из-за постоянного опасения на него нарваться. Проще и куда безопасней было бы сидеть на одном месте. Уверяю вас, что оказаться там так же нелегко, как попасть в «мадрид». А может быть и сложнее. Ну, разве что, при очень сильном желании и большом невезении.

Т.: А если такое желание есть?

А.: Оставьте. У вас есть желание умереть?

Т.: А разве такое желание редкость? Люди, в конце концов, сплошь и рядом кончают с собой...

А.: Я нисколько не сомневаюсь, что вы сейчас говорите совершенно искренне, но для меня разговор на эту тему почему-то приобретает какой-то ненатуральный, даже кокетливый оттенок. Извините, но ничего не могу с собой поделать.

Т.: Я тоже неохотно касаюсь подобных тем, и вовсе не о том собирался говорить. Я просто давно заметил за собой такую склонность – считать, что где-то на самом дне, в самой крайней беспросветной безысходности обязательно должен быть какой-то выход, только там и должен быть. То же и с «тегеран-раном», что-то там, в нем брезжит такое... Вы как-то говорили о диалектике себастьяновых акусм. Так вот я здесь тоже подозреваю какую-то... неоднозначность, скажем так. Разумеется, я не рвусь туда, но не могу отделаться от мысли, что там меня что-то ждет...

А.: Ничего вас там не ждет. И вы не ждите.

Т.: Так я устроен... Да и вы сами меня заинтриговали: то говорите, что надо быть очень осторожным с этим понятием, даже не думать о нем, а то, что туда невозможно попасть. Разве в этом нет противоречия?

А.: Нет. А там, куда вас тянет, нет ничего. Там, если хотите, зона абсолютной черноты и не более. У меня такое впечатление, что, отговаривая, я только подогреваю ваш интерес. Мне бы не хотелось, чтобы вы подумали, будто я что-то намеренно скрываю. Этого нет. Да это и бессмысленно: окажись вы вдруг где-то рядом с ним, вряд ли вы побежите ему навстречу, уж будьте уверены. Мне просто хотелось бы вас убедить, что ваше любопытство – праздное. И бесплодное. Над этим, как, впрочем, и над многим другим, не стоит раздумывать, ломать голову. Умом вы все равно здесь ничего не поймете, сколько бы ни пытались. Рассудок и топография – вещи несоединимые. Надо целиком довериться своему чутью и еще научиться не обращать внимания на возникающие вопросы, а еще лучше не подпускать их и близко. Ваш гераневый интерес это стень. И она похлеще любой другой, потому что здесь замешана корысть. Поэтому успокойтесь на том, что это зона абсолютной черноты, черная дыра. А если так уж хочется диалектики, то вот она: (двойной хлопок по колену) добр тем, что не подпускает близко, что хоть как-то проявляет себя, дает знать заранее. Никто вам не скажет больше. Судите сами: ни один из топографов не сможет объяснить ни вам, и никому другому, что такое та или иная зона, в чем их особенности и чем они друг от друга отличаются, а если и станет объяснять, то это неправда, потому как уж очень личное это дело. Только вы сами для себя постепенно, с течением времени и накоплением опыта, составите представление о них, научитесь узнавать и различать. Но сколько бы впечатлений вы ни накопили, как бы ни были точны и разнообразны ваши ощущения и богат опыт, вы все равно не сможете по ним составить даже отдаленного, очень и очень приблизительного представления о (хлопок по колену).

Т.: Не слишком ли категорично?

А.: Нет. Не слишком.

Т.: Но это ведь только ваше мнение?

А.: Разумеется. Все, что я говорю, только мое мнение.

Т.: Мне вот что сейчас пришло в голову. Вы сказали, что он добр тем, что не подпускает к себе. То есть, говоря иначе, отталкивает. А что если взглянуть на пространство под другим углом? Как на благожелательное, а не угрожающее. И на топографию не как на убегание, а как на преследование, бег к цели, то есть к «мадриду»?..

А.: Вы думаете, вы первый, кому это пришло в голову? Уверяю вас, что «мадридщиков» не меньше чем «гераньщиков». Это уж как закон: сначала все попадают в (хлопок по колену), а затем пускаются на поиски «мадрида». Просто признаются в этом реже. Должно быть, считают менее интересным...

Т.: Но ведь и у Решетилова есть рассказ об этом...

А.: Одиннадцатый день Решетилова? Да, он многим не дает покоя. Но только чем же он закончился? Ничем. А после него были и двенадцатый, и тринадцатый, и четырнадцатый, и это говоря

условно, потому что это ведь выбранные дни, из множества прочих. Еще раз скажу, что все достигается своим опытом; чужой, как и собственные рассудочные построения, ничего не дает. На углу Лютеранской и Такелажной выстрел выхлопной трубы поднимает стаю голубей, булыжную мостовую, звеня подковами, пересекает взвод солдат под присмотром сигнальщика с красным флажком, безногий инвалид на тележке останавливает прохожего прикурить, из парикмахерской на противоположной стороне выходит уборщица с полным ведром и выливает воду под дерево, что там еще – не помню, все это накрывается тенью набежавшего облака, и Решетилов попадает из «тесноты» в «алкоголь». Дело даже не в том, что какой-то другой топограф вряд ли застанет точно такое же стечение обстоятельств когда-нибудь в этом же месте, а в том, что другой в данной ситуации мог бы оказаться, например, в «28.8.28», или в «мадриде», мог бы выйти на межу, или же, наоборот, сойти с нее, а мог бы и остаться там, где был. Какая уж тут передача опыта... А кроме того, что опыт одного топографа ничего не может сообщить другому, тут еще и ограничения языка, его косность. Вы сами рано или поздно это обязательно почувствуете.

...

Т.: Для чего постоянный уровень, если все происходит на актуальном?

А.: Прежде всего, как наглядное пособие. Если бы мы лучше знали постоянный уровень, если б знали его до мелочей, то лучше бы ориентировались в актуальном, который, в некотором роде, есть отражение постоянного. А потом, топограф, мне кажется, начинает с постоянного уровня и им же заканчивает. То есть пространство возвращается к этой своей конкретности. Можно сравнить пространство с необъезженной лошадью; чтобы добраться до цели, надо ее объездить, а она может и убить. Почувствовав в себе топографа, спокойное, казалось бы, до сих пор пространство начинает бушевать, яриться, брыкаться, вставать на дыбы, но в конце концов смиряется. Конечно, в «мадрид» можно попасть и сделав нечаянный шаг в сторону, но... И не забывайте про «герань» на постоянном уровне.

...

Т.: Что такое «взбалтывание»?

А.: Череда стремительных переходов из одних зон в другие. Своего рода перемешивание. В результате оказываешься в каком-то странном нейтральном пространстве. Не «мадрид», но тоже ни с чем не сравнимо. Такое возможно только при очень удачном стечении обстоятельств, когда сразу несколько зон оказываются рядышком, и топограф в состоянии четко различать их границы, да и тогда стоит подумать, следует ли этим заниматься, поскольку занятие чрезвычайно утомительно, а это нейтральное пространство очень нестойкое.

Т.: А «долгий выход»?

А.: Это когда видишь, что выходишь на межу, и стараешься выходить как можно дольше, затягиваешь... Процесс исключительно деликатный, всегда подстерегает опасность пережать или потерять бдительность. Иногда, очень редко, такое бывает, когда случайно попадаешь или же намеренно входишь в хвост встреченному топографу, который выходит на межу. Можно выйти вместе с ним. Если, конечно, угадал, что он идет на межу.

Т.: Разве такое возможно?

А.: Представьте себе, да. У Себастьяна и Решетилова об этом нет ни слова, но оно и понятно, они были одиночками, однако такая возможность действительно существует. Такой опыт есть.

Т.: И как же это сочетается с невозможностью одного топографа сообщить что-нибудь другому?..

А.: Никак. Но это есть. Примите как парадокс.

Т.: Вот то, что вы рассказали про «взбалтывание», мне хорошо знакомо. Я много раз испытывал такую быструю смену состояний. За считанные секунды. От отчаяния до какой-то неземной радости. Иногда казалось, что сердце сейчас не выдержит... И действительно, после этого возникало очень странное ощущение...

А.: Мы с вами говорим о пространстве. Старайтесь думать этими категориями...

...

А.: Мы все время движемся по какой-то изнанке, которая, возможно, как лента Мебиуса, рано или поздно выведет нас на лицевую сторону, и очень может быть, что там существуют те же зоны, но уже в своем обратном, положительном значении: «лихорадка» – «покой», «скорбь» – «радость», «теснота» – «простор» и так далее...

Т.: «Алкоголь» – «похмелье»... Шутка.

...

А.: Топография каждый раз поворачивается какой-то своей новой гранью. Завтра я могу думать и говорить уже что-то другое.

...

А.: В топографии все определяется на слух. Внутренний слух...

...

А.: Однажды Решетилов, то ли в шутку, то ли всерьез, поведал Скобцову, что есть способ, позволяющий безошибочно определить, стоит ли человеку заниматься топографией. По его мнению, тот, кто после соития не оказывается в «28.8.28», тот не в состоянии почувствовать больше ничего другого и в топографии ему делать нечего, пустая трата времени.

...

А.: Надо двигаться, больше двигаться. Нет ничего горшего для топографа, чем потерять способность или возможность свободно передвигаться.

...

А.: Знаете в чем для меня единственный недостаток книги Браво и Решетилова?.. В том, что они написаны и существуют. Во всяком случае, все время присутствует некоторое сожаление, иногда даже досада, по этому поводу. Они говорят о вещах деликатных, трудноизъяснимых и как будто сами же нарушают эту невыговариваемую тонкость фактом своего существования. Как будто страдает (или утрачивается?) некая чистота, которая сохранилась бы в том случае, если бы пришел ко всему этому самостоятельно... Но это так, к слову...

V. Среди топографов. Зет и другие

По вечерам, с наступлением темноты лидийские топографы собирались обычно на железнодорожном вокзале, в зале ожидания на первом этаже, возле книжного киоска. Здесь же был небольшой буфет, где среди прочего продавались дешевые пирожки с потрохами и чай. Кроме завещанной Себастьяном Браво и Андреем Решетиловым горячей симпатии к вокзалам, место это было еще привлекательно и тем, что группа молодых людей с рюкзаками, вещмешками и сумками, расположившаяся табором за книжным киоском, вполне сходила за компанию туристов, ожидающих поезда. Правда, в последнее время, примелькавшись, они все чаще стали обращать на себя внимание вокзальных милиционеров (не подозревавших, что их появление не больше, чем изменение пространства), которые теперь во время проверок иногда требовали предъявлять кроме паспортов еще и билеты. В таких случаях говорилось, что ждут электричку. Однако день ото дня внимание становилось все пристальней, и появился слух, что топографами заинтересовалась организация куда более могущественная, чем милиция. Надо было искать новое безопасное пристанище, но пока продолжали собираться все там же.

С некоторых пор стал заглядывать на вокзал и Тимницын. Здесь знакомились, обменивались последними новостями, угощали друг друга, просто беседовали. Обычно больше десяти, от силы – пятнадцати топографов в один вечер не собиралось, чаще Тимницын заставал человек семь-восемь, иногда и того меньше; в общей же сложности он насчитал около тридцати. Завсегдатаями были те, кто занимался НТ постольку-поскольку, совмещая это с работой или учебой, скорее симпатизирующие, чем практикующие («умеренные»). Бегающие топографы появлялись редко, но одного-двух иногда можно было застать. Частым гостем был Скобцов – старейший из лидийских топографов, приятель легендарного Решетилова. На вид ему было лет двадцать семь. Длинноволосый, неряшливый, всегда с одним и тем же выражением крайней усталости на лице, он обычно появлялся, еле волоча ноги, сокрушенно качая опущенной головой; дернув плечом, скидывал в ладонь рюкзак и, не поднимая глаз на присутствующих, усаживался где-нибудь в углу, где терпеливо ждал слушателя, чтобы поведать о том, в каких переделках ему довелось побывать и заодно поучить уму-разуму; аудиторию составляли кое-кто из «умеренных» и новички, которые, впрочем, если их по-настоящему привлекала топография, долго в его компании не задерживались. В кругу практикующих топографов Скобцов авторитетом не пользовался, даже несмотря на такой выдающийся факт биографии, как знакомство с самим Решетиловым, и был объектом их всяческих, хотя и беззлобных насмешек. Среди прочих гуляло предложение присвоить ему почетное звание «Заслуженный топограф Лидии» и наградить медалью «10 лет в «тегеран-ране» (медаль, естественно, должна быть выполнена в форме листика герани). Живейший и довольно веселый отклик вызвали слухи о том, что некоторым из новичков Скобцов намеками давал понять, что его имя, наряду с именами Браво и Решетилова, может уберечь от попадания в «тегеран» или даже вызволить из него. Сам собой напрашивался вопрос: если уже одно имя способно оградить от «тегерана», то каким образом туда то и дело ухитряется попадать его носитель? Но что бы ни говорил и ни делал Скобцов, это никак не могло умалить его главной заслуги – он сохранил и донес до остальных книгу Решетилова.

А в общем, набор персонажей был здесь (и это удивительно) примерно тот же, что в секте Чмонова и в группе Гарнизонова. И уже знакомый Тимницыну приторный душок коллективного сознания собственной исключительности (хоть и в меньшей степени) витал и над здешней компанией. Единственным, кто всерьез заинтересовал Илью, был топограф по кличке Зет. Это был крепкий, коренастый, круглоголовый – неладно скроен, да крепко сшит – молодой человек с грубым неприветливым лицом бандита из предместья. Одет он был всегда в синий рабочий комбинезон поверх засаленной тельняшки, обут в кирзовые ботинки; ни сумки, ни рюкзака не носил. При Илье он появлялся на вокзале дважды и, по всей видимости, только потому, что так пролегал его маршрут. Долго он здесь не задерживался и, покивав тому-другому, перекинувшись с кем-нибудь парой слов, исчезал; как-то раз Илья видел его бегущим по Кузнечной. Зет слыл «жестким» топографом. То и дело он попадал в какие-то потасовки и передряги с милицией. Это осложнялось тем, что в отличие от всех остальных топографов, Зет никогда не носил с собой никаких документов, и неизвестно, были ли они у него. Его ближайший друг минувшей зимой был застрелен часовым на территории воинской части, где он однажды ночью оказался. О Зете вокзальные топографы говорили, что он «не знает межи» и центральным районам Лидии предпочитает малоисследованные новостроечные, на которые Решетилов не составил районных схем; в интонациях собеседников всегда, когда разговор касался Зета, сквозила некоторая неуверенность, может быть даже осторожность. Ту же зыбкость почувствовал Тимницын и в отзыве Алхимова. Тот несколько уклончиво, как показалось Илье, ответил, что у каждого топографа своя топография, и у Зета она вот такая, «жесткая», и добавить к этому, пожалуй, нечего, однако с его, Алхимова, точки зрения, Зет все-таки «гераньщик», хотя и совсем в ином смысле, нежели Скобцов, например... «Гераньщиками» (т.е. – «тегеранщиками») Алхимов без доли осуждения или снисхождения называл тех, кто вольно или невольно злоупотреблял этим понятием. Илья был бы не прочь послушать мнение самого Зета на сей счет, но не был с ним даже знаком. И вот однажды такая возможность ему представилась.

Все топографы, включая и «умеренных», имели свои стоянки – места, где можно было переночевать, отдохнуть, укрыться от непогоды, хранить свои вещи и т. д. Таких стоянок у каждого было по несколько, и, как правило, хозяин держал в тайне их местоположение; впрочем, никто и не пытался выведать, это было не принято. Стоянками могли быть заброшенные подвалы, чердаки, квартиры в выселенных домах, пустующие дачи и тому подобное, вплоть до строительных вагончиков, рабочих подсобок или иных служебных помещений, к которым подбирались ключи (у Алхимова была целая связка). Тимницын предпочитал ночевать дома, поскольку уснуть в незнакомом месте ему редко когда удавалось, а кроме того, он еще не совсем забросил свою почтовую работу, и все же три стоянки у него были. Одна, с любезного согласия Алхимова, находилась в Зенитном переулке, где Тимницын занял комнату солдата, бесследно исчезнувшего на следующий же день после его визита; второй стоянкой можно было с некоторой натяжкой считать квартиру Плуга; а третью он обрел около месяца назад на территории водонасосной станции на подступах к Ленивой Слободке. Об этом районе Лидии стоит сказать отдельно.

В метатопографии, ориентированной на пространство и занятой исключительно отношениями с ним, почти никакого особого значения не придавалось времени, будь то время года или время суток. День или ночь, зима или лето, метель или ведро – все это были лишь составляющие свойства пространства, в котором в данный момент пребывал топограф. Единственным исключением, кроме условного полдня, во время которого не рекомендовалось наступать на тени людей, были сумерки. Правда, несмотря на оброненную Решетиловым фразу «самые страшные сумерки в «тегеране», из которой можно было заключить, что страшны, хоть и не в такой степени, и все прочие, этот промежуток времени не считался ни дурным, ни хорошим, а только требующим от топографа предельно напряженного внимания. Именно в сумерки проще, чем в любое другое время суток, можно было загреметь в «28.8.28», а то и поглубже, но и оказаться, хоть не надолго, где-нибудь в окрестностях «мадрида» тоже легче всего было в сумерки. Словом, сумерки всегда таили в себе некую неожиданность, а уж радостную или прискорбную – это как повезет. Своей странной неопределенностью очень напоминал сумерки район водонасосной станции, о котором речь. Почти все топографы сходились на том, что место это необычное. Согласно схеме, оставленной Решетиловым, весь район, включая Ленивую Слободку, находился в зоне «алкоголь», а водонасосная станция находилась в «алкоголе» еще и по внутренней, районной схеме, гранича с местным «тегераном» (район тюрьмы) на юго-востоке. Ничего более конкретного, как ни странно, Решетилов не оставил. Алексей Алхимов район этот не жаловал; соглашаясь с тем, что место довольно загадочное, он склонялся к тому, что здесь все же больше подвохов, чем возможностей для счастливых открытий. Он же высказал довольно остроумное предположение, что необычность этого места, может быть, заключается в том, что здесь каким-то образом актуальный уровень почти всегда соответствует постоянному – явление уникальное.

Сама станция, расположившаяся за решетчатой оградой по правую сторону оживленной, ведущей на Мощевку, трассы, состояла из двух больших кирпичных зданий, за пыльными окнами которых трудно было, даже вечером, когда горел свет, что-либо разглядеть, кроме каких-то труб, лестниц и перекрытий; вокруг и в глубине стояли здания помельче. По всей территории росло множество деревьев: клены, каштаны, ивы, несколько орехов; вокруг зданий и вдоль ограды теснились кусты сирени, кашки и шиповника; там и сям качались двухметровые мальвы. По другую сторону дороги, за такой же оградой, лежал, радуя глаз, обширный, пологий, покрытый густой травой, холм водохранилища. Далее, в сторону Мощевки, дорогу накрывал железнодорожный мост, под которым проходили трамвайные пути, а за мостом, сразу за ответвлением, ведущим на Ленивую Слободку, начиналось кладбище; напротив кладбища был парк, далее воинская часть и тюрьма.

Там, на территории станции, которая всегда, сколько бы раз он ни ездил по службе этой дорогой, притягивала внимание Тимницына, его особенно привлекал маленький домик под черепичной крышей, похожий на домики станционных смотрителей. Стоял он на отшибе, в отдалении от всех прочих строений; вокруг были разбиты грядки, посреди которых даже торчало обряженное

пугало. Более всего Тимницына трогало то обстоятельство, что, находясь в нескольких шагах от автомобильной трассы (только стальные прутья ограды и отделяли), домик умудрялся сохранять обособленность, даже отрешенность. Этакий островок безмятежности посреди шумного города. Иногда Илья представлял, что если бы ему отдали его в распоряжение, он, пожалуй бы, согласился проработать на этой станции всю оставшуюся жизнь.

Однажды ранней весной, возвращаясь в город на почтовой машине и по своему обыкновению разглядывая станцию, он увидел у дверей домика человека с портфелем; за несколько секунд (гнали, как всегда, на всех парах) он успел заметить, как человек наклонился, выпрямился и стал отпирать дверь; Илья догадался, что ключ от домика хранится где-то под порогом, но тогда не придал увиденному никакого значения и только в очередной раз позавидовал счастливчику.

И вот с месяц назад он впервые попал в домик. По дороге туда с ним кое-что приключилось.

Когда Тимницын вышел на остановке у кладбища и пошел, высматривая лаз, вдоль станционной ограды, уже были, начинались сумерки. Сам не зная почему, он вдруг остановился у парадных ворот станции и огляделся. Напротив, темнея, зеленел холм водохранилища, мимо неслись несколькими рядами автомобили, по мосту медленно выползал из города пассажирский поезд, и в это же время под мост входил длинный, из трех вагонов, трамвай. Чего уж проще: сумерки, холм, трасса, поезд на мосту, трамвай под мостом... Но от неизъяснимого восторга у Ильи захватило дух. Какая-то мелкая, теплая, бархатная дрожь блаженства торопилась, бежала, приближалась к нему по мосту, по рельсам, по прутьям решетки, по трамвайному лязгу на повороте, по скользко отливавшим светом проводам, по частым рубиновым огонькам автомашин, и вот уже плотные, нежные, родные потоки синеватого воздуха, который, тем не менее, оставался неподвижным, обвевая, обвивали его, вовлекая в такое упоительное единство с окружающим пространством, только и живущим этим единством, о каком он еще мгновение назад и не подозревал, и Илья едва не задыхался от нежданно-негаданно навалившегося на него счастья. Сам восторг длился не более минуты, но его как будто нехотя угасающий аромат еще некоторое время сопровождал Илью, и он долго еще шел и оглядывался, словно то, что он только что ощутил, можно было увидеть. Да, взволнованно думал он, чувствуя как испытанное блаженство оседает мурашками на теле, да, тогда с «тегераном» на Ленивой Слободке он, может быть, и ошибся, скорее всего ошибся, Алхимов прав, но в том, что он сейчас побывал в «мадриде», его не разубедит никто. Да и не собирается он никому рассказывать, разве такое расскажешь? И, черт возьми, это действительно стоит любой беготни!..

В этом восторженном состоянии он и проник в домик под черепичной крышей. Судя по фотографиям на столе под стеклом, корабельным часам на стене, бушлату на вешалке и идеальному порядку, хозяин домика служил прежде на флоте. Ни к чему не прикасаясь, Илья провел в нем часа полтора, и уходя, бережно разгладил одеяло на топчане, на котором сидел. В течение последнего месяца он приходил сюда еще дважды и оба раза в сумерки (счастливых просветлений больше, к сожалению, не было); лежал на топчане, заложив руки за голову, смотрел в потолок и вдыхал свежий запах побелки. На четвертый раз он заснул. Когда проснулся, было уже совсем темно. Светящийся циферблат часов показывал двадцать минут первого. Он поднялся, открыл дверь и замер на пороге. Было безветренно и тихо. Из огорода тянуло горьковатыми запахами смородины, сохнущей скошенной травы и еще каких-то злаков; пели сверчки; где-то гладко, еле слышно всплескивая, лилась по земле вода. Вдали, за деревьями светились окна станции. Постояв на крыльце, полюбовавшись ночным видом, а светло было так, что отчетливо виднелся каждый листик на растущей у крыльца китайской шелковице, он, оставив дверь открытой, вернулся на топчан. Спать больше не хотелось, спешить ему было некуда, и Тимницын решил просидеть здесь до рассвета. Он включил маленький трофейный «Блаупункт» на столе и закурил, ожидая пока нагреются лампы, чтобы отыскать какую-нибудь музыку, когда вдруг услышал приближающиеся к домику шаги. Тимницын так и обмер. Закрывать дверь было уже поздно; он выключил приемник и стал ждать. Подошедший остановился у крыльца, не появляясь в дверном проемы, и требовательно спросил: «Кто здесь?» Голос был высокий, с сипотцой, и по единственной фразе

Тимницын узнал гостя. «Кто-то из бегунов, что ли?» – произнес тот. Сомнений не оставалось. Еще в первый раз, увидев Зета, Тимницын отметил, как не соответствовал этот голос его внешности. «Да, да, свои!» – радостно откликнулся Тимницын, выходя на крыльцо. Перед домиком, слева от двери стоял освещенный луной Зет.

– И давно ты здесь? – спросил Зет, даже не взглянув на Тимницына, заходя за угол.

Тимницын пошел за ним. Зет, усевшись на приступку, несколько секунд недоверчиво вглядывался в него и наконец протянул:

– А, это ты...

Он прикурил, быстро потушил спичку и спрятал ее в коробок.

Тимницын сел рядом.

– Я тут недавно, – сказал он, – меньше месяца.

– А почему дверь открыта? – неприветливо спросил Зет.

– Запахи здесь приятные...

– Запахи... А если кто-то со станции будет ехать мимо и увидит?

– Я как-то не подумал, – виновато промолвил Илья и пошел закрывать дверь.

Вернувшись, спросил:

– Это твое место?

Зет пожал плечами.

– Я здесь полгода не был, может, больше.

Помолчали. Зет курил жадно, зажав сигарету в горсти. От него на Тимницына веяло тяжелыми запахами нежилых, переходных пространств: подворотен, лестничных клеток, вагонных тамбуров... – чего-то такого.

– Сам нашел? – спросил Зет.

– Да. Случайно.

Докурив, Зет подошел к ограде и выбросил окурок на улицу.

– А я подумал, что здесь Скобцов, – сказал он, возвращаясь.

– Скобцов сейчас, наверное, в «тегеране», – заговорщицки съязвил Тимницын.

– А ты откуда знаешь?

– Ну а где ж ему еще быть!..

Зет промолчал; Тимницыну стало неловко; разговор не клеился.

– Я вот, кстати... – начал было Тимницын.

– Ты спать собираешься? – перебил Зет.

– Нет, я выспался.

– Тогда я пойду.

– Я, кстати, хотел спросить, – заторопился Илья. – Я в этом деле новичок... Легко ли вообще попасть в «тегеран»?

– Проще пареной репы.

– И часто такое может случаться?

– Да сколько угодно. Хоть каждый день. Хоть по пять раз в день.

– А вот некоторые считают, что это почти невозможно, – сказал Илья и, чтобы придать своим словам вес, добавил: – Тот же Алхимов, например... – и тотчас ощутил неприятный фискальный оттенок этого дополнения.

– Это его дело, – сказал Зет. – Он натура нежная, поэтическая... Значит так ему проще.

– Ты считаешь такой подход неверным?

– Я ничего не считаю. Это его дело.

– У каждого топографа своя топография? – подсказал Илья.

– Вот именно. Какой топограф, такая у него и топография.

– А какая у тебя?

– Самая простая.

– Проще пареной репы?

– Гораздо.

– А в чем простота?

– Простота в простоте. Ты что, книжку собрался писать?

– Мне это интересно.

– Алхимов все еще в Зенитном?..

– Бывает.

Зет сморкнулся под ноги и затер подошвой пятно.

– Простота в том, что топография это только честность и выносливость, крепкие мышцы. Все остальное – лирика.

– Что значит «честность»?

– Это когда не выдаешь желаемое за действительное. Когда видишь и принимаешь все как есть. Не мудришь и не выдумываешь. И если это «тегеран», значит это «тегеран». В самую первую секунду это еще то, что есть на самом деле, а уже во вторую – ты сам, твоя стень. И еще неизвестно, что хуже. Потому что стень стени не видит. Все, я пошел спать. Передавай привет Алхимову. Он парень неплохой, только ерундой занимается.

Зет ушел, а Тимницын остался сидеть, привалившись спиной к теплой стене. Когда начало светать, он вошел в домик за сумкой.

– Уходишь? – спросонья спросил Зет. – Ключи где?

– На столе, – ответил Тимницын.

VI. Прощание с Зенитным

Беседы о «новой топографии» у Тимницына с Алхимовым возникали часто. Не очень-то разговорчивый в другое время Алексей Алхимов становился необычайно словоохотлив, как только речь заходила о НТ, и иногда Илье казалось, что его наставнику эти беседы нужны не меньше, чем ему, вопрошавшему. Так или иначе, но он всегда с интересом слушал импровизации Алхимова, к которому, к слову говоря, у него сложилось особое отношение. Дело, наверное, было в том, что мир Тимницына до недавнего времени был настолько виктороцентричен, что каждый новый знакомый невольно (и неизвестно, по каким критериям) соизмерялся с Навроцким, после чего занимал отведенное ему раз и навсегда, более или менее удаленное от центра место в этой солнечной системе, и Илья до сих пор испытывал некоторое потрясение всякий раз, когда сталкивался с каким-нибудь вполне независимым и самодостаточным небесным телом, будь то Терентий Плуг (чей возраст несколько смазывал эффект открытия) или же вот теперь Алексей Алхимов. Возможно, то были первые симптомы излечения от викторомании и, вероятно, поэтому у Ильи вызывали досаду любые покушения на его новых кумиров, как это случилось во время встречи с Зетом. Разговор с ним оставил у Ильи неприятный осадок. Кроме пренебрежительного отзыва об Алхимове (или как следствие), его покоробил высокомерный сектантский радикализм собеседника и собственное, едва ли не подобострастное (Илья, как всегда, перебарщивал) поведение. Рассказывать о встрече с Зетом он, кстати, Алхимову не стал.

В тот августовский день Илья пришел в Зенитный переулок сразу после работы. Чуть позже явился Алхимов. Немного поспав, они одновременно проснулись и позавтракали. День начинался солнечный, очень жаркий. Алхимов собирался уходить, но, разговорившись, задержался. Илья после чая закурил и его снова потянуло в сон, добрать недостающие часы; усевшись на диванный валик, он прислонился спиной к прохладному кафелю голландки и, смежив веки, изредка затягиваясь, слушал Алхимова.

Тот тихо и задумчиво говорил:

– Можно, наверное, попробовать понять, откуда берется страх, который гонит топографа, не дает ему покоя. Что это за страх?.. Может быть, за каждым пугающим жестом пространства, за каждым его грозным ликом стоит вопрос, просто вопрос, на который мы не в состоянии дать ответ, и наш страх это пугающая растерянность? Паническая растерянность перед пространством?..

Пространство вопрошает, а мы не знаем, что ему отвечать. В его вопросе может звучать все, что угодно: тоска, угроза, жалоба, недоумение, мольба – это не имеет абсолютно никакого значения в том смысле, что топографу все равно нечего ответить. Может быть, отсюда и растущее недоверие пространства?.. И только когда пространство, наконец, поймет, что наш бег, наше убегание от него, наше уклонение от ответа и есть самый искренний ответ, потому что никакого другого мы не знаем, вот тогда-то, убедившись в нашей искренности, оно перестанет задавать вопросы, испытывать и пытать нас, и станет нам доверять. А мы – ему. Как это уже было в детстве. И тогда каждая, любая вещь не будет уже соизмеряться ни с чем другим, и предъявит себя нам в своей единственной неуязвимой полноте, то есть будет не больше и не меньше себя самой. Не больше, но и не меньше. Как в детстве. И тогда будет новое пространство, новое зрение, новая жизнь...

Стараясь не засыпать, Тимницын время от времени все-таки задремывал, а когда испуганно открывал глаза, оказывалось, что его отсутствие продолжалось не дольше, чем требовалось Алхимову для того, чтобы закончить начатую фразу, так что нить рассуждений он не терял.

За открытыми окнами, на школьном стадионе играли в футбол, и в комнату долетали отчаянные крики игроков и звуки ударов по мячу; упругая длительность этих звуков и сознание того, что он слышит их уже после удара, приятно и убаюкивающе-сладко раздражали Тимницына.

Когда он в очередной раз переполошенно распахнул глаза, Алхимова в комнате уже не было, не было и его вещмешка, лежавшего в ногах. «Доверие», вспомнилось ему последнее, что он услышал из алхимовского монолога. Доверие. Слово было подобрано точно. И эта обрадовавшая и удовлетворившая Тимницына точность сморила его окончательно; глубоко и свободно вздохнув, он протянул ноги и, потеревшись спиной, расправив о кафель складку на рубашке, мгновенно заснул.

Сон, однако, как позже выяснилось, длился недолго, может быть всего-то несколько минут, и Илью грубо выдернули из него самым буквальным образом: неведомая сила, чья-то рука, какой-то человек, а именно Яков, ухватив за грудки, не давая подняться, волок его по комнате, вдоль стен, так что Илье приходилось поспешать за ним на коленях. Яков, скупо улыбаясь, щурясь сквозь дым зажатой в зубах сигареты, довел его до внешней стены и только там, между окнами, поднял, но выпускать не стал.

– Ничего, что разбудил? – спросил он.

Илья молчал.

– Я вот тут в отъезде был, недавно приехал, – продолжал Яков, – и дошли до меня всякие неприятные слухи насчет каких-то заявлений в милицию и тэ дэ и тэ пэ... Надо что-то делать.

Кулаком, сжимавшим рубашку, он приподнял подбородок Ильи, внизу сухо щелкнуло, и Илья ощутил на горле, выше кадыка, острый холод лезвия.

– Ну, что скажешь? – мягко спросил Яков. – Человек я маленький, шкурка на мне тоненькая, да?..

Илья вынужден был стоять, вытянувшись в струнку, прижимаясь затылком к стене, от волнения и усталости у него тряслись ушибленные колени; часто-часто стучало сердце, еще как будто не разглядевшее подступившей опасности, до сих пор переживавшее перепуг экстренного подъема. Большим и указательным пальцами руки, державшей нож, Яков вытянул изо рта догоравшую сигарету и отбросил в сторону; Илья немного опустил голову.

– Вы ведь меня обманули, – проговорил он, обливаясь потом. – Эту легенду собирания вещей вам ведь Жижин придумал, для меня... Я как-то ему...

– А кто такой Жижин? – перебил Яков. – Слушай... Давай сразу договоримся: живым я тебя отсюда не выпущу. Но у тебя есть возможность встретить свой конец достойно, без соплей. Давай, соберись. Я подожду. Это немало, хороший шанс... редко кому так везет. Или все происходит как снег на голову, или же человек не успевает собраться, обдумать, хотя и не прочь бы, как уже потекло по ногам. А ведь это, может быть, самый главный момент в жизни, как ты думаешь?.. Тут надо сосредоточиться...

В серьезность намерений Якова Тимницын не очень-то верил, полагая, что тот его постраща-

ет, да и отпустит, и был напуган не столько его угрозами, сколько своей кроличьей завороженностью, неспособностью противиться чужой воле, как это было когда-то с Головановым. Но когда он заглянул в глаза Якова, то оторопел и понял, что пропал, пропал совсем, без шуток: в этих небольших серых глазах с блеклыми ресницами, вместо обычной снисходительной усмешки уверенного в себе человека, какую привык видеть Илья, теперь было только холодное любопытство, которое могло Бог знает куда завести, – Яков как-то отстраненно слушал собственные слова, точно говорил не он, а кто-то другой, а сам Яков уже наслушался и только терпеливо ждал развязки.

– Я вас очень прошу... – прошептал Илья.

– Зачем? – очень серьезно и до ужаса искренне спросил Яков. – Я же тебе сказал: всё. Вот – всё. Больше ничего и никого нет. Даже меня нет. Только ты. И у тебя есть несколько минут. Чего тебе еще надо?..

Илья уже почувствовал первое движение постыдной судороги, начавшей сводить лицо, как вдруг услышал:

– Яков, отпустите его!

Следом раздался короткий лязг, который Тимницын, два года проносивший на плече автомат Калашникова, еще не успел забыть. И как только Яков, озираясь, ослабил хватку, Тимницын оттолкнул его и побежал к двери, но почему-то не по прямой, а вдоль стен, тем же путем, каким его вели к окну. Алхимов стоял у печи с автоматом, направленным в сторону Якова и, незаметно для себя, медленно его опускал. Тимницын подбежал и встал у него за спиной. Яков как будто и не заметил перемены положений. Обернувшись к Алхимову, он достал сигареты, закурил.

– Я смотрю, вы тут основательно устроились, – сказал он, с интересом разглядывая Алхимова. – Патроны-то хоть есть или подсыпать?..

Тимницын и Алхимов молчали.

– Ладно, пора мне. А с тобой мы, может быть, еще встретимся, – кивнул Яков Тимницыну и вышел из комнаты.

Хлопнула дверь в коридоре; Тимницын опустился на валик и закурил. Алхимов сел напротив, положил автомат на колени.

– Как вы узнали, что он здесь? – после долгого молчания спросил Тимницын.

– Я видел, как он свернул в Зенитный, решил проследить.

Еще помолчали.

– Теперь вас можно поздравить, – проговорил Алхимов. – Вы только что, кажется, побывали там, где мечтали... Во всяком случае, очень близко.

– А почему вы вмешались? – спросил Тимницын, вспоминая разговор Алхимова с Жижиным у Плуга.

– Не знаю, – ответил Алхимов, поняв смыл вопроса, и пожал плечами. – Но теперь надо отсюда уходить и возвращаться сюда больше нельзя.

– Извините, это моя вина.

– Нет тут ничьей вины, – спокойно возразил Алхимов.

Тимницын стукнул кулаком по валику.

– А ведь это Меркурий сказал, где мы!..

– Меркурий здесь не причем. У него своя ноша. Это Жижин. Вы готовы?

– Надо разрядить, – сказал Тимницын.

Он взял у Алхимова автомат, отстегнул рожок и передернул затвор – выскочил патрон; он затолкал патрон в рожок и на всякий случай передернул затвор еще раз. Ему вдруг стала противна показная лихость, с какой он демонстрировал умение обращаться с оружием (только что чуть не ус...ся от страха, а вот поди ж ты!..), и он с отвращением вернул автомат Алхимову.

– Где он был? – спросил Тимницын.

– На чердаке. Солдат спрятал его на тот случай, если его поймают, чтобы вернуть. Чтобы смягчить... Придется перепрятать. Может быть, его разобрать? Вы умеете?

Тимницын кивнул и протянул руку.

– Но если солдата поймают, автомат ведь будет уже в другом месте, – сказал он.

Алхимов задумался.

– Да, я не сообразил. Ничего, потом что-то придумаем, а сейчас все равно надо уходить.

Через четверть часа они вышли из дома. Алхимов нес плотно замотанный в тряпки и перевязанный бечевой, утративший свои очертания остов автомата, а Тимницын в своей сумке его составные, брезентовый подсумок с тремя рожками (два полных, один порожний) и штык-нож. Путь оказался неблизким. Сначала они проходными дворами, то есть тем затейливым маршрутом, каким обычно приходили в дом, вернулись на ул. Парижской коммуны, а затем, обогнув Безменовку, пройдя мимо Дегтяревки, пересекли из конца в конец всю Голодаевку и спустились по спуску Мелиораторов. На самом дальнем, уже почти диком краю Ямы, да и города, они свернули в один из грязных дворов с зеленой, забросанной мусором лужей посредине и вошли в длинный одноэтажный дом барачного типа. В коридоре, освещенном лампочкой над входной дверью, толкались и кричали четверо детей лет семи, два мальчика и две девочки; увидев вошедших, они, уступая дорогу, разошлись по сторонам и, пока Алхимов с Тимницыным шли по коридору, стояли, прижавшись спинами к стене, спрятав руки за спину, и, не поднимая голов, прыскали от смеха.

Алхимов отпер одну из дверей. Это была мастерская его приятеля, художника-оформителя, уехавшего на все лето на заработки. Откинув кипу приваленных к стене транспарантов и холстов на подрамниках, Алхимов принялся рассовывать расчлененное тело Калашникова с боекомплектом под выломанные половицы. Сидя в тесном продавленном кресле без ножек, окруженном полчищами пустых бутылок, Тимницын наблюдал за ним с мрачной отрешенностью; ему было паршиво до дурноты, и нелепая, но в этом кресле кажется единственно возможная, как будто унижающая его своей скованностью поза, – руки на подлокотниках, прямая, чуть отведенная назад спина и высокоторчащие колени – только усугубляла пытку. Не щадя себя, он вновь и вновь вспоминал утреннее стояние у стены, под ножом Якова, и не мог простить себе этой покорности. Надо же, не сделать ни малейшей попытки оказать сопротивление! Даже мысли такой не мелькнуло! И ведь, если быть до конца честным, начни Яков его резать, он так бы и стоял, истекая кровью и прося пощады. А эта картинная уверенность Якова... но как хорошо он ему подыграл!..

Сидеть и пережевывать это, всякий раз ловя себя на абсурдном усилии каким-то образом вмешаться в ход случившегося и как-то его переиначить, было невмоготу, и Тимницын, наскоро попрощавшись с Алхимовым, отправился домой.

По дороге он несколько отвлекся, но дома его опять скрутило и похлеще, чем в мастерской. Тимницын пошел к Плугу. На улицах за последние два часа стало душно, с утра бывшее пронзительно синим небо затянулось белесой дымкой. Плуга дома не оказалось. На столе лежала записка от Левадийского с требованиями быть к назначенному сроку дома и не оставлять ключ от комнаты под половиком. Посидев, выглядывая Плуга, на подоконнике, Тимницын прилег на кровать и достал книгу Решетилова. Немного почитав, задремал. Когда проснулся, Терентия все еще не было. Надувая драную тюлевую занавеску, в комнату время от времени вторгался теплый с сырой подкладкой ветер. Тимницын проснулся с гадким осадком на душе и сразу же вспомнил, откуда он: Яков; и опять, как тошнота, поднялось в нем страстное и бессмысленное желание повторить происшедшее и изменить его – томительное и изматывающее, как погода за окном.

Он вскочил и пошел домой.

Было начало первого ночи, когда Тимницын опять вошел во двор на спуске Мелиораторов. Он завернул сюда наобум, не очень-то рассчитывая застать Алхимова, но тот еще был здесь; Тимницыну пришлось в щелку назвать себя, чтобы он открыл.

– Вы могли бы мне помочь? – сказал Илья, войдя в темную комнату. – Как-то зимой за безбилетный проезд в трамвае меня отвели в диспетчерскую и сфотографировали. Знаете эту диспетчерскую в Яме, где раньше была конечная? Старое здание...

– Да.

– Я бы хотел вызволить эту фотографию. Если она еще там, конечно... Мне это не дает покоя. Может быть, какой-нибудь ключ из вашей связки подойдет к их замкам? Но если не хотите...

– Хорошо. Идемте, – согласился Алхимов. – Только попьем чаю.

Через четверть часа они вышли. Повел Алхимов. На пыльных, чуть смоченных коротким дождем улицах не было ни души; проехал мотоциклист. Они перебрались через железнодорожную насыпь, прошли вдоль полуразрушенного забора какой-то ветхой фабрики и снова оказались на безлюдных, напоминающих сельские, улицах с редкими фонарями. С того момента, как они спустились с насыпи, Тимницын почувствовал, что Алхимов чем-то встревожен, и чем дальше, тем больше. Он понял, что вокруг Алхимова начинает меняться пространство. Взгляд пространства был, кажется, и в самом деле настороженно неприветлив, а может быть, просто взвинченность спутника понемногу передавалась Тимницыну. Потянуло горелой резиной; Алхимов остановился и, промолвив: «Вы идите, а я попробую иначе...», свернул в переулок. Постояв, Илья пошел дальше; с уходом Алхимова ему стало спокойней.

К зданию диспетчерской он вышел с тыла, почти наугад. Алхимова нигде поблизости не было. Тимницын обошел здание вокруг; ни в одном из окон свет не горел. Никакой уверенности, что Алхимов придет, что его не повело куда-то в сторону, у Тимницына не было, и он обругал себя последними словами за то, что не догадался забрать перед расставанием связку ключей. Подождав немного, он решил взяться за дело в одиночку, и с самого начала все пошло как по маслу. Он еще раз обошел диспетчерскую и остановил свой выбор на окне с открытой форточкой и замазанными до половины темной краской стеклами; рискуя свернуть шею, взобрался на наклонный, обитый жестью, мокрый подоконник, нащупал и открыл верхний шпингалет и, надавливая сразу носком, а сверху пяткой ладони, вытолкнул створку окна; спрыгнув, оказался, как и ожидал, в туалете, и оттуда вышел с включенным фонариком в коридор, который узнал тотчас же по сцепленным в ряд стульям и плакатам по гражданской обороне над ними. Тут он услышал музыку. Вспоминая сплошь погашенные окна, Тимницын сообразил, что это оставленная работающей радиоточка; находилась она, судя по всему, в контролерской в конце коридора. Тяжелая дверь в нее отошла со скрипом, и, едва шагнув за порог, Тимницын понял, что в диспетчерской он не один. Как запомнилось ему еще с зимы, из контролерской, схожей с дежуркой на почтамте, вело несколько дверей, и вот за одной из них, по левую сторону, сейчас горел свет и звучала музыка, что-то латиноамериканское, румба или самба, а может быть и босса-нова – Илья совсем не разбирался в этих ритмах. А еще из комнаты доносились какое-то странное, не затихающее ни на секунду шарканье и мягкий топот; танцевали там что ли?.. Илья решил было дать задний ход и выбраться тем же путем, каким пришел, но тут мелодия закончилась. Илья замер, держась за ручку двери, и теперь опасался, что в наступившей тишине его отступление может быть услышано. Он осторожно разжал пальцы, которыми сжимал ручку, и стал медленно отводить ладонь; дверь стояла, не шелохнувшись, кажется, не собираясь возвращаться назад. Тем временем снова завели пластинку и зазвучала та же мелодия, и опять: шарканье, мягкий топот и больше ни звука. Теперь Тимницын мог спокойно поворачиваться и уходить, но он заколебался, ему вдруг страсть как захотелось посмотреть, что же там, в этой комнате происходит. Решив, что на сегодня он уже свое, во время встречи с Яковом, отбоялся, Тимницын, мягко ступая, двинулся в путь. Дверь была закрыта неплотно, и из узкой щели по полу тянулась тоненькая полоска света, едва доходившая до середины контролерской. Тимницын подошел вплотную, прижался виском к косяку. В глухой, без окон, комнате на расчищенном пространстве, то появляясь в ограниченном поле зрения Ильи, то исчезая, танцевал не кто иной, как фотограф Васенька – по пояс голый, в легких черных тапочках. Танцевал румбу или самбу. Танцевал недурно. От нешуточного усердия Васенька обливался потом. Судя по его жестам и телодвижениям, им подразумевалось и наличие партнерши: то и дело прижимая ее к себе раскрытой ладонью, Васенька бойко колотил ее своими узкими бедрами. Тимницын уже давно с радостным волнением нащупал на двери задвижку и теперь, наслаждаясь собственной невидимостью, чувствовал себя охотником, ночным хищником, наблюдающим из густых зарослей за последними минутами беззаботной, ничего не подозревающей жертвы. Глубоко вздохнув, он отвел дверь, вышел из темноты и встал в проеме. Как раз в эту минуту Васенька, ухватив вытянутой рукой воображаемую партнершу (уж не Лиду ли?), перегнал ее из одного угла

комнаты в противоположный и, бросив там на произвол судьбы, вдруг вытянулся весь в струнку, выкатил грудь, вскинул над собой скрещенные в запястьях руки со слегка растопыренными пальцами и с горделивой резкостью повернул голову в сторону Ильи, который как будто только того и ждал.

– Ча-ча-ча!.. – глумливо произнес Тимницын, насмешливо глядя в васенькино лицо, на котором танцевальная рабочая маска неприступного мужчины медленно сменялась гримасой изумления, и, хлопнув дверью, запер задвижку. В следующую секунду дверь сотряслась от удара.

– Открой!!! А ну, открой, сука!.. – закричал Васенька, и дальше посыпался сплошной мат.

Тимницын засветил фонарик, быстро отыскал выключатель, зажег свет и сразу же обнаружил то, ради чего сюда забрался: оклеенный бумагой щит, разукрашенный в честь 60-летия Лидиного отца. «Дед Корней и зайцы». Сверху стишки, веселые пожелания коллег, поздравления от коллектива трамвайно-троллейбусного управления – все, как полагается, в цветочных виньетках; внизу почти во всю длину лодка: на корме сам дед Корней с веслом в руках улыбается глянцевым фотолицом, а все остальное пространство заполнено мордочками зайцев с дорисованными ушами, среди которых Илья не без труда отыскал свою, скорбящую. Он отодрал ее ногтем, смял и сунул в карман, и тут же на самом носу лодки обнаружил еще одну знакомую, искривленную гримасой плача, в которой узнал Меркурия. Секунду поколебавшись, Илья отодрал и ее. Между тем, Васенька продолжал со всею страстью ломиться в запертую дверь, и задвижка могла вот-вот отлететь. Илья придвинул к двери стол и выбежал из здания диспетчерской через парадный ход.

Вся операция заняла, должно быть, не более двадцати минут. Перейдя с бега на шаг, Тимницын признался себе, что вел себя довольно глупо. А что, если бы стенд с фотографиями оказался в другом месте или даже в той самой комнате, где отплясывал Васенька? И на кой черт он себя обнаружил? И еще: фотографии... Ведь у того же Васеньки вполне могли сохраниться негативы, и какой тогда смысл во всем этом предприятии? Но, несмотря на эти доводы и сомнения, Илья счел задачу выполненной.

VII. Известие

Тимницын только примеривался к «новой топографии»: штудировал Решетилова, посещал вокзальные посиделки, беседовал с Алхимовым; уйти в нее с головой он еще не чувствовал себя готовым, а потому вел жизнь умеренного топографа, время от времени совершая рейды по Лидии и ближним окраинам. Алексей Алхимов находил такое положение дел вполне нормальным. По его словам, от первого знакомства до полного ухода в НТ может пройти и полгода, и больше; все это время топограф постепенно, день за днем, в нее втягивается, но сигналом перелома обычно служит некий щелчок или толчок, может быть какое-то происшествие, в результате которого он отбрасывает напрочь или, точнее сказать, утрачивает любительство и переходит на положение метатопографа всерьез и окончательно. Это втягивание Илья очень хорошо чувствовал; оглядываясь назад, он видел, что живет уже совсем иначе – слишком красноречивым было теперь окружающее пространство, но того интенсивного излучения, какое, судя по всему, ощущал Алхимов или тот же Зет, он пока не обнаруживал. Иногда, впрочем, ему вдруг приходило на ум, что посвященность Алхимова, Зета и прочих в тонкости НТ – чистой воды лукавство, цеховая круговая порука, но перебрав скромный перечень собственных открытий и достижений, признавался себе, что у кого-то этот багаж мог быть и побогаче.

Алхимовский щелчок Илья понимал как момент обретения индивидуального видения НТ, т.е., в его случае, «метатопографии Тимницына». Он не занимался специально изучением различий взглядов на НТ в среде лидийских последователей Себастьяна Браво, но и невооруженным глазом было видно, какая тут царила разноголосица, как раз и означавшая, что почти у каждого из них была своя топография, пусть даже иногда притянутая за уши, придуманная с единственной целью быть непохожим ни на кого, но – своя. Незыблемыми оставались только основные догматы, все остальное могло перекраиваться, и перекраивалось, каждым на свой лад. Согласия не

было даже в самых, казалось бы, фундаментальных вопросах. Так, чуть ли не половина бегунов придерживалась мнения, что коррида это, своего рода, постоянная борьба с течением, которое настойчиво сносит топографа к «28.8.28» и дальше, к «тегерану», что, в свою очередь, давало повод выстраивать из семи первых зон некую иерархию, от менее опасных к более опасным. Алхимов объяснял это тем, что некоторые топографы просто менее чувствительны, например, к «алкоголю», чем к «тесноте» или «лихорадке» и наоборот, и добавлял, что такая выборочная нечувствительность дело временное, бывает и проходит. В частностях неразберихи было еще больше. Немалый сумбур в шаткое и без того представление Ильи о НТ внес и его единственный разговор с Зетом. Даже больше, чем отношения последнего с «тегераном», Илью смутила фраза «стень стени не видит». Относительную (поскольку тут же возникали новые вопросы) ясность внес один вокзальный топограф, процитировавший такое высказывание Зета: «Я, б..дь, пытаюсь убежать от первой стени, а вы все бегаете от второй, третьей, четвертой, если не десятой!..» Не упоминая о встрече с Зетом, Тимницын спросил как-то у Алхимова, слышал ли тот что-нибудь о числах или степенях стени. Алхимов пожал плечами и ответил, что ничего об этом не знает. Однако Илье казалось, что в словах Зета была какая-то правда.

Как в лесу, плутал Тимницын среди чужих голосов и мнений, в надежде набрести рано или поздно на что-то свое; отдохновением, утехой и магнитом, удерживающим его в кругу метатопографических интересов, по-прежнему оставалась книга Решетилова, перечитываемая им все с тем же первоначальным, не тускнеющим увлечением, источник радости и досады одновременно. По-прежнему захватывала сама идея освоения равнодушного, давно знакомого пространства, теперь промаркированного, щедро расцвеченного, непредсказуемо изменчивого, зовуще-авантюрно-опасного. Досаду же вызывало то, что таковым оно для Тимницына существовало, увы, по большей части только на бумаге: стоило ему – вдохновленному, готовому к приключениям – выйти на улицу, как, спустя каких-нибудь полчаса, оно выцветало, меркло, и на смену куражу и авантюрному воодушевлению приходили унылая неприкаянность и неловкость. Нечто похожее испытывал Тимницын и раньше, когда, выходя после сеанса из кинозала, замечал, что окружающий мир самым восхитительным образом живет по законам увиденного фильма, но длилось это будоражащее очарование считанные минуты. Еще вспоминались детские забавы строить шалаши из обрезанных с деревьев веток: наличие такого убежища несказанно радовало, но сидеть в нем очень быстро наскучивало. И в памяти опять вставали бессмертные слова Жижина: «Теория всегда слаще практики».

Вот в таком подвешенном состоянии пребывал Илья Тимницын, ожидая обещанного Алхимовым щелчка, которого он так и не дождался, потому что наступило 19 сентября, день, круто изменивший всю его жизнь.

Илья запомнил число случайно, только потому, что утром упомянутого дня к нему заявился в дрезину пьяный Терентий Плуг с Никитой. Плуг с порога обнял Илью и грузно повис на нем, так что пришлось буквально втаскивать его к себе в комнату. Следом вошел засыпающий на ходу Никита, неся бутылку портвейна и потерянные Плугом плетеные тапочки без задников. Терентий был у Ильи впервые, и тот долго не мог уяснить себе цели неожиданного визита, которая определенно имелась. Только спустя четверть часа Илья начал что-то понимать. Сначала он подумал, что Плуг, крепко пропив всю ночь, к утру решил его усыновить. Но вскоре выяснилось, что дело зашло гораздо дальше, что Плуг просто считает Илью родным сыном, и вот, наконец, решился открыть ему свою тайну. (Тимницына это даже позабавило: за последние полгода он обзаводился уже вторым отцом, первым был Жижин). Далее следовала история, в которой, за бессвязным и маловнятным изложением, перемежаемым жаркими объятиями и обильными слезами, Илья ничего бы не понял, если бы не слышал о ней раньше. Ее ему с некоторой патетичностью, какой она за давностью лет, может быть, уже и не заслуживала, и без особого на то повода сообщил однажды Левадийский (тогда же Илье показалось, что Левадийский как будто ревнует его к Плугу, и уж не с тайным ли умыслом охладить его привязанность рассказывалась эта история? Он был иногда на удивление наивен, Александр Борисович).

Лет двадцать с небольшим назад Плуг завел роман с работницей джутовой фабрики, приехавшей в Лидию из далекой провинции. Спустя какое-то время она перебралась из общежития к Терентию, где и прожила несколько лет. Расписываться с ней и прописывать ее у себя Терентий неизменно наотрез отказывался. Когда же она, то ли случайно, то ли надеясь смягчить сердце сожителя, забеременела, тот ее попросту выставил. Много позже он узнал, что она родила мальчика, уволилась с фабрики и след ее затерялся. Вплоть до самого последнего времени Терентий пытался ее разыскать, даже не раз собирался в дорогу, но дальше намерений дело так и не двинулось.

Другими слагаемыми плуговской фантазии с обретением наследника в лице Тимницына очевидно стали возраст и безотцовщина последнего. Не исключено также, что здесь присутствовал и некоторый простодушный и сумасбродный, в духе Терентия, расчет: зачем куда-то ехать искать сына, когда можно найти его где-нибудь поблизости, не сходя с места.

Попивая портвейн, Терентий то и дело спрашивал то у Ильи, то у Никиты, какое сегодня число, и наказывал его запомнить как знаменательный день встречи отца с сыном. Кроме того, он требовал, чтобы Илья позвал мать, и та обязательно все вспомнит. В том, что мать «все вспомнит», Илья как раз нисколько не сомневался, ей это ничего не стоило, она могла вспомнить и не такое. Он живо представил себе эту встречу алкоголика со склеротичкой и решил, пока мать ходит с Леной по магазинам, отвести Плуга домой.

По дороге Плуг совсем раскис и раскапризничался, как уставший ребенок перед сном. Он икал, кашлял, чихал, сморкался, стонал, жаловался на тошноту, на головную боль, на старость, на свою подлость и уговаривал Илью с Никитой его бросить. С великими трудами они довели его до дому, втащили в комнату и повалили на кровать; Терентий не сопротивлялся, но и не помогал. Уже лежа в постели, на спине, он слезливо попросил: «Илюшенька, угости Никитушку чаем с баранками...», потом добавил: «Наоборот...» и заснул.

От Плуга Илья вышел в приподнятом настроении. На душе было весело и тепло. Гораздо прохладней оказалось на улице: дул резкий, первый по-настоящему осенний ветер, темное складчатое небо вот-вот готово было разразиться дождем. Илья вышел из дому в одной рубашке и по дороге сюда, за хлопотами с Плугом, холода не чувствовал. Теперь его пробрало. Скрестив на груди руки, он заспешил к остановке. Двери трамвая, к которому он ринулся, закрылись перед самим его носом, но он продолжал стоять у самой подножки, смиренно рассчитывая на милость вагоновожатого. Надеялся он напрасно. Трамвай загудел, щелкнул и медленно тронулся. И тут из форточки просунулась лохматая голова Скобцова.

– Илья! – закричал он на всю улицу. – Тебя Лешка повсюду ищет! Там что-то стряслось с вашим приятелем! Забыл как его, – он картинно хлопнул себя по лбу, – вылетело из головы!..

И трамвай укатил. Тимницын постоял, и пошел вдоль колеи.

«Лешка» – это, конечно же, Алхимов. Но где он мог сейчас быть? Если, как сказал Скобцов, Алхимов его ищет, то вряд ли удастся застать его на спуске Мелиораторов. Хотя, возможно, что там, где-нибудь в двери, оставлена для Ильи записка. Раздражало еще то, что Скобцов наверняка помнил имя, но таков уж был человек.

По дороге он перебирал общих с Алхимовым знакомых. От Плуга он, слава Богу, только что вышел. Первым делом он вспомнил Зета и почти утвердился в мысли, что приключилось что-то с ним (фоном была зимняя история с его приятелем), но потом подумал, что уж Зета Скобцов назвал бы. Следующим кандидатом стал Меркурий, но могли быть также и Жижин, и Левадийский, и Яков, наконец. Тимницын больше склонялся к тому, что это или Меркурий или же солдат, которого все-таки изловили.

Дома он надел плащ, захватил свою походную сумку и, не задерживаясь, пошел на спуск Мелиораторов.

Солдат, разумеется, солдат, думал Тимницын. А если солдат, то Алхимов сейчас наверняка сидит в мастерской и ждет его, чтобы посоветоваться, как поступить с автоматом. Он так убедил себя в этой версии, что был крайне разочарован, даже рассержен, когда оказалось, что Алхимова в мастерской нет. Не было и никакой записки. Он еще раз дернул ручку двери, постучал и про-

изнес в щелку: «Алхимов, откройте, это Илья!..» Ни звука. Тимницын был в растерянности. Что делать теперь, он не представлял. Бегать по городу и искать Алхимова? Разыскать Скобцова и заставить его вспомнить имя знакомого? Тимницын вдруг разозлился на свою горячность: с чего это он так засуетился? Скобцов вполне мог преувеличить. «Лешка тебя всюду ищет!». Небось, просто спросил, не видел ли тот Тимницына, да и все. Да и с неизвестным знакомым могла приключиться какая-нибудь чепуха... И Тимницын уже собрался уходить, сделал несколько шагов по коридору, как что-то потянуло его назад. Он вернулся к двери мастерской, взялся за ручку и, присев на корточки, припал глазом к замочной скважине. Шторы из мешковины были раскинуты по сторонам очевидно намеренно, чтобы мастерская хорошо освещалась. Под самым окном, строго напротив двери, повернутое к ней, стояло кресло без ножек, а на его подлокотниках, с небольшим наклоном, так что тусклый свет из окна словно стекал по нему, был установлен транспарант – та самая оставленная Алхимовым записка, на которую так рассчитывал Тимницын. На тыльной стороне транспаранта, по холсту алой краской было выведено: УМЕР ВИКТОР.

– Пожалуйста... – вдруг шепотом попросил Илья и закрыл свободной ладонью лицо, замотал головой. – Я этого не хотел...

В эту минуту в коридор со двора влетели дети, кажется те самые, виденные им еще в первый приход сюда, с Алхимовым. Наткнувшись на сидящего на корточках Тимницына, повернувшего к ним, на шум, бледное, потерянное лицо, они, постояв, тихонько вышли.

VIII. Похороны

...У входа в переулок, в котором находился дом Любы Капитан, он остановился. Очень хотелось пить. Он стоял и пристально смотрел на дом в самом конце переулка, словно по его внешнему виду или по каким-то приметам пытался определить, верно ли дошедшее до него известие. Ничего особенного он не видел. Вот из подворотни вышел человек и закурил. Следом вышел еще один, прикурил у первого. Заморосил дождь и оба ушли в подворотню. Тимницын двинулся по переулку. Когда он медленно, ступая как по минному полю, дошел до середины, его окликнули. Справа, на расстоянии вытянутой руки, так, что Тимницын даже поразился, как он мог не заметить, на остановке, под навесом, сидел Алхимов. Тимницын опустился рядом. В переулок въехал, надсадно рыча, трясясь и дребезжа стеклами на выбоинах, допотопный, выкрашенный в зеленый цвет автобус. Добравшись до конца переулка, он до половины вполз в подворотню, потом, сдавая назад, развернулся и встал напротив окон подвала Навроцкого. Из кабины вылез широкий кривоногий водитель в кожаной куртке и исчез в подворотне.

– Его убили, – сказал Алхимов. – Зарезали. Кто – неизвестно.

– Когда?

– Вчера ночью или позавчера вечером. Нашли вчера утром.

Они помолчали и Алхимов рассказал то, что ему удалось узнать. Узнал он, впрочем, немного. И вряд ли кто, кроме убийцы, знал больше. Тело Виктора рано утром, за пивным ларьком нашла его жена, вышедшая убирать. Он сидел, прислонившись спиной к стене дома, свесив голову, как будто спал. Она так и решила, что он спит, и только подойдя ближе, обнаружила, что Виктор мертв. Брюки на нем и земля вокруг были пропитаны кровью. Врач, обследовавший труп, сказал, что перерезана какая-то бедренная артерия и Виктор скончался от потери крови. Но если бы крови вытекло и меньше, он все равно умер бы от переохлаждения той холодной ночью. Судя по всему, он был еще и сильно пьян и не смог дойти до дома каких-нибудь сотню метров. Орудие убийства, скорее всего нож, не нашли, убийцу тоже. Да и вряд ли кто-то станет всерьез этим заниматься. Говорят, что здешний участковый даже и не скрывал своего удовлетворения...

Тимницын слушал Алхимова опустив глаза. К концу рассказа у него в груди как будто что-то, мягко расклеившись, разошлось, и он, отворотив лицо, расплакался.

Когда он успокоился, Алхимов спросил:

– Вы пойдете туда?

– Нет. Не хочу. Может быть, потом... А вы там были?

– Да. Я здесь с утра. Как узнал.

Опять посыпал мелкий дождь. Илья вспомнил, что согласно Решетилову, ссылавшегося на Браво, мертвое тело, покойник, как бы распространяет вокруг себя зону безопасности, и это касается даже «тегерана»; из этих соображений считались безопасными и стоявшие посреди Безменовки, в непосредственной близости от морга, два дома в Зенитном переулке. Илье вспомнились соседи Плуга, молодая пара, названные Левадийским «падальщиками»; «а эти-то чем лучше?», подумал он, разумея топографов.

Алхимов словно угадал его мысли и стал объяснять свое присутствие здесь.

– Мне казалось, что здесь должен появиться Жижин... – загадочно произнес он. – Хотя, если он даже и появится, я, честно говоря, и не знаю, что можно будет предпринять...

– А что будет, если он появится? – вытирая глаза, ничего не понимая, спросил Илья. – И что вы должны предпринимать?

– Существует один документ, касающийся Виктора, – немного поколебавшись, начал Алхимов. – Помните, в Зенитном, той ночью, когда там еще был солдат, вы спросили про Виктора, а я вам сказал, что Виктор великий человек, помните?

– Конечно помню.

– Так вот, есть одно письмо, которое это подтверждает, я его видел однажды, читал...

– Письмо от кого?

– Нет, это письмо, написанное Виктором. И я думаю, что Жижин каким-нибудь образом тоже что-то знает о нем, или только догадывается, что есть какие-то записи, и очень может быть попробует заполучить их себе...

Илья приготовился расспросить поподробнее, но тут из подворотни выскочил с двумя табуретками сосед Навроцкого и любовник его жены Толик по фамилии Голик – русоволосый типчик со впалой грудью и по-детски узкими плечами, как бы обреченный вести себя с подчеркнутой кротостью, с некоторым горьким смирением, призванными держать окружающих в неведении относительно истинных масштабов мощи и благородства, таившихся за этой внешней неказистостью. Семеня, недовольно поглядывая на небо, передергивая плечами, Толик с рассчитанной на случайного зрителя озабоченностью принялся ставить табуретки, располагая их то так, то эдак. Он хлопотал с минуту, пока из подворотни не показалась процессия. Вначале вышла девочка в черном школьном переднике, бросавшая по сторонам красные гвоздики с надломленными стебельками, а следом мужчины вынесли гроб, который, широко расставив локти и помахивая ладонями, принял Толик.

Илья задохнулся, увидев в наклонившемся гробу механически качнувшееся стеариновое лицо Виктора Навроцкого. Он невольно поднялся.

С два десятка человек вышли на улицу и окружили поставленный на табуретки гроб; заиграли подтянувшиеся музыканты. Спустя немного времени гроб накрыли крышкой и под музыку понесли в автобус.

– Я поеду с ними, – сказал Тимницын.

Алхимов кивнул.

– Поезжайте, – сказал он, поднимаясь, – а я побуду здесь. Может быть, надо помочь...

Они вместе перешли улицу, и Алхимов скрылся в подворотне, а Тимницын полез в автобус.

На повороте из переулка автобус притормозил, и в него вскочил запыхавшийся Жижин; поскольку мест в салоне не было, он остался стоять на передней площадке к видимому недовольству Толика, которому он закрыл вид из окна.

Большинство из сидевших в автобусе соседей и собутыльников Виктора были более или менее знакомы Илье. В изножье гроба примостился Сеня-старшина, за все время поездки ни разу не поднявший лица; на его левой скуле белела полоска пластыря. Бок о бок сидели жена Навроцкого и ее притихший сын. В коричневом глухом платье, с бледным опухшим лицом Люба выглядела старше матери Виктора, которую Тимницын узнал сразу же, хотя и видел второй раз в жизни:

настолько они с Виктором были похожи. Она сидела с прямой спиной и расправленными плечами, поджав губы и прищурив глаза, словно, прицениваясь к чему-то – купить, не купить? – вдруг отвлеклась и, не меняя выражения лица, задумалась о другом. Всю дорогу Илья украдкой поглядывал на нее, будто надеялся в ней угадать ту тайну, которую он так и не разгадал в Викторе. Мужчины в автобусе дружно курили, и он закурил тоже. Ехали молча, только какая-то старушка из соседок все охала, что-то бормотала, поминутно промакивая глаза и качая маленькой головой, как нанятая. Судя по крепкому перегарному смраду в салоне, который не могли перебить запахи сосновых досок и венков, поминать Виктора начали с самого утра.

На кладбище сыпал дождь, а потому процедура прощания не заняла много времени. Не обошлось, правда, без происшествий. Когда гроб, вытянув из автобуса, понесли к могиле (Илья попробовал подставить свое плечо, но его оттеснил Толик), вдова Навроцкого вдруг пьяно, в голос разрыдалась, схватила сына и с криком «Посмотри на Витю, посмотри!» попыталась поднять его над собой. Ей это оказалось не под силу и они оба повалились на землю, в слякоть. Очутившиеся ближе других Сеня и Тимницын быстро их подняли, но испачкаться они успели капитально. Мальчик, испугавшись и, вероятно, ушибившись, тоже разрыдался, и старушка-плакальщица долго еще его унимала.

Ни речей, ни прощальных слов не было. Все молча стояли у гроба, как это происходило на Дегтяревке, и слушали нестройную игру пьяных музыкантов. Потом гроб на веревках спустили в могилу, и все с грязными руками от комьев земли цепочкой побрели к автобусу. Похороны закончились.

Вернулись на Дегтяревку в приподнятом, чуть ли не веселом настроении, как это часто бывает после погребения. Во дворе, перед входом в подвал, под высохшей акацией выстроилась очередь мыть руки; поливала ковшиком из ведра бойкая некрасивая девица в очках, и тут уже слышались шутки и смешки. Илья оказался одним из последних. Когда он вошел в комнату, гости, рассевшись за столами, бодро накладывали в тарелки и разливали водку. Народу на поминки сошлось больше, чем на похороны. Большинство составляли работники жэка со стороны Любы и соседи, но много было и каких-то неизвестных Тимницыну выпивох, чей траурный наряд ограничивался смоченными водой и гладко прилизанными волосами; на самом отшибе сидел, затравленно поглядывая по сторонам, какой-то совсем уж затрапезный пьянчужка с исцарапанным лицом, напоминавший грязного помойного кота, забравшегося в благополучный дом, где его встретили на удивление спокойно, и все-таки ждущего, когда же его отсюда погонят.

Илья с порога заметил Алхимова, который энергичными жестами приглашал его сесть рядом, на специально прибереженный для него стул. К его удивлению, Алхимов был нетрезв. Тимницын таким видел его впервые. Впрочем, он и сам страшно хотел выпить.

– Вы видели?! – прошептал Алхимов с лихорадочным блеском в глазах, как только Тимницын уселся. – Жижин в той комнатке с женой Виктора, как я и предполагал!

И в ту же минуту дверь комнаты Виктора распахнулась и оттуда вышел раскрасневшийся Жижин, а следом Люба Капитан. Заждавшийся Толик недовольно проследил за тем, как они усаживались, и приподнял рюмку; потом, поразмыслив, поднялся, но не выпрямляясь в полный рост, сгорбившись, словно придавленный грузом случившегося.

– Сегодня мы проводили в последний путь Виктора... – проговорил он и подержал паузу. – Витька... Вот здесь собрались все, кто его знал: друзья, соседи, близкие, родственники... – он кого-то поискал глазами, по-видимому, мать Виктора, которой в комнате не оказалось, и сделал жест в сторону Жижина (от Ильи не ускользнуло, как Жижин выразительно дернул бровью); Толик вздохнул и скорбно помолчал. – Давайте помянем усопшего вставанием...

Все послушно поднялись.

– Я что хочу сказать, – продолжил Толик-Голик, переживавший, кажется, свой звездный час, – пусть земля ему будет прахом... то есть, пухом!..

Выпили.

Сев и закусив, Тимницын обратился к Алхимову:

– Вы думаете, что то, о чем вы говорили, уже у Жижина?

– Скорее всего.

– Так что же это за письмо?

– Сейчас... Давайте-ка, может быть, лучше выйдем? – предложил Алхимов.

Они выпили еще по рюмке. Первым выбрался из-за стола Илья, спустя некоторое время вышел в коридор Алхимов.

– Что это за письмо?

– Письмо Виктора к какому-то своему московскому приятелю. Помните, той ночью вы спросили меня, знаю ли я, что происходит с Виктором? Так вот в этом письме он описывает, что с ним происходит... происходило...

– И что же?

– Виктор решил загубить свою жизнь...

– Загубить? Что это значит: «решил загубить жизнь»?

– Там он все подробно объясняет. Это долгая история, и если мы не достанем письмо, я вам как-нибудь объясню, а сейчас нет времени...

– Ладно. Откуда вы знаете о нем?

– О ком?

– О письме.

– Так случилось... Сейчас... Это довольно странная история. Я как-то попросил у Виктора одну книгу... ну, в общем, не важно сейчас, какую. Мы договорились, что я зайду к нему, но не успел я зайти, как он принес ее сам, я еще тогда этому удивился. И вот в этой книге лежало это письмо, ну, как если бы он вложил его в книгу и забыл, понимаете?.. Но я-то прекрасно знаю, что такой случайности Виктор никогда бы не допустил, я хорошо помню, как он перелистывал каждую книгу перед тем, как отдать, такая была привычка. Значит это не было случайностью и он вложил письмо в книгу специально для того, чтобы я его прочитал, понимаете? Я, правда, долго не решался, но потом все-таки прочитал. Вот и все. Я вернул ему книгу с письмом, и мы с ним ни разу об этом не заговаривали, как будто никакого письма и не было. Я тогда понял это так, что Виктору просто необходимо было поделиться, высказаться, именно не поговорить, а высказаться самому, потому что то, что он с собой сделал, это, конечно, не предмет для обсуждения и дискуссий, и вот он выбрал такой способ. Способ оповещения... Но теперь у меня появились сомнения: может быть, я ошибся? Может быть, он просто хотел отдать мне письмо, отдать совсем, а я не понял?.. Это было около года назад. Конечно, с того времени он мог и уничтожить его, но мне почему-то кажется, что оно еще цело и находится здесь. И вполне может быть, что оно уже у Жижина – вот что самое скверное!..

– Вы думаете, Виктор ему тоже давал его читать?

– Нет, что вы! Что вы! – горячо возразил Алхимов. – Разумеется, не давал! Я уверен, что не давал. Но он вполне мог как-то намекнуть на его существование, заинтересовать, подразнить такой возможностью... Жижина всегда интересовал Виктор, и он очень внимательно следил за его жизнью. У них тут было что-то вроде соревнования. Ведь Жижин всю жизнь стремился в учителя, лидеры и, как видите, у него из этого ничего не вышло, почти. А Виктор был ничуть не менее честолюбив, казался таким, и куда больше имел возможностей, но он никогда не выглядел проигравшим, скорее наоборот, и я уверен, что Жижин многое готов отдать, чтобы хотя бы узнать, в чем тут дело, а если можно, и свести это на нет...

Рассказывая, Алхимов держался за край жестяной бочки в потеках извести, которая, вероятно, стояла здесь еще до Виктора и, Бог знает, сколько будет стоять после него. В пьяном виде Алхимов заметно полинял, стал как будто мельче, наивней. Тимницын же, наоборот, поневоле ощущал прилив значительности, чувствовал это в своих интонациях, повадках, осанке, и ничего не мог с этим поделать. Впрочем, ему было и не до того.

– Что значит «свести на нет»? Это каким же образом? – поинтересовался он, чувствуя, что уже втянут по уши в эту историю, и что сам многое бы дал, чтобы хотя бы пробежать глазами письмо, о котором шла речь.

– Я размышлял над этим, – отвечал Алхимов. – И теперь убежден, что Жижин найдет способ. Во-первых, я готов отдать голову на отсечение, что письмо существует в единственном экземпляре. Потому что то, что сотворил с собой Виктор, по своей сути исключает какое-либо афиширование, абсолютно исключает. Но в то же время у него было чисто человеческое желание с кем-то поделиться своим подвигом, дать знать о себе, что ли... Возможно, письмо это – результат какой-то минутной слабости, как и само желание донести его до кого-то... Поэтому я боюсь, что он мог его все-таки порвать или сжечь, и одна надежда тут на то, что погиб он внезапно, не успев это сделать. Что касается Жижина, то сначала я думал, что, попади письмо к нему, он его просто уничтожит и все. Но сейчас я другого мнения. Я боюсь, что он может выкинуть штуку поизощренней. Вы же знаете, что он собирает сведения про всяких лидийских чудаков и убогих. Не исключено, что он когда-нибудь напишет о них какую-нибудь книгу, а еще когда-то, пусть в далеком будущем, ее издаст, и вот представьте себе, если он туда же, в это сборище безумцев, городских сумасшедших, в это общество поместит и историю Виктора. Учтите еще и то, что при его способностях, если письмо попадет к нему, он сможет добавить в него или, наоборот, выбросить все, что ему заблагорассудится, и сотворит такую копию, что Виктор превратится из героя, стоика, в какого-нибудь смешного, нелепого идиота – вот чего я теперь опасаюсь!.. Вы меня понимаете?

– Да. Понимаю, – согласился Тимницын, глядя сощуренными глазами мимо собеседника; под алхимовское сообщение ему вдруг вспомнилось то его, выкраденное им у Жижина зимой письмо, в котором он нашел такое, чего, кажется (теперь он был уверен в этом), и не писал. – Почему же вы сами не попытались забрать его? – спросил он.

– Кого?

– Письмо!.. Мы ведь о письме говорим!..

– Но когда?! – воскликнул Алхимов. – Не мог же я просить у вдовы какие-то вещи покойного, когда тот еще лежит на столе!..

– А вот Жижин смог, – задумчиво произнес Илья.

– Жижин смог, – согласился Алхимов.

– И что же нам теперь делать?

– Не знаю. Придумать бы что-нибудь. Потому что, если он уйдет отсюда с письмом, то тогда уже ничего нельзя будет поделать...

– Так, хорошо, – сказал Илья. – Из комнаты Виктора Жижин вышел с портфелем. Думаю, если он получил письмо, то оно сейчас там. Нам надо хоть на несколько минут завладеть этим портфелем. Жижин может выйти в туалет или куда-то еще, он может напиться, хотя вряд ли. Эх, жаль, что мы с ним рассорились!.. Ну, ладно, давайте вернемся и будем ждать, и как только представится возможность... может быть нам повезет... И еще. Алхимов, вам, пожалуй, хватит пить.

– Хорошо, не буду.

– Я тоже прекращаю.

У Ильи было искушение, пользуясь состоянием Алхимова, выведать, рассказывал ли ему Меркурий об избиении Виктора, но он с некоторым усилием подавил в себе это желание.

Они вернулись в комнату, где тем временем поминальное безмолвие сменилось застольным оживлением, и только отсутствие музыки да траурные наряды и газовые платки женщин говорили о том, что это поминки. Тимницын и Алхимов выпили кем-то заботливо налитой водки, закусили квашеной капустой, а Илья еще и моченым яблоком, и принялись за еду.

Среди раскрасневшихся жующих лиц выделялось лицо Андрюхи, сидевшего между женой Виктора, пребывавшей в угрюмом оцепенении, и ее братом, строгим прыщавым ефрейтором, приехавшим на побывку. Мальчик грустно и, кажется, совсем не понимая происходящего, смотрел по сторонам, и у Ильи всякий раз, при взгляде на него, сжималось сердце.

Щедрые на даровую водку добровольные распорядители из гостей зорко следили за тем, чтобы не пустовала ни одна рюмка, и то и дело наливали Тимницыну и Алхимову, которые, несмотря на данный зарок, продолжали пить. Тимницын счел, что рановато пообещал прекратить, но поскольку сам слова не сдержал, не мог требовать этого от товарища. Алхимов же, кажется, вообще

не помнил ни о каком слове и с безучастной точностью автомата опрокидывал в себя рюмку за рюмкой.

Время от времени Илья поглядывал на Жижина – тот, закусывая, слушал соседа, – и все думал, как бы заполучить портфель. Чтобы высмотреть, где он стоит, Илья уронил спички. Портфель стоял у стула Жижина, но, очевидно, ногой соседа был несколько сдвинут назад, и, пожалуй, изловчившись, его можно было бы утянуть так, чтобы хозяин не заметил. От Жижина до входной двери за его спиной не больше пяти шагов; Алхимову можно поручить чем-нибудь отвлекать Жижина в этот момент. Тимницын решил подождать еще немного и, если не представится более удобного случая, так и сделать. Но тут произошло то, чего он как раз и опасался: повернувшись к Алхимову, он обнаружил, что тот сидит, уткнувшись лицом в сложенные ладони. Тимницын взял его за локоть.

– Алхимов, вам плохо?

– Да, очень, – был ответ; Алхимов, медленно уронив руки, поднял лицо, но повернуть его к Тимницыну не смог. – Мне надо выйти...

– Вам помочь?

– Нет. Я сам.

Алхимов рывком поднялся, постоял, видимо, выжидая, пока уляжется возмущенная движением дурнота, и, хватаясь за спинки стульев, побрел к выходу. Тимницын, готовый броситься на помощь, проследил за ним, пока тот не скрылся.

Отсутствовал Алхимов довольно долго, так что Илья забеспокоился и совсем было решился отправиться за ним, как тут во главе стола опять поднялся Толик с рюмкой. Но только он успел произнести: «Предлагаю еще раз выпить за упокой нашего...», как в подвале погас свет. Раздался укоризненный гул и женские ахи. Тотчас же выяснилось, что во всех соседних домах и во дворе свет есть, а значит поломка где-то в квартире. Задвигались стулья, позажигались спички, несколько человек вышли в коридор проверить пробки. Спустя несколько минут свет загорелся.

– Я что хочу сказать, – сразу же продолжил прерванную речь Толик, не давая разгуляться оживившейся аудитории. – У каждого свой характер, свои недостатки. И у покойного тоже были свои дела... – Толик крутанул полураскрытой ладонью у виска. – Мог в темноте, из-за угла, позорно, по-низкому ударить человека и убежать – все это помнят, все это знают...

Тимницын вдруг поймал на себе пристальный насмешливый взгляд Жижина, и как только повернулся к нему, тот медленно, продолжая усмехаться, отвел глаза. Взгляд Жижина был настолько красноречив, что Тимницына как кипятком обдало: так вот, значит, кого он свалил тогда в туалете кирпичом!.. Сгоряча он чуть было не обратился за разъяснениями к выступавшему, и, засуетившись, не дождавшись конца речи, выпил свою рюмку. Жижин и это видел.

Толик между тем продолжал:

– Потом, конечно, приходил, просил прощения, а ху... в смысле, чего уже извиняться, – что сделано, то сделано. Ты уже всем себя показал... Но я что хочу сказать. Когда человек умирает, тут уже обижаться нечего. Вчера он был неправ, а завтра, может быть, ты был бы неправ, правильно? Это жизнь. Главное, чтобы после твоей смерти пришли твои друзья, знакомые, посидели, выпили, вспомнили... Не надо никаких особенных почестей, это все херня, никому не нужно. Главное, чтобы были человеческие отношения...

Здесь Толик прервался и со строгим недоумением уставился на одного из трех музыкантов, трубача, который еще с той самой минуты, как загорелся свет, привлекал к себе внимание части гостей, сидящих у двери. Тимницын видел, как он вернулся из коридора со стулом и до сих пор не садился; шепотом обращаясь то к одному, то к другому гостю, он время от времени приседал и заглядывал, под стол. Теперь, почувствовав тяжелый взгляд Толика, он все так же пьяно и растерянно улыбаясь, обратился к публике:

– Ребята, верните туфли, а...

Однако, видя, что от объяснений ему не уйти, продолжил:

– Я когда пробки выкручивал, туфли снял, чтобы стул не запачкать, а когда спустился, надел,

смотрю, а туфли уже не мои, какие-то старые, а мои совсем новые были, а вот там какой-то парень сидел, – указал он на пустовавший стул Алхимова, – он куда делся?..

– Он сейчас вернется, вот его вещи, – сказал Илья, показывая на алхимовский вещмешок, висевший на спинке и опять встречаясь взглядом с Жижиным, который даже и не пытался скрыть своего веселого изумления и откровенно наслаждался этой сценой.

Остальные гости перешептывались, пожимали плечами и, отворачивая скатерти, поглядывали под столы. Одним словом, в комнате царила всеобщая растерянность и постепенно внимание стягивалось к Толику, продолжавшему стоять с полной рюмкой.

– Это ж не дело – опять робко и добродушно вступил трубач, – новые туфли... Может быть кто-то пошутил?..

Шутник, однако, не спешил раскрывать себя. Ситуация еще осложнялась тем, что музыкант был давно и крепко пьян и вполне мог обменяться туфлями раньше, в другом месте, на что ему и указали.

– Да я бы почувствовал, – возразил он.

Тут, наконец, вступил Толик. Глядя в стол, словно сам опасаясь испепеляющей силы своего взгляда, он медленно и жестко проговорил:

– Брат, ты только что обидел скорбящих. Поэтому ты должен сейчас извиниться и уйти отсюда.

В комнате установилась нехорошая тишина; не звякнула ни одна вилка, не скрипнул ни один стул.

– А я чего... – отозвался трубач, виновато улыбаясь, – пусть вернут туфли, я уйду. Жена спросит, что я ей скажу?..

Толик выслушал его, круто играя желваками, и еще суровей, чем прежде, произнес:

– Я тебе сказал: ты должен извиниться и отвалить. Ты меня понял или нет?

– Ну, что ж это, я сейчас уйду, а потом где я их буду...

Договорить музыкант не успел. «Падаль ты!..» – негромко, дрогнув голосом, воскликнул потерявший терпение Толик и вдруг прямо-таки с бесовской ловкостью вспрыгнул на стол и, шагнув по нему, кинулся к музыканту. Следом за ним туда же ринулась жена Виктора и отчаянно замесила кулаками. Раздался, будто его включили, женский визг. На помощь трубачу пришли двое его коллег, на подмогу Толику и Любе – брат ефрейтор. Оказавшиеся в непосредственной близости гости пытались разнимать. С грохотом сдвигались столы, падали стулья, сыпалась на пол посуда. Илья видел, как Жижин вскочил со своего места и, попятившись, уступая место дерущимся, встал, прижимаясь к стене, справа от входа; был он без портфеля, о котором в эту минуту верно забыл. Илья понял, что нельзя терять ни секунды. Добравшись до дерущихся, слившихся в многоногое, многорукое, злобно орущее существо, он опустился на корточки и, высматривая портфель, натолкнулся на забившегося под стол, крупно дрожащего от страха Андрюху. В это мгновение стол от движения смежных (?) сдвинулся и мальчик залез еще глубже, под его крышу. Илья подобрался к нему на четвереньках, схватил за руку и потащил за собой. Драка перемещалась за ними по пятам.

– Идем, Андрей, идем отсюда!..

Они вылезли с другой стороны и Илья затянул мальчика в комнату Виктора и запер дверь. Мальчик продолжал по-собачьи дрожать и по щекам его, одна за другой, сбегали слезы, такие крупные, каких Илья, кажется, никогда не видел.

– Хочу к Вите, – попросил он.

Илья усадил его на кровать, сел рядом, взял за руку.

– Успокойся, Андрей, не плачь... – уговаривал его Илья, крепко обняв за плечи, даже не обращая внимания на дурной кисловатый запах, исходящий от мальчика.

– Виктора сейчас нет. Не плачь. Я с тобой. Хочешь, я тебя заберу отсюда? А?.. Не сейчас, не сегодня, потом. Будешь жить у меня, да?

Он сам не знал, зачем все это говорит, ему просто очень хотелось успокоить Андрюху. Мальчик крепко держал Илью за руку и, когда тот потянул ее к себе, не выпустил и ухватился еще

крепче. Посидев несколько минут, Илья нащупал в кармане компас, вытянул его и положил в руку Андрюхе, как бы в обмен на свою ладонь.

– Вот это тебе. Мне его дал Витя, сказал, чтобы я передал тебе. Смотри, видишь, вот стрелка, она всегда этим концом показывает на север, а этим на юг... Ты посиди здесь пока, хорошо? А мне надо выйти... Сиди, сиди... или лучше ляг. Вот так... Я еще вернусь...

Когда Илья вышел, драка уже закончилась. По разоренной и как будто ярче освещенной комнате, зажав у груди ручки в кулак и качая головой, ходила старушка-плакальщица, а у порога стоял бледный растерянный Алхимов.

– Что здесь случилось? – спросил он.

– Где он? – не обращая внимания на его вопрос, спросил Илья. – Где Жижин?

Алхимов пожал плечами. Тимницын бросился во двор, откуда доносился шум голосов. Гости и соседи обсуждали происшедшее, толпясь у входа в подворотню, под горящей лампой, вокруг которой, словно разделяя общее возбуждение, густо роились ночные насекомые. Приложив к затылку кухонное полотенце, по двору взад-вперед вышагивал Толик. Время от времени он подходил к остальным и, грозя низко опущенным пальцем, обещал всяческие несчастья виновнику скандала и его дружкам, после чего, запрокинув голову и мучительно натянув губы, отходил вглубь двора или в подворотню. По нескольким репликам можно было догадаться, что музыканты бежали. Жижина во дворе не было. Да Тимницын и не ожидал его здесь увидеть, а выбежал так, по запарке. Вернувшись в комнату, он надел плащ и отыскал свою сумку.

Алхимов, видимо, совершенно разбитый и обессиленный дурным самочувствием, сидел на стуле посреди комнаты.

– Вы уходите? – спросил он.

– Да, – ответил Тимницын. – Я хочу забрать у Жижина письмо.

– Думаете, он вам его отдаст?

– Отдаст. Я знаю, как его заставить.

Тимницын взял с одного стола стакан, с другого уцелевшую бутылку водки, налил и выпил.

– Отдаст, – повторил он.

Вдруг он увидел, что дверь в комнату Виктора чуть-чуть приоткрыта, и в щелку за ним одним глазом наблюдает Андрюха. Тимницыну это показалось очень неприятным.

– Мне тоже надо идти, – вяло произнес Алхимов.

– Вам лучше еще посидеть, отдохнуть, – посоветовал Тимницын. – Дайте мне ваши ключи.

– Зачем они вам?

– На всякий случай.

Алхимов, порывшись в мешке, достал и протянул связку. Тимницын бросил ее в карман плаща, выпил еще водки и, обходя поваленные стулья и битую посуду, двинулся к выходу.

– А что здесь все-таки было? – спросил Алхимов.

– Здесь был «тегеран». А для кого-то, может быть, и «тегеран-тегеран», – с некоторым раздражением ответил Тимницын и вышел.

IX. Последний бросок в Яму

Позже, вспоминая в подробностях день похорон Виктора Навроцкого, Илья часто думал о том, что Алхимов был, пожалуй, и прав, когда настоятельно советовал не произносить слово «тегеран», и, может быть, пренебрежением к этому совету Тимницын и накликал на себя воспоследовавшие события того вечера. Впрочем, он все же больше склонен был усматривать в этом отчаянном нагромождении происшествий, встреч и совпадений некий итог сгущения, кульминацию, к которой он, сознательно или нет, стремился с первого дня своей топографической деятельности. А виной тому стала его всегдашняя, знакомая еще по депрессиям, тяга достичь какого-то последнего дна. И не она ли, эта тяга, переложенная на метатопографию и обернувшаяся влечением

к «тегерану», его в «тегеран» привела?.. Не раз касаясь в беседах с Алхимовым этого важного для себя предмета, Тимницын все-таки не до конца был уверен в своей совершенной искренности, иногда полагая, что его больше увлекает красноречие, жажда жеста, но, может быть, тут он как раз и был искренен? И тогда какая разница, произносил он «тегеран» или нет, если с самого начала он выбрал его пунктом назначения? Как знать... Словом, во всем, что произошло (да и «тегеран» ли это был, если уж подходить строго?), ощущалась какая-то неизбежность, рок, и закончиться по-другому наверное не могло.

...Выскочив из подвала, Тимницын отправился прямехонько на спуск Мелиораторов и добрался туда, на двух трамваях, довольно быстро. Там он долго не задержался: собрав и надев автомат на плечо под плащ, сунув полный рожок во внутренний карман, он вернулся на трамвайную остановку; свою сумку оставил в мастерской. Калашников во время поездки вел себя скверно, так и елозил под плащом, и Илья пожалел, что не затянул ремень покороче. Переезды Тимницына в тот вечер, с Дегтяревки на спуск Мелиораторов и со спуска в Яму, происходили с небывалой легкостью и быстротой: стоило только подойти к остановке, как тут же подкатывал нужный трамвай, и он как будто еще больше пьянел от этих беспрепятственных перемещений. В Яме, едва сойдя со ступенек трамвая, он как-то сразу и без усилий оказался у порога жижинской квартиры, как будто подъехал к нему на движущейся ленте, и надавил кнопку звонка. Защелкал замок, и дверь приотворилась на длину натянутой цепочки.

– А, это вы... – протянул Жижин, но снимать цепочку не торопился. – Что-то случилось?

– Мне очень надо с вами поговорить, – сказал Илья.

– Очень?

– Да, очень.

– Ну, если очень...

Жижин впустил Илью в неосвещенный коридорчик, запер дверь и пошел в комнату.

– Пришли узнать, не я ли стянул туфли у музыканта? Или, может быть, по долгу службы? Я слышал, что и вы подались в эти мистические физкультурники. Как там, кстати, поминки, возобновились?..

Жижин, зябко потирая пальцы, дошел до середины комнаты и развернулся; Тимницын стоял у порога, закрывая собой выход. Жижин оглядел его с некоторым недоумением.

– У вас, кажется, плащ не на те пуговицы застегнут, – сказал он, и, близоруко приглядываясь, добавил: – Я и не заметил, что вы так пьяны, а то бы не впустил.

– Я пришел за письмом Навроцкого, которое вам дала его жена, – медленно, раздельно произнес Илья и дернул нагруженным плечом.

Жижин поднял брови.

– Какое еще письмо? Что это вы несете?

– Письмо, которое вам дала жена Виктора, – повторил Илья.

– И вы вот с этим бежали сюда аж с Дегтяревки? – брезгливо усмехаясь, промолвил Жижин. – Я вас поздравляю. Я вам, кажется, и раньше уже говорил, что опасаюсь, серьезно опасаюсь за ваше душевное здоровье...

– Хватит болтать! Там, у Виктора в комнате вы получили письмо, и я хочу, чтобы вы его отдали мне! А еще вы мне вернете заявление в жэк.

– Знаете что, молодой человек, идите-ка вы отсюда вон. Но, чтобы вас немного успокоить, так и быть, скажу: там, в той комнате, я дал вдове десять рублей, как это обычно принято, в связи, так сказать, с потерей кормильца, хотя, впрочем, этот кормилец, насколько мне известно, никогда и никого не накормил...

– Покажите! – вдруг потребовал Тимницын.

– Что показать?! – изумленно спросил Жижин и у него вырвался коротенький смешок. – Десять рублей? Так я же их отдал. Могу показать другие.

Нелепость в том и состояла, что требование разгоряченного Тимницына относилось как раз к десяти рублям.

– Покажите письмо, я говорю! – почти выкрикнул он. – Покажите его! Отдайте его мне!..

– Да что же это за письмо такое ценное? – откровенно наслаждаясь нервозностью гостя, язвительно спросил Жижин. – Завещание на предъявителя, что ли? Рассказали бы толком, а то уйдете, а я всю ночь мучайся в догадках. Я вам со всей ответственностью говорю: эта неумеренная беготня вас до добра не доведет. Я еще хорошо помню Решетилова...

– Ладно, – сказал Тимницын и стал расстегиваться. – Все. Пошутили и хватит.

Он освободил от плаща правую руку и снял автомат.

Лицо Жижина опять приняло брезгливое выражение, но уже несколько натужное.

– Вот уж воистину, как сказано поэтом: «Играть на гуслях столько лет, и не узнать при свете струны!» Слышал, слышал о вашей боеготовности... Знаете, Даль в своем словаре предлагает вместо нерусского «автомат» использовать наше родное – «живуля». Живуля Калашникова – недурно звучит, правда?.. Вы вот что, спрячьте-ка свою живулю и идите отсюда подобру-поздорову. У меня сейчас нет сил участвовать во всей этой вашей пьяной комедии, с меня достаточно поминальной битвы...

Тимницын, пошатываясь, переступая, изображая на лице нарочито притворное внимание и размашисто, невпопад кивая на слова хозяина, тем временем достал из кармана рожок и с третьей попытки пристегнул к автомату. Затем приподняв автомат, повернул его вороненым боком к Жижину.

– Вот, смотрите: снимаю с предохранителя, – Тимницын мягким щелчком перевел рычажок предохранителя в нижнее положение, – загоняю патрон в патронник, – он с силой рванул затвор, – рожок, кстати, полный. Если не верите, то – вот, – передернул затвор еще раз, и на пол, к ногам Жижина вылетел патрон. – А теперь кладу указательный палец на спусковой крючок... и целюсь.

И Тимницын навел автомат на Жижина.

– Послушайте, – сказал тот, – вас в армии не учили, что направлять на человека нельзя даже незаряженное оружие?

– Учили, – ответил Тимницын и опять качнулся.

Жижина, кажется, проняло.

– Хорошо. Что вы хотите? Только уберите автомат...

– Во-первых, вы мне отдадите заявление начальнику жэка.

– Я же вам сказал, что отнес его в жэк! Почему вы мне не верите?!..

– Потому.

– Я вам клянусь. Можете обыскать комнату...

– В таком случае вы его сейчас напишете.

– Но зачем?! Если хотите, я признаю, что оно не имеет никакой силы. Да и не имело никогда!..

– Так я хочу, – сказал Тимницын. – Идите и пишите!

– Фантастика! Просто фантастика! – воскликнул Жижин.

– Не обсуждать! – прикрикнул на него Тимницын. – Вперед!

Жижин постоял, развел руками и пошел на другую половину комнаты; там он сел за стол, достал лист бумаги и ручку. Тимницын отконвоировал его, волоча за собой хвост сползшего на левый локоть плаща, и встал сбоку.

– Я не уверен, помню ли имя-отчество начальника, – сказал Жижин.

– Пишите, как помните.

Жижин обернулся и попросил:

– Вы бы все-таки убрали автомат, я ведь согласился...

Тимницын снял со спускового крючка палец, скованно им поводил из стороны в сторону и опять положил на крючок.

Через минуту Жижин отложил ручку.

– Вот, все. Кажется, так... Не хватает только вашей подписи.

Тимницын толкнул его стволом в плечо.

– А теперь письмо Виктора. Быстренько!

– Но я же вам русским языком сказал... – взмолился Жижин, поднимаясь.

Уступая ему дорогу, делая шаг назад, Тимницын наступил на свисавший с локтя плащ и грузно, всей спиной и затылком, рухнул на пол; дернувшийся в руках Калашников выдал в потолок короткую оглушительную очередь. На несколько секунд Тимницына как будто парализовало, и только когда оторопь сошла, он резко поднялся и, сидя на полу, ошалело уставился перед собой – так вскакивают в постели, очнувшись от кошмарного сна. Еще некоторое время ему понадобилось, чтобы восстановить краткую хронику падения, а потом он обнаружил, что Жижина за столом нет. Тимницын вскочил на ноги; Жижина не было и на другой половине; стряхивая на ходу плащ, бросился в коридорчик; входная дверь, которую он ожидал увидеть там открытой, оказалась запертой, более того, она была закрыта на цепочку, а значит, Жижин находился где-то в квартире. А именно в своей потайной фотолаборатории. Тимницыну это показалось даже трогательным. Но каково же было его удивление, когда, включив свет, он увидел, что лаборатория пуста; единственное место, где Жижин мог бы в ней спрятаться, было под столом. Тимницын выскочил назад, в коридорчик, заглянул в темные углы, за газовую плиту, распахнул дверь туалета, в котором едва умещался унитаз, потом вернулся в комнату, обошел ее...

– Петр Андреевич! – закричал он. – Вы ведь здесь! Я знаю! Выходите по-хорошему, а то я сожгу к чертовой матери все вашу квартиру! Вам Яков не рассказывал, как я умею добиваться своего?..

Ответа не последовало.

Тимницын яростно заметался из комнаты в лабораторию и обратно, по дороге бросая взгляды на дверь, где все также невозмутимо висела цепочка, всякий раз втайне надеясь увидеть ее скинутой. Впору было предположить, что после прозвучавшего выстрела он не очнулся, а наоборот, оказался в дурном сне. Квартира была наглухо закрыта, но Жижина в ней не было, несмотря на то, что и деться ему было решительно некуда.

Свои сомнительные услуги зашедшему в тупик рассудку предлагало разгулявшееся воображение. Сначала у Ильи возникло подозрение, что Жижин с невероятным проворством бесшумно следует за ним повсюду, куда бы он ни направился, угадывая любое его намерение, и он некоторое время, бегая по квартире, ежесекундно, по-собачьи переполошенно озирался. Потом ему представилось, будто Жижин никуда и не думал прятаться, а спокойненько сидит себе или стоит где-нибудь на самом видном месте, да еще и издевательски усмехается, оставаясь при этом недоступным взору, подобно тому, как становится невидимой лежащая перед глазами вещь, на поиски которой можно угробить полдня, и только изрядно намучившись, истощив все запасы терпения, вдруг случайно находишь ее там, где и искал. Илья с придирчивой скрупулезностью, не сходя с выбранной точки, осмотрел по порядку комнату, коридорчик и лабораторию, шепча название каждого предмета и бросая стыдливые взгляды на потолок. Жижин не обнаруживался.

Уже Тимницыну начало казаться, что здесь, в этих двух комнатах и коридорчике ему суждено сойти с ума, потому что согласиться с тем, что Жижина в них нет, он никогда не сможет, но и найти его он не в силах, как вдруг при очередном посещении лаборатории он обратил внимание на серое вытертое покрывало на стене, за бамбуковой этажеркой, плотно набитой всякими фотопринадлежностями и еще какой-то мелочью. Тимницын провел ладонью по покрывалу поверх этажерки: явственно прощупывался филенчатый рельеф двери. Значит, есть еще одна комната, еще потаенней, чем эта. Оттащив этажерку в сторону, просыпав при этом половину вещей с нее, Тимницын ухватил обеими руками покрывало и рывком содрал со стены. Дверь, открывавшаяся наружу, оказалась запертой; вся она была в паутине и жирной коричневой пыли на выступах, без ручки, с разбитым деревянным клинышком в замочной скважине. Тимницына это нисколько не смутило. На шальной вопрос, мог ли Жижин уйти через эту дверь, предварительно вернув на место этажерку, да так, что с нее не упала ни одна вещица, да еще за столь малое время, он твердо и без раздумий ответил: мог, при его общеизвестном и изощренном коварстве – мог.

Тимницын прикинул и решил, что тремя-четырьмя ударами он эту преграду одолеет. Он отступил на несколько шагов и, примериваясь, повернулся к ней плечом. Поставил автомат на

предохранитель и крепко сжал в руках. Еще раз примерившись, выставив по-боксерски левое-правое-левое плечо, разбежался и плотно всадил себя в дверь, которая, как будто только этого и ожидая, вылетела из прогнившей насквозь, в труху, коробки и, грянувшись плашмя, вынесла его в какую-то комнату. Вскрикнула женщина, мимо промелькнули босые ноги, а еще две ноги, мужские, обильно волосатые, прямо напротив тимницынского лица, медленно поползли вверх, на кровать, затягивая края простыни и одеяла; тут же, у лица, валялись две пары туфель, мужские и женские. Тимницын вскочил, огляделся. Какая-то девица, присев за спинкой кровати, не сводя с него испуганных глаз, отчаянно дергая голыми плечами, пыталась надеть халат, а на самой кровати, придерживая рукой сбитые в ком простыню и одеяло на чреслах, сидел его школьный мучитель Голованов.

– Тимницын... – тихо произнес он, уставившись на пришельца, то и дело соскальзывая взглядом на автомат, и каждый раз, хлопнув глазами, опять поднимая его на Илью.

Так они с минуту смотрели друг на друга: Голованов, хлопая глазами и приоткрыв рот, а Тимницын с угрюмой недоверчивостью. Наконец Илья оторвался от однокашника и обвел взглядом комнату. Дверь, на которой он сюда прибыл и до сих пор стоял, покоилась на изнанке сорванного ею со стены ковра, рядом лежал опрокинутый навзничь, заваленный вещами стул, а за спиной, как ни в чем не бывало, продолжал гореть упавший на стенку буфета торшер под розовым абажуром.

– Жижин тут не появлялся? – обратился Илья к Голованову.

– А? Кто? – пылко переспросил тот.

– Жижин. Петр Андреевич.

– Сосед наш? Переплетчик? Не, не появлялся!..

Илья покивал.

– Ты что, живешь здесь, что ли? – поинтересовался он.

– Да, у Тани! Вот у нее!

– И давно?

– Девять месяцев. Или сколько?.. Сколько я здесь живу, Таня? – Голованов повернулся к девице, энергично протягивая к ней руку, торопя с ответом.

– Девять, – ответила Таня, продолжая сидеть за спинкой, вцепившись в нее пальцами.

– Девять! – сообщил Голованов.

– Не ругаетесь? – зачем-то спросил Илья.

– Таня, скажи ему, мы ругаемся? – горько повеселев, воскликнул Голованов.

Таня молча покачала головой. Голованов повторил то же самое для гостя.

– Я выпью, – сказал Илья, кивая на стол в дальнем углу, на котором стояли бутылка дешевого шипучего вина и пара бокалов.

– Пей-пей! – поддержал Голованов. – За встречу!

Тимницын медленно, с удовольствием, утоляя обнаружившуюся жажду, выпил один за другим два бокала и наполнил третий. Голованов в это время, слово за слово, набирая обороты, завел речь о каких-то встречах со школьными друзьями, выпивках, днях рождения... Пригубив третий бокал, Тимницын вдруг вспомнил, что еще допивая первый, как будто услышал с жижинской половины какой-то тихий стук, но то ли не обратил на него внимания, то ли его заторможенный мозг так долго возился с определением координат. Он поставил недопитый бокал и двинулся в проем.

– Тимницын, ты заходи! – крикнул ему вслед Голованов. – Ты же теперь знаешь, где я живу!..

Илья пересек, окидывая взглядом, комнату-лабораторию и вступил в коридорчик, где ему в глаза тотчас бросилась приоткрытая входная дверь, а на полу между туалетом и газовой плитой лежала откинутая крышка погреба. Сукин сын Жижин обвел таки его вокруг пальца!.. Кровь с шипучим вином ударила Илье в голову. В большой комнате, наспех ее осмотрев, выпотрошив жижинский портфель, в котором только и оказалось, что грязное белье, полотенце, мыльница и две банки рыбных консервов, он надел поверх автомата плащ и выбежал на улицу. Далеко уйти

Жижин за это время не мог, тем более, что Илья догадывался, куда он направился – к Левадийскому. Очень хорошо! Лучше не придумаешь! Там у них, втроем, может состояться занятнейший разговор!..

Тимницын помчался на Безменовку. Когда, миновав Хлебную площадь, он оказался на ул. Героев Стратосферы, в самом ее начале, возле безлюдной в этот час трамвайной остановки, ему вдруг пришло на ум, что не помешало бы проверить по пути на наличие Жижина Пчелку, и он повернул к ее дому. Хорошо освещенная улица тоже была пустынна, лишь далеко впереди чернели два силуэта. В окнах домов ярко полыхал свет, а сами дома дышали, шевелились, двигались, то вплотную подступая к Тимницыну, так, что он задевал их плечом, то отдаляясь. Как скоро выяснилось, два далеких пешехода шли навстречу бегущему трусцой Тимницыну и при приближении повели себя довольно странно, точнее один из них, на которого Тимницын, собственно говоря, обратил внимание только тогда, когда тот метров за двадцать до него вдруг выступил вперед и заметался по всей, тесноватой для Тимницына, ширине тротуара, как будто повторяя пьяные петляния последнего. Гадая в чем тут дело, Илья на бегу недоуменно и протяжно оглянулся, чтобы понять, кого или что пытается высмотреть за его спиной этот чудной встречный, и когда он, никого и ничего не обнаружив, обернулся опять, то уже в самой непосредственной страшной близости увидел надвигающееся на него перекошенное злобой лицо фотографа Васеньки (за плечом на долю секунды мелькнул отец Лиды), который встретил его сильнейшим, как бы заряженным всею энергией разбега, ударом в челюсть. Беспомощно раскинув руки, Тимницын, пятясь, пробежал несколько шагов до торцовой стены дома, упал на нее, осел, повалился на бок, и удары в живот, грудь, лицо посыпались на него с такой частотой, что он не успевал закрываться руками, и очень скоро все вокруг погрузились во тьму, еще некоторое время беспокоившую его редеющими, затихающими толчками. (Воспоминания об этой встрече потом еще долго и неотлучно, подобно примечанию внизу страницы, сопровождало удивление: как, однако, затейливо водила его в тот вечер судьба, чтобы с такой ювелирной точностью подвести под Васенькин кулак!)

...Из забытья его спустя какое-то время вывел гулкий жестяной грохот почтового контейнера где-то поблизости, в который закидывали пачки газет, и громкое, слышанное им раньше не однажды пение:

Как на нашем на болоте громко утки крякают!
Наших девок так ... – только серьги брякают!
Их ... – они кряхтят,
Брызги в стороны летят!

Впрочем, Тимницын позже сомневался, действительно ли он слышал тогда частушки в исполнении водителя Лени, или же они сами по себе возникли в его ушибленной голове, вынырнули на грохот контейнера, сомневался, поскольку частушки вспоминались неизменно в сопровождении резвой развеселой гармошки, женских повизгиваний и дробного стука каблуков по деревянному настилу; а может быть фантазия и быль соединились в одно целое как-то потом?

Помнилось ему, что он поднял голову, встал на четвереньки, и на ладонь извилисто пролилась горячая тягучая струйка крови из разбитой губы. Он хотел было кликнуть Леню, чья машина, вероятно, стояла за углом, но, наверное, очень уж долго собирался, потому что, когда он, наконец, прошептал «Леня» и прислушался, уже не было слышно ни грохота влетающих в контейнер пачек, ни Лениного пения, и только откуда-то издалека доносился слабеющий шум мотора.

Как дошел домой, вот этого он не помнил вовсе, потому что едва он только переступил порог квартиры и потянулся к выключателю, как из темноты ему на затылок обрушился удар такой силы, что смог бы сбить с ног дюжину Тимницыных, и разом вышиб из его памяти весь, должно быть, очень непростой и многотрудный путь от ул. Героев Стратосферы до дома...

Эпилог

Часа за полтора до конца рабочего дня пришел всегда чем-то озабоченный, с дергающимся лицом прораб Прохор Семенович и сообщил, что кухня объявила сегодня ужин на час раньше, а потому пора шабашить. К этому времени шестеро из восьми человек, занятых рытьем траншеи для нового водопровода, уже давно побросали кирки и лопаты и сидели в тени под забором, играли в карты. Продолжали работать Илья Тимницын и новичок из соседней палаты – худой, черный, похожий на ворона армянин лет пятидесяти, не знавший ни слова по-русски.

Первую половину этого чудесного, почти жаркого осеннего дня, Илья провел во дворе отделения с книжкой, и отправился после обеда на траншею только потому, что наметил там себе одно дельце. Однако неожиданное присутствие армянина, которого еще вчера не было, расстроило его планы. Армянин работал истово, без передышек и перекуров, словно дорвавшись, наконец, до любимого дела, и объявление Прохора Семеныча пришлось тут очень кстати. Скрещенными руками Илья показал новичку шабаш, и они вылезли наверх. Усевшись на выброшенный из ямы валун, Илья вытер лоб и закурил. Прохор Семеныч, сотрясаясь лицом от беспрерывных тиков, словно с фотографической точностью фиксируя увиденное, осмотрел траншею и сказал, чтобы собирали инструмент и рукавицы и дожидались его, он зайдет за ними через минут десять-пятнадцать. Все это он проговорил Илье; тот кивнул, прораб ушел.

...В минувший четверг исполнился ровно год с того дня, как Илью Тимницына привезли сюда в областную психиатрическую больницу из следственного изолятора Лидийской тюрьмы и поместили в 8-ое мужское отделение. Илья хорошо запомнил тот день, точь-в-точь такой же ясный, теплый и тихий, как нынешний. Тюремный изолятор показался ему родным уютным гнездышком, как только он переступил порог больницы. Было это как раз в то время, когда все более или менее психически вменяемые обитатели отделения уже разошлись кто на прогулку, кто на работы, а в палатах находились только «хроники». Полулысая хромая старуха провела его в ванную комнату, где заставила раздеться и залезть в ванную с желтоватой, воняющей хлоркой водой; потом обрядив в синий байковый халат (такой грязный, что Илья пожалел, что помылся), провела по коридору через все отделение и определила в палату № 12. Огромная, самая большая в отделении палата была полна людьми, которые лежали, сидели, быстро ходили, вскрикивали, смеялись, распевали, говорили, молчали, и среди которых не было ни одного, с кем Илья мог хотя бы переглянуться. Три высоких зарешеченных окна были наглухо заперты, и в помещении стояла смрадная духота. Илья сгоряча решил, что здесь ему предстоит провести остаток дней, и сам едва не лишился рассудка за те полчаса, что провел на отведенной ему койке. Наконец, собравшись с духом, он прошел к дверям и попросил дежурившего санитара выпустить его в туалет. Санитар выпустил. После туалета Илья в палату не вернулся, остался сидеть в коридоре. Он лихорадочно думал, каким образом ему вызволить свои вещи, чтобы бежать отсюда, потому что находиться здесь он не мог больше ни минуты. Лучше тюрьма, зона, что угодно, но только не это! Так он просидел до того времени, когда с прогулки и работ стали возвращаться другие пациенты. Тогда только он немного пришел в себя.

Уже на следующий день Илью перевели в шестиместную палату с такими же, как и он, нормальными больными, невротиками, и все же первые несколько недель в больнице дались ему очень тяжело. Дней пять-шесть он упорно думал о побеге, потом впал в глубокую, продолжительную депрессию...

Однако с течением времени все как-то понемногу начало образовываться, хандра его в конце концов улеглась, он по-новому осмотрелся вокруг и решил, что здесь не так уж и страшно, как показалось с первого взгляда, а еще позже даже стал находить какие-то достоинства и преимущества в этом искаженном мире; у него постепенно появились знакомые, исчез его суеверный и несколько лицемерный страх перед душевнобольными, и уже месяца через два он даже приобрел какое-то ровное, сосредоточенное, неизвестное ему прежде спокойствие, и проведенная в больнице зима оказалась едва ли не лучшей в его жизни. Свободный от каких бы то ни было забот,

он много, иногда сутками напролет читал (здесь была неплохая библиотека, к тому же по ночам в палатах горел свет), всерьез взялся за немецкий язык. Когда ему надоедали книги, он выходил на работу в швейный цех, где больные под присмотром санитаров шили наволочки и подшивали простыни и пеленки. Раз в три-четыре недели его навещала Лена.

За зиму Тимницын так врос в эту жизнь, как будто никакой другой до нее и не было. Под действием ли успокоительных таблеток и уколов, или же это выходило как-то само собой, но о том, что происходило до больницы и что привело его сюда, он вспоминал редко и всегда с некоторой отстраненностью, так, будто все это случилось не с ним. (От себя добавим: Илье Тимницыну необычайно повезло, что дело его закончилось не тюрьмой, а только больницей. Произошло же это исключительно благодаря войсковому начальству. Оружие, попавшее в руки гражданскому лицу, да еще и стрельба в Яме – из всего этого мог выйти очень громкий скандал, и тогда не одна голова полетела бы с плеч, не говоря уже о погонах. Но историю сумели замять в самом начале, не давая ход делу, и после трех недель заточения в изоляторе, в течение которых его четырежды водили на допрос, где Тимницын неизменно повторял, что солдата никогда не видел, а автомат случайно нашел на чердаке заброшенного дома в Зенитном переулке, его отправили в Дальние Ключи. Такому повороту в немалой степени способствовало и поведение Ильи во время налета на квартиру Жижина. Его требование под дулом автомата отдать ему заявление начальнику жэка сыграло тут свою благоприятную роль. Как и открывшаяся сразу же после ареста принадлежность его к секте лидийских метатопографов. Некоторое время в больнице лежал прапорщик из той части, откуда сбежал солдат, от которого Илья узнал, что вскоре после его ареста беглец был задержан где-то под Архангельском, и Илья от всей души надеялся, что и для солдата эта история обернется не так круто, как могла бы.)

Зима пролетела быстро, и с приходом весны и наступлением тепла прошлая жизнь Тимницына все чаще стала напоминать о себе, словно всю зиму она стояла где-то скованная льдом, а теперь вот оттаяла.

Первой ласточкой стал Сумароков, появившийся в отделении в середине марта. Он встретил Тимницына как ни в чем ни бывало, с возбужденно-бесшабашной веселостью (ставшей, кажется, обычной для него) и сразу же поведал, что гонения, которых так долго ждали лидийские брахваниты, наконец начались и даже уже закончились их полным разгромом. Из витиеватого, приправленного горькой иронией рассказа Тиницын узнал, что Чмонов с компанией заподозрили Сумарокова в сотрудничестве с гонителями (что сам рассказчик прокомментировал презрительно-веселым воклицанием: «Меня!..»). В дальнейшем Тимницын пытался, насколько это было возможно в данных условиях, избегать общения с бывшим сокурсником, но тот его стараний или не замечал, или ему было на них наплевать. Крепко саданув кулаком по оконному небьющемуся стеклу, Сумароков на все отделение кричал: «Смотри, Илья! Они нас заперли!» – и запрокинув голову, хохотал, как плененный французами Пьер Безухов. Тимницына с головы до пят заливала краска, и он торопился стушеваться, хотя где-где, а здесь-то уж стыдиться было некого. Он почувствовал большое облегчение, когда спустя дней десять после своего появления Сумароков внезапно исчез, и, боясь сглазить, даже не попытался узнать: выпустили того, куда-то перевели, или же он попросту сбежал.

В мае Тимницына навестили Плуг с Никитой, и он полдня просидел с ними на лавочке во дворе отделения. Плуг время от времени, прячась за спиной Ильи, прикладывался к бутылке с портвейном и был в восторге от «встречи с природой»; скинув сандалии, он пальцами босых ног то и дело пощипывал молодую траву под скамейкой, и с лица его не сходила блаженная улыбка. Каждому проходившему мимо врачу или санитару он чуть ли не в пояс кланялся, то ли потому что действительно всех их помнил, то ли просто от счастливого расположения духа и избытка чувств. Никита среди прочего сообщил Илье, что сразу же после известных событий переплетную деятельность Жижина пресекли и теперь он работает преподавателем русского языка и литературы в ремесленном училище, где директором приятель Левадийского, альбинос. У самого Левадийского дела в последнее время резко пошли в гору, и от покупателей нет отбоя. Никита у

него теперь вроде штатного грузчика, так что кое-что перепадает и им с Плугом. В остальном все без изменений.

Самая же неожиданная и странная встреча произошла уже летом, в июле. В больнице появился Сеня-старшина. В первый раз Илья заметил его, когда как-то в воскресенье, после завтрака, лежал и загорал с книжкой в садике 8-го отделения. Сеня его тоже видел; он проходил мимо в группе из нескольких человек, и наблюдавшему за ним Тимницыну показалось, что Сеня коротко и нерешительно ему кивнул. Некоторое время спустя они встретились в швейном цехе. К Илье Сеня не подошел, а, поймав его взгляд, поманил ладонью и скрылся в темном коридоре. Когда Илья вышел за ним, Сеня кивнул в сторону лестницы и сказал:

– Пошли. Выпить хочешь?

Илья не хотел, но пошел. Вслед за Сеней он поднялся на второй этаж.

– Виктора вспоминаешь? – почти из конца пустынного коридора спросил Сеня, произнося имя Навроцкого на французский манер.

Он завел Илью в комнату, в которой вся мебель была сдвинута в центр и накрыта прозрачной клеенкой, ею же был застелен пол. Сеня запер за Тимницыным дверь, достал из шкафа под клеенкой бутылку со спиртом и три стакана; один вручил Илье, другой взял себе, в третий налил воды из крана. За приготовлениями Сеня рассказал, что здесь, в Дальних Ключах, подрядился со своим тестем еще весной на строительные работы, а потом решил заодно немного подлечиться. В комнате был только один стул, и они уселись на пол в углу рядом с окном. Сеня вырвал зубами пробку и разлил по четверти стакана, стукнул своим о стакан Тимницына. Летучая жидкость враз вымочила губы, протекла на подбородок. Последний раз Илья пил на похоронах Навроцкого и теперь с непривычки уже после второй порции отчаянно захмелел. Что было дальше, он помнил плохо, почти не помнил. Проснулся в темноте на скользкой шуршащей клеенке и никак не мог понять, где находится. Где-то в комнате тоненько и дробно стучала о раковину вода, что его чрезвычайно обрадовало, поскольку страшно хотелось пить. Напившись из-под крана, он тотчас опять опьянел, но зато сразу вспомнил, где он и как сюда попал. Потом долго искал выход из здания. Длинный корпус больницы встретил его ярко горящими огнями, и он так по-детски им обрадовался, будто полночи проплутал в дремучем лесу.

Несмотря на то, что он в стельку напился, а рассказ Сени был крайне запутан и полон ответвлений, память цепко ухватила то, что его интересовало. Сеня рассказал Тимницыну, что произошло в тот вечер, когда погиб Виктор. Все оказалось очень просто. Весь вечер Виктор так и эдак задирался с Сеней («как с цепи, сука, сорвался!»). Оба были сильно пьяны. Поругались. Но терпение Сени лопнуло, когда Виктор, вытащив нож, схватил его за шею и порезал ему скулу. «В жизни еще ни один человек просто так не притрагивался к моему лицу! – возмущался Сеня. – Я однажды за это родного отца чуть не убил, а тут этот паскудник!.. Если тебе приспичило руки на себя наложить, возьми веревку, мыло и – вперед! Чего ты, падла, других-то впутываешь?! Я не прав?..» Сеня выхватил у Виктора нож и всадил его ему в бедро. Вообще-то он хотел в ягодицу, но промахнулся. Когда сразу и обильно пошла кровь, Сеня даже попытался ее остановить, дело, в общем-то, было плевое, достаточно было бы хорошенько перетянуть и пойти в ближайший медпункт или домой, но Виктор принялся его, матерясь, отталкивать и ударил в живот, несильно, правда. Сеня готов был вот-вот пырнуть его еще раз, но удержался и только пнул ногой. Виктор упал, потом поднялся и пошел прочь. Сеня решил, что он как-нибудь сам разберется со своим ранением, и отправился домой спать. Обо всем узнал только наутро.

Судя по тому, как Сеня яростно, на чем свет стоит, проклинал Виктора, как был до сих пор зол на него, он, кажется, не ощущал ни малейшего раскаяния и еще был уверен, что Виктор перед ним целиком виноват. Странное дело, недоумевал потом Тимницын: Сеня за то, что произошло, готов убить Виктора, что он, собственно говоря, и сделал, и наверняка у него не возникло бы такого желания, останься Виктор в живых. И у Тимницына, когда он об этом задумывался, начинала как будто кружиться голова, потому что это и в самом деле походило на замкнутый круг. И как знать, может быть точно так же шла кругом голова и у Сени, и этим объяснялось его появление в больнице? Тимницын потом видел Сеню еще не один раз, но больше они не сходились.

А недели две назад Тимницына посетил Алхимов. Он пришел ближе к вечеру, и они сидели на той же скамейке во дворе, на которой Илья сидел с Плугом и Никитой в мае. За этот год Алхимов еще больше осунулся, даже как будто усох, и, глядя на него, Тимницын думал, что, может быть, вот так и исчезают топографы: худеют, бледнеют, тают, пока не растворяются совсем в окружающем пространстве... Алхимов пробыл недолго. Он сообщил, что метатопографы, как и брахваниты, подверглись жестким преследованиям, но не мог сказать, вызвано ли это было происшествием с Тимницыным или же такова общая тенденция. На вокзале больше не собираются, для встреч выбрали пока небольшой парк на Голодаевке. Из других метатопографических известий: вот уже полгода никто не видел Зета. Поговаривают, что он сидит в каком-то загородном приемнике для бродяг или даже в тюрьме, толком же никто ничего не знает. Тимницын рассказал о своем больничном житье-бытье; сообщил, что месяца через три-четыре, как ему намекнул о том заведующий отделением, его, возможно, отсюда выпустят. Упомянул и о недавнем открытии. В 12-ой палате, в той самой, где Илья провел первые сутки по прибытии в Дальние Ключи, уже лет двадцать, а то и больше, обитает один совершенно невменяемый больной: не буйный, но агрессивный, так что санитарам время от времени приходится усмирять его сульфазином; говорить он не умеет или не хочет и только улыбается, мычит, рычит и в минуты возбуждения выкрикивает что-то нечленораздельное; неряшлив до безобразия. Возраст его определить трудно, но не меньше пятидесяти; при этом он еще довольно крепок и при почти двухметровом росте производит очень внушительное, даже пугающее впечатление. Илья обратил на него внимание в первый же день, позже из окрика санитара узнал, что зовут его Арсений, но только весной его вдруг осенило: уж не тот ли это самый Арсений Птицелов, о котором рассказывал Жижин? Илья не поленился и узнал его фамилию: Силков. Арсений Силков. Это имя Алхимову ничего не говорило. Об Арсении Птицелове он никогда раньше не слышал.

Наступил час ужина, и Тимницын из кухни, в которой у него появились знакомые, принес на скамейку две миски со сладкой рисовой кашей и чай в алюминиевых кружках.

Так уж сложился разговор, что ни разу за все время встречи не прозвучало имя Навроцкого. Тимницына это вполне устраивало. Однако, когда Алхимов, отужинав, собрался уходить, он забеспокоился: кто знает, когда еще ему с Алхимовым доведется свидеться? И доведется ли? И если Алхимов исчезнет подобно Зету или Решетилову, он так никогда и не узнает то, что знать имел полное право, и тогда в будущем, может быть, не раз пожалеет об упущенной возможности... И Тимницын заставил себя произнести:

– Может быть, помните, в тот день, на похоронах вы обещали мне рассказать о письме Навроцкого?.. Но если вам сейчас...

– Я его принес, – сказал Алхимов.

Это было так неожиданно, что Тимницын вздрогнул.

Алхимов развязал вещмешок, достал из него бумажный пакет и протянул Илье.

– Но откуда?

Оказалось, что письмо лежало у матери Виктора. На годовщину смерти Алхимов зашел к ней, и она позволила просмотреть оставшиеся от Виктора вещи и взять себе то, что ему захочется. Алхимов взял только письмо. Он сразу же начал сомневаться, стоило ли его брать, даже думал вернуть, но потом все-таки решил принести Илье, может быть он придумает, как с ним поступить, а может быть ему просто будет интересно узнать, из-за чего он попал в такой переплет; в конце концов его всегда можно вернуть на место.

Поскольку тема была открыта, Тимницын рассказал о встрече с Сеней-старшиной. Ему показалось, что Алхимов слушал с напряженным вниманием. Закончил Тимницын своим недоумением по поводу сохранявшегося до сих пор озлобления Сени на Виктора и совершенного отсутствия у старшины какого-либо раскаяния или сожаления о случившемся.

– Это можно понять, – тихо промолвил Алхимов, глядя под ноги. – Возможно, Виктор действительно воспользовался Сеней... И Сеня это почувствовал.

Илья ждал продолжения и разъяснений, но напрасно. Отвернувшись, Алхимов стянул петлей горловину вещмешка и поднялся. Они попрощались.

У Ильи заныло сердце, когда он глядел в спину Алхимову: в его удалении было что-то щемяще-печальное, как будто уходя по аллее с территории больницы, Алхимов уходил и из жизни Тимницына. И обрывая развитие этой грустной метафоры, Тимницын отвернулся и пошел в отделение, не дожидаясь, когда Алхимов совсем исчезнет из виду.

И вот письмо.

Первое впечатление: совершенная растерянность; первая мысль: лучше бы Алхимов его не приносил.

Читая, Тимницын почти телесно, как движение воздуха, ощущал неловкость, только что волосы не шевелились под этим удушливым ветерком. И вот э т о , эту нестерпимо безобразную смесь фанаберии, самолюбования и надрыва Виктор, строка за строкой, сидел и писал?! Сколько: день, два, неделю, месяц? Вот э т о он давал читать Алхимову, а после бережно хранил, отнес к матери, чтобы не дай Бог, не пропало, не потерялось? И вот за э т и м он, Тимницын, с автоматом Калашникова под плащом мчался в тот пьяный вечер в Яму? Кстати: да уж не поработал ли здесь Петр Андреевич, не побывал ли он у матери Навроцкого раньше Алхимова?.. А что если это розыгрыш самого Виктора?..

Такие и подобные им мысли закрутились в голове Тимницына сразу после прочтения письма. Он не смог даже его перечитать, отложил. Взялся перечитывать на следующий день и вновь отложил по той же причине, не осилив и трети. Дважды он его чуть не изорвал: в первый раз в порыве досады, даже какой-то обиды, а во второй, немного позже, думая таким образом оказать Навроцкому посмертную услугу. Такого Виктора Тимницын не знал и, как оказалось, знать не хотел. Падая в глазах Тимницына, Виктор как будто и его увлекал за собой: мертвый хватал живого. Ослабить хватку помогли воспоминания о последнем рейде к Жижину, вернее, некоторая их корректировка: ведь не только же за письмом Виктора отправился он тогда в Яму. Прежде это «не только» смущало, бросая тень на его, пусть глупую, пусть пьяную самоотверженность, а вот теперь неожиданно пригодилось. Да и более того: не было ли письмо только поводом, маскирующим истинную цель рейда – заявление начальнику жэка?.. Такая, попахивающая подтасовкой перестановка, наконец, примирила Илью с письмом Виктора, и неловкость, которую он продолжал испытывать, читая его, теперь уже была несколько иного рода.

Густо пересыпанное матом письмо состояло из пяти частей. Адресовалось оно некоему Гурию, и в первой же части, озаглавленной «Вот ктой-то с горочки спустился...», Навроцкий напоминает адресату, что они в одно и то же время учились в Московском университете. Гурий был старше Виктора и заканчивал факультет психологии, а Навроцкий только поступил на филологический. Несколько раз они встречались у какого-то общего знакомого Святослава. Но с глазу на глаз им побеседовать так и не пришлось. Идея взяться за письмо возникла у Навроцкого, когда однажды в каком-то журнале (название не указано) он случайно наткнулся на статью, подписанную упомянутым Гурием. Виктора вдруг увлекла мысль откровенно поговорить с полузнакомым неглупым человеком, который к тому же, возможно, уже давно забыл своего корреспондента (что только на руку последнему), поговорить без опасения, что монолог может превратиться в диалог. Ни своего имени, ни обратного адреса Виктор указывать не собирался, а кроме того, Гурий запомнился ему человеком холодным, надменно тактичным, то есть таким, который вряд ли станет разыскивать автора, рыться в его жизни, выяснять детали и так далее. В начале письма Навроцкий признается, что его послание, если он его все-таки допишет и бросит в ящик («что еще бабушка надвое сказала»), – слабость и, как всякая слабость, не имеет сколько-нибудь ясных причин, а скорее сама и является причиной. В этой же части Виктор для чего-то сообщает Гурию, что его всегда очень раздражала улыбка последнего, при которой глубоко обнажались десны.

Вторую часть, «Думы о долюшке» Виктор начинает рассказом о своем честолюбии. С самого детства, сколько он себя помнил, Виктор жил с ощущением исключительной отмеченности. Уверенность в том, что ему предстоят великие свершения, не оставляла его ни на минуту. «Моего

честолюбия хватило бы на десяток наполеонов. Да и способностями меня одарила природа под стать моим притязаниям. Оставалось только выбрать поприще». Виктор пишет, что ясно осознавал свои силы и только ждал, когда ход времени подскажет, куда их направить. Очень может быть, допускал Навроцкий, что он их, эти силы, и преувеличивал, и вполне вероятно, что выбери он точку приложения и возьмись за дело, вышел бы один пшик; возможно также, что его вводила в заблуждение та легкость, с какой ему все давалось: от знаний до умения привлекать и увлекать людей, но ощущение огромных, необъятных возможностей было именно таким. Да и какая разница, иллюзией все это было или нет? Главное, что не было иллюзией его честолюбие. И тут же Виктор пишет, что его наполеоновские претензии и необъятные возможности не должны вызывать у адресата ни малейшего сомнения, должны быть приняты за аксиому, в ином случае слушать его дальше не имеет смысла.

Он настолько чувствовал себя отмеченным, вспоминает Виктор, что и самое изощренное унижение не могло ранить и даже задеть его самолюбия (он оговаривается, что такого не испытывал, но твердо был в этом уверен), а если и случалось что-то отдаленно похожее, никогда не мог этим сколько-нибудь проникнуться, будто и не с ним это произошло (для Тимницына было новостью прочитать такое). В этом ощущении, как понял он задним число, уже содержался намек на то, что его честолюбие несколько необычного свойства. Был и еще один странный, настораживающий момент, вызывавший у него, еще тогдашнего, недоумение. Несмотря на владевшее всем его существом неутихавшее желание достичь каких-то несбыточных высот, он в то же время был совершенно безразличен к какому-либо вниманию к себе: такие вещи, как известность, уважение, слава, его почти не интересовали (с этим Тимницын готов был согласиться). Тут было что-то не то. Да и вообще во всем этом томлении было что-то не то.

Уже к шестнадцати годам, пишет Виктор, он стал понимать: то, что он называл честолюбием, не совсем честолюбие, и даже совсем не оно, а нечто другое; что в его мозгу с самого детства происходила какая-то путаница, державшая его в заблуждении относительно истинной цели. И лишь постепенно, толчок за толчком, приходило понимание, что его одержимость на самом деле была вот чем: стремлением к стяжанию исключительной, выходящей за рамки обычного, судьбы. А честолюбие – только лежащее на поверхности средство.

Жажда судьбы, страсть к судьбе... Уяснив себе это, Виктор двинулся дальше. Судьба она и есть судьба, в той или иной степени жребий, рок, участь, вещь скользкая, и кто тут кого выбирает, она тебя или ты ее, еще неизвестно. Вот с этим Виктор примириться не мог. Ему была противна сама мысль о неизбежном вмешательстве в построении судьбы каких бы то ни было внешних и случайных обстоятельств. Делить это занятие он ни с кем и ни с чем не собирался. Отсюда было рукой подать до следующего пункта. Кто должен был и мог судить, насколько судьба, которую он собирался строить, исключительная и выдающаяся. Конечно, только он сам, Виктор. Никакого жюри он здесь не допускал. Известность, слава, власть – это для людей неуверенных, сомневающихся, которым необходимы такого рода подпорки, а Виктор верил только себе. То есть, он должен был сам, в одиночку, творить свою судьбу и сам же решать, насколько она удовлетворяет его чаяниям и требованиям («Я решил завести себе Судьбу»)...

Часть третья – «Вот те, нате – амор фати!»

Что-то такое, вспоминает Виктор, крутилось тогда у него в мозгу, крутилось постоянно, безостановочно до одури, но в руки не давалось. Что это должна быть за судьба, с чего тут следовало начинать и в каком направлении двигаться, он не представлял. С этим ощущением томительной неопределенности и с предчувствием, что вот-вот что-то ему откроется, он, уже по инерции, поступил в университет, будучи уверенным, что долго там не пробудет.

Прозрение пришло к Навроцкому случайно. Однажды в пивной, прислушавшись к разговору двух посетителей за соседним столиком, он услышал, как один другому рассказывал о своем родственнике, который, выступая свидетелем по делу о каком-то тяжком преступлении (кажется, групповое изнасилование), случайно проговорился о своей причастности к нему, тут же был арестован и в дальнейшем осужден на длительный срок. Выслушав историю, собеседник пред-

положил: может быть, родственник рассказчика сделал это нарочно, то есть, попросту говоря, сознался? На что рассказчик горячо возразил: «Да ты что! Ведь двенадцать лет, понимаешь?! Двенад-цать!.. Что ж он, по-твоему, специально загубил себе жизнь?...» Дальше Навроцкий ничего не слышал и из пивной вышел точно оглушенный. Он дождался своего часа, и только что ему открылось его предназначение. Оно было таким: он должен загубить свою жизнь. Он не успел еще ничего толком сообразить – что? как? зачем? – настолько это было неожиданным и непохожим на все то, что он мог представить, но ему уже было ясно: он это исполнит. Постоянно сужавшийся круг поисков превратился в точку. Этой точкой был Навроцкий, который с предельной отчетливостью наконец понял, что ему всегда нужен был только он сам, его жизнь со всеми потрохами, со всеми фантазиями и возможностями, которую он мог бы собственными руками, не делясь ни с кем и ни с чем – сам! – свернуть в бараний рог. Тут все сходилось. Нашлось место и честолюбию: кто тот единственный, кто может составить соперничество наполеону по его же шкале, кто может претендовать на такую полную и безусловную самодостаточность, в которой сам эталон бонапарт становится лишь составной частью? Ответ: наполеон, отказавшийся быть наполеоном. Такое решение, принятое в семнадцать с небольшим лет, ведь чего-то да стоит?

Был ли рад Виктор своему открытию? Куда там. Никогда, ни прежде, ни потом, он не испытывал такого отчаяния, причиной которого была все та же уверенность, что иного пути у него нет, и ему придется по нему пройти. Потому что быть абсолютным полновластным хозяином своей жизни это и значит изничтожать ее. И ничего другого. Только это.

Итак, пишет далее Виктор, жребий был, как говорится, брошен, предстоящая жизнь в общих чертах оплакана, наступала пора действовать, и осталась лишь некоторая свобода в выборе способа изничтожения. И это, по словам Виктора, оказалось не так легко, как могло бы показаться. Какие тут были варианты? На ум почему-то лезла одна уголовщина: ну, инсценировать какое-нибудь ограбление банка или угон самолета, или еще что-то в том же духе, но все это было как-то мелко, вроде как с визгом кидаешься в ледяную воду. И постепенно Виктор пришел к мысли, что для того, чтобы исполнение было на уровне замысла, оно не должно стать одноразовым поступком, влекущим за собой соответствующие, но уже не зависящие от исполнителя последствия. Оно должно быть именно изничтожением – каждодневным, скрупулезным, с сомнениями и желанием бросить все к черту (и главное: с возможностью бросить в любой момент), ежедневной работой, практикой, своего рода монашеским подвигом... К тому же это повседневное усилие, преодоление себя будет свидетельствовать о том, что жизнь Виктора каждой ее минутой принадлежит только ему целиком и полностью. Словом, избранная Навроцким судьба обещала быть нелегкой, но только такая судьба и могла бы удовлетворять его требованиям.

Проходили месяц за месяцем, а Виктор все никак не мог определиться, и время от времени, пишет он, его охватывала настоящая паника, потому что изничтожение жизни вещь, оказывается, капризная. Виктор мог бы приступить к своему делу и в тридцать лет, но вряд ли тогда эту жизнь можно было бы назвать загубленной. Тогда ей подошли бы совсем иные эпитеты: неудавшаяся, несложившаяся и проч. У Виктора от подобных определений шевелились волосы. Одним словом, медлить было нельзя, откладывать было некуда, потому что губить можно лишь то, что имеет цену.

Между тем, возраст Виктора подбирался к двадцати годам – цифре, которую он положил себе критической. Его от всего этого уже мутило. Он не мог больше жить одними фантазиями и в то же время уже давно не жил настоящей текущей жизнью, не чувствовал ее, вернее, как он утверждает, вообще ничего не чувствовал, кроме катастрофически уходящего времени и растущего раздражения. Жить на обещаниях себе, на посулах и фантазиях, пишет Виктор, можно довольно долго, но рано или поздно приходит момент, когда вот здесь, вот у этой стенки, надо решать: или лбом, или восвояси. В день, когда Виктору исполняется двадцать лет (часть IV. «От винта, или Труды и дни»), он уезжает в Лидию, где вскорости встречает Любу Капитан и женится на ней.

Все дальнейшее было известно Тимницыну, как говорится, из первых рук. В пятой, заключительной части, которая так и называлась «Заключение», Виктор возвращается к тому, о чем

писал во второй и третьей, и это повторение сказанного выглядело совсем уж неприлично, складывалось впечатление, будто он задался целью как можно дольше длить ощущение неловкости у читающего, что, в общем-то, было на него похоже.

Тимницын допускал, что манера изложения выбрана Виктором неслучайно, ею он, должно быть, пытался сбить пафос сообщения (что, впрочем, не получилось, и даже производило обратный эффект), но не был уверен совершенно: уж очень все это походило на довольно эксцентричную историю, сочиненную спившимся человеком в оправдание своего падения. Если же сомневался он, Тимницын, то что уж говорить о каком-нибудь постороннем читателе, к которому могло попасть письмо Виктора? Поэтому Тимницын твердо решил исключить такую возможность. То, что письмо попало к нему в руки, казалось ему теперь чем-то вроде указания свыше. Однако и взять на себя ответственность уничтожить письмо он не осмеливался, и что с ним делать, не представлял.

Решение пришло само собой с неожиданной стороны. Зимой Тимницын время от времени возвращался к летней задумке написать биографию Плуга. Видимо, из-за отсутствия под рукой сочинений последнего и каких бы то ни было точных сведений и источников, его замысел начал постепенно выходить за первоначальные рамки. Против воли Тимницына и не собираясь с нею считаться, шаг за шагом завязывалась какая-то совсем другая история, в центре которой, потеснив Плуга, оказался двойник самого Тимницына, потянувший за собой целую вереницу теней Алхимова, Жижина, Лиды, Гарнизонова и прочих. Все это было еще очень сыро, неопределенно, но какие-то разряды уже пробегали по будущему повествованию, с каждым разом все четче обозначая и высвечивая его примерные контуры, те силовые линии, по которым оно могло бы развиваться. И вот письмо Виктора совершенно неожиданно сообщило предварительную завершенность этой размытой затее. Самовольно заняв в ней место, письмо как будто принялось расставлять по местам и все остальное.

Не менее важным Тимницыну представлялось еще вот что. Вслед за Алхимовым он полагал, что Виктор оказался на распутье: с одной стороны, его томило желание заявить о себе, дать знать, с другой – останавливало сознание, что сделанное им по самой своей сути исключает какую-либо огласку. Лучшим подтверждением тому было само письмо, которое Навроцкий так и не отправил Гурию (если тот вообще существовал), но и не решился уничтожить. (Это сочетание сладостного ощущения пребывания в безвестности и жажды отклика почему-то было очень понятно и близко Тимницыну. Что-то тут было похоже и на то, что говорил Алхимов о книге Себастьяна Браво, сожалея о том, что она написана и существует). Тимницын решил не выписывать из письма ни единой строки, ни единого слова для своей будущей повести и был твердо уверен, что, когда понадобится, он воспроизведет дух подлинника в точности и без потерь, хотя, может быть, и совсем в иной форме, и таким образом, не тревожа Виктора, оставив его в тени, донесет известие о нем.

...Докурив, Тимницын отбросил папиросу, взял лопату и полез в траншею. Следивший за ним армянин привстал было с корточек, но Тимницын жестом дал ему понять, чтобы он не беспокоился, и тот послушно опустился.

Закопав обернутое в газету письмо Виктора в сырой суглинок под стенкой траншеи и забросав сверху сухой землей, Тимницын на всякий случай (уверенный, впрочем, что такого случая никогда не будет) отметил ориентиры – черешня за забором справа, голубятня слева – покопал для отвода глаз еще минут десять, и когда выбирался наверх, из-за поворота показался Прохор Семеныч.

Картежники, потягиваясь, зевая, встали и собрали лопаты. Прораб каждому, в том числе и Тимницыну, выдал по пачке папирос – дневной заработок, и они отправились в отделение. На несколько минут остановились у деревянного сарая, где оставили лопаты, и пошли дальше. Прохор Семеныч, прогремев засовом, догнал их, обогнал и пошел впереди.

По обе стороны немощенной пыльной дороги тянулись разной высоты заборы, пышно навьюченные диким виноградом, листья которого только внизу в тени еще оставались кое-где зелеными, а на верхушках сплошь ярко багровели, просвечивая на низком солнце, как стекла вит-

ражей; под заборами ржаво пестрела кашка, а в кустах шиповника краснели огоньки маленьких плодов. Вокруг стояла оцепенелая ясная тишина середины осени. Время от времени раздавался сухой треск упавшего на шиферную крышу и вприпрыжку покатившегося по ней грецкого ореха или быстрый шелест поредевшей листвы, предваряющий плотный стук груши или яблока об землю; там и сям грустно и несмело позванивали последние цикады; а откуда-то из дальнего далека долетал звук, в котором угадывалось то натужное вращенье лебедочного ворота, то скрипучее гоготанье гусиной стаи...

Теперь, по дороге в больницу, Тимницын мучился сомнением: имел ли он право так поступить? Что если он никогда не напишет свою повесть?.. Потом задумался над тем, насколько вообще было оправдано такое его отношение к письму Виктора. Может быть, дело тут было в отсутствии доверия, о котором говорил Алхимов?.. Тимницыну вспомнилась одна длинная, почти на целую страницу, фраза в заключительной части письма; фраза была темная, путаная, отягощенная и замутненная вводными предложениями, может быть, не очень и убедительная, но в ней проглядывало что-то искреннее, настоящее. Смысл, не без труда извлеченный Тимницыным из ее лабиринта, был таков: во всяком человеческом стремлении быть или даже казаться кем-то, всегда замешанном на самом лютом одиночестве, есть какая-то тайная правда и правота, которых нам не дано понять, потому что истинные причины лежат где-то за пределами нашего разумения, но уже сама вероятность таких причин должна служить нам доказательством того, что человек всегда и без всяких скидок есть тот, кем он желал бы быть, не говоря уже о том, что он так или иначе неизбежно платит за это удовольствие. И разве смерть Виктора, подумал Тимницын, не вынесшего взваленной на себя ноши, но и не отказавшегося от нее, не подтвердила его притязаний?..

Застекленная дверь отделения оказалась запертой. Прохор Семеныч постучал, подождал и пошел вокруг.

В черном стекле Тимницын видел отражение своего лица, обросшего русой бородой, и не сразу сообразил, к чему относилась гримаса ожидания, застывшая на нем с той минуты, когда он высматривал по ту сторону дежурную санитарку. Тимницын отвернулся и огляделся.

Заканчивалась вторая неделя бабьего лета, а с нею и само бабье лето. Накануне по прогнозу погоды сообщили, что с северо-востока на Лидию стремительно надвигается мощный циклон с похолоданием и дождями и, похоже, этой благодати оставались считанные часы. Пока же ничто не предвещало приближающегося натиска, и даже усевшиеся курить на ступеньках крыльца рабочие разговаривали вполголоса, невольно стараясь быть в ладу с окружающим хрупким покоем.

Не шелохнувшись, стояли по краям дорожки тонкие высокие стебли, увешанные крупными желтыми цветами – золотые шары; была неподвижна прибитая двухнедельной пылью пестрая листва обступивших корпус отделения деревьев, на фоне которой особенно ярко, отчаянно ярко синело небо без единого облачка. Прошедшей ночью и весь сегодняшний день было так тихо, безветренно, что до сих пор оставались нетронутыми круги пепелищ от сожженных вечером дворником тополиных листьев, разогнать которые можно было взмахом ладони; в середине листья прогорели в сплошное крошево, а по краям лежали серебристо-черные, идеально сохранившие форму.

Доверие. Вызванное мыслями о Викторе и его письме слово не исчезло вместе с ними и теперь как будто растворялось в чувстве, которое оно обозначало. Зная по опыту, что ощущение это – непрочное и своевольное, – так и не достигнув счастливой полноты, скоро пройдет, Тимницын доверился его завораживающему произволу; той же монетой платило ему и пространство, спокойно и на равных принимая его в себя, уверяя, что и он, такой какой есть, здесь не чужой, не лишний, не изъян, и, казалось, рукой было подать до «мадрида»...

Последний, угасающий день бабьего лета дрогнул в черном стекле, в замочной скважине повернулся ключ и дверь отворилась.

Конец

1992, 1998

Михаил ОКУНЬ

* * *

...И вот вознеслись до восторгов, до звёзд, –
Кремлевских, небесных? – «На совесть», «на славу».

...Всё тот же просёлок, раскисший навоз,
Да грузовичок, угодивший в канаву.

* * *

Корабельных сосен колоннада,
Елей снеговые терема...
Этих бы красивостей не надо –
И без них понятно, что зима,
Что, клонясь к последнему итогу,
Птичкой от него не упорхнуть,
Что без них на белую дорогу
Помолчав, придется повернуть.

Из пятидесятых

Во дворе, за сырыми досками,
Есть надёжный вход в никуда.
Там у граждан лица неброские,
И сочится из стен вода.

В темной кухоньке – медные краники,
Краски масляной кожура.
И болезненный мальчик маленький
Пьет цикорный кофе с утра...

* * *

Николаус, календер, децембер...
Новогодняя глоссолалия сына
С ложкой немецкого дёгтя.

Михаил ОКУНЬ родился в 1951 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт. Работал радиоинженером, литературным консультантом в ленинградской писательской организации СП СССР, редактором. Автор шести сборников стихов и двух книг прозы, а также публикаций в журналах, альманахах, антологиях в России, Германии, США, Финляндии. Сборник стихов «Чужеродное тело» (Гельзенкирхен, 2007) вошел в шорт-лист Бунинской премии – 2007. Лауреат премии журнала «Урал» (2007) в номинации «Поэзия». С 2002 года живет в Германии.

Страсбург, Аустерлицкая площадь

Нет, меня не душит жаба,
Не жалею ни о ком.
Привязались два араба
Цвета кофе с молоком.

Не нужны мне ваши джинсы,
Ваши шапки со звездой.
Я хочу, чтоб вы накрылись
Тою самою звездой.

И арабы отвечали,
Изменивши враз лицо:
«Не серчай, большой начальник!
Мы китайцы! Холосо!»

Ленинграду

Как время ни мычит, ни телится
В стране напрасного труда,
Как воздух пополам не делится,
Так я повязан навсегда
Железными слепыми узами
С тобой, с ночами без огня.
Твоя мучительная музыка,
Полупокойник, – для меня!

Млечный путь

Без особых затей
Изливается свет –
Выше всех новостей,
Каждодневных примет.

Не пылит звёздный шлях,
Чутко воздух дрожит.
И под ним в штабелях
Наше время лежит.

Василий ЧЕПЕЛЕВ

* * *

Вы жили в городе цвета замёрзших бутылок с кефиром,
Зелёные крышки, растрескавшееся стекло.
Вы жили в мире войны всего мира с миром,
И поперёк дороги всегда мело.

Заметало, мешало двигаться прямо,
В Сороковой гастроном и в магазин «Молоко».
И лишь у киоска «Мороженое» каждый день стояла глухонемая,
Которой единственной было всегда легко.

И вот однажды, в обыкновенном марте –
По-прежнему падал снег и не таял лёд –
Один серьёзный такой, в белом халате,
Сказал, что ваш старший ребёнок через два дня умрёт.

Доктор стоял в коридоре, прикрывшись рентгеновским снимком,
Листал Историю, поправлял очки, перебирал ключи.
Подоконник, о который вы опирались, был белым и липким.
Из ординаторской ужинать шли врачи.

Так вместе с памятью умирает ваша любовь, и не бывало.
Стираются записи: «кто это здесь стоит?».
Хотя вы стоите рядом и невпопад поправляете одеяло,
И не верите, и ещё ваш ребёнок спит.

Вы спорите долго – останется только один.
Второй на замёрзшем трамвае едет домой.
Выпивает чекушку, потом ещё, идёт в магазин,
А потом совсем не думает головой.

Утром, условно-досрочно, всё происходит.
Телефона нет, но беспокоят соседей.
Второй из вас младшего идёт и в школу отводит,
А потом, всё ещё пьяный, снова в трамвае едет.

Василий ЧЕПЕЛЕВ родился в 1977 году. Окончил Уральскую медицинскую академию, работал детским врачом, затем в фармацевтическом бизнесе, журналистике, рекламе. Живет в Екатеринбурге. Публиковался в журналах «Воздух», «Урал», «Уральская новь», «НЛО», альманахе «Вавилон», антологиях «Девять измерений», «Нестоличная литература» и др.

Автор книги стихотворений «Любовь "Свердловская"» (2008). Шорт-лист премии «Дебют» в номинации «Поэзия» (2000). Организатор екатеринбургского поэтического фестиваля «ЛитератуРРентген».

А дальше похороны, но бесконечно долго.
Младший путается под ногами, молчит и не плачет.
Незнакомая девочка на могилу кладёт плюшевого то ли щенка, то ли волка.
И всё это что-то значит.

Один из вас думает: «Лучше бы ядерная война,
Чем умерла она».
Второй из вас шепчет: «Лучше бы умер другой» –
И по черенку лопаты незаметно стучит рукой.

* * *

жи-ши стесняйся через и
снимай транскрипции и буквы
но ничего не голоси

не отрекаются на звук
выносят на мороз друг друга
гусиной кожей покрывать
смеются долго от испуга
пьют чай и спать

чтобы молчал любой совсем
лишь лифт людей перевозил
и отражался свет от стен
который ты не погасил

* * *

Но закуриваешь как обычно, как всё равно.
Сигареты на спинке дивана найдешь легко.
Как они так всё время курят в своём кино.
Зачем так быстро на губах сворачивается молоко.

Чем прикурить – зажигалка под боком, но под чужим.
Холодная зиппо, теплая кожа, парфюм, бензин.
И в ладоши уже хлопают за окном железные гаражи.
И ёбаный круглосуточный магазин.

И пепельница здесь, как дом – параллелограмм.
А может, как ограждение – параллелепипед.
И две сигареты лежат на диване в этой пепельнице по разным углам.
И дышат.

* * *

Не скажу кому

Слушай новый алфавит –
Ты хотел такие буквы и хотел такие руки,

В пропись черточки чертить,
Не откликнувшись на стуки.
Мимо радио летит.
Надо выпить. Надо пить.

Зуб болит не умолкая –
Ты хотел такие губы и подобную небритость,
И такой солпадеин.
Внуки вспомнят знаменитость.
Здесь учительница злая.
Не ходи сюда один.

Слушай новых эсэмэсок –
Ты хотел такой команды раз два три четыре пять
Одинаковых футболок
Перепереодевать.
Новых глаз и окон блеск.
Поезд едет очень долог.

* * *

Это неинтересно, причем совсем.
Пока варится кофе и хлопья в молоке
Разбухают, думаешь: зачем ты вставал в семь?
Телефон в руке, зубная щетка в другой руке.

«Честер» и «Фолджерс». Запах и тишина.
Кофейный напиток и «Беломор».
Кажется, это важно. Как сутки сна
Или птица, севшая на забор.

За забором дорога, осенняя как в кино.
Пятнадцать минут – дорога пуста как дом,
В котором живёшь и в котором хотел жить давно,
И лужи на ней нетронуты подёрнутые льдом.

Пока едешь, совсем уже рассветёт.
Торопиться некуда, и слышен прекрасный звук:
Шипы разбивают лёд.
И время негромко идёт на одной из рук.

Выйдешь у кладбища, станешь курить опять.
Никого не хоронят так рано, в восемь часов.
Похоронный оркестр потому что не будет ему играть:
Похоронный оркестр не будет еще готов.

Может быть лишь если водитель, негр-толстяк,
Допив капучино, стекающий по усам,
Решит поразмяться и выйдет, закроет свой катафалк,
Тот мальчик на тубе подыграет его шагам.

Оксана ЕФРЕМОВА

Забракованный патриот

В тот день, когда губернатор призвал население проявить патриотизм, меня еще и в помине не было.

Мои будущие родители в то время даже не знали друг друга. Отец лениво торговал всяким барахлом из серии «Всё по десять», а мама водила за нос редакцию одной богатой частной газеты, разыгрывая из себя опытного рекламного журналиста.

Это я к тому, что были они совсем не пара.

Когда и при каких обстоятельствах они познакомились – этого они не рассказывали. Видимо, стеснялись чего-то. Посвященные родственники хихикали и говорили что-то про «чесотку». Но подробностей я не знаю.

В молодости у них были постоянные проблемы с деньгами. Вместо цветов отец дарил маме комплекты прищепок, тройники, бельевые веревки, плоскогубцы и морилки для комаров.

– Какой-то ассортимент у тебя... странный, – бурчала моя будущая мама, разматывая шнур удлинителя и вешая его себе на шею. – Нет что бы заколок на складе взять или там расчески красивые...

– У меня денег нет – товар новый покупать.

До моего рождения у родителей не было особых причин испытывать патриотизм. Отец в ту пору вообще числился гражданином Узбекистана. Милиционеры это чувствовали. А он чувствовал милиционеров, и никогда не носил с собой паспорт.

Иногда его увозили в отделение милиции для «установления личности».

– Ваше имя? – спрашивали они. – С какой целью вы прибыли в город?

Отец делал простоватый вид и наивно, широко улыбался.

– Цирк! Я приехал посмотреть цирк!

И его отпускали...

Любимой историей в нашей семье была история о том, как я внезапно родился в один необычный день. Этой историей гордились все наши родственники – я был чем-то вроде «того самого человека, который выиграл в лотерею». Двоюродные братья и сестры относились ко мне с уважением. Дяди и тети жалели. Состоять со мной в родстве было почетно, хотя, честно говоря, ничего особенного для этого я не делал.

Моя мама любила эту историю больше всех. Человеком она была сентиментальным и – как бы вам сказать – тщательно сохраняла вещественные доказательства своей жизни в огромном семейном альбоме. Он был до отказа набит всевозможными билетами, квитанциями, бирками, бумажками, фотографиями, вырезками из газет – словом, просматривая эти улики прошлого, я с самого детства имел довольно четкое представление о том, что происходило в те времена, о которых я мог знать только понаслышке.

На каждый мой день рождения мама вытаскивала этот альбом.

Она вытаскивала из конверта прядь моих младенческих волос.

Она вытаскивала мой первый памперс.

И будь мне пять, тринадцать, или тридцать, я хотел провалиться сквозь землю. Спасало меня только одно.

Оксана ЕФРЕМОВА родилась в 1981 году в пос. Улькан Иркутской области. Закончила Литературный институт им Горького. Публикации в сборниках «Пластилин» (М.: АСТ, 2001), «Пролог. Молодая литература России» (М.: Вагриус, 2004), журналах «Берега», «Девушка с веслом» и др. Живет в Костроме.

– Мама, – говорил я, – расскажи про губернатора.

И все, даже самые маленькие родственники, переставали хихикать, толкаться и громко шелестеть конфетными бумажками. Мама подмигивала мне и начинала; чем старше я становился, тем больше новых подробностей я узнавал. Так в моей голове постепенно сложилась более-менее стройная версия первых дней моей жизни

...Все началось с того, что родился я в государственный праздник.

Появление мое было внезапным – не только для врачей, но и для мамы, которая ожидала встретиться со мной через пару месяцев. Что касается дорогого отца, то, по рассказам мамы, он вообще не жаждал увидеться со мной, так что желанным в этот день я был только для мамы, да еще, как выяснилось, государства. Именно на последнее обстоятельство мама и рассчитывала, полагая, что это должно смягчить сердца двоих мужчин и как-то примирить их с моим существованием – моего отца, продолжавшего торговать полезными мелочами, и моего деда, торговавшего куда более полезной свининой.

Отец моей мамы был самым старшим из пяти братьев и нес ответственность за всю семью. Это тяжкое бремя наложило на его характер неприятный отпечаток – он стал совершенно невыносимым. Родственники боялись его и почитали – но в меру своих возможностей

Это был коренастый, сильный мужчина с выразительной, крепкой головой и очень смуглой кожей. Он всегда любил приговаривать: «Негры и чуваши – братья наши». Он был малость скуповат, заработанные деньги хранил поистине «дедовским» способом – в гостиной под паркетом. Звали его так, что мало кто мог выговорить – Жадыгер Тлекковылович. Прадедушку Тлекковыла я не застал. Достоверно известно, что он был муллой и все время вязал носки.

А моей бабушке в свое время не повезло с паспортным столом. Не вникая в тонкости транскрипции, девушка записала ее как «Злиха», хотя на самом деле ее звали «Зликх***а***». Но эта проклятая «злиха» так прицелилась к ней, что даже самые близкие звали ее по паспорту.

Носки она не вязала, но человеком тоже была замечательным, очень долго терпела дедушку. Смягчить его нрав могли только миссионеры из Пакистана. Дед в это время вел себя очень благочестиво. Когда они приезжали в нашу деревню, он немедленно выгонял жену к родственникам, размещал миссионеров у себя дома, сам за ними ухаживал, возил по ближайшим поселкам в «КамАЗе», предназначенном для перевозки свинины, и заставлял всех членов семьи каждый день заучивать по одной новой молитве на арабском. Моя мама тогда уже училась в Саратове и потому счастливо избежала этой участи.

Спустя две недели после их отъезда «миссионерский эффект» сходил на нет. Все это замечали, но никто не говорил. Первой не выдерживала бабушка.

– Ты чего пиво пьешь? – сердито говорила она мужу.

– А ты чего платок сняла? – возражал он.

И всё снова шло по-старому.

Ругались они, в основном, из-за моей мамы.

– Что за дочь ты воспитала?! – ворчал дед. – Она замуж думает выходить, нет? Жизнь свою собирается устраивать, нет?

Бабушка скромно молчала, взирая, как он яростно шагает по ковру и под его тяжелыми ногами поскрипывает «секретная» плашка паркета.

– С тех пор, как она родилась, я, можно сказать, вижу мерзкие свиные туши чаще, чем лица родных, а она ради отца даже замуж выйти не может!

Неделями дед колесил по области, скупал свинину «у населения» и увозил ее в город на продажу – это давало неплохие деньги, но дед считал, что деньги эти «грязные» и вечно попрекал ими семью. Я, кстати, никогда не понимал, почему он скупал именно свинину, или почему, раз уж он занимался мясом, ему нельзя было торговать более безвредной бараниной и говядиной.

– Девочка учится, – напоминала Злиха, – на одни пятерки.

Но дедушка Жадыгер был уверен, что она не только учится. Он устраивал ночные телефонные проверки, неожиданно наезжал в город, держал в страхе всех подружек моей несчастной мамы, и все время пытался уличить ее в аморальном поведении.

Неудивительно, что из-за такого отца моя мама выросла довольно-таки скрытной натурой. Настолько скрытной, что даже насчет меня она держала отца в полном неведенье. Обстоятельства жизни этому способствовали. Виделись они редко, к тому же моя мама всегда умело одевалась.

Но в один из последних визитов даже умение одеваться не помогло – отец кое-что заметил, и это неприятно поразило его.

– Слушай, Злиха, ты мать или нет?! Ты живот видела?

– Живот? – недоуменно повторила бабушка, будто в первый раз сталкивалась с этим явлением.

– Ну да, живот. Сауле-то наша с животом приехала!

– Да? Я чего-то не замечала, – она пожимала плечами.

– Нет, я тебе поражаюсь! – возмущался дед. – Куда твои глаза смотрят? У дочери живот как на пятом месяце, а она ничего не видит.

Бабушка задумчиво качала головой.

– Пожалуй, стоит действительно посмотреть еще раз.

– Вот иди и посмотри.

Злиха выходила за дверь, стояла там для приличия минут пять и возвращалась. Разумеется, обо всем она знала давным-давно, просто никак не могла придумать, как рассказать об этом мужу.

– Ну что? Посмотрела?

– Посмотрела.

– И чего?!

– Я думаю, ты прав.

...К моменту моего рождения дед все еще так и не успел оправиться от этой потрясающей новости.

А через два месяца я уже родился, так что потрясения сыпались на его крепкую голову почти без остановок.

Моя мама в тот день сидела дома, на полу и, чувствуя легкое головокружение, а также незначительные муки совести, думала, чем можно оправдать на работе то, что она не взяла вчера интервью у директора колбасного завода.

Глядя на ножки стола, она представляла чудесные колбасы и ароматные связки копченых сарделек, которыми ее мог одарить щедрый директор мясокомбината. И, как это обычно бывало, едва мысли ее заходили о еде, она начинала думать о крепких и красивых зеленых яблоках, которые, по ее идиллическим представлениям, должен был дарить ей Ренат, то есть мой папаша.

Но вчера, вместо того, чтоб есть яблоки, она весь вечер выслеживала бывшую (а улики подсказывали, что и не такую уж и бывшую) подружку моего отца, которая любила одевать его в бесформенные штаны и нежно называть «мой телепузик».

Мама тяжело вздыхала, сердце ее разрывалось от жалости к самой себе. И тут внезапно она вспомнила обо мне и обрадовалась. На работе до сих пор никто не догадывался, что она собирается подарить этому государству еще одного гражданина – может, стоит сейчас открыть карты? Тогда никто ее будет ее ругать за прогул.

Окрыленная этой идеей, моя матушка отправилась в поликлинику за справкой. Но врач почему-то воскликнул: «Какая уж тут справка!» и немедленно вызвал скорую помощь.

Так мы уезжали от старой жизни; мимо проносились знакомые дома и улицы, а встревоженная матушка с беспокойным лицом размышляла о моем отце с его вечными плоскогубцами и прищепками, и о своем отце и его свинине, несколько килограммов которой сейчас пригодились бы, чтобы снискать любовь врачей и акушерок.

Но факт остается фактом – мы с мамой должны были вот-вот увидеться, а у нее не было ни денег, ни мобильного телефона, ни комплекта сменного белья, не говоря уже о зубной щетке.

* * *

Было ли это во сне или наяву, но очнулась моя мама оттого, что кто-то вдруг крикнул над самым ухом: «Вас приветствует фирма «Джонсон и Джонсон»!» – и было это настолько неожиданно, что мама испугалась, и пузырь со льдом, лежащий у нее на животе, мигом слетел и мокро шлепнулся кому-то на ноги.

Она догадалась об этом, потому что кто-то вскрикнул: «Ой!»

Мама открыла один глаз и, скосив его в сторону, посмотрела на пол. Пузырь не порвался, но лед в нем почти растаял. Возле него стояли две пары бархатных белых башмачков, выглядывающих из-под белоснежных оборок. Мама скользнула взглядом выше по оборкам и, добравшись до рукавов, воротничков и юных лиц, тотчас убедилась, что перед ней стоят красивые и слегка смущенные ангелицы. Крылья у них тоже были, причем у одной барышни левое крыло явно перевешивало правое и все время сползало с плеча.

Мама открыла второй глаз. Ангелицы воспользовались этим и немедленно сообщили:

– Добрый день, дорогая!.. Как вас зовут?

– Сауле, – подсказала моя мама, облизнув пересохшие губы.

– Мы принесли вам хорошие новости! – с безграничным оптимизмом сообщили ангелицы.

– Благую весть, – язвительно пояснил кто-то с соседней кровати.

– У вас родился малыш, и фирма «Джонсон и Джонсон» хочет сделать вам удивительный подарок!

– Ну-ну! – фыркнул опять тот самый голос.

Мама моя подумала, что не очень-то любезно все время прерывать тех, кто собирается сделать ей подарок, но у нее не было сил говорить, поэтому она для собственного спокойствия закрыла глаза и спросила:

– Большой подарок?

Ангелицы смущенно переглянулись и, вытащив что-то из прекрасных белых сумочек, сказали:

– Сто двадцать пять миллилитров.

– Чего?

– Детского шампуня с освежающими эффектом.

Матушка открыла глаза и уставилась в потолок.

– Насколько я помню, у моего ребенка нет волос.

– Ну, так они еще вырастут...

– Неизвестно... Может, он пойдет в отца,– хихикнула мама, которая всегда вела себя чересчур легкомысленно.– Но все-таки давайте сюда ваш шампунь.

– Они бы вас еще в аистов вырядили или в капусту – ведь эти ваши Джонсоны, как все мужчины, небось, думают, что дети именно так и появляются на свет, как им преподносят их мамаши – чистеньких да в кружевах, – нетерпеливо воскликнул все тот же голос. – Неужели вы думаете, что ваш идиотский шампунь может сравниться с машиной или с деньгами, или еще с чем-нибудь по-настоящему полезным?

Не выдержав, мама приподнялась на локте и посмотрела на возмутительницу спокойствия.

Честно говоря, эта ворчливая дама была таких внушительных размеров, что с первого раза было трудно определить, ждет ли она дюжину близнецов или просто такая толстая от природы. Как выяснилось позже, она просто любила хорошо поесть. Эту толстуху звали Мелей или Меланией, и она выглядела бы простодушной, если бы не вечно нахмуренные брови и красный цвет лица. С Мелей мне частенько приходилось сталкиваться в детстве – любила она меня ужасно, хотя всегда не упускала случая сказать, что моя мать была намного счастливее, родись я девочкой. На протяжении всего детства я испытывал мощь и силу ее горячих объятий, ласковых щипков и дружеских щекотаний. Сколько себя помню, я всегда опасался вызвать у нее какой-нибудь бурный приступ нежности, который я наверняка бы не пережил.

Мелания носила обувь сорок пятого размера и ничуть не смущалась этого. Именно ее ноги больше всего потрясли мою матушку в тот памятный день.

Мелания сидела на кровати в теплом махровом халате, украшенном слонами, и враждебно шевелила короткими пухлыми пальцами на ногах.

В своем роде Мелания была просто незабываемой. Она внушительно выставила одну ногу вперед и убийственно посмотрела на рекламных ангелиц.

– Ну так вот, – с расстановкой начала она, – этот лысый младенец не нуждается в ваших ничтожных шампунях! Кое-кто сделал ему подарок получше.!

Матушка растерянно смотрела на грозную толстуху.

– Шампунь вы можете оставить – не таскаться же вам с ним весь день, – она бесцеремонно выхватила у них бутылочку и швырнула к маме на кровать, – и убирайтесь... убирайтесь немедленно, у меня начинается кровотечение! И все из-за вас, потому что вы меня нервируете!

Напуганные ангелы в панике покинули палату, не успев вручить присутствующим анкеты для заполнения, а толстуха тем временем разразилась хохотом.

– Вам что, действительно плохо? – наконец спросила мама, усевшись на кровати и сложив смуглые руки на коленках.

– Плохо. Но это никого не должно волновать, потому что у меня есть новости получше шампуня. Слышала ли ты что-нибудь об улучшении демографической обстановки в нашем городе?

– Я... нет. Честно говоря, я не очень помню.

– Похоже, демографическая обстановка не очень тебя волнует, а зря! Только не вздумай здесь кому-нибудь об этом проболтаться!

– Что вы! – моя матушка закуталась в одеяло и огляделась по сторонам. – Я тут вообще еще ни с кем не разговаривала.

– Вот и нечего, потому что кругом много завистников. Меня, кстати, Меля зовут. Ну так вот. Девять месяцев назад у нас в городе был праздник, ну, помнишь, когда вдруг не с того ни с сего всех отпустили с работы

– Ага,– кивнула моя мама, хотя ничего такого она помнить не могла по той простой причине, что в то время не работала. Но ей не хотелось выглядеть в глазах этой удивительной женщины такой уж невеждой.

– На самом деле это был не просто праздник, а День Патриота. Об этом объявили по местному телевидению и радио. День патриота придумал наш губернатор для того, чтобы все люди пошли домой и занялись улучшением демографической ситуации. Ну а теперь, когда прошло девять месяцев, он решил наградить тех, кто внял его призыву и родил-таки патриота.

– Кого-кого? – смешалась моя матушка.

– Патриота! – веско повторила Мелания. – Потому что истинные патриоты рождаются в дни независимости, понятно?

– Ладно,– не стала спорить мама. – Я вообще-то хотела, чтоб мой ребенок стал кем-нибудь полезным...

– Пока ты спала, сюда приходил главврач – это маразматичный старикашка с большими ушами. Он сказал, что, как только ты выйдешь отсюда, тебе подарят машину и еще что-то, в общем, твой ребенок теперь будет как бы под покровительством. Уж не знаю, что именно ему дадут, но машину точно, а потом, кажется, еще что-то вроде стипендии и разные там дорогие детсады и школы – совершенно бесплатно, плюс он будет ходить на всякие правительственные елки и утренники, черт бы их подрал!

Сердце моей матушки взволнованно заколотилось, и унылая палата представилась ей в новом свете. По больничной подушке скользнул солнечный квадратик. Она приветливо оглянулась на яркое светлое окно и заулыбалась. Все ее житейские невзгоды поблекли перед этими оглушительными новостями. Разве теперь кто-нибудь осмелится сказать, что ее ребенок был нежеланным? Даже Ренат обрадуется, не говоря уже об отце, который будет рассказывать об этом каждому встречному родственнику.

Но мама уже знала, что большое счастье может кого-нибудь огорчить, и поэтому была осторожна в изъявлении своих чувств.

– А вам, Меля, тоже подарили машину? – вежливо осведомилась она.

Лицо толстухи растянулось в презрительной усмешке.

– Нам, дорогая, не светит ничего, кроме того дерьма, что носят эти невоспитанные малолетки – у меня ребенок два дня назад родился, а это, знаешь ли, далековато до дня независимости. Мы, видите ли, по мнению властей, родили детей не в тот день, в какой они советовали.

Мама подумала, что ей несказанно повезло и, сжимая в руке сто двадцать пять миллилитров освежающего шампуня, почувствовала нечто вроде раскаяния – ей было неловко за свое везение. Она даже готова была подарить им свой освежающий шампунь, но, вспомнив о том, что ей даже помыться нечем, передумала.

Вместо этого она спросила:

– Скажите, пожалуйста, а много ли сегодня родилось патриотов?

* * *

Тамара Васильевна, старушка, у которой мама снимала комнату, была большой поклонницей эпистолярного жанра. Все те полгода, что мама жила у нее, их общение заключалось в многочисленных записочках, которые хозяйка любила оставлять в самых неожиданных местах – на кухонной плите, в мыльнице, на сливном бачке унитаза и даже на внутренней стенке шкафа.

В их переписке, кроме лаконичных сообщений в духе «Буду в пять», содержались весьма выразительные поучения, автором которых неизменно была Тамара Васильевна: «Уважаемая Сауле! Я уже два дня как трогаю Вашу зубную щетку (разумеется, тщательно продезинфицировав руки тройным одеколоном) – ее сухость, а также сухость Вашего мыла свидетельствуют о том, что вы уже третий день не моете руки и не чистите зубы. Это негигиенично, и может привести к потере зубов». «Сегодня я производила уборку своей гостиной и обнаружила на ковре четыре волоса черного цвета (длина – 45 сантиметров), кои, несомненно, принадлежат Вам – прошу Вас впредь внимательнее относится к своей голове и после купания пользоваться специальным чепчиком. Ваша Т.В.». «Дорогая Сауле Жадыгеровна! Обнаруженный мною сегодня суп на плите с надписью «Угощайтесь!» вынуждает меня признать его вкусовые достоинства и объявить Вам благодарность за проявленную инициативу в ведении домашнего хозяйства. Так держать!» «Вчера в 22-30 звонил некий мужчина, испытывающий явные проблемы с русским языком. Представившись Ренатом, он просил передать Вам, что будет ждать Вас в субботу. Прошу Вас скорейшим образом довести до его сведения, что мой телефон предназначен исключительно для моих телефонных разговоров. Необходимую информацию он может передавать посредством записок, опущенных в почтовый ящик. С уважением. Т.В.»

Письменная форма располагала к вежливости, между хозяйкой и квартиранткой скандалов не было.

Что касается деда, то он был очарован Тамарой Васильевной – она как-то отказалась принять от него в дар великолепную свиную ляжку. С тех пор в своих подношениях он ограничивался овощами, что было намного дешевле и способствовало установлении дружеских отношений.

Хуже обстояло дело с моим отцом. Он был простым человеком, звонил в дверь и спрашивал: «Дома ли Сауле?» или «Позовите, пожалуйста, Сауле», но Тамара Васильевна быстро прекратила эту практику, продемонстрировав Сауле выписку из трудовой книжки, где черным по белому сообщалось, что она сорок пять лет проработала хореографом и на склоне лет не собирается пробовать себя ни в качестве швейцара, ни в качестве секретаря.

Мобильные телефоны в то время были очень дорогие, и родителям надо было осваивать какие-нибудь доступные средства связи.

– Ренат, понимаешь, я ведь у нее живу, а она любит записки, – осторожно объяснила ему моя мама. – Так что тебе придется писать.

Записки нужно было подсовывать под дверь или просто забрасывать в почтовый ящик. Собственные послания она оставляла под ковриком в целлофановом пакете.

После двух недель сопротивления отец пересилил себя и взял на складе оптовых товаров не набор удивительных кухонных ножниц, не разрезающих даже салфетки, а комплект дешевых блокнотов и ручек.

Да, это было непросто – отец лет пятнадцать не писал ничего содержательнее учетных записей на товар, да и в школе его в свое время не перегружали – в общем, почерк у него был ужасный, да и ошибок он делал так много, что Тамара Васильевна как-то вместо очередного ответа подсунула ему под коврик орфографический словарь.

– Проклятая старуха!.. – выругался отец, но словарь все-таки взял.

Тамара Васильевна даже как-то благодушно его похвалила: «Должна признать, молодой человек, за последнее время Вы добились некоторых успехов в правописании гласных в корне».

И вот из уст этой удивительной женщины моему отцу предстояло узнать о том, что он стал отцом. Рано утром мама позвонила из больницы старушке, попросила ее собрать кое-какие вещи и обязательно сообщить Ренату, где и почему она находится. Тамара Васильевна, конечно, была очень недовольна тем, что она позвонила, а не написала, но вещи Сауле – включая сухое мыло и зубную щетку – собрала в пакет и приготовила для передачи.

Под ковриком моего отца ждала следующая записка.

«Дорогой Ренат, мужайтесь – с подругой Вашей юности произошло событие, подробностей которого я не могу Вам сообщить. Однако не оставляет сомнений, что событие это послужит определенной вехой в Вашей жизни и повлечет за собой большие изменения. Мне же, в свою очередь, остается надеяться, что изменения эти будут хорошими, а не дурными. Вы можете увидеть светлый лик Сауле в Восьмой городской больнице (корпус №4, третий этаж, палата №18). Не забудьте взять с собой сменную обувь. Прошу немедленно подняться ко мне и забрать ее вещи».

Растерянные зеленые глаза отца пробегали эту записку снова и снова. По-русски он говорил сносно, но витиеватый слог бывшей балерины окончательно сбил его с толку. Хоть моя матушка и была хорошенькой, но «светлым» ее лик уж никак не назовешь – и посветлеть она могла разве что от каких-нибудь фантастических болезней.

С Тамарой Васильевной отец еще ни разу не виделся (в дописьменную эпоху они переговаривалась через дверь) и, честно говоря, побаивался ее – она представлялась ему костлявой старушенцией с очень прямой спиной, в белом платье с глубоким вырезом, который открывал прекрасный вид на обвисшую тонкую кожу и острые выпирающиеся ключицы.

Отец жутко разволновался, и едва не проглотил колпачок от ручки, который держал в зубах, да к тому же в ответной записке написал: «она что забалела?» Таких ошибок он уже давно себе не позволял.

Через минуту на жесткий дверной коврик выполз узкий длинный конверт.

«Ренат, вы не взяли с собой орфографический словарь?!»

Мощная рука моего папаши ожесточенно скомкала укоризненную записку и запустила ее в шахту мусоропровода. Он выпрямился и постучался.

Наверное, отец так свыкся с воображаемым портретом Тамары Васильевны, что не сразу сообразил, кто открыл ему дверь. Длинная шея балерины скрывалась в легком газовом шарфике, зловещие ключицы прятались под изящной туникой – одним словом, она выглядела как все пожилые интеллигентные женщины, не имеющие собственных детей, – немного отстраненно и прохладно, но ничуть не отталкивающе.

Созерцание моего отца тоже доставило ей удовольствие. Мой папаша был видным, крупным мужчиной с добрыми зелеными глазами. Из-за этих глаз и располагающего к доверию брюшку он не очень походил на «иностранца» и выглядел почти «гражданином РФ». Не понимаю, чего его так часто останавливала милиция...

– Ну что ж, – проговорила Тамара Васильевна, сделав шаг в сторону. – Плечевой пояс у вас развит неплохо. Любите танцевать?

Такого вопроса отец, конечно, не ожидал. Он заморгал своими золотистыми ресницами.

– Иногда... на праздниках.

– А-а, этнические танцы... – поняла Тамара Васильевна и, удовлетворив свои хореографические интересы, завела его в чистенькую гостиную, заставленную внушительным количеством фарфоровых представителей флоры и фауны. Телевизор, шкаф, сервант и кресла были задрапированы одинаковыми темно-красными бархатными покрывалами с тяжелыми золотыми кистями – в том же стиле были сделаны и шторы. Если бы мой отец когда-нибудь бывал в театре, ему пришло бы в голову, что все это сшито из старого занавеса, но вместо этого он подумал, что от такой тяжелой ткани много пылищи, и скромно принялся рассматривать семейство фарфоровых рыб.

Тамара Васильевна усадила его в кресло и предложила взглянуть на книги – они лежали на журнальном столике. Похоже, она не торопилась отдавать ему вещи Сауле и вообще, задумала что-то нехорошее.

Отец нервно сглотнул набежавшую слюну и послушно уставился на обложки. Одна из книг была «Словарем школьника», другая – «Справочник по пунктуации».

– Я понимаю, что вы всего лишь гость в нашей стране, но язык, как вы понимаете, – это универсальное средство общения, а я хочу, чтобы мы с вами понимали друг друга правильно. Конечно, можно понимать язык других людей и совершенно не понимать самих людей, но это уже другая проблема... Исправьте допущенные вами ошибки, и я отпущу вас с миром к нашей бедной девочке. Я делаю это для вашего же блага, и, несомненно, для блага Сауле.

На лбу у отца выступили капли пота; он так взмок, что все виделось ему в легком тумане.

Бедный отец! Орфографический словарь и справочник запутали его окончательно. В его жизни и так было много вещей, которых он не мог исправить.

Я уже родился.

Но ему и в голову не приходило, что этой его ошибкой уже сейчас, в эту самую минуту активно интересуется такое враждебное к нему государство.

* * *

Роддом, в котором я появился на свет, был зданием символическим и малопривлекательным. На самом деле, это был даже не дом, а всего лишь четырехэтажный корпус, примыкающий к городской больнице. Даже я, несмотря на счастливую судьбу, понимаю, что в этой жизни ничего не дается легко – а уж что говорить об умудренных архитекторах, построивших больницу на горе.

Общественный транспорт к ней не подъезжал, оставляя болезненных пассажиров наедине со своими недомоганиями у подножия. Восхождение по песчаной тропе в гору, по замыслу архитекторов, символизировало трудный путь к выздоровлению – зато поправившиеся счастливчики бежали вниз с такой скоростью, что их прыти можно было позавидовать – особенно зимой, когда они буквально скатывались на обледенелую проезжую часть и тем самым приобретали неоспоримое право залезть в трамвай первыми.

Альтернативным видом транспорта являлись такси, личные автомобили и – в крайнем случае – фургоны скорой помощи. Но это не каждый мог себе позволить.

Роддом, как и больница, тоже был устроен очень грамотно, демонстрируя в масштабе четырех этажей наиболее значимые этапы человеческого развития. На первом этаже, в регистратуре люди пытались как-то с помощью бумажек оправдать свое присутствие; на втором они рождались; третий этаж состоял из отделения новорожденных и послеродовых палат – здесь и дети и женщины испытывали беспрестанное удивление; на четвертом этаже отдельные субъекты, не справившиеся с удивлением, умирали.

Именно на этом последнем этаже я и проводил первые дни моей жизни, и единственной моей приятельницей в то время была капельница. Сюда же наведывалась моя матушка; из-за меня ее движение по этому заведению шло в несколько другом порядке – не столь жизнеутверждающем.

Поплакав надо мной и немного успокоившись, она спускалась на свой этаж, где были созданы все условия для того, чтобы люди удивлялись почаще. В комнате с табличкой «Душевая» не было ни одного душа, зато было много сестер, и вся правая стена была заставлена ящиками с бутылка-

ми для анализов. Бутылки были высокие, с узкими длинными горлышками, и когда их выдавали бедным девушкам на ночь, у них в голове возникали какие-то смутные ассоциации со сказкой про кашу, цаплю и лисицу.

Не стоит думать, что настоящей душевой здесь не было – это, конечно, не так. Из горячего крана шла холодная вода, что в летнюю пору очень освежало новых пациенток, из холодного – чуть теплая, а распылители были столь мощные, что достигался удивительный эффект – омовению подвергался не сколько человек, сколько стены, а также всякий, кто имел неосторожность приоткрыть дверь. Сам же купальщик все это время пребывал в облаке тумана, а его волосы покрывались восхитительно красивой водной взвесью.

Но все это мама переносила спокойно – она и в обычной жизни жила не в лучших условиях. Расстраивало ее другое. Женщины охотно делились с ней необходимыми вещами, когда она рассказывала им про скорую помощь и мою внезапность, но едва они узнавали о ее избранности, настроение у них начинало медленно портиться.

«Человек, у которого нет даже собственной ложки, должен учиться вести себя скромнее», – шептались они в коридорах.

Но проблема моей мамы была в том, что она сразу становилась заметной. Она бродила по коридору в ликующем настроении, и ее сияющая улыбка озаряла светом унылые стены этого медицинского учреждения. Все на нее оглядывались. На ней была огромная ночная рубаха, выданная сестрой-хозяйкой из невесть каких древних запасов, рубаха была сшита из грубой тяжелой ткани, напоминающей рогожу, и так сильно волочилась по полу, что матушке приходилось приподнимать ее с двух сторон. Ее восточные бархатные глаза с огромным любопытством поглядывали по сторонам, босые ноги без опаски ступали по желтому линолеуму, тяжелые черные волосы, вымытые освежающим детским шампунем, рассыпались по плечам, и она жутко походила на одну из тех средневековых бродяжек, которых раньше очень любили сжигать на костре.

Едва ее длиннющая казенная рубаха появлялась на горизонте, губы некоторых хорошо воспитанных дам презрительно сжимались.

Может быть, им стало бы намного легче, если бы она заплакала. В родильных домах все плачут, это сближает. Но моя мама плакала только на невеселом четвертом этаже, а третий этаж в ее представлении был предназначен для радости.

«Только подумайте, ее ребенок лежит в боксе, а она позволяет себе кататься на лифте, как на карусели!»

Среди обитательниц третьего этажа не было богатых (они предпочитали удивляться как можно реже), но зато было полно благополучных девиц, оснащенных полным комплектом счастья, состоящим из мужа, родственников, отдельной квартиры и, разумеется, здорового младенца.

У них, конечно, не было причин завидовать моей матушке, но избранность их коробила. Всеми силами они стремились доказать, что у них больше прав для таких привилегий. К ужину они уже не упускали случая бросить невзначай какую-нибудь язвительную реплику:

– Расческа, которой причесывается эта «избранница», моя.

– Она пьет казенный компот из моей кружки.

Мама великодушно прощала несчастных девушек – ведь об их детях не собирается заботиться губернатор, так что их можно понять. Пусть у нее нет любящей семьи с термосами и апельсинами, зато есть любящее правительство.

Но немножко сострадания в этот день ей бы не помешало. Меля хоть и была добра к ней, весь свой темперамент направляла на обличение мужчин – она, кажется, уже в ту пору была ярой феминисткой, – а Рита, другая соседка по палате, слишком плохо себя чувствовала, чтобы жалеть кого-то еще.

Мама мечтала встретить кого-нибудь, кто бы не стал ей завидовать, но до самого полудня к ним никого не привозили. Видно, все будущие матери патриотов находились внизу – и мама, которая уже больше не могла быть наедине со своим счастьем, отправилась в родильное отделение...

Всякий, кто заходил в это святилище жизни в первый раз, был ошеломлен, обнаружив, что в родильных палатах нет дверей и процесс рождения новых людей можно наблюдать на разных стадиях во всех подробностях.

Но маме это было не в новинку, она присела на кушетку у стены и стала прислушиваться к крикам, доносящимся из палат. Уж этим бедняжкам было бы куда легче рожать своих маленьких патриотов, если бы они знали, что им за это будет.

Не скрою, маме были приятны эти крики – они пробуждали в ней такую волну необъяснимой любви, какую не могли бы сейчас вызвать и самые близкие родственники. Нежное тепло отхлынуло от сердца и с поразительной быстротой наполнило все тело; пальцы на руках и ногах от внезапной любви к людям ослабели, глаза увлажнились, в висках застучала кровь.

Влюбленность в человечество разом пригвоздила мою матушку к кушетке. Она беспомощно оглянулась; откуда-то издалека приближался страшный гул, он нарастал, становился все громче, и уже не было никаких сомнений – это они, наши будущие коллеги по счастью.

Носилки с рожающей женщиной неслась на нее из глубин коридора, и мама уже знала, в чем ее предназначение – она призвана облегчить ей страдания.

Колеса гремели, женщина приближалась, а за носилками бежал молодой практикант с прилипшими ко лбу волосами и округлившимися глазами.

Он кричал: «Голова! Голова!» – конечно, имея в виду голову такого же, как и я, патриота. Руки матушки взволнованно задрожали.

Носилки поравнялась с ней, она резко схватила их за металлический поручень и, вскочив на ноги, прокричала женщине в ухо:

– Не бойтесь! Ваш ребенок родится патриотом! Сегодня такой день! У него будет все, что он захочет!

Женщина испуганно посмотрела на мою маму, а практикант вспотел еще больше и так стремительно вкатил носилки в родильную, что это могло грозить смертью всей троице.

Но счастье сострадания было невыносимым, и мама, внезапно зажмурившись и закрыв руками уши, побежала вниз по лестнице.

* * *

Старый профессор Шишкин уже лет пятнадцать работал главврачом в роддоме, а последние два-три года испытывал некоторые проблемы с зубами. «Если так пойдет дело, – размышлял он, рассматривая свой рот в зеркале, – то скоро я не смогу выговаривать собственную фамилию». Профессор зарабатывал хорошо, но никак не мог найти времени, чтобы посетить стоматологов. Пока он довольствовался лишь небольшим изменением личного словаря – слов с шипящими буквами старался избегать, вместо «Как поживаете?» спрашивал «Как дела?», вместо «Как путешествие?» – «Как поездка?». Это было неудобно, но уж лучше, чем целый месяц подстраивать свои рабочие дела под собственные зубы. Он не любил менять однажды заведенный порядок. Смена расписания для него была настоящей катастрофой, с которой он боролся всеми силами. При малейшей попытке изменить что-либо из его правил, большие и оттопыренные уши доктора начинали наливаться кровью и трепетать.

Уши были самой примечательной деталью его внешности – их могли безошибочно узнать все бахаисты, все баптисты, все пятидесятники, все поклонники Сай-бабы и тихие, пришибленные представители движения «За сохранение целомудрия до брака». Они изучали эти уши на своих собраниях, сидя за доктором на задних скамейках. За пару часов проповеди они успевали рассмотреть каждый белый волосок, каждый прыщик и порез от бритвы.

Но самым удивительным в этих ушах была их способность пропускать солнечный свет. В вечернее время, когда золотистые полосы заходящего солнца ложились на доктора, его уши делались прозрачными, розовыми и уютными, а белые волоски, произрастающие на мочках и раковине, начинали сиять наподобие нимба.

Каждый, кто в такие минуты сидел на задних скамейках, отгороженный от мира этими светящимися ушами, чувствовал себя уверенным и защищенным – можно даже сказать, уши доктора способствовали усилению религиозного экстаза. Об этом доктор, конечно, не догадывался, а если б узнал, то страшно рассердился.

Посещение религиозных сборищ разнообразного характера было его маленьким увлечением, о котором он не любил распространяться. Как и большинство врачей, к религии он относился скептически, а к смерти питал отвращение. Все проповеди и службы, которых он наслушался в диком количестве, укрепляли его атеистические взгляды; с другой стороны, ему как врачу было интересно узнать, как та или иная организация (он сам придумал их так называть) утешает людей в несчастьях. Если бы чьи-нибудь доводы показались ему совершенными, он не задумываясь сделал бы эту религию государственной – уж по крайней мере в своем отделении. Хоть из всех медицинских учреждений роддом и считался самым приятным, здесь тоже хватало горя: мертворожденные младенцы, женщины, умершие родами, плачущие мужчины в коридорах, дети с врожденными отклонениями, приводящие родителей в состояние оцепенения... Может, это случалось и не так часто, но доктора беспокоило, что он ничего не может противопоставить этому – он боялся тех, кто плакал в коридорах.

Поиск подходящего рецепта утешения не давал видимых результатов, зато процесс доставлял доктору огромное удовольствие. Его уши стали известны на всех сколько-нибудь значащих диспутах, собраниях, встречах, службах, проповедях, кружках; несколько раз его видели за столиком молодежного христианского кафе (кроме всего прочего, он посещал киноклуб при катехизаторском отделе миссионерского центра).

Забавно, что хоть уши его и были в своем роде знамениты, его самого запоминали очень плохо. Это доставляло доктору немало удобств, но и сам он своими визитами в одни и те же места старался не злоупотреблять и, чередуя организации, двигался по кругу. Он мог начать год среди миролюбивых поклонников Саид-бабы и слушать, как они оживленно обсуждают, как тот нес золотые яйца в прямом эфире НТВ, а заканчивал прослушиванием лекции в Церкви Нравственности на тему «Плодиться или размножаться?».

На его счастье, религиозных объединений в городе было так много, что он мог посещать их без опасности быть узнанным и разоблаченным.

Мы уже говорили, что доктор любил заведенный им порядок – именно по этой причине он сам заводил и настраивал все часы, находящиеся в его отделении. Он собственноручно вытаскивал стремянку из кладовой, карабкался наверх, покачивая своими благочестивыми ушами и, сверяясь с собственными часами, подводил стрелки или нажимал на кнопки, пока на циферблате не загорятся нужные цифры.

Его собственные часы – когда-то очень хорошие и дорогие – со временем стали опаздывать. В ремонтной мастерской ему сказали, что с этим недостатком они справиться не могут – уж больно старинная модель была у доктора – и предложили ему приобрести новые часы.

– Из-за каких-то трех минут я должен отправить на свалку замечательные японские часы?! – взревел доктор. – Я так полагаю, если бы вы были врачом, то предложили бы выбросить больного ребенка и вместо него родить нового! Неслыханное расточительство, – сердито проговорил он и тут же добавил: – Три минуты погоды не делают! А вы просто плохо делаете свою работу!

И чтобы не вселять в свою жизнь ненужную путаницу, он продолжал выставлять время во всем отделении по своим часам.

Сначала мысль о том, что часы в родильных слегка опаздывают, расстраивала его, потом он к этому привык и даже находил в этом свое очарование. Может быть там, за облупившейся исписанной стеной роддома время и шло своим чередом, но здесь, в его отделении, частота схваток и рождение малышей фиксировались строго по его личному времени.

Разве кто-нибудь в отделении мог догадываться, что значат для старика это восхождение по стремянке к часам? Нет, вряд ли. Для его коллег эта была всего лишь причуда, студенты только посмеивались, когда он шагал мимо них с лестницей под мышкой.

В этот вечер он как раз подводил часы в своем кабинете, когда раздался стук, и в его апартаменты вошла высокая тучная женщина в халате со слонами.

– Простите? – доктор поднял голову.

Дверца его часов была открыта, сам он стоял на своем кресле («прямо в ботинках!» – ужаснулась Меля), а его указательный палец задержался на минутной стрелке.

– Здравствуйте. Вы можете продолжать заниматься своими делишками, мне это нисколько не помешает, – заявила Меля, сунув руки в необъятные карманы. – Кстати, что это вы там делаете? Неужели для того, чтобы прыгать по столам, нельзя было найти кого-нибудь помоложе?

Доктор насторожился и посмотрел на нее в легком недоумении.

– Я завожу часы, это входит в число моих обязанностей. Вы что-то хотите от меня?

– Хотела уточнить, слепой вы или нет. Только, знаете ли, слепой может не заметить, какой тут цирк устроили с этими правительственными подарками.

– Ах, вы об этом, – доктор закрыл стеклянную дверку часов и еще раз сверил время со своими наручными часами. – Впрочем, меня это не касается. Меня просили довести эту информацию до родильниц, и я ее довел. Как-либо оценивать этот указ я не собираюсь – свою работу я выполнил.

Он аккуратно спустился с кресла, придерживаясь за спинку, и убрал с сидения газету.

«Очень предусмотрительно», – подумала Меля.

– Пожалуйста, садитесь, – попросил доктор, бросив газету в корзину. – Вам не стоит переутомляться.

– С чего вы взяли?

– Здесь всем не стоит переутомляться, – глубокомысленно изрек он, слегка наклонив голову. Свет вечерней лампы выхватил из сумрака его ухо и наполнил его рассветным сиянием розовых облаков.

Меля невольно залюбовалась этим светом и тоже склонила голову набок.

– Я, знаете ли, не первый день тут лежу, но никогда еще не видела, чтобы молодые мамаши поедом ели одну несчастную девчонку только из-за того, что кому-то пришло в голову сделать подарок ей, а не им. Может, я не мировой судья, но я и не каменная скульптура, чтоб ничего при этом не чувствовать.

Доктор еще раз окинул ее взглядом и убедился, что она не каменная – хотя, надо признать, в ее фигуре присутствовала некая монументальность.

– Что же вы хотите от меня?

– Чего я хочу? Я хочу только поговорить, – сказала Меля, тряхнув головой. – Если вы себе не враг и желаете, чтоб в вашем отделении мамаши не выцарапывали друг другу глаза, то всех этих дурочек, которым дадут подарки, надо заселить в одну палату. Вы даже не подозреваете, на что способны истеричные мамаши, если думают, что их детей обделили!

– Я представляю, – закивал головой врач. – Так, значит, вы рекомендуете всех перевести в одну палату? Чтобы, так сказать, довольные и недовольные существовали отдельно?

– Да.

– Мне это не нравится. Не хочу нарушать порядок. Придется переоформлять бумаги...

– Вам, что ли, их переоформлять придется? – огрызнулась Меля. – Нет, вы меня просто удивляете! В вашем отделении с минуту на минуту вспыхнет революция, а вы преспокойно заводите часы, как будто ничего не случилось! Желаю вам всего хорошего! Завтра ваши сестры найдут кого-нибудь задушенным подушкой в собственной постели, и уж вы этому, пожалуйста, не удивляйтесь!

С этими словами она поднялась и с большим достоинством проследовала к выходу.

Она чувствовала раздражение и поэтому быстро шагала по коридору, беззвучно повторяя слова доктора. «Что вы от меня хотите, что вы от меня хотите», – монотонно бубнила она, и тут ее натренированный взгляд отделил от стены мужчину в белом халате и синих бахилах. Посетитель! В такой поздний час!

У него были зеленые глаза и крупное лицо с глубокими морщинками вокруг рта. Это был мой отец, Ренат. Он, наконец-то, нашел дорогу ко мне и моей матушке.

То же самое подумала и Меля.

– Иностранец? – спросила она, набычившись. Мама уже успела навешать ей лапши на уши насчет того, что они не могут пожениться, потому что он гражданин другого государства.

– Что? – не понял отец.

– Я вижу, вы и двух слов связать не можете! – осуждающе покачала головой Меля. Отец опасливо покосился на нее, беспокоясь, как бы она не подсунула ему еще один словарь.

Но у Мели были другие намерения.

– Вы пришли к Сауле? – громко поинтересовалась она.

Он кивнул, стараясь не произносить неправильных звуков и словосочетаний.

Меля решительно пнула дверь ногой и скомандовала:

– Входи!

...Отец принес мне в подарок светящийся брелок для мобильного телефона (это была новинка среди его товаров), а маме – комплект носовых платков, чем она был растрогана до слез. Трудно было понять, какое впечатление на него произвели мамины новости, достоверно известно, что сначала он замолчал, а потом спросил:

– А что дадут?

– Всё дадут!

– И квартиру дадут?

– Сначала – машину, – медленно проговорила мама, загибая палец, – а потом...

– Хорошую?

– Откуда я знаю? Награждение недели через две будет. Рубашка у тебя есть какая-нибудь приличная?

– Я что, тоже там должен быть?!

– Необязательно, но я думала, тебе будет приятно, – мама опять начала стремительно разочаровываться в моем отце. – Каждый день, что ли, губернатор твоему сыну машины дарит?

– Где губернатор, там милиции много, – пробурчал отец. Милиция-то, небось, не будет ему словари для взаимопонимания протягивать...

Ей неожиданно снова стало жалко Рената.

– А я вот возьму и попрошу губернатора помочь тебе с гражданством, – решительно сказала она. – Он обязательно поможет, мы ему теперь не чужие.

– Ага, – кивнул отец, но по всему было видно, что родственных чувств он еще не испытывает.

***

Было совсем раннее утро: ветер шевелил забрызганной краской травой, пустой баллончик лениво перекатывался по земле. У старой облупленной стены, отгораживающей роддом от внешнего мира, валялось несчетное количество окурков, крышек, пробок и пустых бутылок. За ночь большие буквы на стене успели высохнуть, буквы складывались в слова, слова – в предложения.

Мама высунулась из окна и, сосредоточенно шевеля губами, прочла все от начала до конца два раза и вспыхнула от радости.

«Азамат дал мне 500 рублей. Сказал, купи что-нибудь Сауле.

Я не помню, что ты любишь. Что тебе купить?»

Во-первых, ей собирались что-то подарить на целых пятьсот рублей! Во-вторых, Ренат не сделал ни одной ошибки. А в-третьих – ни у кого на свете не было такой надписи!

По установившейся традиции, молодые отцы должны были перелезать через стену и оставлять на ней какое-нибудь нежное послание. Чаще всего они благодарили за сыновей и писали про любовь. Это было трогательно, но не так интересно. Мама сама попросила отца написать что-нибудь на стене и вот, полюбуйтесь!

Это было чудесное утро.

Больше никто не смотрел на нее косо – старый профессор все-таки внял совету Мели и перевел всех патриоток в одну палату – правда, сделал он это только утром и сказал, что как только комиссия уедет, им придется разойтись по своим местам.

– Переодевайся! – кто-то дернул ее за рубашку. – Ублюдки из правительства вот-вот приедут!

Мама неохотно оторвалась от созерцания надписи и увидела Мелю – она с утра зашла навестить ее. На Меле был вчерашний халат со слонами (она единственная в это утро не стремилась выглядеть красивой) – и ее спутанные волосы дыбом стояли над мрачным лицом.

– Привет. Я уже давно готова... – мама оглядела ее с ног до головы. – А ты чего, не причесалась еще?

– Ага... Это в знак протеста... Ну ладно, я пошла... Не хотелось бы встречаться с этими козлами....

Все на нее зашикали, замахали руками и очень вовремя – в палату уже вошли подчеркнуто аккуратные и приятно пахнущие мужчины и женщины. На ногах у них не было безобразных бахил, только начищенные туфли, а белые халаты были так наглажены, что это сделало бы честь любому доктору. У мужчин в руках были цветы – ровно четыре букета, насчитали мама и Мелания. Всего в счастливой палате было пять женщин, значит, кому-то не достанется.

Мама даже встала на цыпочки, пытаясь разглядеть, не спрятан ли букет у кого-нибудь за спиной. Застрявшая в дверях Меля перехватила ее взгляд и развела руками: с тыла ей было видно, что никакого букета нет. «Даже подготовиться нормально не могли!» – сердито подумала она, и бесцеремонно отодвинув одного из членов правительственной комиссии, вышла в коридор.

И в эту самую минуту самый главный чиновник, который в руках не держал ничего, даже букетика, оглядел всех с властным видом и сказал:

– Среди вас должна быть девушка по фамилии Шукурова. Кто из вас Сауле Шукурова?

Мама выдвинулась вперед и настороженно вгляделась в это строгое лицо.

– Это у вас родился ребенок, мальчик, вес 2500 грамм, рост 44 сантиметра?

– Да-да, – закивала матушка, опасаясь, что мой слишком малый рост и вес могли как-то оскорбить патриотические чувства чиновника.

– В данный момент ваш ребенок проходит курс лечения этажом выше? – он выставил указательный палец вверх, будто там ребенком занимался непосредственно Господь Бог. – Мне нужно побеседовать с вами наедине, – он смерил ее взглядом, как бы оценивая ее моральные качества и силу духа. – Вы готовы проследовать со мной? Разговор займет некоторое время.

Всех девушек одинаково напугало такое начало. И только когда они вышли из палаты, матушка услышала шелест оберточной бумаги – женщинам вручали цветы. Праздник начался без нее!

«Где мой букет?» – тоскливо подумала она, и они вошли в кабинет профессора. Самого его на месте не было, он удалился к больным малышам – там ему было спокойнее. Необходимые бумаги он оставил на столе.

Началось все с того, что чиновник придвинул к себе медицинскую карту с фамилией моей матушки на ярлычке и просмотрел кое-какие записи в своей книжке. Затем он убрал книжку и посмотрел на мою маму.

– Моя фамилия Нефедов, – сказал он, – я глава правительственной комиссии, созданной для контроля и выявления нарушений, связанных с акцией «Родить патриота». Прежде всего, я хочу предупредить вас, что не я инициировал это дело, и я лишь выполняю то, что должен выполнить.

– Я понимаю, работа такая – мама посмотрела на дверь и вдруг спросила: – А почему мне не подарили цветов?

– Хм... – господин Нефедов явно не ожидал такого поворота. – Потому... Сначала мне поручено узнать, что вы делали 12 сентября этого года?

– Я... – в голове мамы тут же заработал изворотливый механизм защитного вранья. – Это был выходной, я помню. И я ходила кататься в парк на «Емеле». Это такая карусель. И у меня слетела босоножка...

– А чем вам следовало заниматься в этот день, вы помните? – перебил чиновник.

Мама, кажется, стала догадываться, в чем ее пытаются обвинить. Она скрестила руки на груди и откинулась на спинку кресла.

– Я должна была... улучшать демографическую обстановку в стране. И я ее улучшала! – она высокомерно посмотрела на чиновника, заставив его покраснеть. – Как вы можете в этом сомневаться?!

– Двенадцатое сентября было девять месяцев назад, тут же написано, что ваш ребенок родился семимесячным, – он постучал пальцем по медицинской карте.

– Ну и что? – мама решила защищаться до конца. – С того самого дня, как губернатор призвал улучшать демографическую обстановку, я ее улучшала. Если вы еще раз заглянете в свои бумажки, то увидите, что мой малыш родился 12 июня, день в день, как заказывали! И он был самым первым!

– Послушайте... – чиновнику был не очень приятен этот разговор. – Губернатор награждает сознательных родителей, которые со всей ответственностью – повторяю, со всей ответственностью отнеслись к этому призыву...

– А кто вам сказал, что я не отозвалась на этот призыв?! У вас-то, наверное, никто не родился 12 июня, а у меня – родился, так что посмотрим, кто их нас ответственней!

– Факт остается фактом. Ваш ребенок родился не девятимесячным, а семимесячным. Это означает, что 12 сентября вы занимались чем угодно, но не демографической ситуацией в стране.

– Ах так? – зрачки ее глаз сузилась – Вы меня еще и оскорбить хотите? А мой ребенок, значит, плох для вас, да?

– Не для меня.

– Значит, плох для губернатора. Когда мой сын станет губернатором или президентом, он никогда не будет придумывать законы, унижающие права матерей.

И она выбежала из кабинета профессора. Моя мама ничего не имела, но в эту минуту она потеряла больше, чем когда-либо – от нее ускользнули мечты и фантазии, защищавшие ее от своей, в общем-то, невеселой жизни. Она вдруг сразу обо всем вспомнила: и о Тамаре Васильевне, и о сердитом отце, даже ту бывшую девицу Рената припомнила, которая его телепузиком называла.

Запыхавшаяся Меля нашла ее у окна на четвертом этаже

– Не смей расстраиваться, – она дотронулась до ее плеча, – тут привыкли обманывать, и самый первый обманщик – этот ваш драгоценный ушастый докторишка. Я тебе больше скажу, – она наклонилась к уху моей бедной матушки. – Здесь замешаны часы.

Мама ничего не ответила. Она опасалась Мелю в плохом настроении. Правда, в хорошем она ее еще толком не видела...

– Профессор специально выставляет на часах неправильное время... Они опаздывают на три минуты.

– Ну и что? – отсутствующе произнесла мама, прижимаясь носом к холодному стеклу.

– Деточка, подумай сама – если твой ребенок родился в 0:01,то доктор из-за своих часов запишет его на 23:58 и это будет вчерашний день. А ошибиться с днем, значит, ошибиться в правительственных подарках.

Мама пожала плечами и хмуро взглянула на Мелю.

– Насколько я знаю, в районе полуночи никто не родился – так что какое нам об этого дело? Они мне ничего не дали – даже захудалого букета.

– Выставлять неправильное время на часах – несправедливо, – рассеянно произнесла Меля. – Я прочищу этому докторишке мозги. Он-то куда смотрел, не понимал, что ли, как это важно?.. Тьфу! Ну и идиоты же эти мужчины! – воскликнула она так грозно, что моя матушка не выдержала и расплакалась.

Меля молча обняла ее за плечо и бросила взгляд в окно. С этой стороны открывался вид на парадный подъезд, где стояла пара черных «Волг» с правительственными номерами. Они увидели, как комиссия в полном составе спускается по ступенькам.

Даже их затылки в одну секунду нарушили их душевное равновесие. Глава комиссии имел благополучный и довольный вид. Он уже выполнил свою работу – отбраковал лишнего младенца. Вот он сел на переднее сидение и стал переговариваться с шофером. Моя матушка успела долгим взглядом проводить чиновника и запечатлеть в памяти его профиль. А Меля в сердцах захлопнула окно, до смерти напугав профессора. Но он не возмутился, нет. Они его не видели, а он видел, что плечи одной из девушек подрагивают. Она плакала.

Доктор на цыпочках прошествовал к лифту.

Он все еще продолжал бояться плачущих людей в больничных коридорах.

* * *

В своей жизни мама перевидала множество туалетов, но этот, если верить ее словам, был самым уютным. Главная вентиляционная артерия дома была устроена таким чудесным образом, что многоквартирные кухонные запахи поднимались выше по шахте и наполняли собой узкое пространство уборной.

– Жареная картошка. Тушеное мясо. Пирог с яблоками, – констатировала моя матушка и вдыхала аппетитные ароматы полной грудью. Подобная атмосфера, с опрятными ковриками, чистым кафелем и аккуратными полочками с занавесками действовала на мою матушку умиротворяюще – она любила ходить сюда как в библиотеку. Человек без собственного жилья умеет ценить уединение. Но Тамара Васильевна этого не понимала.

«Сауле! Пребывая в уборной более десяти минут, Вы сообщаете сидению унитаза интимное тепло, ощущать которое мне лично – неприятно. Прошу Вас впредь либо сократить свое пребывание в уборной до пяти минут (для Вашего удобства я могу повесить над дверью часы), либо завести собственное сидение. Всегда Ваша, Т.В.»

Но сейчас Тамары Васильевны дома не было, и мама без всяких временных рамок могла пребывать в этом уединенном месте

Вчера она вернулась из роддома – бесплатные дни в больнице закончились, и теперь она могла навещать меня два раза в день и неограниченное количество раз справляться о моем здоровье по телефону. В ее больничных бумажках, которые она так и не вытащила из сумочки, лежало приглашение посетить встречу друзей Сай-бабы. На прошлом собрании такие карточки раздавали всем, и старый доктор решил, что это мероприятие немного утешит расстроенную пациентку (он уже знал, почему она плакала у окна). В религиозном смысле Сай-баба со своим удивительным даром извлекать из собственного рта золотые яйца вряд ли мог кого-нибудь утешить, зато те, кто ходит на эти сборища, могут раздобыть по дешевке паломническую путевку в Индию. «Индия как раз та страна, которая может ее развеселить, – думал старый доктор, радуясь своей выдумке с карточкой. – Разве загадочная Индия может сравниться с глупыми подарками какого-то губернатора? Девочке надо ехать в другую страну», – решил профессор и под мерное тиканье опаздывающих часов задремал в своем кресле.

Но мама пока ничего не знала о приглашении. Порадовавшись отсутствию Тамары Васильевны, она немедленно уселась за стол и написала миллион записочек. Не жалея бумаги, мама рассказала старой квартирной хозяйке, как жестоко с ней обошлось государство, и что теперь она не знает, как ей быть – ее мальчик лежит под стеклом в крошечных носочках, связанных ворчливой нянечкой-паучихой (ее так называют, потому что она все время вяжет носочки инкубаторским детям) – и не может даже дышать нашим воздухом, а властям нет до него дела, и уж если на то пошло, плакала моя мама, размазывая слезы по бумаге, то она бы на месте губернатора подарила машину этой нянечке, и не простую машину, а полезную, вязальную.

Изложение собственной истории очень расстроило мою маму и, наревевшись, она уснула, так и не дождавшись своей квартирной хозяйки. Утром ее тоже почему-то не было – это мама успела заметить по дороге в туалет.

Среди уютных ароматов утренних омлетов и жарящихся гренок мама окончательно проснулась, разлепила распухшие от вчерашних слез глаза и увидела, что вместо туалетной бумаги на

красивой салфетке лежит старинная изящная тетрадка с ажурной надписью «Дневник стареющей женщины».

С явлением дневника матушке сталкиваться еще не приходилось. Сразу стало понятно, что дневник предназначен для какого-то исключительного сообщения. Спутанные волосы лезли в лицо, она торопливо откинула их со лба и открыла тетрадку там, где была заложена шелковая ленточка. От бумаги веяло пылью и древностью.

«С горечью узнала я о печальных событиях, произошедших в жизни моей квартирантки, – сочувственно писала Тамара Васильевна, расточая жалость на целую страницу. Это место мы вынуждены пропустись, потому что слезы застилали матушке глаза, и она с трудом различала буквы. – Велико мое негодование, но боль Сауле во сто крат сильнее. Ох, если бы она сумела пробудить в них чувство стыда! Как полезно было бы им испытать это чувство. Если бы эта девочка хоть когда-нибудь прислушивалась к моим советам (а она, к сожалению, даже пренебрегает регулярной чисткой зубов), то я бы сказала ей, что делать».

Заинтересованная матушка во все глаза уставилась в дневник, будто он превратился в волшебного оракула, который мог ответить на все ее вопросы.

«Надо всего лишь дать им понять, что они поступили дурно. Акция протеста должна быть простой и выразительной. Прежде всего, оскорбленной матери следует объединиться с легендарной нянечкой «Паучихой» и связать из крошечных носочков недоношенных младенцев символическую сеть, которую в день торжественного награждения (в зависимости от избранного пути протеста) можно накинуть:

а) на голову недалекого избранника народа, то есть, губернатора;

б) на вереницу подарочных машин;

в) на делегацию патриотически настроенных мамаш (это вариант я считаю глубоко идейным и эстетическим зрелищем – крошечные ножки-носочки недоношенных младенцев будут сдерживать их в безумном порыве и заставят отказаться от лицемерного подарка);

г) накинуть сеть на себя и в таком виде демонстративно пройтись мимо прессы, олицетворяя собой боль и упрек недоношенных младенцев».

Подперев голову кулаками, мама некоторое время просидела в задумчивости. В «Дневнике стареющей женщины» так часто повторялось слово «недоношенный», что она обиженно засопела.

В постскриптуме сердобольная Тамара Васильевна предлагала для символической сети несколько своих старых шерстяных кофт и даже изъявляла желание лично вручить их нянечке-паучихе. Была там и коротенькая приписка в повседневном духе: «Если эта бедная девочка, которая редко чистит унитаз, будет следовать указателям, развешанным в моих комнатах, то она сможет увидеть эти кофты и оценить, достаточно ли мягки нитки, чтобы согревать ножки недоношенным младенцам».

Матушка захлопнула дневник и прежде чем последовать советам хозяйки, занялась уборкой.

У нее еще было время подумать.

До церемонии награждения оставалось десять дней.

* * *

В открытое окно «КамАЗа» врывались резкие порывы ветра; дед рулил одной рукой и, щурясь, вглядывался в однообразную ленту дороги. Он не знал точно, во сколько начнется эта проклятая церемония, но предполагал, что с утра.

Я не думаю, что дед мой был фантазером или мечтателем, но пока он гнал на своем «КамАЗе» по разбитым дорогам области, он много чего себе представил. Он хотел приехать на площадь – у нас все торжественные церемонии в то время проходили перед зданием правительства – прямо так и въехать в эту разряженную праздничную толпу, чтоб на него сразу обратили внимание. И угрожающе так исподлобья на этих чиновников посмотреть. Чтоб их мороз по коже продрал.

Он-то никаких заявлений делать не будет и скандалить тоже не будет. Просто подъедет на самой большой машине и распахнет дверцу, а когда все мамаши получат по своей желтой «Оке», то его дочка медленно и торжественно сядет в «КамАЗ». «Можно ли взобраться в «КамАЗ» торжественно?» – смутно пронеслось у него в голове. К тому же, они заранее не договаривались встретиться. То есть договаривались – когда думали, что она будет в числе награжденных. И они вместе сядут и уедут. Или если дочка не сможет прийти, если ей обидно будет или там противно видеть тех, кто ее обидел, то он все равно въедет на площадь, и когда его попытаются остановить, когда милиционеры прискачут из оцепления и журналисты и спросят, чего ему тут надо, он скажет, что, мол, услышал, что сегодня здесь младенцам машины дарят, ну, и он решил подарить тоже. Вот эту самую машину, на которой приехал. И губернатор в этот момент сразу должен почувствовать неладное. И тогда еще надо добавить, что слышал, мол, что не всем дают, только не бракованным детям, ну, а он добрый, и бракованным тоже дает.

Дед радостно засмеялся и от нетерпения прибавил газу.

... Когда «КамАЗ» въехал на площадь, она уже опустела. На асфальте сохранилась праздничная разметка – тут стояли подарочные машины, – ближе к памятнику валялись обрывки ленточек и несколько упавших цветков. Опоздал!..

Расстроенный дед медленно прошел по площади – под ногами что-то приятно хрустнуло – он наклонился и увидел раздавленный пакетик с кондитерским маком. Он изо всех сил пнул пакетик ногой, и тот с громким шелестом отлетел к подножию памятника.

Несколько минут он раздумывал, кроша рассыпанный под ногами мак подошвами ботинок – этот звук успокаивал его, как бисерные шарики в мягких игрушках. Жизнь требовала действий.

Дед влез в машину и неповоротливый «КамАЗ» двинулся на Волжскую, 28 – к зданию, где располагались редакции всех мало-мальски значимых газет области.

Что он там делал, для бабушки Злихи осталось полной загадкой, ибо вернулся он поздно и немедленно погрузился в кресло. Злиха искоса наблюдала за мужем – он почесывал ухо, и на его лице время от времени появлялась легкая, счастливая улыбка.

Злиха нахмурилась и поглубже вжалась в мягкую спинку кресла. «Наверное, был у любовницы, вот и сидит как очумевший».

По телевизору показывали утреннюю церемонию награждения патриоток. «Уж это, – решила Злиха, рассеянно наблюдая за мелькающими кадрами на экране, – точно испортит ему настроение».

Камера дала обширную панораму площади. Подарочные «окушки», поблескивая мытыми стеклами, выстроились позади гордых матерей. Нарядные девушки широко и измученно улыбались. Видимо, маленькие патриоты уже успели задать им жару; тонкая кожа и темнеющие круги под глазами выдавали бессонные ночи. Яркое солнце, играющее в зеркальцах машин, трепещущие флаги, цветы, гроздья воздушных шаров и белые платья – странным образом все походило на выпускной бал, только кого и куда выпускают, было не совсем понятно. Вот одна из дам приятно улыбается и, придерживая платье, немного смущенно садится в автомобиль.

– Машины – дерьмо, – отрывисто бросил Жадыгер, пристально следя за каждым кадром.

Камера скользит мимо целого строя счастливиц. Они стоят вдоль белой линии – совсем как школьная линейка – и нетерпеливо заглядывают вперед. Ага, все ясно. Они ждут, когда к ним подойдет губернатор.

И вдруг пальцы Жадыгера, сжимающие подлокотник, разжались, и он подался вперед. Его лицо от бликов экрана стало мертвенно-голубым.

– Смотри, да ведь это Саулешка!– потрясенно сказал он.

– Где, где? – Злиха прекратила думать о своем и уставилась в экран, но там уже показывали затылок губернатора. – Я никого не вижу.

– Что ты за жена такая? Никогда ничего не видишь! То живот целый просмотрела, то дочь родную узнать не может. Говорю же тебе, стояла вон там, среди награжденных девиц!

– А чего ей там делать? – пожала плечами Злиха.– Говорила, не положено ей ничего, раз Раимка родился недоношенным...

– Не положено! А может – очень даже положено! – Жадыгер стукнул кулаком по дистанционному пульту, и тот испуганно подпрыгнул на подушке. По другому каналу новости еще не начались. – Отца она родного решила обмануть, вот что! Ишь как устроилась! И меня, значит, до конца жизни обирать собралась, и губернатора... А я-то для нее свинины не жалел...

– Это ошибка какая-то, – взмолилась бабушка. – Незачем ей нас обманывать.

– Нет никакой ошибки. По телевизору ее показали – телевизор врать не будет. Немедленно дай мне штаны. Я еду в город, прямо сейчас.

Он почти выпрыгнул из кресла и на ходу стал расстегивать домашнюю рубашку.

– Почему сейчас? Ночь на дворе. Давай хоть еще один выпуск посмотрим... Может, показалось тебе...

– Я в отличие от некоторых слепых мамаш, свою плоть и кровь живо узнаю, – рубашка полетела на телевизор. – Где мои серые штаны?!

– Они в стирке.

– Ну так синие давай.

– В спальне они, на доске лежат. Я их только что погладила.

– Никогда не хотел иметь дочь. Эта дочь – она вся в тебя! – обвинил дед, исчезнув в другой комнате.

– Да что же в меня-то! – прокричала Злиха. – Все говорят – вылитый ты.

На секунду из спальни высунулась его взъерошенная голова.

– Тихонькая больно! Все молчком да молчком... Э-эх... – он выругался, и по доносящемуся шуму Злиха догадалась, что он опрокинул доску с глаженым бельем на пол и теперь пытается в этой куче найти свои брюки.

Злиха испуганно прислушивалась к этим звукам, беззвучно шевелила губами, повторяя непонятные слова наспех заученной молитвы, и вдруг отчетливо услышала, как во дворе звякнули металлические ворота, раздались негромкие голоса и встревоженные бараны в сарае с испугу сбились в кучу. Кто-то пришел! Щеки Злихи вспыхнули румянцем. Она бросила молиться, выглянула в окно и увидела их! Их было семеро, и о большем счастье мечтать было невозможно.

– Жадыгер, Жадыгер! – закричала она, бросившись в комнату. Он стоял посреди смятого белья, засовывая правую ногу в штанину, и с трудом удерживал равновесие.

– Миссионеры... – выдохнула Злиха, ловко выхватывая из кучи белья платок и накидывая его себе на голову, – миссионеры приехали!..

* * *

– Ты уверен, что это лучше прищепок? – мама засунула палец в контейнер с белым перцем и осторожно лизнула.

Отец стоял за прилавком и снисходительно наблюдал за ней. Вот уже как пятый день он бросил торговать товарами серии «Все по десять».

Мама обошла прилавок со всех сторон. Вместо плоскогубцев появился кориандр, вместо пластин от комаров – связки лавровых листьев, тут желтели шафрановые горки, там морщился душистый перец горошком, ароматная гвоздика и корица ждали своих кондитеров, а крошечные зерна мака заманчиво чернели.

Отец стоял над этими восточными дарами и довольно, по-хозяйски, улыбался.

– Это лучше чем прищепки. Перец нужен каждый день, а прищепки – раз в жизни.

– Может быть, – мама пожала плечами и положила на зуб твердую терпкую гвоздику. – Значит, ты не пойдешь со мной?

– Куда я там пойду, у меня товар. Ладно бы еще давали что-нибудь...

Ветер тревожил бумажные фунтики, заранее свернутые заботливым продавцом для своих покупателей. Мама без аппетита разгрызла гвоздику и, поднявшись на цыпочки, вгляделась в овощные ряды.

– А эта твоя любительница «телепузиков» тоже тут стоит? Ты хоть ей сказал, что у тебя сын родился?

– Неужели ты думаешь, я буду скрывать это от кого-нибудь? – возмутился отец. – Весь рынок об этом знает!

Мама оглядела такие разные и спокойные лица соседних продавцов и сильно усомнилась в его словах. Ей вдруг стало очень скучно. Это было прохладное, летнее утро. Она стояла на рынке возле лотка с пряностями и не знала, что делать.

– Ну что ты будешь там делать? – словно читая ее мысли, спросил отец.

– Не знаю... Я еще не придумала... Я хочу на него посмотреть...

– Можешь на него по телевизору смотреть.

– По телевизору не то. По телевизору он меня не увидит, – тоскливо протянула мама.

Но моего отца в тот момент волновали совсем другие проблемы – он заметил, как тревожно всколыхнулись ряды и воздухе невнятно зазвучало слово «Складываемся!»

– Что случилось? – мама подняла голову и с любопытством посмотрела на подобравшихся продавцов.

– Менты, – пояснил отец и, нырнув под прилавок, вытащил большой целлофановый пакет, набитый чем-то шелестящим. – Держи, – он передал его через прилавок и посмотрел вперед. – И давай, живо отсюда уходи, слышишь?

Она заглянула в пакет и увидела там пакетики с обычным кондитерским маком.

– Что мне с ним делать?

– Что хочешь, – сказал отец. – Только не выбрасывай. Он денег стоит. Там, глядишь, продадим и кроватку Раимке купим.

– Хорошо бы, – кивнула мама и, обняв драгоценный пакет, затерялась в толпе невинных покупателей.

Когда лет в восемь до меня дошло, что отца в тот день могли арестовать, у меня аж дух захватило от восторга, честное слово. «Папа продавал мак любителям маковых булочек, – рассказывала мне мама в раннем детстве. – Булочникам надо было много мака, а много мака раньше было продавать нельзя. Государство не хотело, чтоб люди объедались маковыми булочками»,– деликатно добавляла мама.

Благодаря этим «булочникам» отец смог быстро снять квартиру, и мама переехала от Тамары Васильевны.

Много позже я догадался, что мак шел вовсе не на булочки...

Но мама восстановила авторитет отца, сказав, что папа быстро бросил это дело и стал гонять машины из Польши. Правда, денег это совсем не приносило...

Но я забегаю вперед...

Оказавшись с пакетом у фонтана, неподалеку от рынка, мама немножко подумала и поняла, что избавиться от неприятного груза она не успеет, – значит, придется тащить злополучный мак с собой на церемонию.

На маме была белая кофточка и белая юбка с черным котом на кармане – юбку она еще покупала в маскировочных целях, когда ждала меня, теперь же она спадала, и маме приходилось одной рукой придерживать пакет, а другой – подтягивать юбку. Но если отвлечься от этих досадных мелочей, выглядела она просто прекрасно.

На площади уже было довольно людно – журналисты и родственники счастливиц создавали внушительную толпу. Мама с достоинством прошла мимо милиции – в кармане с котом лежала справка о моем рождении, а это, по ее мнению, давало бесспорное право здесь присутствовать. Если они ее остановят, она мигом покажет им справку, и это будет что-то вроде пропуска.

В толпе не было ни Мели, ни Тамары Васильевны – да мама и не надеялась встретить их. Зато подобравшись ближе к виновницам торжества, она быстро разглядела своих знакомых по счастливой палате и живо дернула одну из них за блузку.

– Ох, Сауле! – удивилась она. – Что ты тут делаешь?

– Я просто... – вздохнула она, протискиваясь вперед. – Хотела за вас порадоваться... И на губернатора посмотреть. Я его так близко еще не видела.

– А можно тебе? – с сомнением проговорила девушка.

– Конечно, можно. У меня и справка есть, – она не стала уточнять, какая именно.

– Ох, ну ладно. Становись сюда.

Знакомые девушки расступились, и Сауле с пакетом мака заняла достойное место в этой веренице нарядных платьев и красивых лиц. Смею даже предположить, что моя мама была там самая красивая. Операторы с удовольствием наводили на нее объективы видеокамер.

Когда губернатор закончил свою речь и торжественно отправился к юным героиням дня, мама занервничала. Она так и не придумала, что же такое сделать, когда он поравняется с ней. Она так разволновалась, что забыла поставить пакет на землю и обнимала его так крепко, будто там был не мак, а живой младенец.

– Очень рад, спасибо, очень рад, – говорил всем губернатор, пожимая руки.

– Очень рад, спасибо, – он автоматически протянул руку следующей, поднял голову и его взгляд остановился на пакете. Лоб губернатора наморщился. Он ждал.

Вдоль позвоночника моей матушки скатилась горячая капля пота.

Она поспешно поставила пакет на горячий асфальт, выпрямилась и в упор посмотрела на главу области. Решение пришло в ее голову внезапно.

– Очень рад, спасибо, – повторил он, давая ей еще один шанс, но мама вдруг взяла и демонстративно спрятала руки за спину.

Раскрытая и вспотевшая ладонь губернатора неловко застыла в воздухе...

* * *

На следующий день во всех газетах города появилось странное объявление «Жадыгер Тлеккавылович Шукуров подарил новорожденному Раиму «КамАЗ» за то, что тот родился 12 июня». Объявление было составлено очень непонятно и при его печати возникла неразбериха. Некоторые газеты поместили объявление в отдел «Авто. Продажа», другие в «Отдам в дар», а третьи – в «Разное».

Но это не мешало моему дедушке радоваться, как ребенку.

Пока любезные миссионеры отдыхали с дороги у себя в комнатах, Жадыгер при помощи ржавых ножниц вырезал памятные объявления и складывал их в специальный конверт.

В эту самую минуту профессор Шишкин расстелил свежую газету на кресле и встал на нее, чтобы в очередной раз завести часы в своем кабинете. Из-под подошвы его правого ботинка выглядывала фраза «за то что тот родился 12 июня».

Тамара Васильевна, которая, кажется, вообще никогда не читала газет, положила ее под лист бумаги и вывела своим круглым почерком «Пожалуйста, уважаемый губернатор...» Она собиралась попросить его выделить вязальную машину для «нянечки-паучихи».

Мой дядя, двенадцати лет от роду, подошел к центральному стенду с газетами и обвел красным маркером доказательства щедрости собственного отца. Он старался делать это так, чтоб никто его не застукал.

Мой папа пока тоже ничего не подозревал о «КамАЗе»: он ловко свернул из свежей газеты кулек и насыпал туда стаканчик шафрана.

Моя мама этим утром тоже использовала газеты не по назначению – она мыла окна на их новой съемной квартире и мечтала о том, как завтра они заберут меня из больницы.

Слезая с кресла, профессор вспомнил, что сегодня должно пройти то самое индийское собрание, куда он «пригласил» Сауле посредством ловко подсунутой карточки. «Интересно, пойдет она или нет?» – думал он, выкидывая скомканную газету в корзину.

Тамара Васильевна запечатала конверт со своим самым проникновенным посланием и, встав перед зеркалом, стала поправлять волосы. Во время уборки она нашла на ковре странное при-

глашение: «Дорогой друг! Мы приглашаем тебя совершить удивительное путешествие в гости к всемирно известному исполнителю желаний...» А вы знаете, с каким уважением он относилась к тому, что было написано на бумаге.

Профессор не мог и догадываться, что его приглашение найдет не та смешная девчонка, а пожилая женщина. Ему и в голову не приходило, что эта старушка может купить паломническую путевку и отправиться в Индию «на встречу с Сай-бабой». А что? Близких и родственников у нее не было, кое-какие сбережения накопились...

Из Индии она написала маме подробное письмо. «Должна вам сказать, что здесь танцуют куда меньше, чем мы могли себе предполагать...»

Поначалу она жила в паломнической гостинице. Ей досталась койка рядом с бабушкой, которая, похоже, никогда не мыла ноги. Тамара Васильевна попыталась вразумить ее с помощью записок, но потом выяснилось, что старушка почти ничего не видит. Так Тамара Васильевна научилась не только писать, но и разговаривать.

Индия пошла ей на пользу.

Что касается моего отца, то умение ясно излагать свои мысли, привитое любезной Тамарой Васильевной, пригодилось ему при составлении многочисленных писем, заявлений и запросов, которые он старательно направлял в миграционную службу и прочие инстанции.

Мне было девять лет, когда он, наконец, получил это злополучное гражданство. Дед Жадыгер по этому случаю зарезал самого большого барана. Еще одного барана он зарезал, когда закончился срок службы того самого губернатора, которому мама не пожала руки. Я до сих пор помню, какой это был веселый праздник. Но в том возрасте я еще не понимал его значения. Мамин триумф длился какое-то мгновение, но я навеки вошел в историю нашей семьи как «сын той самой Сауле, которая не пожала руку губернатору».

Конечно, моя мама хотела, чтобы я стал великим ученым, певцом, композитором, вообще, кем-нибудь таким, кем могла бы гордиться целая страна. Она рассчитывала, что став знаменитым, я буду давать интервью и время от времени напоминать общественности, как меня торжественно признали «бракованным»...

Лично она не находила во мне никаких изъянов.

Не стоит говорить, что никем таким я не стал.

Я стал обычным врачом и даже как-то во время студенчества встретился со старым профессором. Он тогда уже не практиковал, а просто выступал на разных конференциях и заседал в научных редколлегиях.

– Прежде всего, – говорил он своим хриплым, старческим голосом, – мы должны научиться приносить утешение людям...

Тамара Васильевна нашла в Индии не только утешение, но и работу по специальности. Она ставила хореографические номера в стилистке индийских фильмов 70-х годов. Туристов вывозили на остров, раздавали удочки; они пили «индийский чай со слоном» и погружались в атмосферу «Зиты и Гиты». Она была совершенно счастлива.

Со временем маме пришлось смириться с тем, что я не буду давать интервью. Я начал работать в родильном отделении, а мама тут же начала вести счет каждому ребенку, которому я помогал явиться на свет. Едва число принятых мною младенцев достигло трехсот пятидесяти, она воскликнула: «Ну?! И кто из нас улучшает демографическую обстановку?!»

Единственное интервью, которое я давал в своей жизни, было посвящено вакцинации детей дошкольного возраста. Вставить туда памятную историю своего рождения я никак не мог. И мама на меня за это даже слегка обиделась.

Тамара Васильевна регулярно звала нас в гости, смотреть на слонов и туристов. Но в гости мы так и не собрались, уж и не знаю почему.

Видимо, просто были очень привязаны к своей стране.

Фаина ГРИМБЕРГ

Простое повторное стихотворение

Андрею, Тосе, Тиму Хайнсу

И немножко очень кощунственное непонятно что...
И
После Освенцима нельзя писать стихи
После того, как пообедаешь с Теодором Адорно,
стихи писать нельзя-а...
Нельзя, нельзя, нельзя!
Ну, так,
я начинаю стихотворение
Вы слушайте.
Давным-давно уже исчезнут вдруг все люди
Уже погасло электричество почти навеки
и тараканы умерли от голода
в покинутых людских домах
Так хорошо без человека на земле!
Кругом деревья зеленеют и трава растет
И все живые существа живут спокойно
и кушают друг друга в меру
и трамваев не изобретают
Летит орнитохеус шумнокрылый
Орнитохеус очень редкий долетает
до середины этой речки-океана
взмахнет большими динозавровыми крыльями
зубастым длинным клювом щелкнет громко-громко
и быстро-быстро полетит назад
Река огромная, конечно
Он летит
Он старый
И его совсем уже не любят
птицы-ящерицы-женщины
не выбирают больше
Он сидит нахохленный на дереве высоком
на высокой ветке
А внизу большие рыбы ходят
в большой речной воде
И никакого нет названия у этой речки-океана
она никак не называется

Фаина ГРИМБЕРГ родилась в городе Акмолинск (Казахстан). Окончила филологический факультет Ташкентского университета, специалист главным образом по истории Балкан, автор нескольких десятков романов, в том числе исторических, а также пьес, статей, переводов с английского, болгарского, греческого и др. Публикации в журналах «Воздух», «Знамя», «Континент», «НЛО», «Новый мир» и др.

ее название совсем не нужно рыбам
орнитохеусу и птеродактилю не нужно тоже
Но ведь очень скучно без названий
без человека очень скучно на земле
И над большой и травяной землей летит орнитохеус высоко
Внизу повсюду мощными стадами выбредают динозавры
прыжками прыгают
и медленно выпячивают золотые тени
едят деревья
очень вкусные деревья
и сильно пукают от этих вкусных съеденных деревьев
Но вдруг навстречу жизни распускаются огромные и белые цветы
их сразу опыляют осы –
каждая величиной с большую птицу
орлиную
и сразу очень пахнет нежностью цветочной
И пахнут сильной шумной вонью динозавры
и страшно сильно полнят воздух мощной сладостью
огромные цветы
большим цветочным духом
и дышанием огромного дождя
огромным океановым дыханьем
И огромные и треугольные чешуйчатые крылья
несут орнитохеуса вперед
А все-таки без человека скучно!
Хотя бы пробежался кто-нибудь в плаще из легкой шкуры леопарда
хотя бы засмеялся и заговорил
войну бы развязал с другими племенами
победно застучал бы в барабан и в бубен
затанцевал бы на песке, утоптанном его ногами
и произнес бы тихим голосом:
«Какая красота в природе!»
Ой, как без человека скучно!
Если бы вы знали!
А вот и человек идет!
Младая незнакомая людіна
по имени Бабенко Антонина
Солнечная плещется вода
И девушка идет в купальнике без верха
в красивых красных узких трусиках
так медленно ступает
так медленно ступает длинными красивыми ногами
так медленно ступает босиком
так медленно
ведь надо чувствовать песок стопою легкой
и маленькими пальцами красивых стройных ног
И эту солнечную ветреность ведь надо чувствовать горячим голым телом
и наготою грудью девичьей
Каштановые шелковые волосы раскинула на плечи гладкие

приласканные солнцем
раскинула каштановую гриву кентаврицы-девушки
Она идет,
а в девичьей гортани
припевно плещется единственный язык,
в котором странное слово «человек» –
женского рода
И потому зарифмовать «свобода» –
возможно...
Ветер-ветерок навстречу
От солнца яркого зажмуришься
увидишь греческий корабль-триеру
увидишь Геродота на корме
– Вот Борисфен! – раскидывает руки Геродот –
О ти кала пу инэ!
Наконец-то!
Как хорошо!
Навстречу Нереида
спешит по мягкому горячему песку
– Ні! Это Днепр! – смеется Тося Геродоту
И вот уже навстречу Борисфену
который Днепр
вдруг выплывает челн
Гостяты бар Когена
он в Каир везет письмо
Река не плачет больше никогда!
Зеленые и пестрые сады гуляют
И соловей
поет, как Натали Десей
Как хорошо!
Теперь повсюду боги дышат
Всё как-то называется
Трезубец вскидывает Посейдон
Перун усы такие золотые брови хмурит
Богини все качаются на пестрых во лнах
Всё как-то называется
Тебя зовут Андрей,
меня зовут Марина
Ой, речка Днепр,
ты долгий длинный океан!
Тебя зовут, наверно, Борисфен!
Ты Борисфен! Тебя зовут, наверно, Днепр!
Ты долгий длинный синий океан...
И никому ни строчки не внушая,
о том,
какая здесь кругом
растет взаимосвязь,
гуляет океан,
река идет,
река течет большая

Река не плачет,
и течет, смеясь!..
И мы случайно прилетим в космической ракете на планету,
которая зовется Гея,
потому что мы хотели прилететь!
Разверзлась потому что бездна –
очень страшно! –
кто близко подойдет и сразу в бездну –
бух!
Но мы ее огородили, написали,
что здесь ходить пока совсем нельзя!..
Не!
Вся я не умру!
Возьму и не умру!
И вы не умирайте,
если не хотите!
Мы здесь работаем,
заделываем бездну,
чтобы никто не падал больше в эту бездну!
Мы кирпичи таскаем
и бетон песочный месим
Вон Коля Федоров идет с лопатой
Вон Гераклит с киркою к нам бежит
Скорей! Скорее!
Присоединяйтесь!
Вон Маша Ходакова,
как всегда,
на коромысле нам несет живую воду,
живую воду в оцинкованном ведре,
плескучую...
А если мои глаза больше не будут видеть?
Нет...
Вот...
маленькое смешное стихотворение
Он был плезиодапис
предок человека
А я была тираннозавр
немножко страшный
Мы были счастливы,
но многое мешало –
метеоритные дожди,
другие разные живые существа,
которые кусались,
а также климатическая муть
И вот однажды
я исчезаю
Он, конечно, остается
Он видоизменяется
теряет хвост пушистый
изобретает колесо, бумагу,

кинематограф,
клещи,
пишет много книг
И мой скелет однажды раскопав,
он поместил в музей
И часто он приходит
и смотрит на меня, и думает о чем-то
Наверно, любит все еще...
И вот и одна линия точек
.....
Я надела босоножки и одну минуту думала, что я не такая, как сейчас,
а молодая
И неужели никогда
нельзя будет идти живыми легкими ногами
бежать
бежать по лестнице
легко-легко
по этим каменным ступенькам
без костылей
без палки
только не кому-нибудь
легко-легко бежать
а мне
И неужели никогда
нельзя будет опять кого-нибудь любить
но не кого-нибудь –
не надо! –
а тебя!
И не так, чтобы вдруг становилось,
делалось удивительно больно в груди,
где косточка,
и удивляюсь тихо-тихо,
что вот может быть боль такая...
Не так, и не так,
а чтобы опять бежать легко, и кататься на речном кораблике,
и чтобы ты нес меня на руках...
Послушай!
Вот что я тебе скажу,
Андрей!
Когда-нибудь, когда не будет нас,
тебя, меня
и всех других,
которые сегодня живы,
а маленькая Тося,
молодая Антонина
чужая девочка
войдет старухой сановитою в какую-то другую жизнь,
которую ни ты, ни я, мы не узнаем
и не узнаем вечно
не узнаем никогда!..

Но это ведь неправда!
Этого не может быть!
Мы будем жить всегда
И вечно молодая Антонина
всегда у нас все время будет вызывать
приятное и очень горестное чувство
зависти и любованья...
И нет!
Мы тоже будем вечно молодыми...
И чтобы ты нес меня на руках...

(Закончено в июле 2009 г.)

Виталий ЗИМАКОВ

* * *

Зое

1.

я не то что устал за лето просто схожу с ума
на ближайшей к тебе а там два парсека и угол крейсера
три созвездия базилик зира и куркума
или ~~ломких молитв~~ молний автограф-сессия
так на одном дыхании редкоцветений сплав
берингово amore мой шепелявый почерк
так вот и спим друг-другу в рамках пернатых прав
как логосил не помню автора этих точек

2.

так свежескошен воздух на дне циферблата смят
в перегоревших звёздах речных наяд

всё что с тобой рифмовалось пелось в горсти прости
пасека звуков завязь смени пласти

вспомни о шервурдской лете сказки в семнадцать карат
впрочем и этот ветер не вариант

в новом созвездии стерха вереск и бересклет
выбери себе эхо на вкус и цвет

* * *

осень пасхи на острове тени
выцветших птиц
из света и фетра
нож у подножия сьерры
рисунок наскальных
растений слоёного ветра
из-под ресниц
плюшевого робеспьера

Виталий ЗИМАКОВ родился в Москве в 1983 году. Публиковался в журналах «Волга», «Дети Ра», «Новый берег», на сайте polutona.ru, в электронном журнале «Новая реальность».

* * *

m. k.

так сказать подсолнечным винсентом
вполоктавы вечер разлинован
вдаль за умозрительным абсентом
по абсциссе невесомым словом
за струной страны о геростратe
лир герою в проливном подполье
козни конструировать некстати
из самшита или из секвойи

* * *

о границах винограда
что-то знали полиглоты
освежёванной эрато
садоводы пашут оды

этот шепелявый почерк
прочерк тающий подкожно
эхом вышитый платочек
воркованьем осторожным

день подробно обескровлен
без существенных осадков
крокусы сажает кроули
на своих оккультных грядках

* * *

I. всё дело в одноклеточном письме
чем в лучшем случае был хуже но недолго
античная москва в твоём пенсне
про шелест ела юнкерс сбитый с толку

II. который час тем более рцы ферт
мы варвары для них мой стрёмный брат
на чёрной площади немотствует концерт
вброд пересечь нам жребий брошен мкад

III. дай слово мне потяжелей вон то
в порядке очереди плавился планктон

и песня выступала на губах
и песня:

«и было ныне слеплено комарье
виварий снов с отмычками-смычками
сплетут венок из нас иван-да-марья
за пазухою бога птица-камень
и переспевший дождь и вой сирени
и камень птицей в одно небо дважды

на небе или на небе круги
расходятся на западе темно
намотанная на веретено
гроза в начале мая от луки»

* * *

*(сквозь бессло-весной ставень
утро внутрь прокрустовой ложке
так и оставим
на этой вот части обложки)*

редкий подвид героев
комнатное растение
плачь его видишь
  смеётся тонкими иглами
 играми тени и тени и
также дождя штрих-кода
также как звук падения
сл***о***ва на дно колодца

Андрей ПЕРМЯКОВ

Стихи для Лены Горшковой

* * *

В парке отдыха делают пончики.
Дым уходит пустыми колечками.
Бесконечное лето закончилось,
значит, кончится всё бесконечное.

Колесо обозрения медленно
переходит в режим ожидания.
По проспекту обратными петлями
небольшого оркестра рыдание.

В жалкой музыке тонкой просодией
обещание наоборот:
всякий слышавший эту мелодию
непременно ребёнком умрёт

* * *

Д. Н.

Придумаю: «ушла, оставив сны».
А надо бы спокойнее: «не любит».
Так пишут: «Армия отходит вглубь страны»,
Когда вокруг уже ни армии, ни глуби.

Оранжевый тигрёнок или клён
через забор из голубиной стали
глядит на разночинный стадион:
они опять кого-то обыграли.

Прожектор разворачивает день
как полотно на маленькой арене.
Тень обнимает маленькую тень
и шепчет тени то, что шепчут тени.

Андрей ПЕРМЯКОВ родился в 1972 году в городе Кунгуре Пермской области. Окончил Пермскую медицинскую академию. Публиковался в журналах «Волга», «Дети Ра», «Урал», на сайте polutona.ru. Лауреат литературных фестивалей «Свезар» (Екатеринбург) и «А-Либитум» (Пермь), организатор фестиваля поэзии «Камский Анлим» (Пермь). Живет в Подмосковье, работает на биотехнологическом производстве.

из снов

Два снегиря, ещё два снегиря –
четыре на холодном фонаре –
перелетев с картинок букваря,
танцуют в декабре как в декабре.

Но фонари горели и горят,
и ветками на рукавах прохожих
рисуют тени или негритят
и тени негритят рисуют тоже.

Качель простая, как велосипед,
печальна оттого, что скоро лето.
Снежинки, попадая в рыжий свет,
становятся оранжевого цвета

и сыплются на будущий газон
скрываемые тенью снегиря
оранжевый прозрачный горизонт
определён ведёрком фонаря.

За горизонтом – тени, рукава,
прохожие дежурного покроя,
под снегом некрасивая трава.
Нас двое.

Футбол

I.

Летом восьмидесятого года дорога к реке
Была возле стройки на городском стадионе.
Следы на гудроне надёжней следов на песке,
Следы на горячем асфальте надёжней следов на гудроне.

Ветер бросает птицу тебе в лицо,
Как телезвезду под прицел фотокамер.
Свет и вода обернулись в большое кольцо.
Ветер остановился. Нет, не остановился, но замер.

Звук чёрно-белой моторки перерезает зной.
Приоткрывается первая из Америк:
«Всё происходит. И всё происходит с тобой».
След на воде отрезает противоположный берег.

II.

А на Москве-реке немножко другие чайки.
Вон одна ухватила рыбёху и уходит винтом.
Так от немецких защитников уходил Бурручага
На стадионе Пуэбла в восемьдесят шестом.

А на Москве-реке чайки с серыми головами
Смешные и наглые почти безо всяких мер.
Рыбаки поминают их матерными словами,
как после страшного матча Бельгия-СССР.

А количество встреч равно числу поражений.
Человек опускается на золотые доски.
Свет и вода переходят в степень смешения.
Рядом садится чайка по имени Лобановский.

И если закрыть глаза, то не было всех этих лет,
как раз потому, что все эти годы действительно были.
Ветер поправил звук, поставил правильный свет
и поднял одиннадцать столбиков чуть красноватой пыли.

* * *

Бабушка перебирает картошку,
откладывая гладкую на семена.
Соседская девочка Эля играет с Тотошкой
(это их настоящие имена).

Там вообще всё было таким настоящим,
что до сих пор отражается в малоподвижной воде.
Жёлтые клубни падали в сломанный ящик,
как жёлтые жёлуди в книжке о Моховой бороде.

В мягких ладошках небольно царапалась птица,
сын тёти Зои прикуривал от букваря;
если случится то, что конечно случится,
буду хотеть не покоя, но долгого сентября.

Москва-Рязань

...вписывал в клеточки длинное: «полураспад»
Выспался, хрюкнул, сказал мне, что кепка смешная.
Автовокзал и весь город сыплются как листопад.
Мёртвый, прозрачный и жёлтый до самого края.

Без вести девять. Тихонько гуляем за водкою.
Люди и кошки орут, а так ничего, тишина.

Ветер гоняет газету с военными сводками,
тени играют качелями или подводными лодками.
Серая-серая, чёрная наша весна.

Серые-серые, чёрные наши обиды,
Добрая наша, родная империя зла.
Что-то закончилось. Из магазина не видно –
В марте прозрачные окна всегда зеркала.

Скоро узнаем чуть больше о слове прощаться.
Вот представляешь: капкан, что сработал, но не сомкнулся.
Город поставил будильник на «не просыпаться».
И не проснулся.

Детское

Двое через еловый, наглые, точно мыши.
Этот, большеголовый, через полвека напишет:

«Мы часто гуляли вместе, и никогда – домой».
А мне всегда интересней, куда уходит второй.

Он был умнее, старше. Скажут: не повезло.
Бабушка варит кашу. Муха стучит в стекло.

Прятки

Спрятался между стеною, окном и шкафом.
Начал смотреть на стенку и безобразный шкаф.
Длинная трещинка напоминала шарф для жирафа.
Шкаф был большой и пятнистый, как настоящий жираф.

Очень хотелось уснуть, чтобы долго искали.
Сжался в комок, засыпал, выбиваясь из сил.
Полузнакомая тётка кричала «Наталья»!
Так называли Наташку те, кто её не любил.

Нет, не уснул, но искали действительно долго
(позже случалось и дольше, милиция – это не в счёт).
Сон оборвался, как переломилась иголка.
На кухне течёт. Ну и пускай течёт.

Евгений СИДОРОВ

* * *

В Медведково будет дождь
В карманах ее пальто
Он достает ствол затвор
Клинит револьвер
Безотказная система
Хиггинс 88 лонг райфл
Тишина тихо тщщщщ
Птицы пока молчат
К вечеру изгадят
Воротник и плечо
Пойду на рынок
Пару носков и шапочку
Твое время придет
Я тебе сука
Еще снесу череп

Забудь

Курить в форточку говоря а мне как то пох...й на то
Что воняет в квартире газом тухлым супом гнилыми зубами
Давно не стиранными шмотками ботинками опять наступил
В собачье говно хоть на это везет
А завтра пойти в парк аттракционов прокатиться на карусели
Сблевать пойти съесть чебурек запить прокатиться еще
Потом на колесе на самом верху стошнит на головы птицам
Они съедят они любят деликатесы
Ночью гулять по переулкам нарваться получить пи...ы
Под утро очнуться на рэйве дать пи...ы самому
Поймать тачку орать на водилу заехать по голове
В лицо струю из баллона жжет сесть на поребрик
Закурить

Евгений СИДОРОВ родился в 1984 году в городе-сателлите Екатеринбурга Верхней Пышме. Учился на факультетах журналистики и культурологии Уральского госуниверситета. Работал продавцом велосипедов, копирайтером. В настоящее время работает менеджером в рекламном агентстве. Стихи публиковались в журналах «Воздух», «Урал», «ZAART», в альманахе «Вавилон», сборниках «Дебюта». Лонг-лист премии «Дебют» (2005), шорт-лист «ЛитературРентгена» (2005, 2006). Специальный приз жюри Премии «ЛитературРентген» (2007).

* * *

Извини больше так не могу прояснило мне мысли
Сто грамм для начала сегодня я видел грозу
Щурясь на яркие сполохи ночью сгорал до конца
И мечталось без перерыва о тундре лишайниках
Ягеле снах и бутыли с компотом из сухофруктов
Что продают казахи в белых рубахах и длинными
Финками в яловых сапогах телесного цвета
В доме на Огнеупорщиков раньше можно было увидеть
Мужика в зеленом кимоно он показывал каратэ
И подманивал детишек конфетами швыряя их
Вниз улыбался и что-то себе бормотал
Он был совершенно незлой но его почему-то
Боялись дразнили ему было весело по ночам
Он грустил приемы его никому не нужны
Дети спят дома

Илья ИОСЛОВИЧ

* * *

Граф Потоцкий к себе возвратился домой,
Его гроб с золотой бахромой,

И Сикорский вернулся услышать салют
С поминальным обедом в одиннадцать блюд...

Регент едет назад на холмы в Будапешт,
Где играют оркестры и время надежд,

А история ходит кругами
И хрустит под ее каблуками.

2006

Ю. Карабчиевскому

Когда я слышу слово «блядь»,
Я не могу вам передать,
Как это гнусно.
Услышав поутру рожок,
Ты выдь на улицу, дружок,
Там очень пусто.
Как будто не досмотрен сон,
И кто там – Смит или Вессон
Торчит в тумане,
И смотрит в грудь или в висок,
Мамзель, ваш розовый сосок
На барабане.

1990

* * *

Зима, кончается бассейн,
Осталось чуть от жизни всей,
Которой век короткий,
И видно дно коробки.

Проходит жизнь, как божий дар,
Спит на скамейке санитар,
Блестит во мраке фикса,
Мерцают воды Стикса.

2000

Илья ИОСЛОВИЧ родился в 1937 году в Москве. В 1957–1958 годах был членом литобъединения МГУ на Ленинских горах. С 1991 года живет в Израиле. Публиковался в журнале «Волга», в газете «Московский университет» и в литературном приложении к ней, коллективном сборнике «Радуга», в самиздате. Автор книги стихотворений «Избранное: стихи разных лет» (1997).

Елена ГОРШКОВА

* * *

...выхожу из ванной, не сплю второй день,
если точнее, тридцать четыре часа,
что же тут странного, что мне слышатся голоса
и мерещится, будто мне говорит моя тень:
«Девочка, глупая девочка, куда ты хочешь от нас убежать,
мы же тебя в кулачке над пропастью, и стоит только разжать,
ты же у нас на крючке, не рыпайся, все равно попадешь в наш улов,
видишь, мы смотрим искоса изо всех четырех углов,
ну что ты кидаешься тапочком, что, как дурная, кричишь?»
А у соседей в комнате шумит, убегая, мышь.
И вот прохожу к себе, и вот подхожу к столу –
и кроме рогатой вешалки, нет ничего в углу.

Беседы с подругами

Одна подарила красные бусы.
Вечер приготовился слушать, притих,
синий, как бутылка Liebfraumilch
на столе перед нами. От нежного вкуса
я расслабилась после второго бокала.
Но я ничего не сказала.

С другой пили чай. Она верила в Бога.
Я случайно сказала слишком много.
Она говорила: «Даю неделю –
повздыхать и забыть, повздыхать и забыть... давай
забывай, выкарабкивайся, выбирайся и выбирай».
Мне вспомнилось цветаевское: «ад мне кромешный – рай».
Я в этой строке всегда пропускала тире
и не понимала, бывает ли рай кромешным.

Как рано темнеет в январе.
Теперь я все понимаю, конечно.

Фолклендские острова

Когда мы читали Кольриджа и верили в больших птиц,
он назначил место: Фолклендские острова.
Мы вечно были голодными,
его опять отказались публиковать,
но он говорил: если проживем достойно эту,
в следующей оперимся и окрылатимся,

Елена ГОРШКОВА родилась в 1987 году в Рязани. Окончила филологический факультет МГУ. Живет в Москве. Публиковалась в журнале «Урал-Транзит».

запомни, Фолклендские острова, Фолклендские острова,
а потом вокруг Антарктиды, всегда вдвоем.
Столько времени прошло с тех пор,
что можно облететь Антарктиду несколько раз,
столько изменилось, что даже странно,
что материки еще на своих местах,
а я так и не придумала, как сказать ему,
что я не хочу на Фолклендские острова.

Халид МАМЕДОВ

* * *

Меня не вернуть и не выдумать снова.
Но ты *не грусти и бровей не печаль.*
И все же: былое – нога Тягунова,
здесь жалкий калека обрел свой причал.

Наверное, жив и, спасаясь от боли,
сидит за компьютером до десяти,
качает кино в три икса и приколы.
Меня не вернуть и меня не спасти.

А ночью меняет себя без вопросов –
пшеницей на пули, летит до зари;
на сердце свободно, и строки – колеса –
несутся, не глядя, что мир раскололся
на тот, что придуман, и тот, что внутри.

Ведь хочется так, не по чистой дороге,
летя через грязь, чтобы глубже запасть,
себя запрокинув заполненным рогом,
не сесть среди прочих стаканов – упасть.

...Не помня о мире – взаимно, вдвойне! –
лежать у дороги – в говно и в говне.

* * *

Вот и праздник житейского дна.
И душа, что сама себя высекла,
задолжав – ни покоя, ни сна –
за квартиру, готовится к выселке.

Можно выброситься из окна,
если трудно скончаться от старости.
Ничего не меняет стена –
две квартиры похожи до странности.

* * *

Ранение сквозное затянув,
пошло на боковую небо, глазки
на остросоциальную страну
прикрыв, на почерневшие повязки.

Халид МАМЕДОВ родился в Махачкале в 1982 году. Закончил в 2008 год физический факультет Волгоградского государственного университета. Живет в Волгограде, работает продавцом-консультантом. Нигде не публиковался.

– И без тебя нерусских здесь полно, –
настало утро, глядя исподлобья. –
Не жалуйся на небо, что темно:
другие дни настанут. И угробят.

Погода переменится на ту,
что не посмотрит, за ты или против;
когда ветра подуют, патриоты,
сгоняя туч приезжих черноту...

Вячеслав ЛОПАТИН

Саратовская школа
Эволюция. Контекст. XIX-XXI века

От редакции:

Книгу, фрагменты которой мы уже представляли («Волга». 2008. №1), художник, реставратор Саратовского Радищевского музея Вячеслав Лопатин пишет чуть не всю свою жизнь («всею своею жизнью»), и работу над ней не считает оконченной. Текст движущийся, меняющийся, развивающийся: только в процессе подготовки к печати (около года) мы получили восемь (!) авторских вариантов.

Вяч. Лопатин редко прибегает к прямому высказыванию, но предпочитает искать свое видение мира через высказывания других, через коллаж цитат: в целом же выстраивается сложное, нелинейное повествование, в котором каждый фрагмент не только имеет собственную цену, но и является частью общего сюжета. Такая система обусловлена его пониманем «авторства»: «Когда столькими предшествующими ***сказано*** *– разве мы можем претендовать?..»*

Труд объемный; в журнальном варианте мы сохранили в первую очередь эпизоды, связанные с Саратовом – и вместе с тем обладающие общекультурным значением. Большинство из них, в том числе и зафиксированные непосредственно автором книги, публикуются впервые – например, воспоминания популярной ныне художницы-примитивистки Лидии Ивановны Суворовой-Алферовой (Вяч. Лопатин был первым, кто оценил ее неординарность), воспоминания об Акмолинском лагере жен изменников родины – «АЛЖИРЕ» – Зои Михайловны Олехнович. Бесценна работа автора по сохранению наследия поэта Валентина Ярыгина, по сохранению многих фактов истории и культуры.

Особенности авторской пунктуации, а также своеобразную манеру автора в цитировании, в подаче био- и библиографических сведений мы оставили без изменений.

В целом текст Вячеслава Лопатина – о том, в каком хаосе идеологии, времени и событий существует «личность, содержащая потенциально художника, поэта, философа: восхождение к Первообразу, Первослову». Надеемся, продолжение будет.

Автор выражает признательность за помощь в подготовке текста Елене Арндт, Геннадию Юрьевичу Шмидту, коллективам Радищевского, Краеведческого и Фединского музеев г. Саратова.

И для коих не красив –
утром, – что, не ухарь?
сей начнёт, заголосив –
мирозданье рухнет.
Потому что есмь петух! –
хоть вы и померкли –
белый свет всё не потух! –
так-то, Юмы-Беркли!
Ярыгин

БОРИСОВ-МУСАТОВ;
ПАВЕЛ КУЗНЕЦОВ,УТКИН, МАТВЕЕВ, ПЕТРОВ-ВОДКИН;
ВЕБЕР, ЦАПЛИН, ЩЕГЛОВ, ЮСТИЦКИЙ;
ГУЩИН, ЧУДИН;
«музейные художники» – АРЖАНОВ, СОЛЯНОВ, ЛОПАТИН, ПЕРЕРЕЗОВА;
СУВОРОВА-АЛФЕРОВА;
«ЖЕЛТАЯ ГОРА», «актуальное искусство»;
2015–2020 гг. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КОНЕЦ СВЕТА (предсказанный циклической теорией искусства Шмита – Прокофьева);
XXI **ВЕК: РЕАНИМАЦИЯ ЖИВОПИСИ – основа «Формула цвета Чудина»; нематериальный** носитель цвета – длина электромагнитной волны; ближайшая аналогия – музыка; живопись ли это будет?

1889 ГОД. ...Какую свою «школу» может создать Саратов? – спрашивали его. И Гектор Павлович Баракки... – Какую школу?.. Благословенная природа этих мест сама подсказывает нам ответ. Цвет неба, прозрачность далей. И... чистые звонкие тона, их контраст... Нужно – смелость. Много! ...О, это будет «Школа Солнечного Города»!..
Константин Шилов. Борисов-Мусатов. – Москва: Молодая гвардия, 2000. С.67.

1893 ГОД. ...ИСТОКИ ПОНЯТИЯ «САРАТОВСКАЯ ШКОЛА»
...трактир «Саратов», располагавшийся у Сретенских ворот и в шутку именовавшийся художниками «академическим центром». *В. П. Лапшин. Из истории возникновения и первых лет деятельности Московского Товарищества художников. – Сб. «Советское искусствознание». 1978. №2. С.176.*

2000 ГОД. ...Есть объективные причины. Саратовская земля помазанная Богом: слишком много случайностей – музей, такие имена... все в предыстории – и на основе музея была наработана высокая культура. *Солянов. Обсуждение выставки «Гущин – Аржанов».*

2000 ГОД. ...Традиция преемственности. Боголюбов, европейский художник, и рядом с ним Добиньи, Коро, Монтичелли – теперь они и с нами. Борисов-Мусатов, мастера «Голубой Розы», Юстицкий – учились в Париже. И Гущин, взяв все «у Европы», предпочел Россию... Радищевский музей... уровень должен сказаться!.. *Перерезова. Обсуждение выставки «Гущин – Аржанов».*

РУБЕЖ – переход русской живописи XIX века к современному этапу изобразительного искусства «искусствоведческой наукой» обозначен Великой Октябрьской Социалистической Революцией – этой датой долгие годы столбилась экспозиция отдела «Современное искусство» Радищевского музея. Воссоздание отдела пересмотрит, в новом контексте, понятия «саратовская школа», «современное искусство»... имена художников.

1900-1910 ГОДЫ. ЛИДИЯ ИВАНОВНА СУВОРОВА-АЛФЕРОВА (1901-1982)

Я родилась на Волге. Отец мой был рабочим, матросом на пароходе. Он простудился и умер. Я еле-еле, смутно помню, он меня на коленях держал. Борода, я помню, у него была большая.

Когда отец умер, дедушка не в состоянии был нас прокормить. Умерла у него дочь Аксинья, тетя Окся, Оксинька ее звали, от нее двое сирот осталось. Да нас у матери трое было. У дедушки пять душ, а он старый. Василий Яковлевич Юдин – дедушка. Он всегда был приглажен, волосы мазал маслом лампадным. Когда кулачные бои были, у дедушки полбороды вырвали, она потом отросла, но половина черная, а другая белая. У нас в Золотом край Рыночный, край Колоярский и Колузаевский. И всегда как с девушкой кто-нибудь гулял с другого края – обязательно был кулачный бой. Ребята начинали, старики кончали.

...Что я с детства любила – это природу. Лес. Петь. У меня чудесный голос был, а потом я его загубила. В лес пойду, пою на весь лес и на полянке засыпаю. Я всегда одна любила ходить в лес. Бабушка готовила, дедушка занят точкой удочек. Любила шум леса, пение птиц. И сейчас люблю, и тогда любила. И под эти песни лесные и шум лесной засыпала. Потом просыпалась и ориентировалась по солнцу куда идти – или на Черебавы идти, поселок около Ровного, или на Волгу.

Я очень любила собирать грибы, мы их заготовляли на зиму. Все время на солнце, в воде. Ежевику любила собирать. Нам попадало от ос, а волосы длинные, косы большие. И вот смотришь, ищешь, роешь грибы и на ос нападешь – из волос не выгонишь, кричишь по всему лесу. До школы еще было **(картина «Пахнет сеном над лугами» из серии «Старая и новая Волга» принадлежит Саратовскому областному музею краеведения – В.Л.).**

Бывало, я пела. Вот моя картина – ночь на Волге, тоже по впечатлению. Выхожу – на завалинке, и пела, пела. Сначала у дедушки не дом был, а изба – их было два брата, они жили вместе. А потом избу он продал, братья построились на два дома. Вот – моя картина! – это была с улицы, с сеней дверь в переднюю, а та комната задняя. Было три окна. Печь обогревала две комнаты. Бабушка готовила **(«Деревенская изба» из серии «Старая и новая Волга» принадлежит Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику – В.Л.)**. Без воды дедушка никогда есть не садился. Хлеб, соль и вода. И только тогда начинали есть из общей миски, когда дедушка скажет. А то один все съест, а другому не достанется **(«Семья крестьянина-волгаря» из серии «Старая и новая Волга» принадлежит Радищевскому музею – В.Л.)**.

Мяса мало было. Летом луку, черного хлеба, водой сырой запьем, да так наедимся, лучше всякого пирожного, вот наша еда замечательная. Мелкую рыбу ели досыта. От стерляди нам, ребятишкам, доставались только головы и хвосты, они хрящевые, серединка помягче – ее дедушке с бабушкой на еду и продажу.

Рыбы. Сухой, бывало, насушит дед. Жарили – лещ, сладкий, большой. Летом уха. Уха и уха, уха и уха. Зимой налима любили. А Волга была тогда казенная и сдавалась в аренду частнику, хозяину. Рыбу дед ловил на хозяина. Сдавал осетров, сомы, стерлядь. Там измеряют – рыба мерная и полумерная. Мелкую рыбу не принимал хозяин, ее ели сами и потихоньку продавали. Но сначала нужно было нести взятку, подарок приставу, попу и базарному стражнику. Если стражнику не дашь – оштрафует. Если попу не понесешь – без бога и умрешь, не похоронит. И приставу несет – сам-то не понесет, бабушка носила. У нас базарный день был в четверг. Покупатели приходили к ловцам на дом, так как рыба была в воде, в ванде – приспособление из прутьев. Рыба была в ванде всегда свежая.

Если дедушка ехал ловить рыбу, то нас, детишек, брал с собой. И сети, и перетяги, и снасти. Брат садился за весла, а меня брали, чтобы не оставлять дома одну. Ехали ночью и всю ночь до зорьки ловили **(«Сборы на рыбалку» из серии «Старая и новая Волга» принадлежит Музею наивного искусства, Москва – В.Л.)**. Мы ели только рыбу, но иногда хотелось и молочка попить, и яблок. Мы что делали. Вот начиналась уборочная – нужно перевозить хуторян через Волгу. Мы, ребятишки, садились за весла и перевозили. За это нам давали арбузов, молока, кто кислого, кто сладкого. Деньги за перевоз мы не брали. Это было дополнительное питание к рыбе.

Мы, малыши, зимой помогали дедушке удочки точить специальными напилками. Он их подготовит, потом смажет чистым дегтем, чтобы они не ржавели. Для стерляди удочки потоньше, поменьше. Большой перетягой осетров ловят. На перетягах к каждой удочке привязывалась круглая балберочка, похожая на пробку, сделанная из толстой коры. В конце перетяги камень, якоречек маленький, на канатике привязывается. Шпагатики дубят, кипятят с дубовой корой – они не пропадают в воде долго. Сети вязал сам дедушка. Покупали старые сети, распускали и еще туда добавляли новых. Вязал иглицей. А дети распускали старые сети. Жилось очень трудно. Между прочим, я еще помню, еле сидела, ногами болтала, а уже распускала сети. Помогали. Привязывали на крюк, потолок низкий, и раздергивали. Иначе нельзя, есть было нечего. Не работала тогда, когда только лежала. Как помню себя, так все время: полы мыла, вот такие ведрышки у меня, бабушка носит воду, и я носила, стирать – и я, полоскать, на Волге холодная вода – и я тоже, помогаю бабушке.

Простудилась, тебя в баню – напарят, а потом дома на печку – все сбежит.

Дед и бабушка ложились как стемнеет, ну и вставали рано, часа в три. Ни дедушка, ни отец не пили, не курили, жили очень дружно. Отец целое лето на пароходе, а зимой в мастерских – ремонтировал пароходы. Отец отца умер ста двадцати лет, а мать ста десяти лет. Они были хлеборобы, крестьяне, жили не в Золотом, а в Малой Дубовке. Они были староверы, кулугуры, а дед и бабка были православные – они были по материнской линии. Там тоже домик завалющий. Помню с братом навестить пошли через лес. Не помню, сколько километров выше Золотого. Мне лет шесть вот так вот было. Брат лет восемь. Помню, старенькие, бабка слепая.

Фарватерные указатели. Дедушка был бакенщиком. Зажигал бакен на воде и столб метров десять высоты, который стоял на суше. Столб высокий, дедушка лазал, зажигал лампу, потом стали зажигать ребята, уже голова у дедушки кружилась. Смотрели за огнями фарватерными, особенно в бури, в шторм очень тяжело было подъехать к бакену.

Летом жили мы в лесу или на горной стороне, в землянке. Со стана в Золотое мы переезжали на лодке. Это было далеко, километров пятнадцать или десять. Вниз ехать хорошо по течению, а вверх мы, ребята, впрягались в бечеву и по берегу тянули лодку. Для нашего возраста это было тяжело, не хватало силенок. Останавливались, отдыхали. Иногда нам попадалась баржа. Мы цеплялись за руль и баржа тянула до Золотого. А какое удовольствие идти по воде. Очень болели ноги от камней – если идти по горной стороне. Как сейчас, вижу лес. Думается, там стан, там дедушка, там коса, скоро переходить, на ту сторону переезжать.

Вот как будто сейчас жизнь проходит перед глазами. В детстве носили длинное платье до пят – вот по это, по косточки, платье обязательно. И платок на голове. А без платка нам не разрешали. И то, пока пройдешь, лицо, щеки опухнут от ветра. Ветер, песок в лицо и настолько нахлещет, что кислым молоком начнешь мазать. Лицо болело, опухшее и отекшее.

Дом дедушки был в Затоне, возле самой воды, сейчас там и в помине нет этого места. Вода подходила под самые повети, к крыльцу. Большая была радость, когда пароходы проходили мимо домов. Это в разлив, а потом вода уходила в Волгу. Затон высыхал, и его можно было перейти по грудь в воде на ту сторону, там лес, песок. А в самом селе леса не было. В разлив затон был большой. В зимнее время туда заходили пароходы буксирные и зимовали. Там были и мастерские.

Береговые жители Затона возле своего дома огораживали участки. Караулили товары купцовские. Там останавливались обозы для кормления лошадей. Зимой Волга замерзала, и по ней санным путем везли купеческие товары. Вниз в Астрахань хлеб, маннуфактуру, а оттуда шла рыба, соль, кожа **(«Зимний обоз на Волге» принадлежит Лопатину – В.Л.)**. Мужики-обозники заходили к нам, их чаем поили и щи им варили. Постоялые двора. А нам, ребятишкам, что-нибудь да перепадет. Или хлебца дадут, у нас трудновато с хлебом, или конфет. Поедят, перезакусят, лошадей покормят – и в дорогу.

Летом к нам в село приезжала мать из Саратова. Всей женской родней уходили к колонистам-немцам на уборку урожая – жнитво. Жать серпом. Брали и нас, малышей, с собой. А жара-то – невозможно, а под копнами дети, сосунки у каждой. Иногда даже не было времени покормить

ребенка, и поэтому ему жевали хлеб с солью или с сахаром. Клали в тряпочку и давали сосать, от чего у ребят болели животы. Мать нажует. И давали. Всегда хлеб нажеваный. Так и нас в детстве кормили **(«Косари» из серии «Старая и новая Волга» принадлежит Лопатину – В.Л.).**

От дедушки я пошла в первый класс. Дедушка никому не разрешал учиться из мальчишек, вот ведь беда какая: – Вам не в писаря идти, писарь-то один, а вас много, работать надо. У дедушки много нас было, пятеро внучат. Сестра двоюродная пошла к попу в работницы, а брат ее стал учиться, ему учительница помогала. Учительница учила его на свои средства. А сестру двоюродную – сиротку, поп взял, отец Павел. У нас в Золотом две церкви было: одна на Рынке, а другая в Колоярском. Когда сестра работала у попа, я весь его разврат видела. Он по солдаткам ходил, его ребята ловили, били, стригли. Много детей было, и развратник. Землю ему верующие обрабатывали. Подаяние богу – верующие носили и на столик в церкви клали. А бывали престольные праздники. Поп ездит и служит молебен на каждой улице, через несколько домов останавливается. За ним подвода, и туда кладут булочку и яйца, на Пасху куличи. Для кур, лошадей, свиней – это я личный свидетель. Три коровы у попа было, свиней исключительно хлебом откармливал. У него гусей. Павлин был не один и индюшки. Бывало, сидит в ночной рубашке, босой на улице – я к сестре помочь ей приходила.

Отец Иван во второй церкви. Его село уважало, он был тихий, скромный, его дочь помогала крестьянам.

Дедушке и бабушке дальше стало тяжело нас кормить, они уже стали старые. И мать взяла нас к себе в Саратов. Она работала у господ кухаркой. Раушенбах – капиталист. Была у врача Минца, у нотариуса Перельмана, потом работала у здешнего архиерея. Еврей Минц лучше всех был, простой был. И Перельман – приехала из армии, она увидела и заплакала: – Ой, да какая же ты красивая стала! – Обняла, расцеловала и заплакала – это уж в двадцать втором году было.

Дедушка зимой ловил рыбу, работал пешней. Ловил налимов. А хлеб брал черный, белый был роскошь. Он был старый, и зубов-то не было, а хлеб-то мерзлый, у него получился заворот кишок. Позвали бабку-знахарку, она накинула горшок на живот – весь живот в горшок, и дедушка от этого умер. Дедушка умер в семьдесят три года, а бабушка с горя. Бабушке жилось одной плохо, потому что наследство, так тогда полагалось, забрал сын. Она жила у снохи, ей тяжело, сноха с характером. А меня не было. Дедушки не стало, не стало ни кола, ни двора. Раньше держали стариков в предбаннике. В предбаннике бабушка умерла.

Сначала я была при матери у господ и тоже работала как могла. То разносила по ихним знакомым разные поздравительные, то нянчилась с господским ребенком. А потом господа отказались держать кухаркиных детей, и мать вынуждена была пойти работать грузчицей **(«Грузчицы-дровокладчицы» из серии «Старая и новая Волга» принадлежит Радищевскому музею – В.Л.)**. Жили за печкой, полуподвальное помещение, со стен текло. Или в Глебучевом овраге снимали квартиру. Там мусор, мухи, зловоние. Матери было с нами трудно, заработка не хватало.

Зимой я училась в церковно-приходской школе при Михаила-Архангельской церкви. Летом нанималась к господам нянчить ребят. А мне было всего десять лет. А обычно было по двое ребят. Одного уложу, другой не спит. Другого уложу, этот не спит. Один кричит, другой кричит и я с ними. Сама спать не могла и уставала. И один раз я заснула и ребенок вывалился из коляски, и меня вынуждены были уволить – заснула. Вторая барыня взяла меня в помощницы горничной. Но так как я была мала, помощник из меня был очень плохой. Однажды был у барыни день рождения. Я встречала и провожала гостей и помогала горничной накрывать на стол. И вот мне дали именинный пирог. И ручонки были слабые, а пирог тяжелый. Он у меня выпал из рук, и меня выгнали. У господ была бонна, ребят воспитывала – нянька, обычно иностранка, горничная, повар, кухарка, а потом дворовые еще были.

До пятнадцати лет в Саратове я училась в школе, а на праздники пела в хоре, который ходил по господам. Был хор организован при Михаила-Архангельской церкви, теперь это Волжский район, где городская библиотека. Обслуживал всех знатных людей, всю знать капиталистичес-

кую. Рождественский, Крещенский, Пасхальный праздники. Или день рождения у кого. За это я получала рубль в день, это за хороший голос платили. И это была большая радость – рубль в день принести, мать-то восемь рублей за месяц получала. «Вечерний звон» я пела соло, а остальные пели: – бом, бом. А там: «Разбойников». Голос свой я не смогла уберечь. Я пела зимой на воздухе и застудила горло. Горло стало болеть и оттого пропал голос. И больше петь нельзя. Голос был сильный, сопрано.

Конечно, так как все мои знакомые верили в бога, и я в детстве была религиозная. А в четырнадцать лет я верить перестала. В четырнадцать лет я последний раз исповедоваться пошла. А была я рослая, а раньше шестнадцати лет отдавали замуж. Церковь Крестовая. Исповедовал архиерей, так он мне такие вопросы глупые задавал, а я еще ребенком была, не девушкой. И руку берет, жмет. И епитрахиль на голову кладут, крестят. Я должна была отвечать: – Грешница. Мне было стыдно, он немолодой. Я расплакалась и убежала домой. И с этих пор я не стала ходить в церковь. И за это меня родня недолюбливала. Тетушка, жена моего родного дяди: – От нее толку не будет. Безотцовщина, в бога не верит – пропащий человек. И я, и брат не верили, а мать была до старости религиозной. Молодец наша мать, она не запрещала нам. Сама бедно жила, много горя перенесла. За что ж ее бог наказывал? А богачи жили за счет бедняков, жирели и развратничали. И их бог не наказывал.

Дочка тетушки училась плохо, ей брали репетитора – я присаживалась и училась. Училась хорошо, на одни пятерки. Меня учительница хлопотала в гимназию. Меня и приняли в гимназию бесплатно, как с сироты с меня за обучение не брали. А кто будет меня кормить, обувать, а за сестрой – младшей кто смотреть будет. Мать не пустила. Я окончила церковно-приходскую школу при Михаила-Архангельской церкви тринадцати лет. Начальную, четырехклассную. А потом двухклассную городскую закончила пятнадцати лет. А иначе, без образования, меня на курсы сестер не приняли бы. С пятнадцати лет я пошла работать на противогазный завод – паяльщицей. Работа была вредная. Мать попросила хозяина, чтобы меня перевели на станок. Ногой стукнешь – она ударяет пресс, рукой выбрасываешь крышку, а мусор остается. Только я стала чистить, а ногой толкнула, рука и попала под пресс. Помяло руку. Бюллетень тогда не давали, а хозяин держать не стал.

После завода, когда я поправилась, я пошла работать в госпиталь. Госпиталь 99, сводно-эвакуационный. Теперь угол Ленинской и Радищевской, где Суворовское училище было, там Губернский суд, а потом госпиталь сделали. Сначала я пошла санитаркой, а потом на курсы медицинских сестер. Война была, голод, неурожай. Работа санитарки очень была тяжелая. С немецкого фронта каждый день приходили поезда с ранеными. Все раненые, тифозные. Привезут – живых мы забирали в госпиталь, а мертвых увозили на подводах на кладбище. А вшей миллионы. С себя согребали. Пока раненых довезут с фронта, да еще голодные едут, валяются, а ведь их как напичкают в теплушки. Когда мы их выбирали, половина мертвых были **(«Прибытие эшелона с ранеными» принадлежит Лопатину – В.Л.)**. Когда в госпитале работала, очень уставала: хотя бы заболеть да отдохнуть от этого тифа, чумы, холеры.

Мы перешли на новую квартиру, в Соборный переулок, теперь улица Коммунарная. У хозяина все сыновья были коммунисты. Александр Погиблев, сын хозяина, большевик с 17-го года. А потом еще во дворе жил коммунист – Александр Селезнев, погиб как большевик во время революции в Саратове. Эта квартира считалась хорошей, хоть и головой упирались в потолок. И жили, как войдешь сразу с холоду – и печечка, а окошечко вот такое. Хозяин работал приказчиком у Чернова, а мы ему берегли квартиру и жили. Купец – магазин здесь известный: – Куда? – За чаем к Чернову! За сахаром к Чернову! – Это известные здесь купцы. С нами вместе в квартире жила танцовщица. Мы ей уголок сдавали, но она жила вместе с нами. Я на печке спала, она на кровати. И вот к ней коммунисты приходили. Эти большевики были военные, они работали в 99 госпитале. Почему я и стала знать партию еще до революции. Лет пятнадцать мне было, уже в заводе работала **(«Саратовский маяк – первый подпольный большевистский кружок в Саратове» принадлежит В.А. Дьяконову – В.Л.)**. Сидели вечерами, беседовали, разговаривали.

Основной вопрос про бога, кто такой царь, за что рабочие борются, трудно живут **(«Маевка» из серии «Старая и новая Волга» принадлежит Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику; «Демонстрация женщин в Саратове» из серии «Старая и новая Волга»: принадлежат Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику – В.Л.)** Они как раз уехали, у них партийное совещание в Казани проводилось. Они уехали, а соседка прибежала, говорит: – За вашим домом следят. Всю ночь у меня дома сидели и интересовались, кто ты. – Я, правда, рослая девчонка была. В эту ночь они продежурили и никого не могли обнаружить, кроме меня и матери. И еще ночь продежурили, а на следующий день вызывают меня в политический участок, это в охранку. Это было 2-е полицейское управление. На этом месте теперь филармония. Это теперь пожарные, а тогда везде так было: вверху пожарные, а внизу полицейские. И околоточный надзиратель, голубая на нем шинель, стал меня допрашивать: – Кто живет? Кто к вам заходит? – Кто к нам заходит? Кроме полицейского знакомого, никто не заходит. Ну соседи еще заходят, а больше никто не заходит. – Стучал и кричал – ничего от меня они не добились, и меня тогда сфотографировали как политически неблагонадежную. Я в мамином шарфе была – плетеный тогда модный был, в нем и сфотографировалась **(«В охранке» принадлежит Лопатину – В.Л.)**. И большевики к нам не вернулись. Говорили, что они там все погибли на совещании в Казани.

(«Освобождение политзаключенных из Саратовской тюрьмы в феврале 1917 года» принадлежит Радищевскому музею – В.Л.) ...Самое начало Советской власти. Партия большевиков. Мы уже знали, за какой номер нужно голосовать. Большевики восьмой номер, меньшевики четвертый. Прошла борьба между большевиками и меньшевиками. Нужно стало выбивать юнкеров. Юнкера засели в городской управе. На Соколовой горе как раз установили орудие и дали залп по юнкерам. И они отвечали. Тогда, как дали залп, к нам в переулок снаряд попал. Там напротив нас татары жили, к ним под дом попал снаряд, но не взорвался. Это первый, самый первый выстрел. Это, конечно, если бы хороший художник отобразил, а то сама нарисовала. Конечно, неграмотно сделано, но отразила действительность **(«Октябрьский выстрел по юнкерам с Соколовой горы в Саратове», принадлежит Саратовскому областному краеведческому музею; «Октябрьский выстрел» принадлежит Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику – В.Л.).**

Это революция идет, когда уже после выстрела. Где было раньше коммерческое училище, на Советской, где теперь институт сельхозмеханизации, там первый флаг повесили. А потом Губисполком перешел в Коммерческий банк, где теперь Обком. Там же был Губком партии – дом фабриканта Бендера: мануфактура «Андрей Бендер и сыновья». Его особняк, сам-то не жил там **(«Первый государственный флаг в Саратове»; «Флаг революции» принадлежит Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику – В.Л.).**

Суворова-Алферова: 1968 год.

ВРЕМЯ ПУЛЯМ ПО СТЕНКЕ МУЗЕЕВ ТЕНЬКАТЬ... *Маяковский*

...Наши задачи: из искусства прошлого давать народу только то, что ведет народ к освобождению личности, а затем создать свое собственное пролетарское искусство.

Бассалыго: лекция. «Известия Саратовского военного комиссариата». Газета (дата утрачена). СГХРМ. Архив: А. и В. Леонтьевы. опись № 1. ед. хр. 148. Крайние даты 1918-1949 г. апрель 1. на 63 листах (газетные вырезки).

1918 ГОД, август. ...Бывшее Боголюбовское рисовальное училище преобразовано в свободные Государственные художественные мастерские. – «...высшее художественное учебное заведение, в котором каждый учащийся по своему выбору мог обучаться той или иной художественной профессии за счет государства». *Г.И. Кожевников. «Из истории Саратовского художественного училища (к 50–летию основания)». 1946–1947 г.г. СГХРМ. Архив. Фонд 369 (1).*

АВАНГАРД первых послереволюционных лет в России ...оценивается западными историками как одно из великих художественных движений XX в., ставшее переворотом в живописи, скульптуре, театре, кино, фотографии, литературе, оформительском искусстве и архитектуре. ...советские искусствоведы оценивали советское авангардистское искусство начала века в целом отрицательно. В крупнейших искусствоведческих многотомниках «разоблачалась» «реакционная суть» позиций сторонников беспредметного искусства, преувеличивалась нигилистическая сторона авангарда («История русского искусства». Т.XI. – М., 1957. С. 106–109; «Всеобщая ис-тория искусств». В 6-ти тт. Т.6. «Искусство XX века». Кн.2. – М., 1966. С. 24, 51, 97.) ...Теперь, в эпоху перестройки, в нашей стране снова выставляются и изучаются произведения авангардистов начала века... мы отмечаем «недостаточность наших общих знаний об авангарде», так как «советскому искусствоведению было дозволительно многие десятилетия не изучать его, а только разоблачать и громить» ...советским историкам искусства нельзя пренебрегать теми достижениями в изучении русского авангарда, которые имеются в зарубежной историографии. Каждый год в западноевропейских странах и США выходят десятки статей и монографий о В.Е. Татлине, К.С. Малевиче, Эль Лисицком, А.М. Родченко, П.Н. Филонове, М.З. Шагале, В.В. Кандинском и многих других представителях авангарда. *С. А. Козлов. Проблемы культурной революции в новейшей немарксистской историографии (1917- начало 1930-х гг.). – Ж-л «История СССР». 1989. №4. С. 189.*

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ Я ПОШЛА ПО БОРЬБЕ С ЭПИДЕМИЕЙ, в госпитале и заразилась. Три тифа перенесла, сначала брюшной, потом возвратный, сыпняк. Я тифом заболела, а узнала, дед умер – и сознание потеряла. Мать вызвали, попрощаться. Плохо мне, даже комиссар попа разрешил. Потом мать говорила, если бы не поп, не выздоровела. Я молодая, восемнадцати лет. Возле меня сидели. Я встала и ушла на фронт. Добровольно. Потому что и дедушки нет. Мы три подруги – Лидочка, Нюра, Маруся, вот так нас и звали. Вместе поступили в санитарки, потом на курсы медсестер, потом на фронт, а там нас послали в разные места **(«Прощание, 1919 год», левая часть триптиха «Вся власть Советам», вариант. Принадлежит Радищевскому музею – В.Л.)**.

Царицын. На фронте и с сумками медицинскими, и с винтовками не расставались. При бронепоезде был отряд санитарный. Наш отряд располагался в теплушках – 2-й эпидемический отряд Красного креста 10-й армии. А с нами была 9-я и 11-я армии. Шли бои, теплушки передвигались. За армией весь обоз передвигался. Самолетов тогда не было, «Уточка» иногда появлялась.

Казачья станица Червленая. Тут остановка, команды дальше нет. Жара неимоверная, дышать нечем. Хлеб – по голове ударишь – убьешь. Жара. Дай, думаю, лягу под вагоны. И заснула. Слышу стук, открываю глаза, поезд тронулся. Думаю: – Куда идет? В какую сторону? – Под паровоз не попасть. Я растерялась, хоть и боевая была: сначала вещмешок выбросила, потом шинель, потом сама и еще ребята помогли – на поезд успела. Молодость – восемнадцать лет. Ничего не боялась. Только знала: – Надо идти, бить, бить и бить.

ОТ ЦАРИЦЫНА МЫ ДОШЛИ ДО ГОРОДА ГРОЗНОГО. Там Политотдел послал нас в аулы – организовывать Советскую власть и больницы. Днем организовываем, ночью набеги на нас: кругом белогвардейцы, в горы убежали. Все время отстреливались. Языка мы не знали. Нужно доверие завоевывать, войти в доверие. Никто не шел в больницу, народ темный, дикий, неграмотный. Чтобы сделать профилактические прививки, собрала всех мужчин. Фельдшер был помощник, чечен был, а я пока работала за врача. Сама организовывала больницу, сама за врача. Чечен не захотел прививку делать: – У нас это нельзя, не положено. И народ не хочет: – Пусть сама сделает. Я его попросила, пусть он мне сделает укол у всех на глазах. Укол под лопатку, он воткнул мне иголку прямо в кость. Боль дикая, и я думаю: – Если я закричу, подорву доверие. Я не вскрикнула, но когда вошла в больницу, я набила морду фельдшеру. Ему надо работать, а он сядет на койку и молится. Мне пришлось с угрозой заставлять все делать.

Наш отряд. Кухарка, две сестры, обе добровольцы из Царицына: одна кухарка, другая была санитаркой. Все вооружены, все с винтовками, так проходила наша работа. На голове шапка крас-

ноармейская. В шинели. Вот были наши работники. У меня – наган и винтовка. Мне в помощь этот фельдшер, чечен из того же аула Урус-Мартан. И в соседних аулах работали – Шали и Шатои. Всю работу врача, сестры и санитарки проводила я сама – врача дали позже.

Ни одна женщина не лечилась, я ходила по домам, сама лечила. Сначала нас чечены враждебно приняли. Когда приехали, дети кричали: – Русские бэ, русские бэ. А потом ходила по аулам, лечила, это были лучшие друзья. Комиссаром аула был Червяков. У него был помощник. И еще наш санитарный отряд. Так родилась Советская власть в ауле. Ночью набеги были. И чечены коммунисты были в аулах. Отстреливались вместе. Мне досталось... При Грозненском политотделе организовались курсы. Когда я получила вызов на курсы политкомиссаров, я была очень и очень рада. Потому что я, к моему несчастью, была интересной и девушка одна среди них. И мне тяжело было.

...Когда я училась в Грозненском политотделе на политкомиссара, в это время произошло восстание белоказаков в казачьих станицах. В это время регулярная армия не подошла. Вынуждены были на подавление восстания идти курсанты города Грозного. Первые пошли в бой командные курсы. Это ребята, молодежь по восемнадцати лет, будущие командиры, новые советские офицеры. Потом шли курсы политкомиссаров, среди нас были и постарше, были и по тридцать лет. И шли военно-хозяйственные курсы – каптеры, по хозяйственной части готовили командиров. В бой шли и восемнадцатилетние курсанты и семидесятилетние преподаватели.

В жизни никогда не забуду станицу Сунженскую. Командные курсы заняли станицу. Почему поражение потерпели – народ голодный был. Станицы богатые – у них хлеб, молоко. А ночью их окружили белогвардейцы и всех положили, осталось несколько молодых ребят, которых сами станичники спрятали: руки, ноги переломаны, переломы позвоночника.

После боя распоряжение дано – найти раненых. Дали карту – мы не знаем расположения ночью в станице. Вот тогда я испугалась: мысли далеко, наступила на проволоку, а она: – Дзинь! – И настолько напряжены нервы, что испугалась. Нашли. Их били, ставили на ноги, прикладами. С перебитыми позвоночниками заставляли плясать и петь Интернационал. Их прокалывали штыками. Как издевались – так уродовали. Снимали кожу ремнями. На лбу, на груди вырезали звезды. Очень тяжело было это пережить, на всю жизнь осталось в памяти. Это своими глазами видела, своими руками поднимала их. Мы их собирали, хоронили. Народ хоронил. Казаки были и такие, и такие. Некоторые ушли в Красную Армию, а семьи-то оставались. Вот они-то и спасали.

...Очень помогали нам. Заходишь поесть. Так они с удовольствием. Ставят четверть вина на стол, как будто тут пьяница. Хлеба белого, сала. Или щей горячих наедимся. Казаки – богатые станицы, богатый народ был.

После разгрома казачьих банд меня командование отпустило в Саратов, в отпуск. Саратовский Губком партии во главе с секретарем Любимовым не отпустил меня обратно в армию, так как работников было мало. По договоренности с военкоматом меня оставили в Саратове и послали работать в первый Райком партии завженотделом **(«Выступление Завженотделом», центральная часть триптиха «Вся власть Советам», вариант. Принадлежит Лопатину – В. Л.).**

Уже был двадцать второй год. Паек был для ответственных работников. Как завженотделом получала масла подсолнечного бутылку, кусок мыла, овсяную муку – эта мука была роскошь. Семья-то три человека, мать да девчонка. Брат был на фронте. Зарплата – получил миллион сегодня, завтра ему грош цена. Обуться, одеться было не на что. Я-то ходила в шинели, а моей помощнице надеть нечего, а морозы. Содрали со сцены Института благородных девиц занавес и сшили ей пальто.

Организовывали детские приемники для беспризорных ребят. С улицы брали детей, оставались без родителей. И с поездов снимали. Дети голодные, холодные, вшивые, грязные, испорченные – самое тяжелое, что осталось от гражданской войны. Тогда много сирот было, много родителей умерло от голода, куда там – были случаи людоедства. Я при первом Райкоме работала, а детприемники в каждом районе были. У нас малыши, дошкольники в большинстве были. Они чесоточные были, проходили у нас карантин, и тогда рассылали мы их по детским домам. Тогда

трудно было с питанием, хорошо, американцы помогали. Там была мука, маисовая мука, рис, сгущеное молоко, какао давали они. И тушенка была ихняя.

Какого не помню числа, меня вызвали к секретарю Райкома – это была самая тяжелая работа: специзолятор. Вызвали – до меня ни одна женщина не работала и после меня – только мужчины. Куда нужно, туда и шли. Про нас что говорили: – Пошла в армию, из нее толку не будет. Порядочные в армию не ходят. Другая, работница детдома: – Знаете, Лидия Ивановна, у меня в голове не укладывается, как это вы, такая красивая девушка, пошли в партию. – Это самое тяжелое, пока я там работала, я столько слез пролила. А сначала и грозили убить, и изуродовать: – Да мы что с тобой сделаем! Особенно городушники, они в городе работают по магазинам. У них юбка в разрез посредине, под пиджачок, с ними подходит обязательно хорошо одетая. Вот подходит: – Самое лучшее сукно подайте, нет, не нравится, дайте другую штуку. А пока та полезла, эти в мешок между ног кладут и уходят, а хорошо одетая остается – она сукно выбирает. Так же обувь, мясо.Той поры – как войду в магазин или в трамвай – и все жулье, что мне грозило, – врассыпную. Когда я работала в изоляторе, приехала американская делегация посмотреть, как содержатся заключенные. Пришли посмотреть и женское отделение. Я была одета по-военному, на мне была буденновка из красной кожи, которую я получила на курсах политкомиссаров в Грозном – выдавали оставшимся в живых курсантам. Начальнику тюрьмы, товарищу Спрогису, я отдавала рапорт. Отдавала по-военному, под козырек. Американец смотрел, смотрел и говорит: – Ой, какой красивый девушк! –

С двадцать первого по двадцать пятый год, за время работы в Саратове, была депутатом десятого, одиннадцатого и двенадцатого созывов Горсовета, была и членом бюро Райкома, членом Пленума райкома, как зав. отделом. *Суворова-Алферова.*

АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ (АССР НП, 1924-1941) стала центром развития, образования и культуры всех советских немцев, проживавших на Кавказе, на Украине, в Сибири. *Ф. Эмих. Школа для немцев. – Ж-л «Волга». 1990. №2. С. 189.*

Декретом ВЦИК от 19 декабря 1924 г. Трудовая коммуна немцев Поволжья была преобразована в Автономную Советскую Социалистическую Республику немцев Поволжья. Республика была выделена из территорий с компактным проживанием немецких колонистов в Саратовской и Царицынской губерниях и граничила с Казахстаном. Столицей был объявлен уездный город Покровск – в 1931 г. переименован в Энгельс, но первоначально вся администрация находилась в Саратове. Население составляло около шестисот тысяч человек. *М.О. Дединкин. «Товарищество пролетарского искусства» Фридриха Брасса: коллекция немецкого авангарда в Советской России». Каталог выставки. – Санкт-Петербург: Изд. Гос. Эрмитажа, 2009. С. 89.*

1925 ГОД, ЯНВАРЬ-МАРТ. В СРМ ПРОХОДИЛА ВЫСТАВКА НЕМЕЦКИХ ХУДОЖНИКОВ-ЭКСПРЕССИОНИСТОВ «Красной группы», открывшаяся 28 декабря 1924 г. В марте часть произведений экспонировалась на «Саратовской мануфактуре». В Саратов приезжал немецкий художник Отто Нагель. На выставке проводились доклады, диспуты. Темы докладов: Е.В. Егоров «О содержании нормальных достижений германской выставки», Б.А. Зенкевич «АХРР и германское искусство», О. Нагель «Классовая борьба и германское искусство», О. Нагель «О картине О. Дикса «Женщина перед зеркалом», Рысин «Политическое значение германской выставки», В.М. Юстицкий «Русский и германский конструктивизм». 13 января в «Известиях» опубликована статья О. Нагеля «Красная группа» германских художников».

Издан каталог.

«Известия»... с ноября 1917 по июнь 1928 – центральная газета Саратовской губернии (области): 1925. 3 янв., 4 янв., 7 янв., 8 янв., 9 янв., 11 янв., 13 янв., 31 янв., 10 февр., 14 февр., 20 февр., 3 марта, 10 марта. *Хроника художественной жизни Саратова 1874-1980. По материалам местной периодической печати. – Саратов: Изд. Саратовск. университета, 1988.*

...ПО СЛУЧАЮ НЕДАВНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ выставку было решено сначала показать в Саратове. «Это голая правда разоренной, вымирающей Германии, этой полностью порабощенной некогда блиставшей нации, ее экономического и этического развала, голод, дегенерация, смерть. Бесцельно и нелепо здесь искать художественной формы...»: Рысин. «Выставка германских художников (информационно-критический обзор). «Известия саратовского Совета». 1925. №33. 10 февраля. С.2.

«...тем и талантливы художники революционной Германии, что смогли под тысячами отклонений увидеть один – оскаленный, слюнявый, самодовольный. Настоящее и единственное лицо буржуазии... Каково же лицо пролетариата? Оно показано распятым на кресте капитализма... Смотришь на эти лица. И спрашиваешь: неужели рабочие Германии только перекошенные голодом и унижениями, неужели нет радости борьбы, бодрящего сознания классовой спайки, нет ни намека на радость? Почему этого не замечает художник?.. Художник-интеллигент, искренне преданный рабочему классу, в своих произведениях показывает ужасы голода, расстрелы, тюрьмы. Но рост пролетарского сознания ему разглядеть невозможно. Для него пролетариат не класс, а изголодавшиеся, опустившиеся «несчастные» люди. Но все-таки тем, что эти интеллигенты сумели понять звериное лицо буржуазии, возненавидеть ее острой, неисчислимой ненавистью – пролетариату их работа ценна»: Ленинград. ГБ. «Распятие на клепальном прессе (Выставка германских художников)». – «Смена». 1925. №112. 20 мая. С.4.

«Немецким художникам удалось шокировать не только советских провинциальных критиков и зрителей. Удивительно похожими словами характеризовал искусство экспресссионистов Адольф Гитлер, выступая в 1936 году на открытии Дома немецкого искусства в Мюнхене: «Что же они производят? Бесформенных ублюдков, идиотов, женщин, способных внушать лишь ужас, мужчин, в которых больше звериного, чем человеческого, и детей, которые, будь они обречены и дальше жить в таком виде, следовало бы счесть карой Божьей!» – *Цит. по: Серс Ф. Тоталитаризм и авангард: В преддверии запредельного. – М., 2004. С. 26, 27.* (*М.О. Дединкин. «Товарищество пролетарского искусства» Фридриха Брасса...)*

...ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ 1929 ГОД. Это был год, когда после разгрома партийной оппозиции одновременно с открыто развернувшимся террором началась повальная кампания по разоблачению скрытых врагов – разнузданная критика вызвала истерические потоки самобичевания и самооговаривания. Писательская общественность с восторженным энтузиазмом кинулась в эту стихию. Для обеспечения возможностей писательской инициативы в этой области с конца апреля 1929 года начала выходить псевдонезависимая еженедельная «Литературная газета. *Е.В.Пастернак, Е.Б.Пастернак. Координаты лирического пространства. – Ж-л «Литературное обозрение». 1990. №3. С. 91.*

1930 ГОД. ...Сталин... вот человек, в котором нет даже и горчичного зерна литературно-гуманного влияния... гол, прям, честен, вообще прост, как полицейский пристав из грузин царского времени. *М. Пришвин. Дневник. 1930 год. – Ж-л «Октябрь». 1988. № 7.*

Он философию / развил особую: –
не устоять / вам, контры лютые! –
и ствол орудует, / и рукоять.
Тут не шутейная / подкладь идейная –
попрекословь / такой попробуй-ка! –
здесь не метафора, / прямолинейная,
стальная логика / другого автора
иных основ. /
Ярыгин.

1921-1935 ГОДЫ. МОЙ МУЖ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ СУВОРОВ химик, металлург, учился в Саратове. В двадцать втором познакомились, год гуляли, поссорились сначала, шесть месяцев не встречались, а в двадцать третьем поженились **(«Портрет Андрея Григорьевича Алферова» принадлежит В.А. Дьяконову – В. Л).** Он в ночной смене, днем учится – семья-то большая, и мать моя, и сестра младшая, и еще двое детей сразу родилось, двойняшки – они умерли. Здесь свирепствовала скарлатина, а медицина была еще слаба, и ребятишки кругом умирали – и мои сразу в одну неделю. С третьим я поехала в Донбасс и там похоронила его. Сестренка со мной поехала, раз у меня ребенок.

В двадцать пятом поехали в Краматорск. В тридцатом году начальника лаборатории отстранили от работы, а мужа даже не спросили, назначили начальником лаборатории завода. В Краматорске был старый завод – металлургический, машиностроительный. До революции это был «Трест металлургических и машиностроительных заводов», франко-бельгийского общества.

...Как приехала, попала в горком партии, в массовый отдел, а потом от горкома была по хлебозаготовкам. Время тяжелое, кулачье. На собраниях с палками бросались, что там делалось. И ночью убили председателя. Кончили собрание в четыре часа ночи и нас по хатам разместили. Мы с комсомольцами связаны – они знали тайники, но хлеб нельзя было взять силою, нужно было, чтобы на собрании добровольно отдали. Я доклад делала: состояние промышленности, положение рабочих в городах, о заграница – нужно золото. Нужен хлеб рабочим. В каких трудных условиях живет рабочий класс, в тяжелых условиях работают – горячие цеха и – голодные... В горячих цехах карточки были красные. За вредность, за жару, за тяжелый труд рабочие получали один килограмм хлеба ежедневно. По холодным карточкам – 600 грамм хлеба. Служащие получали 600 грамм, семьи – 200 грамм. Рабочий паек. А еще чего сварят в столовых. Большинство шла чечевица, горох, перловка иногда была – даже того не было. Масло иногда было подсолнечное.

Слушают. Большинство женщины, старики. Кулаки вперед не выступали, подкулачники сначала. Так на собрании одна выступает: – Хорошо тебе болтать языком, на тебе бобровый воротник. – А воротник тот был одни клочки. – Рабочим дают хлеб килограммами, а тут с голоду дохнут. – А кто с голоду умер? – Тут комсомольцы поддержали. А мы уже знали, у кого сколько хлеба спрятано. Предварительно комсомольцы все разузнали – молодежь, первые помощники. Кричат: – Ты чего кричишь? Ты же сама была беднячка? Чего же ты кулака защищаешь? – Мы голодны, раздеты! – А мы уже знали сколько у кого добра спрятано в сундуках. И с боем, с большим боем и, конечно, мы рисковали – та же война. Бедняков было больше и собрание приняло постановление сдать селу излишки хлеба. После собрания пошли сразу брать хлеб, а председатель остался один в сельсовете. Все разошлись, его из обреза в окно убили. У нас, конечно, в продотрядах и чекисты были, но председателя не уберегли **(«Первый трактор на селе» принадлежит Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику – В.Л.).**

А как трудно было тогда, кто теперь знает? Недавно в газете написали, в «Правде», и только пять человек упомянули, строителей Новокраматорска *(газета «Правда», 1968, 2 января, № 2 /18415/, статья «Вершины Краматорска», рубрика «Наши достижения». Автор Сергей Борзенко, редактор Краматорской газеты, упоминает сталелитейный цех, это был четвертый стройучасток. Суворова-Алферова была прикреплена от горкома к сталелитейному цеху, отвечала за комсомольскую стройку и работала завстройбытсектором кооперации Постройкома – В.Л.)*. Ни одного рабочего не отметили, только Мовлева, а ведь там он не один работал, он с бригадой. На стройке все делалось вручную. Арматуру заливали бетоном и уплотняли ногами в лаптях. Рыли котлованы, а там подземная вода. Бетономешалка стоит в грязи. Не обеспечено светом рабочее место. Рабочие работали ночью по колено в воде. Во весь завод лозунги висели: – Дать столько-то замесов. – Уложить столько-то кирпича. С лесом было трудно. Вот на станцию прибудет материал. Диспетчер распределяет по участкам вагоны. Вот пришла, а цех соседний забрал себе. И приходилось идти на соседний участок и ругаться так, чтобы подействовало. Лесоматериал и всякий строительный материал подвозить было не на чем. Сами возили на тачках по дощечкам.

Лошади погибали без корма, не было корма. И народ голодный. Самая голодовка с тридцатого года началась. И вот про это, в каких условиях работали, ничего не написал.

НАРОД СОБИРАЛИ, где только можно. Был клич: – Давай народ! И из сел народ пошел. Почему народ пошел? В деревне голодно было. Двадцать восьмой, двадцать девятый год, до коллективизации еще. Еда – вобла да чечевичная каша. Рабочий из деревни приходил, через месяц прибивал гвоздем воблу на дверь: – Прощай, карие глазки, оставайся одна работать.

НАРОД БЫЛ РАЗНОЧИННЫЙ, и туда наехались. На стройке не только уголовщина, но и классовая борьба. Убили секретаря комсомольской организации. К нему отец приехал – пошел встречать на станцию, а там дорога на завод мимо деревеньки. Очень темно, речушка, лесок небольшой – ну, призаводской поселок. Его там накрыли и убили. А комсомолка – по баракам ходила – ров водоотводный, ее столкнули, под мостом и убили.

БЫВАЛИ И ТАКИЕ СЛУЧАИ. Бумажный завод. Поставили новую заграничную машину, бревна перемалывала. Кромли обмочаливает: – Ванька, глянь, какое бревно сожрала! А если сунуть побольше? – Сунули побольше. И это перемолола. – А если лом сунуть? – Лом сунули, она и стала.

Так и с домной было. Домна чуть не тридцать лет отработала, идешь мимо ночью, она светится. Пишем в Москву. Ответ: – Держитесь, пока работает. – Металл, чугун нужен был стране. И в один из дней печь рухнула. В аварии погибли тринадцать человек.

РУХНУЛА ПЕЧЬ НА СТЫКЕ ДВУХ СМЕН и, если бы не коммунисты, погибла бы сотня рабочих. Печь рухнула, брызги огненные во все стороны. Начальник цеха обгорел, последним покинул цех, сам дошел до больницы, лег в ванну содовую – чем еще тогда лечить было, там и умер.

НУ, СЧИТАЛИ ВРЕДИТЕЛЬСТВОМ, «пятаковщина» была. Пятаков в двадцать седьмом–двадцать девятом годах был председателем ВСНХ, Высшего совета народного хозяйства. В его ведении вся металлургия, вся тяжелая промышленность была. Впоследствии оказался вредитель, так по крайней мере в газетах писали. Как на самом деле было – трудно сказать. Начиналась чистка партии, тогда мы не могли разобраться, кругом «зиновьевцы», «бухаринцы».

Вредительство? Электростанция деревянная. Утром идем, гудка не слышно, сгорела электростанция – вот и тихо. Предохранительный пульт – щит был деревянный. Между пультом и стеной пробежала крыса и замкнула ток на себя. Искра. Пожар. Две недели завод простоял.

НАСТОЛЬКО КОММУНИСТЫ ОТДАВАЛИ ЖИЗНИ. Настолько активен народ был тогда. Жены очень были организованы. Они все ценности – деньгами, какие еще имелись – отдавали в МОПР. Жены шли на разгрузку вагонов со стройматериалами, углем, рудой. Смены кончались, и брали лопаты и шли рыть котлованы для нового завода. – Нужно выгружать уголь? – Нужно! – Нужно на заводе убирать? – Нужно! – А сейчас народ – на воскресник никто не пойдет. Когда народ голодный, он обязательно активный!

...МАЛЕНЬКАЯ ТРАВКА С СИНЕ-ГОЛУБЫМИ ЦВЕТОЧКАМИ, травка незабудька. Из нее щи варили. А вместо пшена травка магара, это вроде проса дикого. Вкусно из крапивы. Ну, крапива, это такой продукт, что и до голодовок употреблялось. Печенка, селезенка, требуха – «галье», «собачья радость». Мясо тогда было – вон, суслики! Отцы детей ими кормили. Пойдет, выльет – они жирненькие. Не забуду один случай: ...вот с работы идти, а соседки сидят веселые: – Лидия Ивановна, идите, попробуйте, нам привезли цыплят. Я с подозрением, а они: – Нет, вы попробуйте! На сковороде лежат жирные, вкусные. А когда поела: – Лидия Ивановна, вы знаете, что ели? – Цыплят. – Нет! Суслики. – Мясо нежное. И ножки, как у цыплят, маленькие.

В те годы так велик был революционный энтузиазм, что мы на такие мелочи не обращали внимания. Подумаешь, хлеба нет! Если попадал кусок хлеба, сейчас же делился с товарищем. «Даешь мировую революцию!» И такой был порыв, что всю мелочь отметало.То было трудное, но веселое время. Правда, не дай бог, чтобы оно повторилось. Не дай бог, чтобы оно повторилось!

Старые люди хлеб берегли. Знали, как он трудно достается. За обедом просыпется на стол что – всю крошечку соберет и в рот. Сейчас хлеб разбросают, буханку иногда увидишь в мусорном ящике – идут, никакого внимания. Раньше считалось за грех, чуть не смертельный, если, не дай

бог, на кусок хлеба наступить. Кто следом идет, обязательно сыпанет в твой адрес и: – Безбожник! Обязательно положат хлеб на полочку или куда повыше – пусть птицы его съедят, но в пыли не валяется.

КРАММАШЗАВОД. Первенец индустриализации, площадка строительная двадцать пять квадратных километров, между Славянском и Краматорском. Осталась как реликвия, как свидетельство, что здесь была степь, ветряная мельница – тогда ее берегли **(«Первенец индустриализации» принадлежит Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику – В.Л.)**.

Свой аэродром у завода был. За пуск первой очереди завода только один человек, главный инженер строительства Кронов получил орден. Остальные были награждены значком имени Сталина. Я свой выбросила, а Андрей Григорьевич хранит до сих пор. Никаких других наград не было. О Краматорске только вот сейчас вспомнили. А почему? Нам говорили, открыли группу вредителей. А мы и не узнали, кто вредители. Вот Кирилкин. Как он ругался, покойник, ну и хороший был мужик. Кирилкин Иван Тарасович, управляющий Трестом Краматорских металлургических и машиностроительных заводов. Он чекист был в прошлом, а потом его после окончания гражданской войны партия послала на Краматорский завод. Он начал строительство Новокраматорского завода тяжелого машиностроения – погиб безвременно.

На стройке бывал Пиотровский – староста Украины, Постышев – секретарь ЦК Украины, Коссиор, Саркис – секретарь Донецкого обкома, тоже расстрелян. Приезжал Калинин, Ворошилов. Орджоникидзе не один раз был. Я его видела не один раз. На банкете он с нами разговаривал, лучшие рабочие были – банкет по поводу пуска первой очереди завода. Когда закончился банкет в три часа, только стала засыпать, вдруг стук в дверь: – Спасайте сына! – Справа от нашей квартиры жил рабочий молодой – он высокой квалификации – комсомолец. В бригаде работал трое суток, голодный – было некогда. Как раз в день приезда Орджоникидзе он строительные работы заканчивал. Он закончил – его поздравили ребята. Поздравили и стакан водки поднесли. Выпил и умер. Старуха и сестра на иждивении были: – Зовите Лидию Ивановну! А у него уже пульса нет. Надо было укол камфорой – врач не приехал. Стали звонить: – Чем отравился? – Водкой! – Отравление водкой, только и выпил стакан водки. Надо было дать рвотное, сами растерялись.

Первый пуск завода был заснят на кинокартину, и наш цех, к которому я была прикреплена, четвертый сталелитейный, был показан. И вот там я в беленьком платочке, одета по-рабочему, одеваться было некогда. Очень хорошая картина, как документ. Нет ее до сих пор, не знаю, где она. Сталин ликвидировал киноленту – это был первенец, а пускал его Орджоникидзе, и Сталин боялся – у Орджоникидзе растет влияние. И Орджоникидзе погиб. Его, правда, не арестовали, сам застрелился. У него обыск сделали, он возмутился, звонит Сталину, а тот: – Кто ты такой, что у тебя нельзя обыск сделать. Я не знаю, может завтра у меня сделают.

На экране показывали завод. По обе стороны цветники. Улицы – цветники, город – сад. В заводе из цветных камней фонтаны, деревья по краям асфальтовой дороги. Отдел был, так и назывался – Зеленстрой, отдел озеленения. Андрей Григорьевич на велосипеде ехал и тоже в кадр попал.

Краматорским горкомом партии я была послана в 1931 году на учебу в Москву, в комвуз имени Свердлова. Продолжать учебу в вузе я не могла – дома семья, муж один, сын трехлетний. Да и нервы после гражданской войны были не в порядке. Невропатологом в вузе был Дмитрий Ильич Ульянов, брат Владимира Ильича Ленина. Я с ним посоветовалась, хотелось учиться, и в то же время состояние здоровья и семья не очень позволяли продолжать учебу. И Дмитрий Ильич мне сказал: – Если вы так нервничаете, если так беспокоитесь, вы вполне можете работать и без вуза. А сейчас коммунисты тоже нужны на местах.

Стройка. Это было за семь километров от нашего поселка. Я не могу быть в одной смене, мне нужно во всех трех побывать, а самая тяжелая ночная смена. Одну смену, другую, а тут собрание, заседание. А еще нужно по всему заводу, по всем общежитиям, по всем столовым, по всем магазинам. Лошадь прикрепленная у меня – чуть под поезд не попала: чуть лошади не разнесли – паровоз ударил в тачанку – пополам разрубил тачанку: кучер вперед, а мы назад. Другой раз

после Пленума – ехали ночью. Мы ниже, а по насыпи поезд. Лошади первый раз увидели паровоз – как понесли, а выход через переезд – мы на ходу выпрыгивали. Я на сугроб попала – мне ничего. Другой ушибся здорово, третий – нога лопнула.

Плохо себя чувствовать стала – после чистки партии – двадцать девятый–тридцатый годы. Прихожу домой обедать. Все на стол собрали, а я сплю. Очень мало спала. Если часа два-три ночью спала, это было большое счастье. Домой приходила в три часа ночи, час-другой поспишь и опять на работу. *Суворова-Алферова: 1968 год.*

О МАССОВОМ ГОЛОДЕ В СССР 1932-33 ГОДОВ

Правительство сознательно пошло на принудительное изъятие зерна у крестьян для поддержания высоких темпов индустриализации. Ситуация осложнялась ошибками централизованного планирования и непродуманными мерами в сфере животноводства... Согласно статистике ЗАГСов за 1933 год, смертность в городах имела обычный естественный характер, а вот на селе была повышенной, причем умирали люди самых разных национальностей. На всем пространстве СССР смертность на селе была выше, чем в городе. ...географические масштабы голода. Он поразил важнейшие зерновые районы страны: Украину, Среднее и Нижнее Поволжье, Северный Кавказ, Центральное Черноземье, Урал, Часть Сибири, а также Казахстан. Всего в областях, охваченных голодом, проживали около 50 млн человек. Жертвами его по всей стране стали примерно 6-7 млн человек. *Борис Подопригора. «Украинское лицо» общей беды. – Газета «Секретные материала». 2009. август. № 18 (274). С. 4.*

О ГОЛОДЕ НАЧАЛА ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ – идут семидесятые годы – дочь истопника и сторожа Радищевского музея Александра Никаноровна, пенсионерка, потомственный музейный работник. Большое окно, глубокий приямок, солнышко иногда: семья живет в музее с дореволюционных времен – здесь и доживает... вот и саму Александру писал Егоров в детском платьице – на стенах холсты, подаренные художниками разных лет: ...с голоду умерших убирают с улицы рано утром – подводами. Музей ведь – нет съестного, чего проситься? Вот в окно стучит, вот всю ночь царапается, – утром смотрим: из Энгельса – хорошая наша знакомая умерла в приямке!

ПОВОДОМ К АРЕСТУ...Лосев Алексей Федорович (1893-1988) ...в связи с напечатанием книги «Диалектика мифа» (1930): в полный голос, без всяких оговорок, свободно и виртуозно владея мыслью и стилем, развенчивает мифы социальные, мифы науки, литературы и философии, мифы о самих основах бытия того общества, в котором пришлось жить.

«О борьбе с природой» (из статьи в газете «Правда», 1931, 2/X11): «философ Лосев... профессор этот явно безумен, очевидно малограмотен... не один таков, и, наверное он действовал языком среди людей, подобных ему, таких же морально разрушенных злобой и ослепленных ею. Что делать этим мелким, честолюбивым, гниленьким людям в стране, где с невероятным успехом действует молодой хозяин – рабочий класс, выдвигая из среды своей тысячи умных, талантливых строителей социалистического общества, в стране, где создается новая индивидуальность? Нечего делать в ней людям, которые опоздали умереть, но уже гниют и заражают воздух запахом гниения». *А.А. Тахо-Годи. Не бывает же тяжесть не по силам. Переписка из двух лагерей. – Ж-л «Дружба народов». 1989. № 7. С. 254–260.*

А.Ф. Лосев заявил о себе как о философе имени, мифа и числа, идеи которого через десятки лет будут признаны за рубежом «без сомнения гениальными» (см. «Итальянскую философскую энциклопедию»), а сам он окажется, по словам парижского некролога, «последним представителем русского религиозно-философского движения первой половины века» («Вестник РХД». № 153, 1988). ...издавал после смерти Сталина, с 1953 года сотни работ, наверстывая свое двадцатитрехлетнее вынужденное молчание. Повесть, которая найдена в его архиве, «Встреча», – одно из философско-музыкальных его сочинений. А.Ф. Лосев сам был в молодости хорошим скрипа-

чом, глубоко и профессионально занимался теорией музыки, и, будучи профессором Московской консерватории с 1922 по 1929 год, выпустил в 1927 году книгу «Музыка как предмет логики». ...Музыка понималась им как высшее откровение, не сводимое ни на какое иное бытие, так как для нее характерен закон самообоснования. Это чистое музыкальное бытие... ...беседа – излюбленная и доступнейшая лосевская форма при изложении самых трудных проблем. В форме беседы, дружеского диалога, напоминающего нам платоновские диалоги... «Встреча» вся построена на анализе взаимоотношений музыки и общества. Более того, общества вполне конкретного – это строящийся социализм... Самое же главное, что открывает нам трагедию философа, брошенного в лагерь, это знаменитые слова...: «Никакой режим не терпит, чтобы его до конца понимали и продумывали. Да и вообще никто и ничто на свете этого не любит. А философ как раз хочет все понимать». *А.А. Тахо-Годи. Понять до конца. – Ж-л «Дружба народов». 1991. №3. С. 180-183.*

1933 ГОД. ...Мандельштам написал свои роковые стихи о Сталине. Надежда Яковлевна ...о тех импульсах, которые толкнули его на этот шаг, об ужасе, который стихи вызывали у первых слушателей. Среди них был и Пастернак... сказал: «То, что Вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу Вас не читать их никому другому». Пастернак старался отклонить нависшую беду... *Е.В. Пастернак, Е.Б. Пастернак. «Координаты...». С. 95.*

ВОЖДЬ ГЕРМАНСКОГО НАРОДА И КАНЦЛЕР ИМПЕРИИ! ВОЖДЬ НАШЕЙ ПАРТИИ И РАБОЧЕГО КЛАССА! ...И вот – лаконичная информация: «2 августа 1934 года... Гитлер отказывается от титула «президент республики» и вводит новый титул «вождь германского народа и канцлер империи»... А взгляд невольно задерживается в нижнем углу той же газетной страницы, на очередном послании тов. Сталину, на этот раз от передовых людей Краматорского завода тяжелого машиностроения, которое кончается словами: «Да здравствует вождь нашей партии и рабочего класса, наш руководитель и учитель товарищ Сталин!» *Юлия Безъязычная. Трибуна истории. – Ж-л «Современная драматургия». 1990. № 1. С. 230.*

Он гордость Партии! – / о бонапартии.
Он твердость линии! – / о муссолинии
по неприличь:
при общем мнении –/ свое не тычь! –
вторичный Ленин он,/ Ильич. Ильич!
Ярыгин.

1934 ГОД, 17августа. ...МЫ ВЫСТУПАЕМ В СТРАНЕ, ОСВЕЩЕННОЙ ГЕНИЕМ ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА, В СТРАНЕ, ГДЕ НЕУТОМИМО И ЧУДОДЕЙСТВЕННО РАБОТАЕТ ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ ИОСИФА СТАЛИНА. *А.М. Горький. Из вступительной речи на Первом Всесоюзном съезде советских писателей.*

Ха–ха–ха! Смешно ужасно / перепутать – около
зашипевшего! – Ужа с на / бой зовущим Соколом.
Весь былой материал / на казенной вишенке,
на малинке растерял / Буревестник – бывшенький.
Ярыгин.

1938 ГОД. 11-12 марта, Вена. ...меня несло в толпе истерично орущих нацистов...Эти лица! Я видел такие раньше в Нюрнберге – глаза фанатиков, широко разинутые рты, истерия. И сейчас они кричали, как сектанты-изуверы: «Зиг хайль! Зиг хайль! Зиг хайль! Хайль Гитлер!..» Один народ, один рейх, один фюрер! *С .87.*

22 марта, Вена. ...На улицах сегодня группы евреев, стоя на четвереньках, в окружении глумящихся над ними штурмовиков..., счищают эмблемы Шушнига (канцлер Австрии) с тротуаров. Многие евреи кончают жизнь самоубийством. *С.98.*

22 сентября, Годесберг. ...Когда я завтракал в саду отеля «Дризен», где остановился Гитлер, неожиданно появился этот **великий** человек... Х., тайно презирающий режим, слегка толкнул меня локтем: «Посмотри на его походку!» Взглянув, я убедился, что походка действительно забавная. Во-первых, она была очень женственной. Изящные маленькие шажки. Во-вторых, каждые несколько шагов он нервно вздергивал правое плечо, а его левая нога при этом издавала хрустящий звук. Я внимательно посмотрел на него, когда он возвращался мимо нас. Тот же нервный тик. Под глазами у него были безобразные черные пятна. Мне показалось, что этот человек на грани нервного срыва...

1939 ГОД. 23 августа. Позднее (четыре часа утра). Берлин... мы получили текст российско-германского пакта. Дело зашло дальше, чем мы думали. Это фактически альянс, и Сталин, как предполагалось, самый главный враг нацизма и агрессии, своими условиями приглашает Гитлера вторгнуться в Польшу и уничтожить ее. Друзья большевиков в ужасе... Сталинский шаг подорвет мировой коммунизм. Потерпит ли, скажем, французский коммунист, которого шесть лет учили ненавидеть нацизм больше всего на свете, сближение Москвы с Гитлером! Хотя, может быть, Сталин хитрит. Его цель – ввергнуть Германию и Западную Европу в войну, которая закончится хаосом, после чего большевики вмешаются, и тогда в европейские страны, или в то, что от них останется, придет коммунизм. А возможно, он и не хитрит. *С. 157.*

31 августа. ...Гитлер даржит в запасе еще одну важную карту – договоренность со Сталиным, что тот нападет на Польшу с тыла. *С.167.*

17 сентября. ...сегодня утром в шесть часов по московскому времени Красная армия начала вторжение в Польшу. Разумеется, у России был заключен с Польшей акт о ненападении...Теперь Советская Россия наносит Польше удар ножом в спину, а Красная армия присоединяется к нацистской армии в разгромленной Польше. *С. 181.*

15 октября. ...в среду, 11 октября, ложное сообщение о перемирии вызвало огромное воодушевление во всем Берлине. ...рано утром на волне берлинского радио было передано, что британское правительство пало и грядет немедленное перемирие. Толстые старушки на овощных рынках... подбрасывали в воздух кочаны капусты, опрокидывали от радости свои прилавки и шли в ближайшие пивные, чтобы выпить шнапса за мир.*С.202.*

1 декабря, Женева. ...Советский Союз вторгся в Финляндию! Вчера бомбардировщики военновоздушных сил «красных» атаковали Хельсинки, погибло семьдесят пять гражданских лиц и несколько сот ранено. Великий защитник рабочего класса, страстный агитатор против «фашистской агрессии», праведный борец за «добросовестное и точное соблюдение договоров» (цитата из речи Молотова месячной давности) набросился на самую порядочную и действенную крошечную демократию в Европе, нарушив дюжину «торжественных» обязательств. Все нравственные основы в международных отношениях, которые закладывали для себя Советы в последнее десятилетие, рухнули как карточный домик. Сталин поставил себя на одну доску с Гитлером, Муссолини и японцами. Советская внешняя политика оказалась такой же «империалистической», как царская. Кремль предал революцию.*С. 216. Уильм Ширер. Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой войны глазами американского корреспондента. – Москва: Центрполиграф, 2002.*

2008 ГОД. ...Бесспорно, что Сталин внес вклад в формирование советской культуры. Собственно, он ее и сформировал, без него ее просто не было бы. *Л.И. Бахарева, заведующая Саратовской общественной организации по охране памятников культуры.*

1934 ГОД, 8 ИЮЛЯ. ...Из обращения Ярославского краеведческого музея в Государственную Третьяковскую галерею.

В течение уже продолжительного времени мы обращаемся в центральные органы с просьбой

прислать специалистов для разбора громаднейшего фонда икон, оставшихся от ликвидации Ярославских Реставрационных Мастерских... Просим Вас как только возможно ускорить приезд Ваших специалистов. Иконы, среди которых имеются, как Вам, наверное, известно, исключительные памятники живописи, находятся в самом угрожающем состоянии, так как сложены в громадном количестве в сыром помещении... *Зам. директора Романычева.*

1934 ГОД: 25 НОЯБРЯ. ...Информация Ярославского краеведческого музея в Комитет по охране памятников при ВЦИК.

Ярославский Краеведческий Музей сообщает, что бывшая Воздвиженская церковь была передана Реставрационной Мастерской Коммунальному отделу без акта и без фиксации. В последующем Реставрационные Мастерские были ликвидированы, и их руководители арестованы, и никаких сведений не осталось. *Директор музея Громов.(Ярославский архив. Историко-краеведческий сборник. – Москва–Санкт-Петербург: ATHENEUM–ФЕНИКС, 1996. С. 259–260, 263.)*

Почему Александр Бенуа остался за границей? Он не был эмигрантом. Как Маяковский, ездил в командировки за границу. Там его застали вести о первых распродажах Советской властью музейных экспонатов. Бенуа опубликовал письмо, где говорил, что советское правительство не имеет права распоряжаться национальными ценностями: его лишают советского подданства – он не может вернуться в Россию. В правительстве якобы один Калинин был против распродажи: – Выгода небольшая, а сраму не оберешься! *В.В. Леонтьев: 1963 год.*

1936 ГОД. ...По дороге в реставрационную мастерскую каждый раз останавливаюсь у Веласкеса: «Эскиз к портрету папы Иннокентия X» – «художникам на века учиться!» Останавливаюсь – стена пустая!.. Приезжают ночью, снимают... говорить боимся – люди пропадают. Тема распродажи запретна, засекречена даже для музейных сотрудников. *Трухачев Андрей Николаевич (1941 год – заведующий реставрационной мастерской Эрмитажа): 1964 г.*

1935-1940 ГОДЫ. После Краматорской стройки послали на курорт ЦК партии. Мне дали путевку на Кавказ. Я бы и не ушла с работы. Андрей Григорьевич поехал в отпуск к брату, которого потом расстреляли. Поехал, да там и остался. Дали мне справки о том, что необходимо поменять климат. Так мы и попали во Владикавказ, Орджоникидзе сейчас – и Джау-Джирсу называли.

...ЧТО У МЕНЯ ПЛОХО, фамилии забываю. Из-за этого в группу попала против Сталина. Пошла работать в Лито, а тут нужно было Литинститут закончить, ну и проверяли политграмоту. Отвечала, отвечала, а фамилию секретаря забыла – Сергеев, первый райком в Саратове... стали про народников спрашивать, течения в партии: – Где вы были? – В Саратове. – Как фамилия секретаря? – А я и забыла. – Как же вы смеете забывать? – История партии не история секретарей. И ушла... тогда они создали комиссию по проверке политзнаний у меня. Председатель комиссии отозвался, что я грамотная. После проверки меня вызывают на Пленум, и после нервотрепки такой выступает секретарь обкома и начальник НКВД и дают отличную характеристику.

Были придирки тогда. Грозил один, что я выдала военную тайну, он хотел, чтобы меня расстреляли. Он вошел в спецотдел и говорит: – Брось дурака валять, мы и не таких расстреливали. Ты знаешь, я куртку Сталина носил! – Я его поперла: – Ах ты, сволочь такая! А почему у нас с этим – он сказал, что не одну отправил в тюрьму... он строитель, но строил вредительски. В лаборатории не ставил вентиляции, студенты в обморок падали. Тогда отравления были, особенно детские, и когда в институте разбирались – студенты травились, он отвечал, что нет моторов. А я нашла в городе моторы. Мне помогал секретарь комсомольской организации. Мы писали вдвоем в краевую газету, там не пропустили, мы послали в Москву студента-осетина. Материал попал в Москву, там велели напечатать и признали ошибку секретаря Губкома, Райкома. И вот получилось – я выдала военную тайну. А меня поддерживал Иванов, начальник НКВД, его потом расстреляли. Когда он получил на меня донос, сказал, что НКВД об этом письме знала заранее. Заметку на партсобраниях прорабатывали. Тут деваться некуда, стали меня возвышать. Стали

придираться к Андрею Григорьевичу. Он был председатель профсоюза студенческого: – Какое партийное поручение он несет? – и придрались к бородке, не троцкист ли он? Отобрали партбилет у Андрея Григорьевича: – Партийный не должен быть в профсоюзе. – И тогда при проверке я роль профсоюза, ленинское определение, отстаивала. Я поругалась, дверью хлопнула у секретаря обкома. И секретаря Горкома – а этого я не помню фамилию, и обкома – Мауэр, между прочим, он инвалид гражданской войны – их забрали в одну ночь и вместе с завотделом и в одну ночь расстреляли.

Если бы не уехали, то и расстреляли бы. Вот брата Андрея Григорьевича расстреляли. А за что? Купила его жена себе на платье крепдешину. Она была простая и член партии и говорит своим учителям: – Вот хотите одеться, там-то. А та-то спекулянтка, она не знала. Ее и посадили – это была причина, говорили не стесняясь. Муж против сказал – и его тоже. Он сидел в лагерях, а улик-то никаких, и его отправили, так говорят, на фронт – война началась. Жена пять лет отсидела в лагерях, а сын в детдом попал. ...Кругом враги, мы не знали, кто ты, кто я, и ходить мы боялись друг с другом, и говорить мы боялись друг с другом. Только и слышишь: – Это враг народа. Это враг народа – и не знаешь, кто ты. Кончила я областную партшколу в Орджоникидзе, и Обком направил меня работать в Главлито Северо-Осетинской республики. Очень тяжелая работа. У меня родился Руслан – двое детей тогда было. Газета выходила ночью. Я сидела за газетой и до того уставала, что прочитаешь и не понимаешь – опять перечитывала. Брала читать домой газеты, книги по вечерам до двух часов ночи. Постепенно у меня позвоночник заболел, признали расстройство центральной нервной системы. Тогда я подлечилась и уехала в свой Донбасс.

Я вооруженная ходила. На фронте у меня наган был. В Краматоровке поменяли на браунинг: – Зачем вам наган, тяжело носить. В тридцать седьмом–тридцать восьмом году в Орджоникидзе вызвали и предложили сдать оружие. Да и сбежали оттуда. Начальник у нас хороший, он три раза выговор получал. При отъезде говорит: – Лидия Ивановна единственный человек в Лито – уезжает без выговора.

Кусочек жизни это Орджоникидзе только, а начнется Донбасс. А еще фронт, еще война, где моих лучших товарищей расстреляли, в шурфы сбросили – с которыми я работала. *Суворова-Алферова: 1968 год.*

ЯРЫГИН: из неопубликованного
(Печатается по машинописи Л.А. Иванова с авторской правкой)

1934 ГОД, САРАТОВ
Зачем тревожно вы поете? / Ваш путь прекрасен и далек.
Вы много счастия найдете, / А я в плену и одинок.
Мне к Вам, но сердце рвет от боли. / Крепка стальных решеток сталь.
Я – сын изгнанья и неволи, / Не мне чарующая даль.

10 ФЕВРАЛЯ 1936 ГОДА
Видно, жизнь великая на коне. / Стыл февраль, нахмуривая брови.
Хрипло ржали взмыленные кони, / Чуя запах пороха и крови.
Пушкин! Это, это для него ли/ Буря душу надрывает воем?
Пушкин, сын изгнанья и неволи, / Кинь привет, привет прощальный свой им.

15 АПРЕЛЯ 1939 ГОДА
Змеятся рельсы в злую даль. / Холоден хмурый блеск.
И, грезится, я на года / В тоску железа влез.
И, кажется, мне не уйти! / Скрипит угрозой сталь.
Я поперек ее пути неколебимо встал. / Щемящая стальная грусть

Проникшая везде. / И страшен мне зловещий хруст
Ломаемых костей. / Меня сгибает, режет, гнет.
Не изменясь в лице, / Гляжу в свинцовое вперед
В его стальном венце. / Я рад уйти, но не уйду:
Мне некуда идти. / Свою судьбу угрюмо жду
Я поперек пути.

1939 ГОД
Умолкла жизни пенная струя. / И вот моя земля – один истлевший остов.
Вот мертвая земля оскаленных погостов / В померкший небосвод вздымает острия.
В безумном плясе одичалых орд / Растоптан труд веков и поколений,
И человеческий упорный гений / Поник в крови и в прахе распростерт.

«НОВЫЙ ПЛАН БЫТИЯ». «Закон взаимного пожирания существа побеждается в самом своем корне, **в человеческом сердце**, через любовь и жалость»...признак сердца милующего есть «возгорание сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, **о демонах** и о всякой твари...От великой и сильной жалости, объемлющей сердце, и от великого страдания сжимается сердце его, и не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных и о врагах истины и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились они и были помилованы; а также о естестве пресмыкающихся молится с великою жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в сем Богу: *«Иже во святыхъ отца нашего Саввы Исаака Сир**іянина, – слова подвижническія».** – Москва, 1858. С. 299. (Цит. по*: *Кн. Е.Н. Трубецкой. «Умозрение въ краскахъ. Вопрось о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи». Типография Т-ва И.Д. Сытина. Пятницкая улица, свой домъ. Москва. 1916. С.30.)*

На заре Советской власти... были заложены гуманные начала в порядок содержания нарушителей закона. В принятых в 1919 году «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР» в частности говорилось: «Являясь мерой оборонительной, наказание должно быть целесообразно и в то же время лишено признаков мучительства и не должно причинять преступнику бесполезных и лишних страданий. *И. Быховский, доктор юридических наук. – Ж-л «Нева». 1988. № 5. С. 160.*

1939 ГОД. ...Следователь Родос сломал мне левую руку, а правую оставил, чтобы я мог подписать показания. Мои показания ложны: я не мог вынести пыток и унижений... *Всеволод Мейерхольд – предсмертное письмо Генеральному прокурору СССР А.Я. Вышинскому.* (*Дмитрий Юрасов. «Верните право на память!» – Ж-л «Собеседник». 1988. № 22. С. 5.)*

1943 ГОД. ...В одном из интервью племянница Л. И. Брежнева Любовь Яковлевна сообщила, что Леонид Ильич ставил под сомнение официальную версию смерти Вавилова. По его словам, Вавилов, будучи в Саратовской тюрьме, страдал дистрофией. По приказу свыше, его вынесли во двор и бросили живым в яму с известью (!)
Сб. : Суд палача. Николай Вавилов в застенках НКВД. – М.: Academia, 1999.

ЯРЫГИН: из неопубликованного
(Машинопись Л.А. Иванова с авторской правкой)

АПРЕЛЬ 1941 ГОДА, САРАТОВ
Вперед, ребята! Выход есть – / Судьбе навстречу, брови хмуря.
И ветер знает свою честь. / Грозней порыв – страшнее буря.
Тюремных рубищ на руках / Вздымаю в небо рукава я.

Вперед! Вздымает дикий страх / Им наша встреча роковая!
Недаром крепнет моря вой, / Так настороженно тревожен,
Весь гнев, весь ужас мировой / Мечами вынули из ножен.
Мы, дети горя, дети бед, / Из нашей черной преисподней
Отвоевать желанный свет, / Нам недоступный до сегодня.
Смелее! Вновь явился тот, / Кого вы помните распятым.
Не мир, но меч вперед зовет / Все сотрясающим набатом.

1936 ГОД, 28 ЯНВАРЯ. ...Статья в «Правде» «Сумбур вместо музыки» произвела впечатление шока. В самой грубой форме она шельмовала Д. Шостаковича, лучшего современного композитора. Когда же стало понятно, что инициатором кампании, получившей название «дискуссии о формализме», является сам Сталин, на что намекала пресса, творческие союзы охватила истерия взаимных поношений и самобичеваний, все бросились искать и разоблачать «формалистов» во всех областях художественной жизни... ничего «дискуссионного» там не было и быть не могло – смысл собраний сводился к проверке или демонстрации лояльности...

1936 ГОД, 13 МАРТА – выступление Б.Л. Пастернака. Ответ Пастернаку был дан В.Я. Кирпотиным: «...Тов. Пастернак, вы не расслышали голоса рабочих, колхозников, масс созревших (аплодисменты), которые сейчас понимают не только, как строить заводы и крупное обобществленное сельское хозяйство, но которые понимают искусство и будут диктовать свои законы искусству. (Аплодисменты.) Голоса наших газет, голос нашей великой, непобедимой ленинско-сталинской партии – это голос народа, это голос низов. (Аплодисменты.) ...Но надо сказать, что свет клином не сошелся. Если не смогут это сделать писатели, то источник талантов и гениальностей в народе не иссякнет. (Аплодисменты.) Если мы не сделаем, – завтра же придут другие, которые выполнят эту задачу» (по стенограмме). *Е.Б. Пастернак. Намеренный риск. – Ж-л «Литературное обозрение». 1990. № 3. С. 86.*

В общем, критика права, – / пусть титаны морщатся! –
засучают рукава – / тьма Ваньков! – для творчества.
Ярыгин

В. И. ВЕРНАДСКИЙ. ДНЕВНИК

1938 ГОД. 1 АПРЕЛЯ. ...«разговор» о возможности и желательности ядерного исследования новой методикой вещества метеоритов... мысль о «возможности обнаружения в них» следов заурановых элементов... Трудно учесть вред цензуры – вполне бездарной, невежественной и, возможно, сознательно мешающей научной работе в нашей стране.

5 АПРЕЛЯ, УТРО. ...По радио за последние дни 13 ночи «передавалось» обращение от Союза Освобождения России. Название – от старого...«Союза Освобождения 1903 года» (*В. Вернадский являлся одним из организаторов нелегального Союза освобождения, на базе которого в октябре 1905 года в России возникла Конституционно-демократическая партия, декретом Совнаркома в ноябре 1917 года объявленная партией «врагов народа». Вернадский входил в состав ее ЦК – Публикатор дневника*). По-видимому, «радио» не немецкое. Гнет Сталина. Идеал Ленина. Сталин повернул, изменил революции. Внешняя политика Литвинова – Сталина ставит Россию в опасное положение изоляции.Собственность не на орудия производства. «Кровавый Сталин». Бухарин – не изменник. Ежов террором разрушает «страну». Говоря, они «дикторы» рискуют жизнью – но не боятся. Страна организуется и свободу добудет...

7 АПРЕЛЯ, УТРО. ...Всюду полный разгром и террор – и все же люди не перестают работать. ...Сейчас из комсомольцев набор (по выбору партии – безапелляционному) в годовые курсы НКВД. Берут из всех высших школ: 300 р. в месяц – «роскошная» жизнь в общежитии НКВД. Чему учат, не рассказывают. Агенты НКВД кишат среди студенчества – их многие знают.

11 АПРЕЛЯ, УТРО. ...Много арестуют простых людей. Свинарь в совхозе или колхозе «осуж-

ден» **на 3 года** за то, что, подымая кабана сапогами, говорил ему: «Ну ты, стахановец, вставай!» Донесли... Смута и неопределенность в душе у огромного большинства кругом.

12 МАЯ, УТРО. ...Впечатление неустойчивости существующего у меня становится еще сильнее. Политика террора становится еще более безумной, чем я думал еще недавно.

18 МАЯ, УТРО. ...Очень большое впечатление «произвели» рассказы Поли (Тульской крестьянки) ...Вернулась из деревни. Там голодно и никакой мануфактуры. Колхозники недовольны. Большие аресты среди «населения» деревень. В Саратове массовые аресты среди поселенных там служащих Манчжурской дороги. Целые улицы пустуют – аресты «шпионов». ...в связи с падежом скота. Гибнет скот – лошади, меньше коровы. Причина – в погоне за Сталинским заданием 8 миллионного урожая: все сплошь засеяно хлебами – ни выгонов, ни травосеяния... Голодают. Повторилась та же история, как в Туркестане с хлопком.

ДЕКАБРЯ, УТРО. ВОСКРЕСЕНЬЕ. ...В связи с цензурой книг: не приходят химические журналы. Здесь положение сильно ухудшилось по сравнению с прошлым годом. – Одичание партийных кадров? Или «делается» нарочно? ...о необходимости активно «действовать» – по поводу «ареста и судьбы» Дмитрия Ивановича.. ...Разговоры – в анекдотах – о том, что всех тревожит: бессмысленный террор – можно погубить свою жизнь и близких без всякой вины. Многие смотрят в ближайшее и ***отдаленное*** будущее мрачно. Лузин (академик – Публикатор): «Человек идет к одичанию». Я совершенно иного «мнения» – «идет» к ноосфере.

...Переход в ноосферу, вероятно, произойдет в пароксизмах.

Ж-л «Дружба народов». 1991. № 3. С. 240-265.

1938 ГОД

– Я СЕГОДНЯ СНЕГОМ ОБТИРАЛАСЬ, КАК ВСЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ В АЛЖИРЕ. – Как можно в Алжире снегом обтираться? – Вы не знаете? АЛЖИР: Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Нас было там десять тысяч, двадцать шестая точка в Северном Казахстане... Когда по радио объявили, что Хрущев назвал Целиноградом – мы были все страшно потрясены... Алжироградом! Вы думаете, первыми целинниками были те, которых провожали с цветами и песнями на московских вокзалах? Я Хрущеву писала! Вы думаете, он мне ответил? Он мне не ответил!

...Мишин и Баринов – два начальника лагеря... Хочешь не валяться на нарах и вкусно жрать – иди ко мне! – На каких ролях? – За энто – так и говорит: за ЭНТО!–ты будешь детей учить ХРАНЦУЗСКОМУ**,** учить музыке. Будешь учить грамоте меня, маму и детей – надо отдать должное, он понимал, что неграмотен – будешь варить и будешь...– и буду твоей подстилкой? – Которые работали в конторе, все были любовницами, вы меня понимаете! – Будешь! Ну и щож? – А тож, что не будет того! – Так будешь ассенизатором работать! – Ну и буду! – повернулась спиной и ушла.

В это же время второй начальник лагеря Баринов такое же предложение сделал Вере Николаевне. С одной стороны – это трагедия. Но с другой стороны... когда нас послали на конюшню и заведующая конюшней нам закричала – тра-та-та-та! – вы меня понимаете – Берите ярмо! Берите занозу! – друг на друга смотрим, ничего не понимаем. Так учитель бывший нам объяснил – Это вот ярмо, налыко, заноза. – Это такая тяжесть адская. Так вот мы вдвоем – Пат и Паташонок – взяли ярмо и к волам... и она, и я – боимся подойти... Как сейчас помню – конец августа, чудный солнечный день. Вера Николаевна правила, а я сидела. Так мы сидим и поем – Тореадор, смелее в бой! – Потому что мы верили – не сегодня-завтра нас выпустят. А когда прошел год – единственной, кого выпустили за все время – была Мессерер, балерина вместе с мальчиком, ему было четыре года... Прошел другой год, третий... и все-таки до последней минуты я верила. Напару, два года были ассенизаторами. Так можете себе представить, Вера Николаевна за восемь лет не написала таких изумительных стихов...Это была единственная работа без стрелков и мата. Вы меня понимаете? Что требовалось? Бочка, черпак летом... не такая! Примитивная – доски положены – яма стенами огорожена, на зиму крыша, вы меня понимаете! Вывозили за зону фекалий... мы с ней проработаем четырнадцать часов: она, смеясь, напевая, мелком на фанерке – карандаши не полагались, перо тем более...Нет! Нет, нет! – так во всю жизнь – смеясь, писала.

Она в Смольном училась. Вера Николаевна, по мужу Папаригопуло: сын греческого посланника... половина вещей пошла в Эрмитаж – жили, вы меня понимаете. Ее мать была шифреза, окончила с шифром Смольный институт и имела право быть фрейлиной при дворе. Лет на восемь моложе меня. Выглядела она – мальчик. Мальчик! Фарфоровая статуэтка. Я по сравнению с ней гренадер.

Сейчас я вам прочту... Я вас прошу быть строгими судьями, но быть откровенными. Это стихотворение, посвященное первому открывателю космических лучей Александру Брониславовичу Вериго. Одним из первых подымался на этом... воздушном шаре.Она попала в Кресты, предварительно сидела, ему посвятила.

Вы изучением космических лучей / Должно быть, заняты, мой милый Сано.
Вас не смущает яд моих речей? / Вы весь в приборах – **Time is money**
по английски: время – деньги.
А в вашем гнездышке пленительный уют. / И сакс, и севр на фоне палисандра.
В кашпо...
вы, наверное, не знаете – это корзины для цветов.
В кашпо старинных девственно цветут / Мои любимцы, чудо – олеандры
бледнорозовые цветы, мне они...
На круглом столике по прежнему блестят / С такой заманчивостью сливы в шоколаде.
В углах диванов ангельски грустят / Подушки, нежно вышитые гладью.
В цветном графине дремлет кюрасо
ликер, в прежние времена после чая подавалось в маленьких чашечках
Стоят нетронутыми клавиши рояля.
Да, все случившееся словно скверный сон. /Жизнь показала оборот медали.
Давно ль мечтали с вами мы о том, / Что вскоре все пойдет у нас иначе.
Как с первым теплым солнечным лучом /Вы увезете, друг, меня на дачу.
Давно ли мчал нас золотистый ЗИС / По запыленной Пулковской дороге,
А вы, желая сделать мне сюрприз, / Взамен цветов преподнесли миноги.
Никто из нас, вкушая жизни мед, / Не ждал такой развязки неуклюжей,
Что вдруг судьба так жестко подведет / Итоги нашей многолетней дружбы.
Итак, четвертый месяц я в тюрьме / Сплю на полу, рядком со мной параша –
а что такое параша, вы знаете?
За четверть века ворох перемен, / Бессменна только ячневая каша,
Да раздраженный оклик часовой.
у нас были мужчины и женщины...самые лютые были женщины.
Мне не вернуться, видимо, домой.
Меня придавит тяжесть приговора. / Брожу по камере с туманной головой,
А настроенье – удавиться впору. / И все ж, хоть кошки на сердце скребут,
Хоть в перспективе отдаленный лагерь, / Я не могу, чтоб несколько минут
Не уделить маранию бумаги. / Не предавайтесь грусти о былом.
И не жалейте, что меня не стало. / О, если б только знали вы, как мало
Теперь потребно мне для счастья моего. / Ну, например, кусочек свежей халы
Иль ломоток бараньего жиго. / Не правда ль, как я низко пала?
Вам, очевидно, даже невдомек, / Что, после роя красочных моментов
Меня способен радовать ларек / С его несложнейшим ассортиментом.
Где лук зеленый и чеснок / Увы, считать приходится находкой.
Где, позабыв о томных файф-о-клок / Хватаешь жадно ржавую селедку.
Вас удивит еще сильнее то, / Что в стенах столь позорнейшего места
Мне удалось, без трудности притом, / Найти для вас прекрасную невесту.
Она высокой марки агроном –
я с ней потом познакомилась – Кудрявцева, даже помню фамилию – агроном, после восьми лет осталась там на работу– ее очень ценили.

Незаменимый клад для вашей дачи.
К тому ж мила, изящна и с умом, / Танцует фокс и даже Кукарачу –
в то время это было очень модным.
Ее, как вас, способна захватить / Структура разных дьявольских приборов.
Она часами может говорить / Об оболочках, гайках и моторах.
Ее ни свет, ни дальность не спугнет / И, вместе с вами, весело и дружно,
Она в любой отправится полет / На полюс Северный, на полюс Южный!
Итак, отныне, значит, решено / Что к ноябрю вы будете женаты.
Здесь есть, конечно, маленькое но: / Невеста временно из общества изъята.
При этом числится по пятьдесят восьмой, / Не за свои погрешности, за мужа.
Но все ж предупредить вас нужно / Об этом, друг мой дорогой,
Чтоб не нарушить ваш покой / И не испортить старой дружбы.
Когда уеду, в час досужий / Сходите навестить мой дом
И успокоить мать. К тому же / Снесите ей строфант и бром,
Скажите ей, что я в надежде, – / На что, придумаете сам.
Ну, а теперь, желаю вам успеха / И прошу как прежде,
И на Земле, и на Луне / Повсюду помнить обо мне...
И переправить сухарей / В один из дальних лагерей!

Мы не теряли бодрости, послушайте, например, анекдот о двух сестрах. Одна, жена министра, пишет: – Дорогая сестрица. Живу очень хорошо, езжу на ЭМ–ДВА и очень часто покупаю себе новые наряды... Ответ: – Дорогая сестрица! Живу лучше твоего – езжу на МУ–ДВА и получаю ежедневно бесплатные наряды.

...Люся, шла и за брата, и за мужа.Она была летчик и муж был летчик – а там она была поливальщицей – там исключительно были полевые работы, за пятнадцать километров от лагеря.

«НАДО МНОЙ РАСКАЛЕННЫЙ ШАТЕР КАЗАХСТАНА»
Надо мной раскаленный шатер Казахстана. / Бесконечная степь серебрится вдали.
Но куда б ни пошла, я тебя не застану. / Рассказать о тебе не хотят ковыли.
Вырываю часами бурьян и осоку. / Чтобы колос пшеницы налился зерном.
Облака надо мной проплывают высоко. / Только нам улететь не придется вдвоем!
Только нам, мой любимый, дороги заказаны. / Даже ветер и тот не приносит покой.
Я иду по степи без тебя, синеглазый мой / Сердце крепко сжимаю горячей рукой.
Я иду по степи – колосится пшеница, / Быстрокрылая чайка куда-то спешит...
Мы отныне с тобою бескрылые птицы, / А птенца далеко унесло в камыши –
только что родившийся ребенок был!
Что же делать? Слезами беде не поможешь. / Ветер высушит слезы, но боль не уймет!
Нам не верит страна, ни единый прохожий / Нам навстречу приветной улыбки не шлет.
Нам не верит страна! Что же делать, мой милый?
Как сказать ей о том, что мы сердцем чисты? –
Что, не прекрасно написано? И это дилетант!
Чуть шумят ковыли, солнце жжет мои губы. / Непривычно и пряно здесь пахнут цветы –
особенно тюльпаны! Одуряющее пахнут! Здесь не так!
Ковыли и пшеница. Ни речки, ни бора. / Но и здесь нашей Родины воздух я пью.
Я со степью о воле веду разговоры. / Ковылям о тебе и ребенке пою.
Так сожми же, как я, свое сердце руками. / А глаза осуши, проходя на ветру.
Если тучи плотней нависают ночами...
или – над нами! – здесь как хотите. Раньше все я знала наизусть. А когда Вова умер – я решила писать. Отвлекалась. И правильно сделала, а то я сейчас ничего не помню.
Если тучи плотней нависают над нами, / Тем скорей эти тучи разгонит к утру.

Выше голову, милый, я ждать не устану./Моя совесть чиста, хоть одежда в пыли.
Надо мной раскаленный шатер Казахстана. / Бесконечная степь серебрится вдали.

«МОЕЙ ГОРЯЧО ЛЮБИМОЙ МАМОЧКЕ»:

.....

Или, прося для ссыльной дочки милости / Оставить жизнь у прокурорского стола.

...так барак из трехсот человек – редко кто не рыдал. У нее голос был слабый, мне поручали читать. Вообще, скажу прямо – до пятьдесят девятого года моему оптимизму завидовали...Я жила там восемь лет. Меня окружали постоянно поэты, первому слушателю – они несли мне. У нас было пятьдесят бараков и прибегали посмотреть на меня из других бараков, послушать, как я говорю... это там многие стали поэтами, художниками, рассказчиками – все переменилось. Как видите, мы не теряли бодрости! Почему я и осталась жива – не теряла оптимизма, считала, что это страшная ошибка, не сегодня–завтра все объяснится и нас выпустят. А которые принимали это так, как есть... вы меня понимаете!

...невестка Троцкого – Рубинштейн, Ларина – теща Бухарина. Смирнову Зою Александровну, знаменитую киноактрису – муж начальник НКВД – в пять часов: – Собирайтесь к следователю! – Господи, все было! По ночам, господи, это были такие крики истошные – не каждый был Матросовым, не все же могли быть Зоей Космодемьянской... Это не значит, что они были бесчестные люди, им не хватало силы бесстрашия... и дети там были! Очаровательный! Азарчик! – Та знаменитая Мессерер: через год за ней приехала сестра и забрала – это только оттого, что Семенова ее подруга – вместе танцевала: сестра, братья – вместе были на сцене – любовница Молотова... единственный случай!..Уншлис, Фриновская – мы там просидели только полтора года. Потом приехала комиссия и стала, как лошадей, зубы считать, извините, залезать во все места – думали, нас освобождать! Посадили по тридцать человек на грузовики – в Кара-мала, севернее Акмолинска, в смешанные лагеря, к уркам – так они нас...

Вы бы посмотрели, как со мной обращались, когда меня выпустили. Комаров, начальник милиции: – Немедленно выехать в двадцать четыре часа отсюда, за сто километров от Саратова! – паспорта у меня не было, было удостоверение. Стояков, в то время он был Председателем горисполкома – если б не он, давным-давно меня бы здесь не было, давным-давно.

Мне дали вторую категорию: компенсированный порок сердца, эритема ног... У меня был селитер, так прежде чем гнать, нужно было измерить давление. Врач, она меня до сих пор лечит – как она выразилась? – Это послеблокадная болезнь! Мужчины не переживают, а женщины более выносливые. – Так я же блокады не переживала! – Вы пережили хуже, чем блокаду! – Сколько раз меня увозили на скорой помощи. Когда меня привезли первый раз к Кутанину – это после седьмого отравления – так мы с ним ежедневно ссорились. Меня продержали три месяца. – Немедленно меня выпишете, я совершенно здорова! – Нормальный человек травиться не будет!

...если бы вы пожили, как я – мужа потеряли и сына. Это непримиримость, непримиримость к прошлому и к настоящему. Мне было сорок четыре года, когда меня забрали... мужу, оттого, что он был беженцем четырнадцатого года, ему приписали шпионаж. Сына Мишу забрали – двенадцати лет – через час после моего ареста, восемнадцатого февраля. Он кричал – Вы не имеете права! – У меня такое впечатление, что его в машине пристрелили. Это был такой мальчик, такой мальчик – если бы ему сказали, что его отец или мать враги народа... Мишуня. Забрали в детский дом двенадцати лет, а потом сказали, что он сбежал. Всюду справки наводили... сейчас бы ему было сорок лет. – Должен вам сказать, у нас такая масса жен, что мы не управлялись всех взять – сказал приехавший за мной, молоденький... под самое утро и машин не хватало, увезли на такси... После реабилитации, после пятьдесят седьмого года я должна была быть в Москве – меня не пустили! То есть – как не пустили? Мне очень вежливо, корректно объяснили, что, к сожалению, Москва не резиновая, у вас пенсия, чудесная квартира – это у меня чудесная квартира! **(Зоя Михайловна после смерти сына Вовы, кинооператора, осталась жить в его ведомственной**

квартире – двух комнатах на задворках Саратовского областного дома народного творчества: Проспект Кирова, 5. – В.Л.)

Третий муж – через два года после расстрела Диурского он мне сделал предложение – в то время, когда от меня все шарахались...и с работы уволили. А он не побоялся...Я была восхищена смелостью и отвагой... ...А потом я его полюбила. У меня глаза были синие, такие же, как у Миши – теперь они выцвели. А Олехнович был на пятнадцать лет старше меня. Его за что? Откуда я знаю? Сказали – враг народа! А когда меня реабилитировали в пятьдесят седьмом году – отменяется за отсутствием состава преступления. Сказали – Забудьте, что видели и где были! – Такое было назидание, нас приравняли к бытовикам и дали эти...паспорта чесэир без ограничений. У меня двадцатилетний педагогический стаж, а пенсии я не получаю –за сына только! А мужа вообще не оказалось, документов не оказалось. Если рассказать мою жизнь! Мне говорят – Зоя Михайловна! Пишите мемуары! – И на старости лет остаться в незнакомом городе одна... Давид Михайлович Ибрагимов заходит, на восьмое марта с цветами неукоснительно – он с Вовой дружил (оба кинооператоры – В.Л). ...Пенсию за сына получаю. Хотя могла бы получать за мужа и за себя...Вы думаете – я против коммунистов? Я за коммунистов, только коммунистов ленинских, а не хрущевских и не сталинских!

Кооперативная квартира из трех комнат в Москве, на имя мужа Олехновича – в ноябре его забрали... никаких документов не сохранилось. И к тридцать седьмому году, после первых выборов – я еще участвовала и сидела среди пальм, как сейчас помню, словом – очень торжественно... а мужа уже забрали... муж собирался переходить – в кооперативе у нас было три комнаты со всеми удобствами. Даже газ был – не так, как сейчас, а с баллонами... Вы думаете, мне отдали? Это было на мужнино имя – пай записан. За восемь лет мы заплатили десять тысяч, а когда после допроса я поехала в общество, мне сказали – Зоя Михайловна! Пай на его имя! – Я поехала на Лубянку, простояла весь день, следователь, сопливый мальчишка: – Ну что ж, Олехнович, ваш муж, по-видимому, вам не доверяет, потому что он ваше заявление не подписал. ...так что ж! Пересмотрели всех пайщиков и оказалось – его в Москве нет! И никогда не жил!

Жен зачем брали? Вообще понять это может лишь тот, кто был в лагерях. А вот почему это делалось? Не знаю – такого не было в истории. Фашисты брали евреев – они считались врагами. ...и все-таки в двадцать первом году у меня конфисковали имущество, но меня не забрали. Мой первый муж Торчинский, от него сыновья Миша и Вова. Торчинский – Джон Буль: тип англичанина. Я с ним разошлась. Потом мужа видел и третьего тоже. – Ничего не понимаю! Вы терпеть не могли бородатых и усатых. И блондинов! – Второй муж убиенный Диурский: на десять лет старше меня. Писаный красавец! Когда мы с ним танцевали мазурку, выходили все игравшие в карты... вы меня понимаете! Он был поляк, беженец, был расстрелян... да, но позвольте, в данном случае это не Сталин! Это в двадцать первом году! Поляк, директор кондитерской фабрики. Сказали, что он состоял в переписке с графом Глинским – в девятнадцатом его перевели на Щедровский завод, который принадлежал графу Глинскому. Вы представляете? Его расстреливал Заковский! А в тридцать седьмом году Заковский подписал приговор Олехновичу.

Да, да, эта фотография – бывшая графиня Развадовская, потом солдатка – моя бабушка... Казимир Станиславович. Он был любимцем Репина, откуда у нас и оказалось два портрета его кисти. Граф, грудь в орденах, отказался стрелять в толпу. Разжаловали в солдаты... с турками – опять вся грудь в орденах и восстановили в звании. Предложили в графы, он отказался!.. отец – Угадайко, Михаил Иванович. Когда подавали шампанское – и его вино, вы понимаете! У нас дома стояли кувшины... мог выпить в компании сколько угодно – ликеры делал, такие наливки. Папа, инфаркт – полгода умирал... меня никакие средства не взяли. В пятьдесят девятом году началось, когда я поняла, что никакая правда, никакая справедливость не восторжествовала. Двадцать лет я педагог. Ученики меня любили, самообладание было у меня в характере и, повторяю, если я выжила восемь лет именно в фашистских лагерях, так это только потому, что я уверена была – это вредительство...

Олехнович Зоя Михайловна: 1963-1965 годы.

«Коммунист». 20 марта. 1948 года. №57 (4072). стр. 4.
Нижне–Волжская студия кинохроники.
Смерть Торчинского Владимира Всеволодовича. Похороны 21 марта.
СГХРМ. Архив. А. и В. Леонтьевы. Опись № 1. Ед.хр. 148. На 63 листах газетные вырезки.

1989 ГОД. «ДЕНЬ СОВЕСТИ НА ТОЧКЕ 26»

Что угодно, но подобной реакции на небольшую корреспонденцию нашего собственного корреспондента О. Стефашина «Варварство» («Известия», № 215) никто и предположить не мог. Вал протестов из Малиновки. От руководителей производственного объединения по птицеводству и сельского Совета, от схода, на который собрались четыреста граждан и прибыли секретарь Целиноградского РК КП Казахстана и председатель райисполкома. От коллективов: строителей – 125 подписей, участковой больницы – «Мы, медработники, возмущены...», средней школы – «Мы, педагоги, требуем...». Газета «напечатала пасквиль», оскорблены «честь и достоинство шести тысяч жителей». Все копии посланы в ЦК КПСС. Притом «коллектив оставляет за собой право обратиться в Верховный Совет СССР». По решению схода представители общественности были специально командированы в Москву, в «Известия», с требованием опубликовать опровержение. А исполком сельского Совета просил направить сотрудника газеты для проверки.

Объясню, почему полетела в Целиноград именно я. В Малиновке, в АЛЖИРе, Акмолинском лагере жен изменников родины, находилась в заключении моя тетя, которую отправили туда в 37-м году с грудной дочкой. Когда двухлетнюю девочку, фантастическими усилиями нашей бабушки вырванную из лагеря, привезли на волю, самым осознанным в ее лепете был страх: «Козел ушел за зону!» Авитаминоз и истерия, приобретенные в лагере, изломали ее жизнь. Так что сама я напросилась в командировку, чтобы увидеть **это** своими глазами.

О содержании заметки. Весной на окраине села рыли траншею под ограду свалки, и экскаватор стал выбрасывать вместе с землей человеческие останки. Читатель, фронтовик В. Лукин, – из его письма редакции стало известно об этом событии – сфотографировал рассыпанные кости, которые «валялись на дороге, даже у ворот птицефабрики»... Газета сочла факт – судя по почте, не уникальный – заслуживающим общественного беспокойства. Бесчеловечно оставлять непогребенными чьи бы то ни было останки, тем более в поселке, где томились и гибли невинные.

Гневные отклики были похожи не только аргументами, в них повторялись определения, фразы, чем председатель исполкома, Зинаида Ивановна Дибаева, не смутилась: не каждый, мол, способен составить грамотную бумагу в центр, пришлось немного подредактировать. Ну да ладно. А что неладно – как собирали подписи. К примеру, и так. Пришла на объект нормировщица Аня, сказала, написано в «Известиях», что малиновцы строят птичники на кладбище, надо оправдаться. «Вы сами газету видели?» – спросили мы со Стефашиным у одного из подписавших, столяра. «Не-е, я просто расписался, я со всеми». Но большинство, конечно, прочло. Что не соответствует истине, подлежит опровержению?

АЛЖИР, если придерживаться документов, – не лагерь, а точка 26, часть системы Карлага, Карагандинского исправительного лагеря МВД особого режима. В «точке», кроме сестры маршала Тухачевского, сидели его невестки, а не жена, как ошибочно указано в «Известиях». Упомянутые ворота – вовсе не ворота, а дальний выход с территории фабрики к очистным сооружениям (ямы для помета)... И из-за этого буря возмущения? Оказывается, нет, главные претензии не к тексту, а к духу выступления. Как посмели назвать малиновцев варварами, когда хозяйство – гордость области и республики, а директор – Герой Социалистического Труда Иван Иванович Шарф, депутат и член Президиума Верховного Совета республики! ...Среди доказательств неправоты газеты – рост поголовья несушек и объемы капремонта, прачечная самообслуживания, асфальт, фонтаны. И гордость малиновцев – «двадцать лебедей, не покидающих нас уже десять лет». ...В письмах и речах утверждается, что обвинение в беспамятстве несправедливо**... «Наша прекрасная Малиновка – лучший памятник жертвам сталинизма...»** (*Из претензий к газете «Из-*

вестия»). ...Никакой Малиновки и не было, когда образовалась 26-я точка, одна голая степь и бараки. Уж потом место проживания администрации, охраны, лагерной обслуги стали называть Малиновкой... по рассказам, даже малину выращивали в полупустыне жены, вернее вдовы, «врагов народа»**... «Они проложили арыки, посадили сады, тополиную аллею, мы продолжаем их дело».** (*Из претензий к газете «Известия»*).

Да, здесь не расстреливали, а доводили до смерти. Сколько трупов с биркой на руке за два десятка лет свезли и бросили под номерами во рвы, где ныне, неподалеку от забора, убойный цех фабрики «Целиноградская», а за забором – горы ржавого железа и странного вида длинные гряды всхолмленной земли? Сколько под ними – сотни, тысячи? Неизвестно. Карагандинское управление КГБ архивов не открывает. Официально кладбище нигде не значится... С давних пор наталкиваются бульдозеристы и экскаваторщики на человеческий прах. Женщины когда-то отказались подчищать фундамент на строительстве ветблока, пришлось его перенести. Не так давно бурили скважину – опять... Рабочие ставили забор: что ни яма – страшная находка, прораб остановил копку, а назавтра велел продолжать во вторую смену, вечерами, так спокойнее и видно меньше. «Забор на ребрах стоит», – говорит каменщик *Степан Кулаев.*

...В Целинограде меня разыскал персональный пенсионер, награжденный почетным знаком «50 лет в рядах КПСС», бывший заместитель начальника и начальник 26–й точки *М. Юзипенко, проработавший в Карлаге десять лет, с 1938 года.* Несправедливо обиженный, по его словам, молодежной газетой, решил обратиться за реабилитацией в «Известия». «Ленинская смена» напечатала воспоминания Юзипенко и рядом – бывшего члена бюро крайкома комсомола, бывшей заключенной *Зафи Тналиной.* Начальник расхваливал лагерные огороды, фермы, огромные цифры прибылей. И кормили женщин сносно – овощи, мясо, рыба. Малышам – регулярно молоко. Одна беда, с четырех лет отправляли в детдом, где мерли как мухи. Умышленно недоглядывали там за детьми врагов. Но *Юзипенко* убежден был в их невиновности: «Сами, бывало, собираемся в кружок, шепчемся: что делается!» Мощный по культурному потенциалу собрался контингент: врачей – 125, пианисток, музыкантш – 350, до сих пор не забыл начальник киевскую артистку: красиво пела вальсы Штрауса! Не дом отдыха, конечно, порядок соблюдался. Но, жаловался мне *Юзипенко,* «как написали в газете, что помирали от недоедания, это уж, простите, клевета на советскую действительность».

Тналина вспоминала голод и холод, карцер, сторожевые вышки и собак, барак для сошедших с ума... Собкор газеты *Валерий Комаров* комментировал: «В центре Малиновки высится грандиозная стела – память о войне, бушевавшей далеко-далеко отсюда. Памяти о страдавших и умерших здесь Малиновка не хранит».

Карлаг. Прошло через него приблизительно восемьсот тысяч человек... Лагерные открытия по сей день даются тяжко, да и после публикации неприятностей хватает... Конечно, призывать к ответу глубоких стариков – лагерных управленцев, организаторов образцового порядка – бессмысленно... Теперь, когда мы располагаем колоссальной по объему документальной правдой о лагерном геноциде, пасторальные картины, которые они рисуют, лишь добавляют новые краски к облику тех, кто его осуществлял. Но – доверять их свидетельствам? Принимать их понятия о добре и порядочности?

К. Шубриков... Надо было корреспонденту поговорить с начальниками лагерей. Они были строги, но люди с душой. *В. Роговский, ветеран войны и труда (работал в охране лагеря*): «Заключенные не обижались на охрану. Когда лагерь ликвидировали, многие остались здесь, все жили дружно». *Г. Савчуков, ветеран войны и труда (работал в охране с 1938 года)*: «Начальник лагеря *С. Баринов* требовал вежливого обращения с заключенными. Женщины были молодые, здоровые, почти не умирали».

Л. Шишко, учитель: «Мы воспитывали уважение к Малиновке, к труду, к тому, что слышали из уст старожилов. А теперь наши усилия смазаны». *Из бесед с врачами*: проводятся дни памяти, дни совести, работает клуб ветеранов, и мы узнали от них, работавших надзирателями, что условия были вполне достаточные. Из бесед в школе. *В. Шарф, директор школы*: «Вечно Малиновку

третировали из-за этого АЛЖИРа! И целины-то у нас не было, и на смотры нас не приглашают. А мы прежде и не ставили перед детьми вопрос о репрессированных. Для чего школе заниматься розыском могил! Когда уж появились статьи о Карлаге, решили пригласить *Баринова,* чтобы рассказал учащимся о прошлом».

...попробуем проследить, так сказать, ближние результаты воспитания с помощью начальника лагеря, награжденного орденом за верную службу, или другого, получившего к сорокалетию Победы орден за войну, в которой он не принимал участия. Зададим первым встречным мальчикам тот же вопрос, что их наставницам: известно ли вам о лагерных захоронениях? И услышим *от пятиклассников Сережи и Вити* честный ответ: некоторые пацаны специально бегают на озеро, где свалка, интересно же! Остановим еще компанию, постарше. Расскажут, как Сашин брат пошел на рыбалку, провалился в лисью нору и притащил домой череп... Говорят, самые отчаянные из юных охотников за черепами лакируют их и сбывают как сувенирные пепельницы. Уверена, что умельцы тоже слушали беседы ветеранов лагерного труда. В дни памяти или в дни совести.

«Печать должна отвечать за то, что пишет. Нужно восстанавливать справедливость. Но такую, какая есть, а не такую, как хочется». (*Из претензий к газете «Известия»*). ...За уродства того, не нашего времени расплачиваться все равно приходится – исковерканным сознанием, обнищавшими душами. Оглянувшись назад, жестокости не столь сложно найти оправдание... Но мы не сами по себе обитаем на свете, без корней и семян. Мы – часть беспрерывного, продолжение бывшего и предвосхищение будущего. Есть общее чувство причастности к истории народа, пусть не вина, пусть стыд за прошлое. То есть – должен быть... Совесть требует – самому пройти по полю памяти. Может, не очень ясно изъяснимое желание, но по нынешним очистительным временам необходимое, чтобы остаться людьми.

Человек, не знающий чувства боли и не ощущающий этой аномалии, – в общем-то несчастливый человек, в какой бы сытости ни жил. Ущербность свою он, скорее всего, простите за мрачное предсказание, увидит в детях. Когда он постареет, а они повзрослеют. *Э. Максимова, спец. корр. «Известий». День совести на точке 26. – Газета «Известия». 16 сентября. 1989.*

ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ
Шумят плодородные степи, / текут многоводные реки,
Весенние зори сверкают / над нашим счастливым жильем...
Споем же, товарищи, песню / о самом большом человеке,
О самом родном и любимом, – / о Сталине песню споем...
М. Исаковский. Лауреат Сталинской премии.

СТАЛИН
Как все орудия / плюс авиация –
заглушит все! – / гремит овация,
ему салютуя, / вопя –
за здравствие! – /превознося.
Ярыгин.

1925 ГОД, АПРЕЛЬ – ОКТЯБРЬ. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПАРИЖ

Список экспонентов отдела СССР на Международной выставке декоративных искусств в Париже 1925 г., получивших награды, присужденные Международным жюри. В этом «Списке» в разделе – «Класс 1Х. Роспись» ...под номером 22 зафиксировано: **Гущин Н.М. – золотая медаль.** *М. Богадельщикова. Вокруг Гущина. По архиву художника. – Ж-л «Волга–ХХ1 век». 2008. № 3-4. С. 190-191.*

1927 ГОД, 19 ФЕВРАЛЯ. К объединению художников города Саратова. «Секция ИЗО при

профсоюзе Рабис ставит себе задачей в нынешнем году объединение всех имеющихся в Саратове художников». *А. и В. Леонтьевы. СГХРМ. Архив... ед. хр. 148.*

1929 ГОД, 1 НОЯБРЯ был арестован Корнеев Федор Максимович «как неблагонадежный». «Его обвинили в выполнении заказов для монастырей и храмов Саратова, в переписке с П.А.Столыпиным, в дружбе с графом А.Д. Нессельроде, в частых поездках за границу. Библиотека, рисовальные классы, мастерская художника были опечатаны, а все имущество – конфисковано... Художник был осужден по статье 58, пункт 10... Неизвестно, где и когда художник умер. *Наталья Волкова. Осколок Атландиды. О жизни и творчестве саратовского художника Федора Корнеева. – Ж-л «Православие и современность». 2009. №10 (26), январь-март.*

1930 ГОД. Участвуя в Москве на выставках АХРР в 1928, 1929 и 1930 годах, Щеглов привлекает внимание. Вызывают в Москву – хотят поощрить: общее собрание – инцидент с председательствующим А. Герасимовым, впервые назначенным «начальником». Герасимов – КАКОЕ У ВАС ОТНОШЕНИЕ К СЕЗАННУ? Щеглов – Я СЧИТАЮ СЕЗАННА БОЛЬШИМ ХУДОЖНИКОМ.Герасимов демонстративно встает из-за стола президиума, молча выходит. *Щеглов: 1962 г.*

1930 ГОД. Саратовские художники получили инструкцию – организовано товарищество «Художник». *В. Завьялова. Саратовские художники за годы Советской власти. 1947 г. Архив СГХРМ. Фонд Завьяловой. 36 (1). № описи 4, ед. хран. 22.*

1932 ГОД. «ЛАГЕРЬ ХУДОЖНИКОВ»

Постановлением ЦК ВКП(б) положен конец всем формалистическим извращениям в искусстве и все художественные силы в стране были объединены в единый лагерь – Союз Советских художников. ...По-прежнему в техникуме доцветал формализм. В 1934 с приходом нового директора Г.А.Кириленко положение резко изменилось... Формализм, расцветавший в училище все эти годы, был окончательно похоронен. Последний и наиболее яркий его представитель В. М. Юстицкий сошел со сцены и как преподаватель, и как художник, наглядно показав беспочвенность и гнилость основ формализма в искусстве. *Г.И. Кожевников. Из истории Саратовского художественного училища (к 50-летию основания). 1946-1947гг.*

1937 ГОД. Юстицкий приговорён к десяти годам лишения свободы по статье 58,10 «за контрреволюционную агитацию».

1938 ГОД, 23 АВГУСТА. Не выставлять (в экспозиции Радищевского музея) Вебера, Корнеева, Юстицкого. *А. и В. Леонтьевы... ед.хр. 29. Лист 165 об.*

1939 ГОД. ...политическая ошибка показать Врубеля, Мусатова.
А. и В. Леонтьевы...ед.хр. 23.

В 1938 году Яков Вебер (1870–1958), заслуженный художник автономной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья (АССР НП, 1924-1941) как «враг народа» был репрессирован и выслан в Казахстан.

2005 ГОД. Имя Якова Вебера...должно стоять в одном ряду с именами таких известных мастеров пейзажа, как А. Саврасов, И. Шишкин, В. Поленов, В.Васильев, И. Левитан, В. Серов. *В.Г. Хорошилова. Талант от Волги. Художник Яков Вебер (1870 – 1958). К 135-летию со дня рождения. – Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2005.*

... одним из немногих, кто осмеливался защитить искусство Вебера, когда его пейзажи считались «враждебными произведениями», был Пауль Давидович Рау – один из основателей музея немцев Поволжья в Покровске–Энгельсе (1925), археолог, историк, этнограф, писатель, художник-график. Сразу после республиканской выставки в Покровске в 1929 году он пытается возразить экспертной комиссии, доказывая, что в живописи главную роль играет сочетание красочных пятен, линий и «что здесь совершенно отсутствуют моменты, доступные социологической и идеологической оценке...» Вебер был забыт... Алевтина Ивановна Яровинская – филолог (Саратов)... опубликовала свои «Заметки о творчестве художника Я.Я. Вебера» в 1977 году в сборнике статей и публикаций Саратовского государственного художественного музея им. Радищева. Это была первая публикация о Вебере после долгих лет молчания о репрессированном художнике... оценивается его вклад «в энциклопедию поволжской природы», певцом которой Яровинская называет Якова Вебера...

Вебер – художник-реалист, мастер пленэрной живописи, отталкивающийся от традиций передвижников (Саврасова, Савицкого, Шишкина, Левитана). Однако никто из искусствоведов, исследовавших творчество живописца, не делал акцент на том, что Вебер – художник, не отрицающий завоеваний импрессионизма в области света и цвета.

В.Г. Хорошилова. Талант от Волги...

1988 ГОД. Попытки всеобщего забвения истории и даже факта существования немцев Поволжья в послевоенный период привели к длительному и глубокому провалу как в изучении уникальной этнической группы, так и в комплектовании новых материалов.

Целенаправленное изучение и научное описание, а также дальнейшее комплектование коллекции были продолжены лишь в 1991 году при подготовке к экспонированию выставки «Из истории немцев Поволжья». *Е.А. Горобцова. Хозяйство и быт немцев Поволжья (XIX-XX вв.). Каталог. – Москва: MASS-MEDIA, 1998.*

По указу Екатерины II немцам-переселенцам даруются льготы и привилегии, возможность открывать свои национальные школы... «Возрождение» в XVIII веке древнерусской круглой скульптуры, уничтоженной православной церковной властью, обязано влиянию немцев-переселенцев. С XXVIII века в России появляется и широко распространяется сюжет «Христос в темнице». Иконография этого сюжета восходит к XVI веку (Ганс Лейнбергер.«Сидящий Христос». Около 1525-1530 гг. Берлин – Далем, музей: М.Я. Либман. «Немецкая скульптура. 1350–1550». – М.: Искусство, 1980. С. 303). Крещеная в православие мордва, привычно работая с деревом, изготавливает скульптуру, лики Христа и святых имеют этнографически точно выраженные «восточные» типы лиц – «автопортреты» резчиков по дереву.

Население Саратовской губернии второй половины XIX века: «Мордва, по своей численности, составляет в Саратовской губернии, после русских, малороссов и немцев, четвертую этнографическую группу...» (Минх А.Н. «Моляны и обряды мордвы Саратовской губернии» – ж-л «Этнографическое обозрение»).

Самобытная немецкая культура, со второй половины XVIII века перенесенная на поволжские земли, уничтожена репрессивным строем Советской власти. Тем интереснее скульптура «Пиета» Энгельсского краеведческого музея – «лубочный» вариант микель-анджеловской «Пиеты»: возможно, самая ранняя скульптура немцев-переселенцев.

О немецких колониях собирал сведения Пичиенко Федор Григорьевич – директор Хвалынского районного краеведческого музея: у него оказалась, по его словам, «музейного значения» живопись немцев-художников. Такое собирание – личная инициатива: ни в план работы музея нельзя поставить, ни отчитаться перед «начальством».

В начале 1970-х годов художник Коркин Владимир оформлял «Современный отдел» Саратовского областного краеведческого музея. «Принимал» готовую экспозицию соответствующий чин Обкома КПСС. Полагается, чтобы было «шито-крыто» (принимающий и директор – Любо-

мирова). По недосмотру увязался третьим Коркин и вступился за «немецкий след» в экспозиции – привлек к себе недоброжелательное внимание, а от немцев Поволжья в экспозиции Саратовского областного краеведческого музея и духа не осталось.

С гибелью Автономной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья Саратов становится глубокой провинцией – пресеклись связи с Европой.

1940 – 1942 ГОДЫ. Приехали в Донбасс, поработали, тут началась война. Мы в отряд народного ополчения пошли – я и Андрей Григорьевич. (Лидия Ивановна организовывала отряды эпидемической службы. Была начальником санитарного отряда. – В.Л.) Немец двигался, по пути все разрушал. Заводские объекты он не трогал. Как начнет от завода всю улицу разрушать, а завод не бомбит.

КОКСОВЫЙ ЦЕХ, ГДЕ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ РАБОТАЛ, работал до самого последнего времени. Бомбежки. Мы всех раненых, всех убитых подбирали, дежурили без конца. Это в городе, везде, где нужна была скорая медицинская помощь. Думали, что Донбасс не отдадим. У всех такое настроение: Умрем, но Донбасс не отдадим! – Тогда организовывалась восьмидесятая дивизия Донбасса, потом эта дивизия разбежалась. И когда узнали, приказ отступать, настроение упало. Конечно, объясняли, что Донбасс это не вся Россия, есть еще и Кузбасс. Это рассказывать легко, а вообще-то было ужасно. Период безвластья был. Подлость, низость, спекуляция: хлебозаводы, магазины, сахар, муку – все растаскивали. В последние минуты приказ вывозить всех специалистов из Донбасса и оборудование.Уезжали оттуда, взрывали, плакали. Не знаю, что с сердцем творилось. Сердце огнем горело. Своими руками строили, своими руками взрывали. Это только легко сказать. Легко сказать, но пережить нелегко.

Единственная дорожка оставалась вывезти специалистов и рабочих квалифицированных: остальные люди оставались. На станцию Лихую выскочить успели. Нас хотели в Ростов завернуть – под Ростовом эти эшелоны немцы встречают. Вышли женщины: – Не пойдем дальше. Легли на рельсы бабы: – Не пойдем и все! – Неделю стояли на станции Лихая. До Сталинграда доехали – бомбежки. Тогда окружной – и выскочили на Пензу. Мы в судьбу не верим, сам человек себе устроил судьбу: но случай такой... приедем: вперед разбомбили, сзади тоже. Много эшелонов оттуда, отсюда погибло. Шли эшелоны с ребятишками – все расстреляны, самолетами из пулеметов. Беженцы. Эшелоны, снег, и живые люди замерзают. В вагоне шестьдесят человек, да еще раненых дорогой собирали. Вошь – согребали с себя. Старики по дороге умирают и мы, пока ехали, похоронили многих.

В Пензе начинались морозы. Я догоняла из Пензы эшелон – трое за пайком пошли в Горком пензенский. Хлеб на всех получила – это же тяжелая ноша – и пошла с хлебом, а уже потемнело. Пурга, ничего не видно, ветер свистит. Метель: – Где, скажите, на такую-то станцию придти. Я пришла на станцию Пенза-3, одни военные эшелоны стоят. Ищу, нет нигде, а военные смеются: – Брось искать своих, поедем с нами. Наш эшелон уже ушел. Нашла начальника станции – комсомолец, хороший парень – а там свистит, там свистит: – Ну, пойдем в комнату, погрейтесь. Не волнуйтесь, я вас посажу на поезд и вы догоняйте, а по дороге смотрите. Сижу, и вдруг Степан Полетков, рабочий нашего эшелона и сменный инженер, чех Воля Станислав Вячеславович идут тоже с ношей, с пайком. Сахар и масло успели получить, а хлеба они не получили, хлеб я получила: – Ну давайте чай пить, греться! И пришел этот пассажирский. О, господи! Ни окошек, ни дверей, все выломано. А сесть там кошмар, не пролезешь ни за что, ни за что не пролезешь. Тогда Степан вперед, а этот меня подталкивает сзади. В тамбур протолкнулись, а там ни двери. Пока ехали, ни одного местечка не осталось не продутого. Вот мы стоим, родня не знаю какая. Вот стоим, то один на одно плечо голову положит, то другой, а у меня нервное возбуждение, я спать не могла. Приехали – насквозь промерзшие, начальник эшелона нам спирту. Ни я, ни Степан не пьем. Он не пил, не курил, скромный был. Я выпила и не заболела. Степану: – Ты заешь, выпей. Как выпил, глаза вытаращил. Обошлось, не заболел. Не совсем, правда, обошлось – понос продрал, но не простудились, нет. И инженер тоже, Стасик звали, потом в конструкторском бюро работал.

Семья в поезде – жена, дети, вывозили специалистов. Дежурные я и Степан Полетков. Все спят, а мы ночью готовим. Дорогой искали, искали – нашли колодец, там крыса дохлая плавает: – Ну, молчи. Куда пойдешь, воды нет. Я Степану: – Ну, молчи! Сварили и все съели. А поезд идет медленно. Мы сначала протестовали у дежурного по станции: – Когда встречные кончатся. А эшелоны с пушками, танками с Урала день идут, два, три, по десять дней. Вот ждем – окно, раз туда – день едем, два, потом опять стоим, ждем встречные. К Уралу стали подъезжать – морозы усилились. В конце декабря – двадцать седьмого приехали в Кемерово, выехали двадцать седьмого октября из Донбасса. Два месяца показались особенно трудными потому, что голодно и потому что раздетые, по-летнему одеты – с собой можно было взять только в руках что было. Перемены климата. Старики один за одним – только и выносят, только и выносят. Ни одного старика не осталось. Получали пайки, а что эти пайки давали? Правда, живые остались.

Многие просились на фронт. Инженеров ни одного не отпустили, а рабочие пошли. Каменщик, Степан Полетков, хороший каменщик, перед уходом на фронт пришел: – Лидия Ивановна, можно у вас вечер посидеть Я говорю: – Можно. Сел у радио, слушает, слушает – у них не было. Как, говорит, – у вас хорошо. Я хочу музыку послушать. На другой день уехал на фронт и погиб, в Сталинской дивизии под Вязьмой. Павлуша Таратута, он мастер коксового дела, был комендантом поезда: – Я Донбасс не отдам! Тоже пошел на фронт и погиб. Все время был разведчиком и в конце войны из разведки возвращался, его уже встретили товарищи. Он только поднял голову – снайпер ему ударил в голову. *Суворова-Алферова: 1968 год.*

ЯРЫГИН: из неопубликованного
(Машинопись Л.А. Иванова с авторской правкой)

1942 ГОД, ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ
Отца зароет гад живьем, / Повесит мать на перекладине!
Найдет любимую фашист, / На землю свалит оголенную
Под дикий хохот, гам и свист / И опозорит всей колонною!
Все превратит в сплошной костер, / Одних погонит прямо в полымя,
Других же братьев и сестер / Погонит босыми и голыми
Распродавать как вьючный скот! / Боец, ты слышишь их рыданья?
Скажи же, кто потом найдет / Тебе за это оправданье,
Если в родные города / Вползут чудовищные гадины?
Зачем же Родиной тогда / Тебе ружье с гранатой дадены?!
Зачем твой штык отец ковал, / Благословила его милая?
Чтоб гитлеровец ликовал, / Все истребляя и насилуя!
Чтобы на Родине твоей, / В краю родимом страшно высились,
Качая в петлях матерей, / Десятки тысяч черных виселиц!
Смотри: еще идет подлец, / Свой каждый шаг в крови печатая,
Стреляй без промаха, боец, / Коли штыком, рази гранатою!
В горячей схватке впереди / За дело честное и правое
Стой насмерть, стой и победи / Орду немецкую кровавую!

1942 ГОД, ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ
Осколком мины легкое задето. / Предсмертный сумрак гуще, лиловей.
Не все ль равно ему теперь, что где-то /Цветет сирень и свищет соловей.
Что где-то там еще рыдают струны, / Любви и юности стремя напев?
В последний раз нам что-то прохрипев, / Навек умолкнул наш товарищ юный.
И каждый, брякнув что-то невпопад, / Уж по привычке слушая без дрожи
Неумолимо тяжкий стук лопат, / Угрюмо думал про одно и то же.
Гвардии политрук Валентин Ярыгин

1943 ГОД, ИРКУТСК
Видали ли вы когда-нибудь: / Над грустью пустых равнин
Месяц выходит на небо, / Бледный, как сукин сын.
Нельзя не сочувствовать месяцу. / Когда все идут в кровать,
Уж лучше идти и повеситься, / Чем так одному тосковать.
Есть худшая доля на свете ли: / Сгорать и болеть душой,
Глядя вековечным свидетелем / На радость любви чужой?!
Тут ночи не выдержишь, кажется, / За бритвою лезет рука.
А ну-ка, попробуй отважиться: / Не ночь и не две, а века!
Кто, жизнь проклиная угрюмую, / Тоскуя, вподобие мне,
Серьезно об этом думает, / Что нет его доли темней,
Пускай он посмотрит когда-нибудь: / Над грустью пустых равнин
Месяц выходит на небо, / Бледный, как сукин сын.

1943 ГОД
Свисток прощальный засвистит, / И на оставленном перроне
Никто о мне не загрустит, / Слезы прощальной не уронит.
Никто не сникнет головой, / Моей судьбой обеспокоясь.
И торопливо деловой / Меня помчит куда-то поезд.
Куда? Неведомо куда. / До очередной пересадки,
Где кипяченая вода, / Билет – и снова все в порядке.
Опять угрюмый стук колес / Да паровоза свист капризный.
И, не жалея папирос, / Я философствую о жизни.

1943 ГОД, МОНГОЛИЯ
Пусть несчастья и беды нахлынут, / Все возьмут – лишь с одним не расстанусь,
Ошельмован и всеми отринут, / Все равно я поэтом останусь.
Вдалеке от тебя, дорогая, / В омертвелой степи без причальни
Я пойду, свои песни слагая, / Непогожего ветра печальней.
И не горькой покажется доля / Вспоминать в бесприютной пустыне
Благодать василькового поля, / Милой Родины звездные сини.

1943 ГОД, МОНГОЛИЯ
Свищет ветер над ширью степной. / Веселей, мой товарищ неистовый,
О свободе, о жизни иной / Развеселую песню насвистывай.
Веселее, мой друг, веселей, / Чтобы, новой надеждой охваченный,
В черной мгле бесприютных степей / Вспомнил я об Отчизне утраченной.

1943 ГОД, МОНГОЛИЯ, ГОСПИТАЛЬ
Едва шагая, бледен, полужив, /Я отправляюсь в поисках махорки
И, наконец, приятно задымив, /Смолкаю, жребий позабыв мой горький.
И ухожу в былое с головой. / Иной весны животворящий воздух,
Огни и город, ветер волевой. / И синий свод в неисчислимых звездах.
Знакомый сад, Радищевский музей / Глядит громадами потухших окон,
И я с одним из молодых друзей. / О, как сегодня от меня далек он!
Мы говорим о небе, о любви, / О Маяковском, Байроне, о Блоке
И, наконец, дыханье подавив, /Друг другу шепчем собственные строки.
Мы говорим... И синий мир вокруг / Исполнен чудного большого смысла...
Прощай и, может быть, навеки, друг, / Рука безжизненно моя повисла.

Мне не поднять утерянных надежд, / Так же, как осень, серая неряха,
Великолепных золотых одежд / Не возвратит из слякоти и праха.

1944 ГОД, МОНГОЛИЯ
Я иду, сочиняя стишки. / Вот судьба, вот завидная доля.
Пьяный ветер из пьяной башки / Выдувает пары алкоголя.

26 ДЕКАБРЯ 1945 ГОДА
Безлунье мертвое, часы железной скуки. / Так вот она, та даль, куда простер
Я от отчаянья и боли руки! / Чудовищной тоски чудовищный простор!
Я не безумею – вот самый страшный ужас. / С холодной яростью впиваю взгляд
В глухую ночь, понять напрасно тужась, /Зачем же я из времени изъят?!
Безлунье мертвое...А там, я знаю, где-то / В цветении весны, в биеньи юных сил
Цветет иная даль и ждет себе поэта, / Который бы о ней грядущим возвестил!
Там любят, там творят, там делают эпохи! / О бог прикованный, великий Прометей,
Терпенья, мужества и воли крохи / Брось пленнику тоски, невольнику степей.
Безлунье мертвое. Ни призраков, ни теней – / Одна глухая ночь, безлунье и тоска.
Одна глухая ночь, и одичалый гений / Жмет ледяную сталь у знойного виска.

ИЮНЬ 1946 ГОДА. ОСТРОВ ИТУРУП
Он только с моря странен и суров, / Скалистый сумрачный, печальный остров.
О, сколько радостных на нем цветов, / Цветов и звуков, радостных и пестрых!
Нежданные открытия хранит / Его земля, из лавы отлитая,
Крутую твердь, и кремний, и гранит / С беспомощным и нежным сочетая.
Могучий взмыв обрывистых громад / Оберегает золотые кущи,
Их трогательно нежный аромат, / Их юный мир, диковинно цветущий.
Как жалко: у меня любимой нет. / Кому еще, взволнованно осмелясь,
Вполне сумеет выразить поэт / Такую им увиденную прелесть!
Я в прошлое гляжу сквозь полусон: / Вот мой могучий загорелый прадед.
И понимаю: не напрасно он / Дубовый парусник упрямо ладит,
Чтобы в такую ж утреннюю рань / Во вдохновенном молодом азарте
Родной земли сверкающую грань / Открыть, познать и нанести на карту.

ИЮНЬ, 1946 ГОД
Я на земле, отбитой у врага, / И до сегодня не был никогда тут.
Так почему ж, поэту и солдату, / Мне эта даль так странно дорога?
Я океан впервые вижу даже / И справедливо, может быть, считал
Всей красоты природный идеал / На золотом лучистом волжском пляже.
И на земле, отбитой у врага, / Вдруг широко открытыми глазами
Я увидал другие берега – / И от волнующего чувства замер.
Вот Родина моя! У неприступных скал, / Над беспредельем грозовой стихии
То величавое я отыскал, / Что нерушимо у моей России:
Ее стремительный державный ход / С неотразимой силою очерчен –
Вот так шагает Родина вперед, / Наперекор усильям непогод
Одолевая яростные смерчи.

15 МАЯ 1946 ГОДА, ОСТРОВ ИТУРУП
Сколько пало их в страшной грозе? / И увижу ли я, увижу ли
Дорогих, незабвенных друзей / Из немногих, которые выжили.

ИЮНЬ 1946 ГОДА, ОСТРОВ ИТУРУП. ГОРА
Нагой ее хребет причудливо изогнут, / А ввысь
Вершины стройные и льдистые впились / В туман и синеву, где горделиво дрогнут.
Непоколебима. / А к ее подножью,
Неутолимою любовью обуян, / Стремит свои мольбы, захлебываясь дрожью,
И мечет жумчуга Великий океан. / Но лишь орлам на ее скалах гнезда
Она, сверкающая, позволяет вить. /И никаким дарам не подкупить
Ее высокого стремленья к звездам.

ИЮЛЬ 1946 ГОДА, ОСТРОВ ИТУРУП
Был ли когда я светел, / Жил ли и я, не печалясь?
Только сегодня заметил: / Юность моя промчалась.
На неуютной чужбине, / В пьяной тоске и хвори,
Что мне осталось ныне? / Что со мной будет вскоре?
Я уж не жду, что встречен / Нежной улыбкой буду,
Сгорбив худые плечи, / Жалок и чужд я всюду.

1947 ГОД, КУРИЛЫ
Ни позолот, ни пурпура, ни лака – / Всей страшной сутью обнаженных строк
Из одиночества, тоски и мрака / Явись мой стих, печален и убог.

1942—1946 ГОДЫ. ...НУЖЕН БЫЛ ЗАМДИРЕКТОРА ПО КАДРАМ на номерной завод – нужен был коммунист. Нашли мою кандидатуру. Поговорили с директором, он говорит: – Оформляйтесь. А я и не пошла туда. А пошла на коксовый завод в смолоразгоночный цех, бензольный, носильщицей работать. Там давали молоко искусственное за вредность. То молока дадут, то смеси – для малого. Я никому не сказала, а пошла в отдел кадров, устроилась потихоньку. Месяца два, наверно, работала, пока не нашли. Разыскал Райком партии и забрал к себе работать. Приходилось ходить по всем заводам, получила облучение: я держалась, но у меня уже было белокровие. Ходила по всем цехам – там никто себя не берег.

Получили приказ: освободили Сталино и нам предписано выехать немедленно на восстановление завода в Донбассе. В Донбассе мы не нашли многих своих друзей, которые оставались. Помню: Заведующий сельским отделом Исполкома, агроном, у него жена евреечка, очень красивая, а он хромой – ну и остался там. А другой, он был директором базара, оказался предателем, донес, что у того жена еврейка. У нее был ребенок семимесячный – сбросили в шахту, в шурф ее с ребенком. 25 тысяч жителей Донбасса на занятой немцами земле сбросили в шурф.

По-разному бывало. У нас женщина была, до войны среди жен первая активистка. Муж судья уехал в эвакуацию, она осталась. И дочь, и жена жили с немецкими офицерами. Их немцы посадили – с собой увозить. Довезли до оврага, а там сбросили. Ну, сами убегали, куда им они были нужны. Их судили, и муж отказался от них.

Самое интересное. У нас был бывший кулак соседом, от него и ждали предательства. Имел мельницу, эта мельница отошла государству, а он остался работать там. Он сыновей воспитывал по-старому. Жили – делали так, как старший сказал. И он детей сам послал на фронт. Остался один младший сын, комсомолец шестнадцати лет, стал вести подпольную работу, и его на глазах отца повесили.

Как мы восстанавливали Донбасс? На заводах разгружали руду, кирпич, уголь сами, своими руками. Рабочих же нет – то поубивали немцы: кого расстреляли, кого повесили – то на фронте. Приходили эшелоны с оборудованием, с углем, все приходилось разгружать в общественном порядке. И жить негде, и есть нечего. Все одно к одному. Бывало, получишь хлеб и отдашь детям. Руслану три года перед войной уже исполнилось. Воды у нас не было, немцы все разрушили.

А белокровие у меня прогрессировало, но думали, что это малокровие. И мне сказали: – Иди

начальником питания. – Парторганизация направила меня работать начальником Общепита, чтобы поддержать мое здоровье. Варили крапиву, незабудьку, счастье, когда была картошка. Опухшие стоят – это не я, это завод дает! – завод кормит рабочих – а семьи? Я вхожу, а ряд опухших, отекших. И вот начинают: – Тетенька, тетенька... дети! Из травы наваришь побольше супа и мать с детьми накормишь. А сама я совсем падала: – Ой, тетка, какая ты жадная! Ты сама от жадности скоро подохнешь. Давай супу!

И вот я там совсем свалилась. Мне предложили немедленно сменить климат. Уже в Кемерово врачи обнаружили у меня малокровие – оно неудивительно, есть нечего было. Райкомовский обед – это суп и тарелку второго немножечко. Сталино, в Буденновском районе – в Коммунарске я свалилась, а больницы тогда не было еще. Директор завода был Ивченко, двоюродный брат Хрущева. Он был членом Пленума Райкома, и я была членом Пленума. И знали друг друга. И он пришел проведать, а я болею. Дал свою машину, повез в Луганск, за сорок километров. Врачи Луганской больницы признали злокачественное заболевание крови... анемия. Раза три делали вливание крови. Сказать, чтобы я выздоровела, нет, но с кровью у меня стало получше. И мне предложили переменить климат. Только с разрешения Москвы мы могли выехать, номенклатурные работники были. Москва разрешила выехать. Приехали в Саратов.

Суворова-Алферова: 1968 год.

1937–1946 ГОДЫ. ОБРАЗОВАЛОСЬ КАК БЫ ДВА ЦЕНТРА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ города Саратова – Художественное училище и Товарищество «Художник»... Во главе организации стал тов. СЕЛЬКИН В.А., вдумчивый и деловой товарищ. Его ...непонимание... принципиальной разницы между производственной и творческой продукцией приводят к глубокому разладу между художниками, работающими в Товариществе и художниками-педагогами, работающими в Художественном училище.

...Производственная продукция была очень низкого качества... художники... ГУРОВ В.Ф. и ЩЕГЛОВ И.Н. не считали нужным бывать в Товариществе «Художник» ...Противостояние закончилось... В 1946 году... во главе «Товарищества» впервые за всю его историю... стоит председатель – художник творческого характера – коммунист тов. БОБРОВ Б.П., а его заместителем также художник творческого характера и коммунист МОЩЕНКО В.Ф. *В.Ф. Завьялова. «Саратовское Товарищество «Художник». СГХРМ. Архив: фонд Завьяловой. 369(1). № описи 4. ед.хр.17. «Документы (доклады и статьи Завьяловой), связанные с художественной жизнью Саратова. 1946-1957 г.г.» на 76 листах.*

1946-1947 ГОДЫ. «РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ» САРАТОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ ИСЧЕЗЛА (эта «проблема» не коснулась живописи Щеглова, графики Скворцова), «**ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ**»: **НЕНАДОЛГО** – в 1947 году в город приезжает французский репатриант Гущин (назначен на работу реставратором в Радищевский музей), возвращается Юстицкий (отсидел десять лет лагерей).

Друзья дореволюционной поры, Гущин и Юстицкий хранят традиции Боголюбова: критерий качества, связь с европейским искусством, укорененность российскую.

ИЗ 1995 ГОДА. ...Это двое равных друг другу людей – по интеллекту, по опыту пережитого, по масштабу творческой личности. Их жизни осветит и скрасит ежедневное общение без страха и опасений. Их встреча была настоящим подарком судьбы. *Ирина Пятницына, научный сотрудник СГХРМ. 1995 год.*

БЫЛО ЧЕМ ДЫШАТЬ! ВЫСОКИЙ ДУХ! *А.В. Юстицкая: Пятницына, 1995.*

ИЗ 2005 ГОДА. Юстицкий. Ничего не боялся. На собраниях всегда выступал: – Вы не художники! – Сидят, молчат, все его ученики. Один Гуров препирался – охотно! Интересно слушать! *Н.В. Огарева, научный сотрудник СГХРМ.*

ИЗ 1992 ГОДА. ЮСТИЦКИЙ ПОРАЗИТЕЛЬНО НЕСОВЕТСКИЙ ХУДОЖНИК. Он с великолепным пренебрежением проигнорировал все внешние приметы советского строя и был совершенно чужд его натужному оптимизму... Как подлинный художник, Юстицкий чувствовал высокий божественный смысл Игры. *Н.Свищева. Свободные фантазии Валентина Юстицкого. – Газета «Саратов». 23 апреля 1992 г.*

...Живем – где каждый! – чуть он с ин/ теллектуальным потенци
ал – смотрит, сукин сын! – / как марсианин сосланный.
Ярыгин.

1946 ГОД, АВГУСТ. **«СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА О СОЗДАНИИ ИЗОБИЛИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ»**

14 и 16 августа: постановления ЦК ВКП (б) «О журналах «ЗВЕЗДА» и «ЛЕНИНГРАД», «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» и «О кинофильме «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»: «...являющиеся выражением сталинской заботы о создании изобилия духовной культуры в нашей стране...». *Редакционная статья «На пути к советской классике». – Ж-л «Искусство». 1951. сентябрь-октябрь.*

1946 ГОД, 26 АВГУСТА. Неделя об Ахматовой и Зощенко (Доклад А.А. Жданова «О журналах «Звезда» и «Ленинград» и Постановление ЦК от 14 августа 1946 г. под тем же заглавием). Дело, конечно, не в них, а в правильном воспитании молодежи. Здесь мы все виноваты, но гл. обр. по неведению. Почему наши руководители Фадеев, Тихонов не указали нам, что настроения мирного времени теперь неуместны, что послевоенный период – не есть передышка, что вся литература без изъятия должна быть боевой и воспитывающей? *Корней Чуковский. Из дневника. 1932–1969. – Ж-л «Знамя». 1992. №11.*

ИЗ 1964 ГОДА, 18 АВГУСТА.Твардовский... вспоминал и более далекие времена – 1946-й. Однажды сидели и мирно разговаривали Фадеев, Твардовский и Шолохов. Твардовский усомнился в ждановском постановлении. Фадеев сказал с искренним удивлением, покраснев всем лицом и шеей: «Неужели ты не понимаешь его необходимость, более того, его гениальность?» А Шолохов спросил: «Может, ты не в ту партию вступил?» *В. Лакшин. «Новый мир» во времена Хрущева (1961–1964). Страницы дневника. – Ж-л «Знамя». 1990. № 7. С. 132.*

1947 ГОД. ...И ЗОВЕТ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ИВАНА НИКИТИЧА В СВОЙ КАБИНЕТ: ЧТОБ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ НИ СЛОВА ОБ ИМПРЕССИОНИСТАХ!

Завуч СХУ Никитин преподавателю Щеглову. 1947 г.

1947 ГОД. ...надо отметить, что Щеглов все больше и больше отказывается от беспредметных этюдов, но вдруг он снова о них вспоминает и обязательно среди трех-четырех вещей дает этюд в чистых принципах импрессионизма или сезаннизма.

В. Завьялова. «Саратовские художники за годы Советской власти». 1947г. СГХРМ. Архив: фонд Завьяловой. 369 (1). № описи 4. ед.хр. 22.

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ РАБОТ САРАТОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ. Современные художники являются борцами за наше искусство. От глубины души благодарю их за правдивость в труде. Но некоторым из них надо поработать над собой и отшлифовать кисть в наложении красок (т.к. на них много оседает слишком пыли). *16 февраля 1947 г. Студент СЗВШ (подпись).*

1947 ГОД, 17 ФЕВРАЛЯ. СОБРАНИЕ САРАТОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ, ПОСВЯЩЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЮ ВЫСТАВКИ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ ЦК ВКП(б) ОТ 14 И 26 АВГУСТА 1946 ГОДА.

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД. МИЛОВИДОВ Б.В. Председатель Областного Союза Советских художников: ...Театрально-декоративные работы представлены в значительной мере и хорошего качества (Кисимов, Севастьянов).

Бобров Б.П. *Председатель Правления товарищества «Художник»:* о Щеглове – ...главное для него музыка цвета.

ГУРОВ В.Ф. Художник, преподаватель СХУ: О Щеглове «Надо... забывать уже гнилое прошлое. У нас должна быть элегия, лирика, но на полезной основе, не на такой, как в голубой розе «Мира искусства», как было у рафинированных художников, которые сидели и мечтали».

ЩЕГЛОВ И.Н. Художник. Преподаватель СХУ: ...«Волга»... мне говорят, у этой вещи нет величия реки Волги. Когда я писал, у нас не было в наличии разрешения писать, я сел, меня берут под ручку и ведут куда надо... Я пишу то, что можно писать.

МОЩЕНКО В.Ф. Художник: ...формалистический подход у нас есть, товарищи...Такие порочные вещи, как этот натюрморт (Миловидова), как раз и осуждает ЦК ВКП (б).

О Щеглове – ...не поет новых песен. Он живет старыми песнями. Он поет все еще про покосившиеся хатки, кривые заборы, захолустные местечки.

ДАНИЛОВ В.К. Художник. Преподаватель СХУ: ...Пытаются обвинить Миловидова чуть не в голубой крови... хотя там просто изображены красивые вещи...Тов. Гуров! Вы пытались на работе Миловидова доказать здесь чуждую идеологию и голубую кровь.

САЛТЫКОВ К.М. Художник: ...большинство саратовских художников – это люди, с которыми считаются, которых контрактуют, которые едят пайки, а в результате получается, что корм на них зря затрачивается.

ЗАВЬЯЛОВА В.Ф. Зам. начальника городского отдела по делам искусств. Искусствовед: ...недостатком пейзажей Щеглова, Миловидова и многих других является отсутствие тех образов, которые имеются в нашей саратовской действительности.

МИЛОВИДОВ Б.В. Заключительное слово. Из резолюции: ...Пункт 4. Быть бдительным и решительно пресекать попытки низкопоклонства перед современным буржуазным искусством Запада, проповеди аполитичных теорий «искусства для искусства», проявлений пошлости, пессимизма, упадочничества.

...вы, товарищ Гуров... А ваше заявление, что я не помогал вам с квартирным вопросом из-за боязни профессиональной конкуренции, считаю нечестным.

Из стенографического отчета: обсуждение выставки. Ответственный за выпуск В.Ф. Мощенко. Архив СГХМ. Опись 4, ед.хр. 19.

1947 ГОД, НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ. «ХУДОЖНИК – БОЕЦ ПЕРЕДОВОЙ ЛИНИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФРОНТА». Все эти «Голубые розы», «Бубновые валеты», «Ослиные хвосты» и прочие порождения декадентской и формалистической эстетики несли в себе реакционное содержание, утрачивали национальную независимость в области художественного творчества, одурманивали и духовно растлевали народ.

Ж-л «Искусство». 1947. № 6. Ноябрь-декабрь. Редакционная статья.

1948 ГОД, ФЕВРАЛЬ. «ИСКУССТВО НА СЛУЖБУ НАРОДУ».Устаревшие книги... «История русской живописи» А. Бенуа, пятитомная история русского искусства под редакцией И. Грабаря (в особенности том, посвященный русской скульптуре, написанный Врангелем), «История русского искусства» В. Никольского, содержат оценки русского искусства не только неверные, ошибочные, но и порою дышащие враждой и ненавистью к русской демократической живописи.

Ж-л «Искусство». 1948. № 2. Редакционная статья.

1948 ГОД, 25 ФЕВРАЛЯ. «ЗАБВЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ ХУДОЖНИКОВ». *Газета «Коммунист».*

1948 ГОД. «ПЕЙЗАЖ – УБЕЖИЩЕ ДЛЯ ФОРМАЛИСТОВ». *К. Ситник. Ж-л «Искусство». 1948. №3.*

1948 ГОД, 29 МАЯ. «ЗАКРЫЛАСЬ СЕССИЯ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ СССР»

...В Московском художественном институте воспитанием молодежи занимаются малоопытные, недостаточно квалифицированные педагоги, люди ярко выраженного формалистического направления. Таковы А. Осьмеркин, А. Матвеев и др. ...Как указали в своих выступлениях лауреаты Сталинской премии Е. Вучетич и З. Азгур, педагог Матвеев за 30 лет не выпустил ни одного ценного мастера. Его программа преподавания представляет собой, по выражению Е. Вучетича, «шаманство» и изобилует такими понятиями как «скульптурное видение», «способность объемно–пластического видения» и т.п. В Ленинградском институте создалось такое же положение, как и в Московском. Директор института А.Д. Зайцев недостаточно критически подошел к оценке этого положения. Там господствует группа последователей и учеников Матвеева, ставших уже педагогами. *Газета «Правда». 29 мая 1948 г. №150 (10891) С.3. (ТАСС). Архив СГХРМ: Фонд Леонтьевых. Опись 1, ед. хран. 42. 5.*

1948 ГОД, ИЮЛЬ-АВГУСТ. Формализм является законченной буржуазной реакционной системой взглядов на искусство... он является целиком враждебной системой, сущность которой так вовремя вскрыта постановлениями ЦК ВКП(б). *Иогансон: «Основные задачи художественного образования». Вторая сессия АХ СССР. – Ж-л «Искусство». 1948. №4.*

ЯРЫГИН: из неопубликованного.
(Машинопись Л.А. Иванова, авторские правки)

1948 ГОД
Там, за окнами, где-то она. / Я один в своей темной каморке
После порции злого вина / Догрызаю вчерашние корки.
Там, за окнами, кто-то поет, / Нежный голос кого-то торопит.
Ничего, что я снова не тот, / Я давно уже к дьяволу пропит.
Мне не выпало доли иной. / Где бы я за судьбою ни плавал,
Он один не побрезговал мной, / Жуткоокий хохочущий дьявол!
Он один в мои боли проник / И, другого в руках не имея,
В самый страшный, чудовищный миг / Подарил мне зеленого змея.
И, пока не бесчувственно пьян, / Забывая про небо и землю,
Этой мерзостной жижи стакан / За него я любовно подъемлю.
Поскорее же впалую грудь / Заливай, огневая отрава!
Никому не дано разомкнуть / Беспощадные кольца удава.
Ничего мне не надо теперь. / Пусть весна улыбается где-то
Не открою тяжелую дверь. / До конца моя песенка спета.

1948 ГОД, 27 НОЯБРЯ
ИЗВРАЩЕНИЯ – В ИСКУССТВЕ, В ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ

...Данилов – «...весьма посредственные, случайные этюды и пейзажи, написанные вяло и примитивно («Вечер. Этюд», «Волга. Серый день»).

...Миловидов – «...только два натюрморта и несколько этюдов за пять лет».

...В среде художников города живучи ещё ложные понятия о «свободе» творческого развития личности художника, стремление отгородить искусство от политики. Эти противоречащие марксистско-ленинскому мировоззрению положения насаждались в Саратове на протяжении десятков лет несколькими поколениями формалистов и «голуборозовцев» – представителей реакционных течений в искусстве.

...Б.В. Миловидов, И.Н. Щеглов, В.К. Данилов...преклоняются перед Борисовым-Мусатовым и с большим удовольствием смакуют «живописные достоинства» произведений Сезанна, Матисса, Ван Гога и других «левых» художников Запада.

Безыдейность, бессодержательность, вялость и малограмотность произведений отдельных саратовских художников – наследие и формализма и других извращений в искусстве, долгие годы существовавших в Саратове и, в частности, в его художественном училище. *Г. Кожевников. О саратовских художниках. – Газета «Коммунист». 27 ноября 1948 г.*

1948 ГОД, НОЯБРЬ. Редактору Саратовской областной газеты «Коммунист» тов. А.А. Лебедеву.

Уважаемый товарищ редактор! В № 235 (4250) от 27 ноября 1948 года... помещена статья... Г.Н. Кожевникова «О саратовских художниках»... не было (прежде) тех обидных и несправедливых выпадов, которые есть в последней статье. ...Почему Г.И. Кожевников слово «ведущих» художников берет в кавычки? Разве произведение И.Н. Щеглова не приобретено Государственной Третьяковской Галереей? Разве произведения Б.В. Миловидова не приобретались Государственным Музейным Фондом?

...преувеличено мнение Г.Н. Кожевникова о том, что «противоречащие марксистско-ленинскому мировоззрению положения насаждались в Саратове на протяжении десятков лет несколькими поколениями формалистов и «голуборозовцев».

...основные мастера «Голубой Розы», как бы мы к ней не относились в настоящее время, течения общерусского (Павел Кузнецов, П.С. Уткин, Петров-Водкин и скульптор Матвеев) – саратовцы?.. *Архив СГХРМ. Фонд Леонтьевых. Опись № 1, ед.хр. 133.*

1948 ГОД. РАЗОБЛАЧЕН ГУЩИН. ...– донос преподавателей СХУ: о невозможности воспитывать советских студентов французскому репатрианту-эмигранту; Гущин уволен. В Радищевском музее работать реставратором – оставлен.

РАЗОБЛАЧЕН ЮСТИЦКИЙ. *Маркушин,* староста ИЗОкружка на заводе «Комбайн»: преподает Юстицкий, в проверяющей комиссии запомнил Бадакву: «...в белой рубашке, как глиста!» Юстицкого уволили.

ГУЩИН О ЮСТИЦКОМ

Творчество Валентина Михайловича крайне разносторонне и выявлено им было в различных течениях. В последний период он много работал в поисках живописной формы, красочной насыщенности, фактурных шумов, ритмического звучания. *Отзыв Гущина (без даты), поступление от А.В. Юстицкой, 2007 г.*

1947-1965 ГОДЫ. «ОСОБЕННАЯ» ЖИВОПИСЬ ГУЩИНА

На художника Гущина в Саратове «спроса нет»: Гущину необходимо быть полезным Радищевскому музею. Облегчает жизнь ненормированный день, отсутствие регламента: можно оставаться в музее – ночь для занятия изобразительным искусством...Служба занимает световой день. «Световой день» проходит под электрической лампочкой – реставрируемому рабочему полю надлежит быть ярко освещенным.

Отныне живопись Гущина не знает дневного света. Выходного дня недостаточно: время для живописи – вечер, ночь. Искусственный свет днем (работа) и ночью (живопись). Лампа накаливания сдвигает цветовую шкалу в инфракрасную сторону: не хватает спектральной полноты для живописи. Гущин пытается восполнить недостающую холодную часть спектра интенсивным применением синих красок (завороженность «голубым» отмечают знавшие его...). Утром смотрит Гущин свою «ночную» живопись, и не узнаёт её: стронцианкой писал всю ночь вместо белил – увидел при дневном свете.

Живопись, исполненная при дневном свете – Гущину навсегда недоступное счастье: Юстицкому то хорошо, что солнышко светит.

ИЗ 2000 ГОДА. ...в Саратове... было и несколько честных художников, не пятнающих себя конъюнктурой – график Александр Скворцов, живописец Иван Щеглов...У Гущина перед ними было то преимущество, что он при советской власти не жил, от ночного стука в дверь не вздрагивал, к черным воронкам не прислушивался, постановлений партии и правительства по вопросам искусства не изучал и не посещал вечерней партийной школы...Он остался и всю жизнь оставался человеком, с гневом воспринимающим даже легчайший признак насилия над собой. *Н. Свищева. Противостояние. – Газета «Богатей». 2000. № 1(65).*

ГУЩИНУ
1987 ГОД

Ведут
Печаль и Боль любви не в толпы нам подобных,
но в одиночестве в душе поют,
исходят не из радостей утробных,
но из безмерного молчания минут.

Средь раскаленных прутьями сплетенными стволов змеистых,
в прекрасных снах затерянно паря
от мира, и Перун из лунных бликов льдистых,
художник – дух, цветов кипят моря,
и Вечность сна цветного и ночного,
ночь вечная и снежная в горах...
И ничего не повторится снова.
И кроме мрака есть не только тлен и прах.
Борис Казимиров

2007 ГОД
Из стихотворения ПАМЯТИ ГУЩИНА

...и кисть учить по-птичьи щебетать,
и неба нет, хотя остался ветер...

И нет пути, остались только щели,
в которых Бог играет на свирели,
но нет и дома с пением мышей...

откроешь дверь, и за раскрытой дверью
в тебе мелькнет смеющийся Париж.
Юрий Проскуряков

1949 ГОД. «СОВЕТСКИЙ СОЮЗ СТАЛ ОПЛОТОМ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ЕГО КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО – САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ И ПРОГРЕССИВНЫЕ ВО ВСЕМ МИРЕ»

Успешно развивается изобразительное искусство. Монументы т.т. Ленина и Сталина на канале Москва–Волга – скульптура С. Меркурова, группа «Рабочий и колхозница» Мухиной, «Ленин на трибуне», «И.В. Сталин на XVII **съезде Партии», «Сталин и Ворошилов в Кремле» народного**

художника А.М. Герасимова, «Допрос коммуниста» и «На старом уральском заводе» Иогансона и много других.

...Вопиющее низкопоклонство... и враждебные нам стремления увести... от современности... Мы будем критиковать свое искусство с позиций борьбы за это искусство, за его рост, за его совершенствование. *В. Завьялова. «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». 1949 г. СГХМ. Архив. 361(1). № описи 4. ед.хр.25.*.

Не замай! Пускай блеснет / и балбес, и умница!
Здесь! Тут! Тут! Ведь тут, весь тот! / Весь – тот свет! – беснуется.
Здесь и правда – хоть потоп! – / отовсюду слышится: –
Три креста! Аллюр! – Галоп / апокалиптический.
По Голгофе: – Топ, топ, топ! – / потолок практически
высоты, что взял наш оп!/ тимизм трагический.
(Ярыгин: «август 1943 г. – январь 1946 г. Зам. командира дивизиона по полит. части в 21 конном депо Забайкальского фронта» – Личный листок по учету кадров. С.К, 000001 №40367. 5 мая 1945 г. – В. Л.)

1990 ГОД. **ОЦЕНИМ ОБЩИЕ ЖЕРТВЫ СТРАНЫ ЗА 1918–1949 ГОДЫ**

В целом за 1918–1949 гг. погибло около 74 миллионов человек. Общее число умерших за 32 года составило 160 миллионов при средней численности населения 162 миллиона. Сменяемость населения оказалась в 2,5–2,7 раз выше, чем в Западной Европе. В таких условиях не могло быть и речи не только о развитии, но и о сохранении традиций и культуры.

Олег Лебедев. Перечеркнутая Россия. – Ж-л «Век XX и мир».1990. № 2. С. 57.

1949 ГОД. Все работы художника Щеглова отличаются незаконченностью, сырой манерой письма, этюдным подходом к решению темы... *Завьялова. В ОБКОМ ВКП(б).*

1949 ГОД. ...Формалисты во главе с ныне живущим в Саратове художником Юстицким.
Завьялова. В ОБКОМ ВКП(б)

Как много художник Щеглов употребляет краски. Почему не получается реальной формы при таком обилии краски? *Завьялова*

1950 ГОД: 25 МАЯ. ОБСУЖДЕНИЕ ВЫСТАВКИ РАБОТ САРАТОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ ЗА 1950 ГОД

...Ивана Никитича Щеглова на этой выставке не принимают... его вещи не принимаются... с точки зрения идейного плана. Всех удивляет его «Волга в выходной день» в таком дореволюционном антураже... у нас набережная появилась, а мы все старое вытаскиваем... пейзажи Щеглова весьма общи и космополитичны... Это пейзажи «Над», а не от «конкретной действительности»... Мы требуем конкретного выражения жизни.

...жюри нашей выставки надо решительно не принимать этюдов...В какой степени художник организует сознание трудящихся нашего Союза на борьбу за быстрейшее построение социализма и коммунизма? С точки зрения ясной политической целеустремленности, с точки зрения идейной направленности эти этюды не нужны.

...Художник Серов замечательный живописец. У художника Серова есть замечательные вещи: «Девушка, освещенная солнцем» и «Девушка с персиками». Но если мы поставим перед собой вопрос должны ли мы так высоко ценить эти вещи? Не должны. В этих вещах, при всем своем замечательном мастерстве, художник Серов вставал на путь безыдейного искусства. ...Горький говорил, что десятилетие перед Революцией 1917 года у русской интеллигенции это самое бездар-

ное десятилетие, опорачивающее русскую интеллигенцию... Нельзя повторять того пройденного этапа...

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:

Тов. Фиников – Почему Кузнецова спрятали? (из экспозиции Радищевского музея вывели картины Павла Кузнецова – В.Л.).

Тов. Завьялова – Здесь происходит одна очень серьезная ошибка в представлении о вещах у ряда товарищей. Товарищи думают, что жизнь переоценивается. Пройдет двадцать пять-тридцать лет и Матисса вытащат. Нет. ...Произведения искусства, извращающие действительность, не являются произведениями (являются ли они вещами прошлого или настоящего) и никогда они места не получат как достопримечательности искусства.

В. Завьялова. «Обсуждение выставки работ саратовских художников за 1950 год». 25 мая 1950 г. Архив СГХМ. опись № 4, ед.хр. 31.

1950 ГОД. ...Ивана Никитича Щеглова вещи не принимаются с точки зрения идейного плана. *Завьялова*

1951 ГОД. ПРИГОВОР ЩЕГЛОВУ: ...на основании ст. 58–10 ч. 1 УПК РСФСР подвергнуть лишению свободы сроком на 10 лет.

1951 ГОД. УМИРАЕТ ЮСТИЦКИЙ: САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ СССР ПРОТИВОСТОИТ ГУЩИНУ

1940-е ГОДЫ. САРАТОВ. ЗДЕШНИЕ УРОЖЕНЦЫ БОРИСОВ-МУСАТОВ, КУЗНЕЦОВ, МАТВЕЕВ, ПЕТРОВ-ВОДКИН ПЕРВЫМИ УПОМИНАЮТСЯ В ПОГРОМНЫХ ПАРТИЙНЫХ ИНСТРУКЦИЯХ. ДОБАВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ИМЕНА. «Укрепить партийную прослойку» художественной интеллигенции идеологически неблагополучного региона предназначено Михаилу Ивановичу Просянкину: «ВЕСЬ САРАТОВ МНЕ ОТДАЛИ!»

1950 ГОД. В этом году Просянкин закончил 3 со звездочками.Сообщено тов. Туманяну.

СГХРМ. Архив: А. и В. Леонтьевы. ед.хр.12. на 300 листах. 9 частей. VIII. Стр. 278. 12 сент. 1950 г.

«1950 год. В этом году Просянкин закончил 3 со звездочками»: (зашифрованная Леонтьевыми информация воинского звания разве не по линии КГБ?) художественный институт (графическое отделение не с отличием), получает назначение директором Саратовского художественного училища.Успенский, Богдеско, несколько ранее Макарова, учившиеся успешно, получают назначение в это же училище преподавателями.

ПРОСЯНКИН «ОПРАВДАЛ ДОВЕРИЕ»:

«Дотюкал» Миловидова («голуборозовец», ученик Уткина);

Успенский – яркий педагог, подававший надежды художник спился;

Богдеско (уехал на свое счастье – состоялся художником);

Умерла раньше времени Макарова;

Несправедливо уволен училищный библиотекарь Поляков (заведено судебное дело, следствие вины Полякова не находит) – специалист не нужен; Просянкин списывает книги училищной библиотеки 20-30-х годов;

«Подражавшие Борисову-Мусатову» студенты Саратовского художественного училища караются угрозой исключения.

Боголюбовскле рисовальное училище (БРУ) – Саратовское художественное училище (СХУ) пятидесятыми-шестидесятыми годами сходит на уровень директора. После расформирования

(1957 г. «Закрытое» письмо ЦК ВКП(б)) Елецкого художественного училища группа студентов доучивается в Саратовском художественном училище; на всех курсах «чужие» студенты; считается «ПРИВНЕСЛИ ЖИВОПИСНОЕ НАЧАЛО» в Саратов, на родину Борисова-Мусатова, Павла Кузнецова, Петра Саввича Уткина.

1952 ГОД, 22 ФЕВРАЛЯ. ПИСЬМО К. А. ФЕДИНУ

...близкая нам тема – Саратовские впечатления В.Э. Борисова-Мусатова... отношение сейчас к Мусатову отрицательное. *СГХРМ. Архив: фонд А. и В. Леонтьевых. Опись № 1. ед. хр.133. «Письмо К. А. Федину (вариант)».*

1954 ГОД. «Очерки по истории русского искусства». Издание Академии Художеств СССР. 1954 г. В главе «Искусство на рубеже Х1Х и ХХ веков» Н.И. Соколовой на стр. 346-347-й. О Мусатове. Непременно сделать выписку этой не умной, недоброжела-тельной, без понимания и любви сделанной оценки. Противопоставить ей оценку М. Федоровым-Давыдовым в книге-альбоме «Русская пейзажная живопись». *СГХРМ. Архив: А. и В. Леонтьевы. №43. 1951-1964г.г. на 438 листах, лист 410.*

1953 ГОД, ИЗ 1985 ГОДА. СПИСАНИЕ БОРИСОВА-МУСАТОВА

...По всем правилам: печать, подписи, – старик-бухгалтер зачитывает Акт списания 1953 года (Фамилия Борисова-Мусатова среди имен, названных Актом списания.): «В вашем музее не должна быть в наличии списанная картина Белоусова «Ударники крекинг-завода» 1936 года. А она у вас в музее висит...»

Г. И. КОНОВАЛОВ. ДНЕВНИК

1947 ГОД. 29 АВГУСТА. ...Вести дневник настоящий, т.е. психологическую историю развития коммунистической личности – такая же трудоемкая работа, как и писание хорошего романа... нельзя в дневнике найти мою личность, скорее найдешь в нем мое отношение к событиям моей жизни...

30 АВГУСТА. Вчера говорили с Бетей... Социализм дает человеку невероятно великие возможности творческой работы... Свою цель в жизни вижу в творчестве: хочется как можно больше сделать для человека, чтобы поскорее стал он коммунистом... Лично для себя хочу самого элементарного: жилье, необходимое питание, здоровье. Мне много лет, видел хороших людей – о них хочется сказать... Настроение бодрое, рабочее. Человек с большой буквы – это – коммунист. В нем – высшие моральные качества, в нем – прекрасная творческая энергия. Если бы мне удалось хотя бы вполовину схватить и изобразить жизнеутверждающий характер большевика, я считал бы себя писателем страны Советов. Высшая народность именно в этом. Стать полновластным хозяином художественного мастерства, выработанного писателями-поэтами, поэтами-философами, в совершенстве овладеть ленинской диалектикой и с революционной смелостью воспроизвести моральную красоту советских людей – вот о чем думаю и день и ночь. Думаю и очищаюсь от грязи, срезаю беспощадно родимые пятна пережитков. А их много. В мир коммунизма нельзя вступать с говнецом в душе.

...Я бы законом запретил проповедь упадничества.

2 СЕНТЯБРЯ. Читаю Л. Андреева: ...нет у писателя больших идей, веры в человека и разум... есть верные наблюдения над психологией детей, а потом попер чепуху, жизнь в угоду узких реакционных мистических мыслишек... все из головы! Нет характеров, нет свободы их развития, а все заранее предопределено слепым фатумом. Надоела достоевщина: мнимая прозорливость героев, будто читают они в сердцах друг друга... Куприн куда выше, жизненнее его.

14 СЕНТЯБРЯ. В нашей парт. орг. есть люди невоспитанные: вчера говорили о Бейсове, а сегодня ему все известно. Собрание было закрытое. Учить надо.

18 СЕНТЯБРЯ. Злой – не удается писать. Трудно совмещать лекции, общественную работу и писание. Нет денег. Тяжело с деньгами. Противно жаловаться.

21 СЕНТЯБРЯ. ...Раппопорт на вид жалкий, открытые ноздри всегда в сухих козлах, передние зубы лошади, говорит умно, не всегда верно... «Горький – наш Гете, только маленький». Я возразил. Он туго согласился. «Да, пожалуй, большой Гете. Но ты не прав, считая Маяковского единственным крупным поэтом. А Блок?» Я сказал откровенно, что мистика и утонченности до меня не доходят. И я высказал ему свое резко отрицательное отношение к символистам и имажинистам. «У тебя здоровая психика, сказал он, улыбаясь лошадиными зубами, добавил, цельные натуры прямолинейны, односторонни». ...Речь Вышинского о военных приготовлениях американцев снова утвердила мою правоту второго романа.

31 СЕНТЯБРЯ. Вернулся из Москвы. Виделся с А. Фадеевым, особенно часто с Ф. Панферовым. Рад знакомству с Мих. Бубенновым – большой поэтический талант, большая душа. В дни великого праздника приступлю к своей генеральной вещи: история идейного и морального роста полноценной личности коммунистического общества. Значит, самому надо очищаться от дряни.

ВЕЧЕР – 22-30 ДЕКАБРЯ. ...Среди простых людей больше чутких, чем среди образованных. Сознавать это горько, но это факт. И я такая же скотина. Наше образование у многих развивает лишь (в моральном смысле) чувства повышенной внимательности к собственной персоне.

17 ДЕКАБРЯ. ...говорил мне Скибневский: в 1936 году мальчик лет 15 выступил с пением – чудный тенор. В перерыв ему сказали – застрелился отец. У мальчика сразу пропал голос. Навсегда.

1948 ГОД. 28 ЯНВАРЯ. С 8 по 24 января был в Москве. Против воли втягиваешься в ненужные разговоры о критике, литературных вкусах. Все это пережиток мелкобуржуазной интеллигенции.

Самым интересным в поездке моей была встреча с Юрием Андреевичем Ждановым. Еще осенью Румянцева говорила, что Ю.А. нравится мой роман, и что он хотел бы встретиться с автором его. Но тогда Ю.А. был на курорте. Теперь мы встретились в ЦК партии 16 января. Он очень похож на отца своего. Невысокого роста, круглоликий, смуглый, большой лоб, живые глаза. Энергичной интонацией голоса также напоминает А.А. Вот краткое содержание нашей беседы: «Илья Кожаров научил меня тому, что философов (профессиональных) не должно быть. Объясняющие товарищи ничем не лучше объясняющих господ. Философ нашего времени – деятель: государственный, научный и т.д... Илья Кожаров – глыба. Такому характеру тесновато в университете, его место на широком общегосударственном поле деятельности. Дело в том, что творческие силы народа небезграничны. Они расходуются в каждую эпоху в направлении главного удара. Лучшие силы идут на государственную работу, на производство и т. д. Этим, может быть, объясняется сравнительно низкий уровень нашей литературы и критики особенно. Илья не типичен для университета. Таких там нет, не должно быть... Новое в этом образе: историческая необходимость стала его внутренней свободой. Это качество создано в Илье социализмом... Центральной проблемой творчества является критика и самокритика, понимаемая не в узком смысле, а как закон движения нашего общества, как главное в решении конфликтов.Он сослался на высказывания своего отца на фил. дискуссии. Самокритика является качеством социалистического общества, качеством революционным... Классики марксизма доказали, что у революционера сердце и ум вечно молоды. Революционное диалектическое мировоззрение, самокритика – это... эликсир молодости... Говорят: человек поднялся до абстракции. Лучше сказать: «опустился» до абстракции».

...Ю.А. Задал мне несколько вопросов – При коммунизме будет диктатура пролетариата? А партия? Решили, что диктатуры пролетариата не будет, а будет власть коммунистического общества. Партия будет – авангард коммунистического общества... спросил как идут дела в Союзе советских писателей. Я сказал, что не знаю, ибо я не член союза... А как чувствует себя Панферов? Говорят, пьет. Пусть лучше пишет... Выпивки я считаю одним из тяжких преступлений: разрушают мозг, созданный человеком в длительной борьбе... Мне представлялась революция процессом все большего очеловечивания человека. О Шолохове сказал, преклоняясь перед талантом его, что он живет старым капиталом. Народ ждет от него. Но терпению народа может наступить конец. Станичная ограниченность...

Я вышел от Юрия Андреевича окрыленным. Благодарен ему за мужественную беседу. Он одаренный человек, образованный – химик и философ.

Вернулся 26 января. Сразу пошел к И.Н. Терентьеву. Речь шла о Рудько. Он при мне позвонил в МГБ. Панферов не решается напечатать его «Бессмертную землю», не получив от И.Н. справки о политическом лице Рудько (тот сидел 9 лет).

4 ФЕВРАЛЯ. ...На беспорядках поставлен крест. Навсегда.

5 ФЕВРАЛЯ. ...Через день начнется: лекции, студенты и т.п... Отпала охота покупать книги. Много серых...

6 ФЕВРАЛЯ. Странно, я человек не тщеславен, а вот иной раз вдруг размечтаешься: прочтет книгу товарищ Сталин и скажет хорошее слово о ней. Или: вот не замечает критика, а потом кто-нибудь из работников ЦК, например А.А. Жданов скажет где-нибудь слово о книге и тогда критика будет писать...

8 ФЕВРАЛЯ. ...Было во мне много лиризма, честного чувствования, юношеского пафоса. Потом попал под влияние дурной литературной школы. Потом – совершенно ненужная учеба в институте, в аспирантуре и преподавательская работа. А еще больше ненужное и дурное – нынешняя форма моей жизни здесь, в Ульяновске, в четырех стенах института, отгороженный от всего мира... Уединенность – необходимое условие творчества. ...Жена упрекает меня в эгоизме. К сожалению, это правда. ...лежит на кровати, в истерике кричит и рот необычно широко открыт, она задыхается, как вспомню – таким подлецом чувствую себя и так ее жалко и плакать хочется. Было это 1 февраля после пельменей, у Коркина. Мы варвары, пить не умеем.

13 ФЕВРАЛЯ. Говорила жена мне голую правду. Ужасно. Конечно, без нее жить мне нет резона. Еще раз попытаюсь поставить себя на путь человеческий. Не выйдет – нечего жить. «Попытаюсь», да нет, надо непрерывно контролировать себя... жить без нее не буду. Сердце заходится. А во всем права она. Меня мало убить.

15 ФЕВРАЛЯ. Сейчас нет в советском обществе людей сознательно враждебных социализму, есть другой сорт людей: обремененных старыми привычками.

16 МАРТА. ...Если и был у меня небольшой художественный талант, то теперь нет: убил я его рассудочностью, столь чуждой моему характеру... Писать не хочется, жить тоже.

31 МАЯ. ...Написал Бете. Временами охватывает тоска по ней... Много работы: отчеты по кафедре, доклад, редактирование альманаха, роман и пьеса. Без Бети я – без души.

5 ИЮНЯ. ...начитался Аксакова. Чудесный язык у него. Старая истина: без искренности ничего не напишешь. Будет все холодно, бездушно.

19 АВГУСТА. Мать умирает. Говорят: рак легких. Сын орет и орет. Ему 30 дней. У жены палец болит. Сам, кажется, окосел на левый глаз. Устал.

...всю жизнь жил неестественно. Редко был самим собой. Все «учусь»... Выдумками заменял жизнь. «Красиво» и мертво все получалось. Шиллеровский романтизм. Этой золотухой болеют иногда настоящие реалисты. У Фадеева девицы любуются лилией, в то время как слышен гром немецких орудий. Ложно. Мертво.

31 АВГУСТА. Мама умерла 19, а 20 хоронил ее. Потом много пил, плакал, доставляя своим родным страдание и горе... Большинство из моего окружения такое же дикое и несуразное, как и я... не разберешься: от пьянки ли они дичают, или от невежества, пьют. И я такая же свинья. Не хочу быть таким... Завтра Таня пойдет в школу... мне открылась простая человеческая – детская радость.

...Читаю роман Мальцева «От всего сердца». Все ложь: лживы чувства людей, лжива манера рассказа. Да и чего можно придумать об Алтайских колхозниках, живя в подмосковных дачах? Удивительно безнравственно!

15 СЕНТЯБРЯ. ...Вчера за 8 часов лекций весь изболтался... Грудь и ниже лопаток все чаще побаливает. На студентов и институт смотреть не хочется.

Прочитал «Петра I» А. Толстого. В начале хорошо, потом – разбросался граф, погряз в бытописании... Леонид Леонов тоже – писатель первого запева: начнет хорошо, а потом охрипнет, петухом кричит под конец.

2 НОЯБРЯ. Вернулся из Москвы... много разных чувств – опасения за детей, жену, радость встречи... глухое недоброе подозрение... Работать нужно. Мне надо быть скромным, аскетическим как Мао Дзе Дун.

...В.П. Ильенков верно сказал, что Толстой знал своего героя лучше, чем наши писатели своего: «Он жил с ними, с дворянами – и мужик, а мы с рабочими не живем».

5 НОЯБРЯ. Андрей уже разбирается: на руки просится. Не умея говорить, он кричит. Наталья называет его «немым»...

7 НОЯБРЯ. ...Слушал вчера доклад Молотова – ум, искренность, простота, уверенность – все те замечательные качества, которые надобно развивать всякому порядочному человеку... Сквозь ткань доклада проглядывает гигантская и простая личность Сталина, его изумительная нравственная чистота и мощь. И все это потому, что он народен в самой своей сути. Лесонасаждению следует присвоить имя его...

Есть еще странные неприятные существа, хотя и не без ума. Ненель Дайреджиева. Я сказал о ведущей роли русского народа в войне. Отец ее, равняя ножницами бородку, скосил на меня сумасшедшие глаза, засмеялся скрипуче. А Ненель бросила: «Пушечное мясо». Высокомерие их не знает границ. Н. учится в инст. театр. Будет критиком искусства... Всех дураками зовет. Знание жизни у нее ограничено дорогой в троллейбусе от Аэропорта до Охотного ряда. А потом будет писать поучит. статьи...

8 НОЯБРЯ. Вчера вслух читал Мальцева. Такой юмористической литературы я не читал давно. И самое ужасное в том, что автор рисует сцены фантастические. Пошлости невпроворот. Надуманность, ходульность, отсутствие вкуса, такта. К огорчению моему стал сомневаться: есть ли в нем талант? Все же дочитал, как это ни было противным, неестественным...

11 НОЯБРЯ. Вспомнились сослуживцы по флоту, океан, корабли. Не мог заснуть. Сколько там хороших людей.

12 НОЯБРЯ. ...Чрезвычайно важно показать сейчас чувство собственного достоинства в советском человеке, его изумительно богатую духовную жизнь, нравственность, вытекающих из его труда.

13 НОЯБРЯ. ...В пору моего приобщения к литературе сильно повредили мне прямолинейные дурачки, которых окрестили потом вульгарными социологами.

... У Горького много ума, таланта, но много есть вздыбленного, слишком приподнятого, хотя и благородного и великого...

17 НОЯБРЯ. Работается хорошо. Панферов торопит, а мне жалко отдавать, рычу, как собака, у которой отнимают кость.

Душа ноет: Андрей кричит хрипло, кашляет. Не верится врачам, никому. Стал я чуток, как кошка. Чуть за стеной он закричит, вскакиваю. Мать Бетя злится. Думает, что я не доверяю ей. Жаль. Еще одна печаль.

18 НОЯБРЯ. Вот если бы я мог взглянуть на человека как опытный партийный руководитель, тогда бы и дело было лучше, писал бы глубже, правдивее, убедительнее.

26 НОЯБРЯ. Человек наблюдательный, любящий нашу жизнь, наш народ и его партию может обогатить себя таким количеством тем, которых хватит на 100 человеческих жизней.

4 ДЕКАБРЯ. К большому удовольствию и стыду читаю Лескова. Очарован его огромным талантом. Дай бог многим из нас написать с такой же силой. Какой все же невежда я. Надо бы отцам нашим свершить революцию лет на десять раньше. Грамоте стал учиться лишь с 18 лет. Дети наши счастливее нас в этом смысле. Многие пишут в романах: наши дети будут завидовать нам. Я же им завидую. Не хватает образования у меня. Учился поверхностно...

1953ГОД. 18 ЯНВАРЯ. ...Бдительность.О ней надо помнить постоянно, особенно таким «широким натурам», как я.

13 ФЕВРАЛЯ. С 6 февраля по 11 февраля был в Языково, в Корсуне, встречался с читателями. Хорошо прошла встреча с рабочими суконной фабрики в Языкове. В Корсуне был всего около двух часов, а дерьма нахватался дай бог сколько. Конф. не подготовлена: Андрианов представил

меня случайной публике. Я говорил то же, что и в Языкове. Но вот не успел добраться до дома, как узнаю: меня обвиняют в том, что я говорил контрреволюцию. Дико, невероятно, но это так – обвиняют без оснований, облыжно. Написал объяснит. записку т. Серегину. Дм. Иванов поедет на место рассматривать «дело». Видимо, люди как я говорил, не читают газет. Ведь все, что говорилось мной, писалось в газетах. Надеюсь, что разберутся. Но больше нигде выступать не буду... я коммунист, и вся моя жизнь отдана делу партии.

18 ФЕВРАЛЯ. Волга. Заново пишу главу – народ слушает выступление Сталина 3 июля. Ищу правды, боюсь сюсюкания, иконописи, а потому и фальши. Нельзя говорить о вожде высокопарно – он велик в своей простоте... Буду писать предельно просто, тогда меньше наврешь. Эта глава будет испытанием для меня – могу я браться за большие характеры, или нет.

27 ФЕВРАЛЯ. ...Сам я не сумел вести себя как все.Твердое дурное мнение установилось обо мне. Круг знакомых мне людей опротивел мне. И чего радостного может быть в том, что я встречал людей, знаю, кто из них открыто, кто только доносит на меня, кто лжет, будто друг мне, кто не может скрыть своего «святого» негодования и т. д.

4 МАРТА. Сейчас ужасное услышал по радио: Сталин тяжело заболел. Нет слов. Тяжко... Слаб я – плачу. Да я ли один? Кто заменит его? Этот великий гений? Единство, единство и еще раз единство всей партии, всего народа вокруг ЦК, правительства. Бдительность и еще раз бдительность. Требовательность к себе суровая и беспощадная.

21 МАРТА. ...Бета, которая не любит своих единоплеменников, говорила, что многие интелл. из иудеев считают нас русских физической темной силой, а себя гениями.

«Волга»... Сталинград – узел войны, магистраль мировой истории, тут решалась судьба человеческая. Тут обрисовался во всю свою исполинскую силу гений Сталина, мощь народа, партии.

26 МАРТА. ...Чем больше думаю, тем лучше начинаю понимать, в чем сила сталинского полковод. гения.

7 МАЯ. «Волга». Сталин. Сюсюканье о нем преступно. Велик, как велика его эпоха. Правдив. Гуманен, беспощаден. Воля железная. Все земное величавое из славы по закону принадлежало ему. Подчеркнуть его беспощадность, волю, язык, ум предельной ясности и силу логики. Победа сама не приходит. Думаю и думаю о нем. Эпоха великая трудная. Буду писать роман.

21 МАЯ. Бдительным нужно быть к каждому шагу своему – вот тогда не будем выпивать. А то ведь два дня гуляли. Срам, стыд. Хватит. Коммунист я. Этим все сказано... Разговаривать буду с собой начистоту. Вилять нет нужды. Опять распустился – 18-19 мая. Хочется работать, но пока не буду – надо морально очиститься. Гадко вспоминать: три старика (я и др.) пели песни в буфете на пристани. Если парторганы надают нам по шапке, будет вполне справедливо. Прочитал записки. Глупости и нервичности много. Буду думать о себе, о всей своей жизни, думать беспощадно.

22 МАЯ. ...Не выпивать алкогольных. Большего врага, чем алк. нет для меня. И все это сводится: быть коммунистом.

Утро. Прохладное, ветер, солнце. Соловьи поют в садах. Сходил за водой, одел Андрейку. Встал в 7 часов. ...Невозможно представить себе, чтобы Горький, Маяковский, Л. Толстой позволили себе хотя бы 1/1000 того безобразия, кот. позволяем мы себе (я, Мальцев, Слесарев и пр.) Писатель должен быть хорошим человеком. Есть у кого учиться ему: Ленин, Сталин.

24 МАЯ. ...Вечером узнали: институт передал дело в прокуратуру о выселении нас из общежития.

30 МАЯ. Беседовал с И.П. Скулковым около часу. Хорошо... Бодрым вышел я от этого умного живого человека. Секретарями ставят у нас государственных толковых людей. Я жалею о том, что близко не сошелся с ними в свое время. Не делал бы глупостей.

8 ИЮНЯ. 5 июня сорвался... Это было до того гадко, что до сих пор на душе невысказанно тяжело. Но как это могло произойти? Говоря по-честному, не хотел я этого делать. Уговорили Благов и КР. пойти в дом офиц. пива выпить. А потом и пошло. Убить меня мало. Но буду опять стараться встать на ноги.

12 ИЮНЯ. ...Вечер был испорчен: получил решение прокурора Ленинского района Моло-

децких об административном выселении меня 20 июня. Жена расстроилась. Главным образом ее возмущала моя готовность исполнить решение. Справился в прокуратуре о том, как будут выселять и куда. Сказали, что выселять будут на улицу. Придут из милиции и будут выносить вещи и выводить членов семьи на улицу. Сейчас лето, можно сделать так. Ночью говорил по телефону с т. Скулковым... или пусть дадут жилье или отпустят в Сталинград. Как коммунист я не хотел бы дать материал для нездоровых разговоров: ведь если переселяться с детьми, вещами на улицу, то будет много дурных толков. На месте руководителя, я бы не допустил этого. В то же время, как сознательный гражданин я не могу противиться властям и законам...

18 ИЮНЯ. ...Чрезмерный интерес политикой мешает поэту. Поэт должен носить в себе дух эпохи, народа, смена же различных министров тех или иных стран не должно влиять на него. Любовь к Родине, к народу – вот его политика...

...проявил слабость: думал над тем, что 20 июня придет милиция выселять меня в административном порядке из квартиры. Если бы жена была поспокойнее, я бы легко перенес это. Да и вещей много, книги и т.п. Растащут на улице. Мне то туда-сюда, некрасиво будет в целом-то. Непонятно, зачем меня задерживает обком здесь? Городу я не нужен, да и вообще тут никому не нужен. Эти ненужные мысли мешают работать. Надо побороть их. Надо открыть двери к радости, к труду. Только в нем смысл, жизнь, отрада.

19 ИЮНЯ. ...о перемирии в Корее. Кажется, договорились. Но америк. авиация нещадно бомбит. Ли Сын Ман выпустил военнопленных северо-корейцев... провокация – в Германии, в нашем секторе. Не хотят америк. правители мира. И дальше они будут срывать мирные переговоры...

21 ИЮНЯ. Вчера... Вечером пришел милиционер с комендантом выселять нас. Лишь утром секретарь горкома Васильев звонил мне, что все улажено. Оказывается, нет. Звонил я дежурному ГК – Жуков был. Он отсрочил. Милиционер ушел, сказав, что будет в понедельник. Андрейка плакал: «оказывается, нас выселяют». Потом долго дрожал, теребил воротник. В эту минуту хотелось сказать словцо директору...

Попробую работать. Хотя трудно не думать о том, что завтра опять придет милиция выселять... Ходил в баню... Если бы жена попроще относилась к дрязгам! Уж очень она нервничает, очень устала... Надоело общежитие, шум, крики во дворе.

25 ИЮНЯ. ...Читал Горького... Никогда не перестаешь удивляться его уму. Странно, что такой человек заблуждался в первые годы революции. И хорошо, что потом понял нас. Врагов он бил метко.

Детям нужен. Жене-то вряд ли: уж очень отравил я ей жизнь. А ведь всему бывает предел. Сделаю попытку решительную: довести дело с книгой до конца. Чувствую: могу. Концентрация всех сил на одном – на творчестве.

28 ИЮНЯ. Вчера играли в карты. Скверная эта штука... где примешиваются даже маленькие копейки, доброго не жди...Очень уж я слушаю часто радио. Достат. газет, теперь их привозят на самолете в день выхода в Москве.

2 ИЮЛЯ. ...Днем приглашал меня прокурор области, государственный советник юстиции 3 ран. Блинков, средних лет мужчина с мягкими чертами лица. Сказал, что он отменил решение прокурора Ленинского района о моем выселении.Теперь не выселять не предоставив квартиры.

Работалось хорошо...

9 ИЮЛЯ. ...Был В.Ф. Кокарев, бывш. мой нач. политотдела подв. лодок. Теперь в Либаве. Все такой же молодой, хотя 50 лет ему. Рассказывал о сослуживцах.

10 ИЮЛЯ. ...Сейчас сообщили о разоблачении Берия, как врага агента империализма, стремившегося противопоставить Министерство внутренних дел партии и правительству... Хорошо: разоблачили, хорошо, что в печати сказали о необходимости контроля партией органов МВД... Наденет голубчик погоны и воображает, что не он для народа, а народ для него и смотрят иногда не за врагами, а за простыми людьми... Итак: хорошо, что разоблачили вовремя, иначе бы этот честолюбец наломал дров, вроде Ежова. Я спокоен: есть у нас партия, есть ЦК, есть правительство, есть хороший народ. И никакой прохвост не напакостит нам...

12 ИЮЛЯ. 10 июля пили пиво... Стыдно и гадко. Не мало уж лет-то, пора за ум браться. Что делать с альманахом? Ведь есть в нем подхалимский очерк Быковой и Рабинович, там в очерке есть и Берия.

14 ИЮЛЯ. Вчера был на пленуме обкома и горкома. Речь шла о решении ЦК партии по делу врага народа и партии Берия... после смерти Сталина враги оживили подрывную деятельность; Берия хотел использовать МВД для военного переворота... созданные, выработанные Лениным правила парт. работы порушались в течении длит. времени. Долго не было съезда, нерегулярны были пленумы, политбюро не всегда функц. как коллект. орган ...МВД стало играть непомерно большую роль в системе государства. Берия втерся в доверие к Сталину...

Роман... Затруднения насчет образа Сталина. Я рисовал его по-человечески, и все же следы иконописи остались. А он должен получиться велик и человечен.

22 ИЮЛЯ. ...Сорвался 18 июля, ездил с нач. ДОСАА флота Захаровым на его машине в Сенгелей. Оттуда вернулся пароходом утром 20 июля. А тут, как на грех пришли Норкин и Кузнецов (из обкома) с шампанским. Хворал и свинячил. Гадко, позорно. Буду из всех сил держать себя в руках... Неослабная бдительность к себе! Не давать поблажки ни в чем.

26 ИЮЛЯ. ...Передали по радио тезисы к 50-летию партии. Много там нового по сравнению с кратким курсом партии, по крайней мере так кажется на слух. Новое – Ленину отдано должное, о Сталине поскромнее сказано, а главное во весь голос сказано о роли партии. Видимо, мы переборщили когда-то, говоря примерно, так: забота партии и лично т. Сталина. Нельзя было ставить над партией даже ее вождя.

27 ИЮЛЯ. ...Сегодня мир в Корее.

30 ИЮЛЯ. 50 лет партии. Вчера написал статью для «Ульяновского комсомольца» о партии... Вечер. Пишу о Ленине. 1918 год. Полюбил я его как человека, как сына матери, как брата героически погибшего брата. И чувствую силу правды. И говорю всем: Постигну! Раскрою такое богатство душ, что не нарадуетесь. Могу!

31 ИЮЛЯ. ...Решили учить английскому языку Андрея и Таню.

О Ленине писал с душой вчера вечером.

Звонила Грязева Рая из обкома комсомола, уговаривала выступить перед пропагандистами. Отказался, заявив, что после Корсунского эпизода не пойду. Там меня оболгали, якобы я говорил «антисоветские» вещи, а именно: дубки гнездовым способом плохо прививаются, орошение нуждается в уточнениях, растут сорняки. Вы не любите молодежь, сказала она. Я молодежь люблю, но не симпатизирую бюрократам и чиновникам от молодежи. Каждый из них считает себя умнейшим, призванным проверять литератора. Потом обо всем, что выходит за пределы чиновничьих познаний литературы, доносить во все инстанции. А я ходи и оправдывайся, доказывай, что не верблюд, а человек... Некоторые даже карьеру делают на этих «сигналах». Я не хочу быть мостиком для карьеристов.

1 АВГУСТА. ...Американские головорезы наглеют... Жаль, что китайские истребители не дают отпора.

3 АВГУСТА. ...Вчера был Илья Пахтер, спорил против «умаления роли Сталина» в тезисах. Потом согласился со мной: что умаления нет. Говорили о том, что все-таки личность великая накладывает отпечаток на эпоху.

...Вас. Сталин разжалован. Будто он что-то попутал с физкультурниками. Булганин посоветовал ему учиться в академии, обещав сохранить все положение. Но тот обругал министра.

...о злодеяниях авантюриста Берия. Якобы стягивал руками нач. ген. штаба Штеменко, три танковые дивизии к Москве и будто бы часть танков Гвард. Кантемировской дивизии была у Кремля. Якобы Г.К. Жуков вызвал Штеменко: Кто вам позволил дислоцировать дивизии в Москве? По просьбе министра внутренних дел Берия. Жуков арестовал Штеменко.

...Послезавтра сессия Верховного Совета. Жду от нее многое хорошее. Мне по душе та демократизация, которую ЦК и правительство безусловно развивают сейчас во всей жизни. И мне поэтому очень хорошо пишется. Если я напишу что и не так, напишу увлекшись, резко, меня не вы-

зовут в 3 часа ночи в МГБ, как это было в 1947 году. Меня поправит партия. Моя жизнь, мои дела принадлежат партии, родине, а не министру. И наверное, многие такое чувствуют. Кто клеветал на меня в 47 году? Грязные люди: Кобер какой-то фотограф, и другие подмоченные субъекты. Бейсов тут тоже играл роль. А ведь он бывший троцкист, властолюбец, злой эгоист. Неужели нельзя найти хороших коммунистов на эту работу? Можно. Даже в первые дни революции Ф. Дзержинский находил хорошие кадры из рабочих коммунистов. Сейчас тем более можно найти. Я верю, что партия пересмотрит кадры органов, укомплектует аппарат стоющими людьми. За работу!

Из дневника Коновалова: архив семьи Коноваловых.

ЯРЫГИН: из неопубликованного

(Машинопись Л.А. Иванова, авторская правка)

2 МАРТА 1953 ГОДА, САРАТОВ
Вечерами, в сумраке тревожном, / В дымной мгле отшелестевших лет
Мы, тоскующие о невозможном, / Прошлого отыскиваем след.
Неужели это наших чистых, / Первозданно свежих чувств и дум
Опадающих осенних листьев / Неумолчный похоронный шум?
Там еще смеются и кому-то / Радужными красками одет
Голубой их мир. Но что минута / Под бессмысленной громадой лет,
Прахом распростертых? Где ответ? / Что мы в этом прахе, в этом тлене?
И каким предчувствием томим, / Я молитвенно свои колена
Преклоняю, чтобы слиться с ним?

7 МАРТА 1953 ГОДА
Если она – то пускай и Везувий! / И помешает ли чей-то запрет
Лавой неистовствующих безумий / Харкнуть сияющий истиной бред.

5 ИЮНЯ 1953 ГОДА
Огромный серый мир, твоя задача: / Гранитным равнодушием своим
Стереть меня с лица земли! / Нет! Ни мольбы, ни плача,
Ни стонов не поймешь ты и, не пряча / Высокомерного презренья к ним,
Ты высишься угрюм, надменен, недвижим. / Стереть меня с лица земли – твоя задача.

5 ИЮНЯ 1953 ГОДА
Все пройдено, все за спиной. / В трухе и прахе блещет целым
Один червонец, чьей ценой / Распорядиться не сумел он.
И не разменивали стих / Пережигаемого жаждой
Кварталы лавок мелочных, / Где он чужой – в любом и в каждом.
И не его изнемогла / В неотвратимом эпилоге,
Где тьма предвечная и мгла / Подводит главные итоги,
Душа усталая... Он сам, / Как люди плотоядным псам
Бросают падаль... и как боги, / Взлетающие к небесам,
Земле свой прах, так он, ее / В последней выдохнув эклоге,
Земное сбросит бытие.

8 ИЮНЯ 1954 ГОДА
Нас, так больных и усталых, так много. / Очередная отмечется ночь.
Утро. Но, кроме умершего бога, / Кто нам захочет и сможет помочь?
Жидкое, блеклое утро. Откуда / Ждать его ярче? Издохнул и бес.
Кто нас и что нас спасет, кроме чуда? / Наша земля отцвела для чудес.

Все покорила: и горы, и долы / Цивилизация, мудрая вплоть
До хитроумного, ежели голы. / Чем обуздать нашу грешную плоть?
Так же, как реки, железобетоном, / Молнию – громоотводом, а нас?
Что нам любить, ненавидеть, на что нам / Не поднимать дрессированных глаз?
Блеклое утро. За чай ли, за кофе ль? / Как и на лязге трамвайном – печать.
Где ты и что не придешь, Мефистофель? / Да и зачем его, черта, встречать?!
Переменил и привычки и спорт он / У не имеющего ни шиша
Кроме. Каким же сегодняшним Чертом / Большим оценится наша душа
Цивилизованная, где все есть, / чем ни снабдила, позолотив,
Лишь на неиствующую на совесть / Не изготовив презерватив.

10 ИЮНЯ 1954 ГОДА
Не извивайся и не лги! / Ты уже нищ душой и телом.
Расплачиваясь за долги, / Плати и помни: сам их сделал.
Избрав из множества дорог, / Пошел ты тою, где лишь грязь он,
А был чудесен и широк, / Необычаен и прекрасен
Весь у твоих бездомных ног / Безмерный мир. А ты что сделал?
А ты единственное смог / Что, уже нищ душой и телом,
Сам – свой чудовищный итог / Его соринка, где лишь грязь он.
Расплачиваясь за долги, / Плати и помни: мир прекрасен,
Не извивайся и не лги!

19 ИЮНЯ 1954 ГОДА
Здесь проходила та, что лишь одна мне / Была бы навсегда. Но скольких лет
Следы несметных толп, дробивших эти камни,
Смели единственный и мне желанный след.
Зеленая скамья под кленом, тем же самым / Свидетелем бессменным, как светло,
Лучистая, она качнулась легким станом / И вечное: «Пора мне ...истекло...».
Я знал, куда ее вспорхнувшее «пора мне» / К другому, истомившему, но след
Хотя бы этот лишь мне сохранили камни
В следах несметных толп за много-много лет.

19 ИЮНЯ 1954 ГОДА
Деньги? Любовницы? Не дали чина? / Глупости! Отвечай на вопрос:
Где же тогда она, первопричина, / Горьких и злых и заслуженных слез? –
Так-то легко не решают задачу... – / Может быть, скажешь: «Не миновать
Нашей судьбы». – Ты же видишь, я плачу... / Сам я! Уйди лишь! Сам виноват. –
Если и сам, почему же вопросы / Я задавать потеряла права?
Может... – Молчи! Или об земь за косы... / Черная совесть, хотя и права.

20 ИЮНЯ 1954 ГОДА
И когда, о когда уходить мне придется навеки,
Что мне ваше ничто! Если рая не стою, то – в ад,
Где, хотя из смолы, но струятся и пенятся реки
Где, хотя для костров, но тяжелые сосны шумят!

10 ИЮЛЯ 1954 ГОДА
Примерность службы господам / Вчерашним – лишь гарантия,
Что ревностно послужат вам, / Лишь новым богом станьте вы.

2 ОКТЯБРЯ 1954 ГОДА
ПЕСНЯ НЭПМАНОВ

Не все ж солдатики, не все ж матросики, / Поди, не все ж большевики.
А посолиднее, кого ни спросите, / Кого ни спросите, кого ни спросите
Все изнывают от тоски. / Все с недовольствием, да все с обидою...
Не вынимайте карандаш!
Их Лев Давыдович, их Лев Давыдович, / Сам Лев Давыдович –
Он только с виду их, / До потрохов поганых наш!
~~Он бы и Ленина, он бы и Сталина. / Сам на наганах... В чем же икс?~~
~~В чем иксы, игреки? / Чекисты – тигрики!~~
~~И не задремлет их Феликс~~!

Святая Родина! Что от Тургенева / Тебе оставили они!
Напрасно думали, напрасно верили, / Напрасно чаяли, в дыму жасминовом,
В дыму жасминовом, во мгле сиреневой / Отшелестят, от-шеле-стят, отшелестят,
Отшелестят и наши дни!
Нам плакать не о чем, / Нам верить не во что!
А ведь была красива, вплоть /До самой лакомой из барской девичьей
Прелестной девушки, крестьянской девушки, / Чью мы наси-... чью мы наси-...
Чью мы на-си-ловали плоть!

14 ОКТЯБРЯ 1954 ГОДА
Нежное, блеска и шелеста полное, / Оттрепетало... По самое дно
Ада до сини небесной, безмолвие / Невыносимо глухое одно.

14 НОЯБРЯ 1954 ГОДА
Дали померкли синие. / Сто или тыщу лет
В траурной мгле уныние / Стонет и ищет след.
Сколькие тысячелетия / Горестей, бед и мук
Черным, чтобы заметнее, / Скорбью дочертят круг?
Сколько их: сто ли, тыщи ли / Тягостных лет пройдет,
Чтобы расцвел очищенный / Радостью небосвод!

ХРИСТОС
Вот он, Христос непокоренный, / В живой, кровавой наготе,
В толпе, страстями опаленной, / На смоляном висит кресте.
Его лицо опалено, / Искажено в последней муке,
Но глаз сияющее дно / Льет свет гвоздящим эти руки.
И вера в воздухе звучит / И гневом слепо нарастает.
Пока живое в нас стучит, / Мы воскресаем, умирая.
Вот он, Христос непокоренный, / В живой, кровавой наготе,
В толпе, страстями опаленной, / На смоляном висит кресте.

18 НОЯБРЯ 1954 ГОДА
Один лишь серый сумрак от / Нагих аллей до сгнивших башен
И помертвевший небосвод / С бельмом луны противнострашен.
Уснувшим городом один / Я прохожу еще куда-то,
Всего погоста господин / На весь простор после заката.

18 НОЯБРЯ 1954 ГОДА
Ты, солнце грядущего, где ты? / Ни взблеска не видно. Пока
Лишь душно-тяжелых столетий / Проносит свинец облака.
Не знаем, чудовищно-серым / Их мраком давимые, мы
Очнемся ли завтра, но верим: / Взойдет наше солнце из тьмы.
И столько же или же боле / Еще их, тяжелых, пройдет
Великой тоскою по доле / Счастливой зажжем небосвод.

12 МАРТА 1955 ГОДА
Дабы постигли, кто же он таков, / Советуя единственное: снова
Перечитайте старика Крылова, /Где, среди прочего и Михалков.
Я более, конечно, бестолков, / Чем мой дружище – чернокнижник Лева,
Но как не рассмотрел он такового, / И в частности, в том месте, где паук,
Орлиные использовавший крылья, / Себя его родней воображает вдруг.
Потешные, не правда ли, усилья! / Но уж зато – наикратчайший путь
Не только паукам и поничтожней будь. /Ступивший на него не только сапогом
Сумеет, между нами говоря, сверкнуть. / О Щипачеве? Так же, в том же самом
Прелестнейшем местечке, и не суть, / Что пококетливее и чуть-чуть
Изящней изгибаясь тонким станом, / Равняясь по орлам, выпячивает грудь.

25 МАЯ 1955 ГОДА
Остервенелым, знойно пьяным / Я к вам являлся и таков
Я с омерзительным стаканом / Среди довольных дураков,
Что расцветают, истязуя, / Неизмеримо выше тем,
Что в пропасти я, что внизу я, / Разбитый, немощен и нем.
И не способен даже, чтобы / Прямо в оскаленную пасть
Гнойнозеленым сгустком злобы / Ошеломляюще попасть.
А вы умолкнули, но если б, / Заликовавшие, смогли б
Лишь приподнять – я бы на песни / Перековал предсмертный хрип!

15 ОКТЯБРЯ 1955 ГОДА
Жмут баб да вина хлещут сами! / А за бессчетной ратью рать
Идут рабочие, крестьяне, / Идут безвинно умирать!
Им, искалеченным в траншеях, / Догнить там в трупах, чтобы те
Платили жемчугом на шеях / Их потаскушек наготе.
Коль ребятишек заимели, / Перекрестив и свой простор,
Пылили серые шинели / Стать битым мясом за Босфор.

8 ДЕКАБРЯ 1955 ГОДА
Страшны судеб России тропы: / Гниют на фронте сыновья,
В тылу ни хлеба нет, ни топки, / Мрет разоренная семья.

9 МАЯ 1956 ГОДА
Правдоискатели прогрызли / Неизмеримые стопы
Мудрейших книг о смысле жизни / И завопили, как попы!
Покорно, рабскими стадами, / Перехлестнувши через край,
Людская мука и страданье / Загонят нас в колбасный рай.
Многотерпенью научитесь / Так, чтоб и правая скула,
Если по левой свистнул витязь, / Поворотилась, не скуля.

Кнут поднимает наивысший... / Но не в отмщенье правды высь.
Перед сверхгадом в мире: – Ницше! / По-достоевскому смирись!
По милосердному Толстому / Кому ж нам пытанных не жаль,
Казнимых жертв внимая стону, / Читай столыпиным мораль. –
Не зарычал, кулак не сжал он / Над палачами – и ползла
В плоть миллионов смертным жалом / Змея прощаемого зла.

12 АПРЕЛЯ 1957 ГОДА
Волны в безумном строе, / Бесы играют туш.
Яростное, больное / Море погибших душ.
Раненый, словно птица, / Сквозь леденящий крик
Мчится... куда он мчится / Руль потерявший бриг?!
Кто вам ответит? Черен / Здесь горизонт и днем.
Бриг в самом страшном море, / Все ли мертвы на нем?!

12 МАРТА 1957 ГОДА
Когда я тоскующим взглядом / Ищу твои очи, они
И знойно сверкнувшие рядом / Мне чуждого мира огни.
Я все уже, кажется , прожил, / Не видно мне доли иной
В последней рыдающей дрожи / Оборванной смолкнуть струной.
Ты звона ее не услышишь... / Над серой грядой облаков
Созвездия... ты еще выше. / Так счастье мое далеко.

14 МАРТА 1957 ГОДА
Я назвал тебя как-то Кармен, / Усмехнулась и ты, не переча.
В тупике этих сумрачных стен / Мой кошмар – наша странная встреча.
Я давно, мне казалось, остыл / Для таких вот улыбок и взглядов,
Что взметнут – и оставят без сил, / Что зажгут – и спасенья не надо.

25 АВГУСТА 1957 ГОДА
Опять так безумно, так пьяно, / Так жутко ты затосковал,
Что счастье и рваная рана / С которой кладут наповал.
Без ласки она не оставит / И, если кого обожжет,
Туда, не замедлив, отправит, / Где с вечностью встретится тот,
Где все мы действительно братья / И дышим любовью такой,
Которая, стиснув в объятьях, / Безмерный дарует покой.
А ты в этой пестренькой клетке, / Что миром хвастливо зовут
Его пухлощекие детки, / Ненужный, что мечешься тут?!
Пока тебя, жалкий и слабый / Терзает то совесть, то стыд
С твоей, тебе снящейся бабой / Прохвост, ее стоящий, спит!
Любуйся, как резвые чушки, / При этом хвалимы за труд
Усердно из каждой кормушки / Пахучее месиво жрут
С великой для общества пользой. / А ты, коли так бестолков,
Прося позволения, ползай / У грязных свинячьих задов!
И в мерзко извившемся слизне / Всесильный владыка закон
Самосохранения жизни / И в том, кто с Платоном знаком
Здесь логика в полном порядке. / Но как же ты, хиленький раб,
Противен, стенающий в хватке / Тобою глумящихся лап!
И снова безумный и пьяный, / Себе ненавистен такой,
Трусливо плутаешь у раны, / Зовущей тебя на покой!

Поклонник Гомера и Франса, / За то лишь, что так горячо
Целуется солнце, останься, / Ползи и юродствуй еще,
Пока до предела дожатый / Не выпадешь шкуркой пустой,
Вопи, безымянный глашатай, / Обиды и боли людской.

19 ОКТЯБРЯ 1957 ГОДА
Вот и последнее искомое. / Темна осенняя водица.
Похолодевшее лицо мое / В погибель ждущую глядится.
Или опять и ныне мимо я / По берегам, что так безмолвны,
Между которых нелюдимая / Ночная Волга катит волны.
Так леденит, такая темная, / Чтобы опять туда, где нету
Удела мне, тоскливо вспомнил я / Его тепло и шел к рассвету.

10 НОЯБРЯ 1957 ГОДА
Как далеко от меня ты – все то, что /Делает жизнь хоть слегка человечьей!
Мне от улыбки девической тошно, /Я трепещу перед дружеской встречей.
Вскоре ли бедное сердце застонет, / Много ль еще вас таких, у которых,
Как у меня, ничего, ничего нет, / Кроме тоски в догорающих взорах?
Радостно вместе шагать для счастливых, / И, одинокие, слушая вьюгу,
Гнойные язвы не вылечит вывих, / Мы не нужны ни себе, ни друг другу.

5 МАЯ 1958 ГОДА
Брезгливая, злая гримаса / Застыла вопросом: куда
Они так бегут, так стремятся, / Ползут, не жалея труда?
Каким кому вымазан медом / Его соблазняющий кус?
Манто, телевизор с комодом, / Шелка для кальсон и рейтуз.
Чудесная вещь – пианино, / Чтоб тоже, пока не легла,
Пройтись поэтичная Нина / По клавиатурке смогла.
Всего не охватишь в природе, / К чему так стремятся, спеша...
Одна ты, забытая, бродишь / Ненужная больше душа.

7 МАЯ 1958 ГОДА
ДРУГУ – Льву Александровичу Иванову
Надеюсь, мысль моя проста: / Сегодня встретившему сорок,
Желаю другу, чтоб до СТА / Он оставался свеж и зорок!
Чтоб с нестареющей душой, / Какой он есть – без тени фальши,
Порою чуточку смешной / Дорогой чести шел и дальше.
И – ничего прекрасней нет, / Чтобы до ста с таким же пылом,
Будто ему семнадцать лет / Цветы поэзии любил он!

9 МАРТА 1959 ГОДА
Слова бессильны и малы, / А бессловесный, что могу я:
Взорваться, прыгнуть со скалы, / Благословить пеньку тугую,
Что так на петлю хороша? / Ведь доказали, что души нет,
И за душою – ни гроша. / И стынет мозг, и сердце стынет.
В ледящем сумраке вот так, / Быть может, дряхлый марсианин,
Через безмерный этот мрак, / Чужим любуется сияньем,
Могучим светом и теплом / Совсем других миров, чьи жилы,
Хоть и немало утекло, / Бурляще-юной крови живы.
Устало проседь теребя, / Он смотрит ввысь, но не завидуй

Огульно всем: как у тебя, / Щемящей болью и обидой
Во мне все полно. Я один / Из отщепенцев... Между ними,
Среди людей, как среди льдин, / Жив лишь ненужными словами,
Как справедливость, совесть, честь, / Любовь и прочими такими,
Что позволяют произнесть / И можно сдохнуть вместе с ними.
Слова, слова, слова, слова / Одни слова... а бессловесный
Что я могу? Мои права / Лишь мой вот этот угол тесный
Где я живу, где блекнет мой / Ненужный мозг, где сердце стынет,
Где уже годы я, немой, / Один бреду в моей пустыне.

9 МАРТА 1959 ГОДА.
А я когда же? Очень скоро... / Я так мучительно устал,
Что, умерев бы, к миру сора / Иссохшей щепочкой пристал;
Такую парию-соринку / Без ухищрений и возни
Доволокут ногами к рынку / И до свиданья... черт возьми.
Моя великая идея: / Не засоряя больше свет –
Под толчеею... чтоб нигде я / Не отыскал и сам свой след.
Вот вам вся суть моей программы / На тот остаток жизни, что
Займет развязка жуткой драмы / Под заголовком «Путь в ничто».

10 МАРТА 1959 ГОДА
Как тяжело, я это слишком знаю, / И знать и видеть то, что для тебя
Дороги нет, что каждый шаг лишь к краю, / И все ж дышать, тоскуя и любя.
Вставать, курить, идти зачем-то в город, / Где и тебе упругий ветерок
Погладит щеки и скользнет за ворот, /Напомнит ритм давно забытых строк.
И негодуешь, ежели прошел ты, / Где напоказ картинно провезли
Мимо тебя плевок зелено-желтый / Недавней смерти. Как глупы и злы!
Неразрешим, и это твердо зная, / Как про собак, вновь задаю вопрос:
Твоя, его ли участь больше злая? / Разве таких вы оба ждали роз?
Но у него все жутко, но понятно: / Они мерцают, мертвые, как он,
Нелепые искусственные пятна, / Помадный шик на правде похорон.
А про твои что сможешь ты ответить? / Они, как ты, они у той черты,
Ненужные, заброшенные дети, / Еще живут и все-таки мертвы.
Они со мной, их навсегда укрыли / От злобных взглядов эта грудь и лоб,
Они во мне уйдут к моей могиле, / Как у него положенные в гроб.

12 МАРТА 1959 ГОДА
Один – страдать, другой – бороться / Зовут пророки и вожди,
А я нескладного уродца / Предупреждаю: «Обожди,
Молчи, не ввязывайся в свару. / Незамечаемый, присядь
К бутылке или к самовару, / Читай журнал и кошку гладь».
И вот одни – в своей пустыне, / Другие – кровью изошли,
А ты – единственный отныне / Владеешь всем, за что те шли,
Задарен, поднят и увенчан, / Не замечая, что урод,
В тебя влюбляющихся женщин / Уже волнуется черед.
А чуть чего – все так же дальше, / Прилипнув к жизни, как репей,
Ласкай кота, читай журнальчик, / Чай или водку с пивом пей!

12 МАРТА 1959 ГОДА
Вот посреди нафабренного лоска, / Банальных чувств, восторгов и красот,
Дрожащая нахохлилась березка: / Будто ее от холода трясет.

Ей тяжелее, чем, когда из ранки / Пьет ее соки озорник босой,
Оттрепетать и сгинуть в пошлой рамке / Известной, общепризнанной красой.
Лучше, как клен, срубили бы на сени! / Ах! Для чего! Ах, для чего сюда,
Где сдох и сам, увел ее Есенин / От голубого старого пруда!
Нехорошо, как кто бы им захлопал / Ей здесь в ладоши; из постылых недр
Стрелою рвется полоненный тополь; / Ломает руки скованные кедр.

21 МАРТА 1959 ГОДА
Мы и, слепые, видим благо, / Как не глядя, узрели вред
Воззрений доктора Живаго / И подтвердили их запрет
Над ним, не будь помянут к ночи, / Хоть нам и днем не видно зги,
Мы не намерены морочить / Пустынно-светлые мозги.
Раз указали, что он бяка –/ Без утомительных погонь
За смыслом лижет Пастернака / Испепеляющий огонь.
Неважно, если после бомбы, / Что совершит последний путь,
Его и Гете в катакомбы / Безумцы вместе понесут.
И перед внуками в ответе, / Мы не склоним седых кудрей.
Мы тоже в данное столетье / Убивших Пушкина мудрей.

21 АПРЕЛЯ 1959 ГОДА.СТРАШНЫЙ МИР
Пасмурный и обширный / Весь из камней и плит
Передо мною мир мой / Блеклой тоской облит.
Где тут к лицу березка, / Милой сирени куст!
Все тяжело и жестко, / Загроможден и пуст!
Кто здесь для трели лирной / Чуткий подставит слух?!
Каменно-серый мир мой / Строг, деловит и сух.
Ласковые поэты, / Чтобы набить карман,
Здесь продают букеты, / Лак и бачки румян.
Не золотому сердцу – / Краденому рублю
Здесь открывают дверцу / И говорят ЛЮБЛЮ.
Пусть не охватишь глазом / Море железных крыш,
Где тут прекрасный разум?! / Гору родила мышь!
Сумрачен и громаден, / От испарений сыр,
Как наказанье даден / Мне этот страшный мир.

3 ИЮНЯ 1959 ГОДА
Кто ж мне участь мою указал, / Заронил в мое сердце уныние.
Никогда не забуду глаза / Незабудки твои нежно-синие.
И кого ж мне тревожить, виня, / Что тоскливы и вешние шелесты,
Если в памяти ты у меня / Навсегда в неизведанной прелести.
Меркнут очи мои, я устал, / Но пускай и другому досталась ты
Разомкни ты сегодня уста / Для привета, хотя бы из жалости.
Подыми отуманенный взгляд / С отсиявшею той позолотою
И потух бы в груди моей ад, / Незабудка моя синеокая.

1960 ГОДА
Испуганно вздрогнули ждущие ливня. / Над взблесками бреда вы подняли зонт.
Все в тучах, все в молниях беспрерывно / Все небо – мой бледный больной горизонт.

1960 ГОД
Поймет ли ум и самый высший, / Какие муки перенес
На четырех гвоздях повисший / Отцом покинутый Христос
Я не берусь сказать про это, / Но мне моя судьба дала
Удел безумного поэта, / А все иное отняла.
Пусть не нужны мои творенья: / Другим все заняты везде,
Но весь свой век, без воскресенья, / Я жалко корчусь на кресте.

17 ОКТЯБРЯ 1960 ГОДА
Равнодушные мимо бегут, / Вина пьют да считают монеты,
Не предчувствуя даже, что тут / Я с другой совершенно планеты.
Как все это смешно, а порой / Почему-то мучительно горько.
Через сумрак вечерний сырой / Мне мой мир уже виден с пригорка.
И пускай никому невдомек, / Что мерцающий зеленоватый
Засветившийся тот огонек / Мой простор, где я реял, крылатый,
Мой Эдем, где я, тоже любя, / По душистой аллее шагая,
Это сердце берег для тебя / Обменять на твое, дорогая.

5 СЕНТЯБРЯ 1961 ГОДА
Уже не ласкают, лишь беспокоя / Меня, благодатного солнца лучи.
Кому же понадоблюсь ныне такой я? / Как глухо и тягостно сердце стучит,
Как медленно кровь, синеватою ставши, / Ползет по узлам склеротических жил!
Давно бесполезный, ненужный, уставший / Гадаю: зачем уродился и жил.
Через лабиринт безответных вопросов / С тускнеющим мозгом, остывшей душой
Бредет не поэт, не пророк, не философ / Беспомощный старый ребенок большой.

21 ДЕКАБРЯ 1961 ГОДА. НА ПАМЯТЬ РУФИНЕ
Что мне дороже: этот бред / Или, как путь противно-гладкий
Пустая жизнь, где всё запрет, / Рассудок всё и всё в порядке?
Что совершается со мной? / Куда бреду, мешая даты?
А в голове моей больной / Весь мир блаженный и проклятый.
Куда же, вздыбленный, несу / Как кровянеющую рану
Я эту страшную красу? / Где с нею биться перестану?
Или опять на прежний путь: / После таблетки веронала,
Забыться, тягостно заснуть, / Подохнуть, если это мало.
И, побелев, как этот снег / Холодный, бледно-синеватый,
Уйти туда, на тот ночлег, / Где мы ни в чем не виноваты.
Где все уснувшие правы, / Лежат, не мучимые снами,
Под кровом выросшей травы / Из нас, но дышащей не с нами.
Не изберу дороги сам: / Пускай судьба или же случай
Меня смахнет с пути как хлам / Рукой жестокой и могучей...
Или, не ведая за что / Такое будет воздаянье
Моей прекраснейшей мечтой / Воспламенится мирозданье!

25 ДЕКАБРЯ 1961 ГОДА. НИКОЛАЮ, РУФИНЕ
Все остальное трын-трава. / Одна гнетет меня обида,
Что не понять, чем голова / Моя несчастная забита.
И с той и с этой стороны / Так безотрадно, так уныло:
Ни звезд, ни солнца, ни луны./ Нет ничего, что раньше было.
И все же ищет что-то взгляд, / На что-то ноги опереться

В трясину вставшие хотят, / Ум разрешить, душа согреться.
Но ничего иного нет. / Сквозь гулы улиц, через толпы
Шагает мерзостный скелет: / Настолько наг, настолько гол ты.
Приостановится – к груди / Ладонь холодную приложит.
Еще стучит: «Иди! Иди!» / Хотя идти уже не может.

3 ЯНВАРЯ 1962 ГОДА
Что со мной будет – не знаю. / Так же ль тупа и груба
Темная, дикая, злая / Путь мой обрежет судьба.
Знаю, что я нехороший, / Только не хуже других,
Тех, кто целует в погожий / Вечер подруг дорогих,
Тех, кто о счастье мечтает, / Всех, кто его получил.
Жизнь моя так догорает, / Кажется, что и не жил.
Кто-то другой зародился / В темном двадцатом году,
Отвоевал и добился / Лучшего места в аду.
Кто-то другой, этот страшный, / Душу пропивший субъект,
День проклинает вчерашний, / Завтрашних чертит проект.
Что еще будет – не знаю. / Так же ль тупа и груба
Темная, дикая, злая / Путь мой обрежет судьба.
Или еще озарится / Солнцем и мой небосвод?
Сказочная царица / Пусть не выходит из вод,
Но, побранив за проклятья / И приказав: «Извинись!»
В нежные примет объятья / Жизнь. Настоящая жизнь.

4 ЯНВАРЯ 1962 ГОДА
Все надоело. Как бы стать / Тем отупевшим шизофреником,
Что, не прикрикнув, не поднять, / Не лупанув по заду веником.
Лежать, лежать, лежать, лежать, / В пустое нечто взгляд уставивши.
А так... Ну как же не устать, / Когда все нервы будто клавиши.
И в них стучат, стучат, стучат / То страстно тонкие, то грубые
Чужие пальцы. Это ж ад, / Что нарисуют только Врубели!

29 ЯНВАРЯ 1962 ГОДА
Я сегодня пощады / У судьбы не прошу.
Пусть сползутся все гады / Мне на грудь – разрешу
Там шипеть и клубиться, / Не мешали бы лишь
Той отравой упиться, / От которой горишь.

11 ФЕВРАЛЯ 1962 ГОДА. АЛТЫНКА
Опять через окна дурдома / Гляжу на прелестный пейзаж.
Здесь каждая крыша знакома, / Все просится на карандаш.
Смел ветер с унылых деревьев / Вчера так их красивший снег.
Я словно в старинной деревне / Забытый во мгле человек.

13 ФЕВРАЛЯ 1962 ГОДА
Вот в ритме марша похоронного / Танцует жизнь, а я гляжу
С кривой усмешкой постороннего, / Будто осмотр произвожу
Чудес и благ чужого города, / А у того будто на зло
Турецкой саблей брюхо вспорото / И все наружу поползло.
Гляжу с усмешкой постороннего: / Так залихватски, что держись,
Под рокот марша похоронного / В присядку чешет дура-жизнь.

27 ФЕВРАЛЯ 1962 ГОДА
Когда шагает жизнь на убыль / Тяжелой поступью своей
Ей нужен Гойя, нужен Врубель, / Глухой Бетховен нужен ей.
Ей нужен смерч, а не аккорды / Томящих звуков, ей нужны
Слепых гагариных рекорды, / Что лишь с безумием дружны.
А если надобен поэт ей / Такой придет ее воспеть,
Что и грядущее столетье / Его стихи посадит в клеть.

1 МАРТА 1962 ГОДА. БОЛЬНИЦА «АЛТЫНКА»
Прекрасен мир, но не на хлопья / Снегов завьюженных гляжу:
Средь человечьего отрепья, / Вновь опрокинутый, лежу,
Тугими простынями скручен; / Лишь слабогрудый чахлый бог
Страдал бы так. Но тот могучим / И на кресте остаться смог.
Тот бог хулителя Варраву / Простил и раем наградил,
А я... придумывал расправу, / Лишь мерзко-зол, лишь гадок был.
Но дело даже и не в этом. / Зачем злосчастная судьба,
Меня родившая поэтом, / Из бога сделала раба!
Зачем, безумная, она мне / Дала понять, чем зелен луг,
Цветут пустыни, дышат камни, / Благоухает все вокруг!
И ничего, сказав, не трогай!/ Как будто скатерть со стола,
Лишь вышел гость, рукою строгой / Со всем дразнившим убрала.
И этак сытого по горло! / Под основательный запор
На этой койке распростерла, / Так завершив старинный спор.

4 МАРТА 1962 ГОДА
Все нестерпимей давит боль моя. / Мне не понять, какая сила,
Будто ударившая молния, / Меня прожгла и ослепила.
Нет, ничего вокруг не вижу я. / Все, что оставил этот миг мне,
Мерцает мгла кроваво-рыжая, / И опаленный стебель никнет.

4 МАРТА 1962 ГОДА
Ни от людей слезливой помощи, / Ни от богов, их нет, не требуй.
Биясь о камни, правду лбом ищи, / Неукротимый и свирепый.

5 МАРТА 1962 ГОДА
О сгинувших, может, скитальцах / Тоскуя в унылом углу,
Ты в темных исколотых пальцах / Забытую держишь иглу
И трудишься только за плату: / Ведь чем-нибудь надо прожить.
И некому больше заплату / К ребячьим штанишкам пришить.

6 МАРТА 1962 ГОДА
Истосковалась наша плоть. / Вновь под неистовые клики
Твоих рабов, явись, господь / И дотерзай ее, великий!
Нам все равно, какой грядешь: / И грозовым библейским богом
Ты был прекрасен и хорош, / Став электронным осьминогом!
Нам все равно! Приди опять / И мы покорно ляжем полем
Всесветной битвы и распять / Своих спасителей позволим.

6 МАРТА 1962 ГОДА
Пускай Иуды предадут, / На муки выдадут Пилаты:
Я прокляну неправый суд, / Но про тебя скажу: Мила ты,
Так ты мила живому, жизнь, / Что поклонясь любому сану,
Вновь изовьюсь, как мерзкий склизень, / И Аристотелем восстану.

6 МАРТА 1962 ГОДА
Вы мне, прекрасные миги / Гордого детства, не снитесь!
Я не великий из книги / Зло сокрушающий витязь.
Я из другой, что недавно / Кинул, перечитавши,
Наполеоник, бесславно / Душу свою проигравший.

6-17 МАРТА 1962 ГОДА
«Что значит вольная бумага
Да удалое ремесло!»
Он не дружил с громами славы, / Предпочитая тот приют,
Где слушать мог, как всходят травы, / Лесные сумерки поют.
И про весенний птичий гомон, / И, как по льдинкам разлито,
К нам сходит солнце – обо всем он / Умел поведать, как никто.
Не доверяя правде куцей, / Он, грешен, так и не успел
Ничьих прославить конституций: / Три революции воспел!
Про злополучного Живаго / Мы не прочли его роман:
К нему ни хитрость, ни отвага / Не проберутся сквозь туман.
Но и в тумане этом видно, / Каких прекрасных самых благ
Создатель дивный, так постыдно / Глупцами распят Пастернак!
Им наплевать, что после бомбы, / Сверши она последний суд,
Его и Гете в катакомбы / Безумцы вместе понесут.
Уж тем, что Китса и Верлена / Упомянули рядом с ним
Париж и Рим, Брюссель и Вена / Он несомненный сукин сын.
Но, как у Пушкина, простые / Слова ответили дворцу:
Мне невозможно без России / Ни человеку, ни творцу.
И поклонившись тихо, словно / Всех извинив, как он привык,
Прошел трагически-безмолвно / Через хуленья, лай и рык.
Иного ждавшие ответа, / Забыли вы, что не утих,
Не отзвенел на смерть поэта / Железный лермонтовский стих!
Облитый горечью и злостью, / Всему кагалу наглецов
И заправилам и охвостью / Ударит в злобное лицо.

17 МАРТА 1962 ГОДА
И те же и не те же мы: / В лучах другого солнца
Красивыми и свежими / Когда-нибудь проснемся!
Настолько в это верую, / Что час, когда оставлю
Я нашу землю серую, / И с болью жду, и славлю!

22 МАРТА 1962 ГОДА
Наипервейший из орлов, пока Потемкин не поборет,
Императрицу граф Орлов, блаженно стонущую, порет.
А перед окнами дворца бушует гвардия, ликуя,
Хваля всевышнего творца за силу Гришкиного хуя.
Теперь и нам что не гулять?!/ Орут поручики косые,
Надежа наша, Катька блядь, / Правь, самодержица, Россией!

23 МАРТА 1962 ГОДА. ПОЭТ
Когда вернувшийся в земное / Свое обличие поэт
Взглянет вокруг – в палящем зное / Ему кустов с прохладой нет.
И там, где вьюга сеет ужас, / Там, где, колюча и остра,
Как сталь штыков и сабель, стужа / Ему нет места у костра.
И где так ровно дышат люди, / Где лишь прибыток предстоит –
Иль за дверьми, иль среди судей / Он, ошельмованный, стоит.

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕУЛОК
Я помню кладбищенский тот переулок. / Тяжелой флотилией плыли гроба,
И плакал Шопен, безутешен и гулок, /И жуткую дверь открывала судьба.
Угрюмой толпой, как невольники-негры, / Мы шли, провожая зловещий кортеж.
Чернее, чем та, расщепивши недра, / Ждала нас земля в ненасытную брешь.
Мы тяжко брели в отупенье упорном / До той роковой, неизбежной черты
И все потемнело и все было черным: / Деревья и небо, трава и цветы.
А, может, мы все – лишь обычное семя / Из этих вот желтых раздавленных гнид,
Великая мать – бесконечное время / Создания краше античных родит.

24 МАРТА 1962 ГОДА
Тихо в груди, где навек отстучавшее / Мертвое сердце бестрепетно ждет,
Как отвезут это тело запахшее / И разойдется с кладбища народ.
Пухом та черная прорва расстелется. / Пусть запоет молодая весна,
Буря завоет, запляшет метелица / Им не нарушить великого сна!
Он потому величаво-недвижимый, / Царственно-бледный так прямо лежит:
МИР приобрел он последнею хижиной, /Вся ему вечность принадлежит!
Но, как всегда, и от этой могилы мы / Пить из бутылок и сточных канав,
Жрать, целоваться с неверными милыми /Снова уйдем, ничего не поняв,
Лишь бы опять и беспутными, пьяными / И, распростившись с последней мечтой,
Пусть только болями, муками, ранами / Все-таки жить, несмотря ни на что!

24 МАРТА 1962 ГОДА
Который год душе неможится. / Как василек в долине снежной,
Она, иззябщая, кукожится, / Теряет цвет и запах нежный.
Лютует ветер, злее демона: / То сыплет снег, то дождик сеет.
Жду день, жду миг, когда совсем она / Доникнет и окоченеет.
Который год душе неможится. / В теснине слякотной и снежной
Она, продрогшая, кукожится, / Поняв свой жребий неизбежный.

1О МАЯ 1962 ГОДА. ПОРТРЕТ ВРЕМЕНИ
Дивное старого столяра / Произведение – рамка.
В ней еще тлелась история: / Дама и рыцарь из замка.
И вот в нее-то (внушительно / Он это дело обставил)
С маузером родитель мой / Нашего Ленина вставил.
Ныне вернула милиция / И пышнотелую даму
И копьеносного рыцаря / В их золоченую раму.
Но в середине двадцатого / Так это было и надо
К всяческим эксплуататорам / Не дозволялась пощада.

17 МАЯ 1962 ГОДА
Про Генделя я не читаю, / Без Баха могу обойтись,
Романсики предпочитаю / Про гордых израненных птиц.
И жалок хулителей лепет. / Глядите: по зеркалу вод
Скользит ослепительный лебедь / К царевне пернатой плывет.
Ему ли такому пристало / Трусливо куда-то вильнуть,
Хотя бы и просвистала / Стрела, в белоснежную грудь!
Беде, коли только чужая, / Большой красноречие друг.
Гордыню его осуждая, / Ощерились клювы вокруг.
И все безответны обиды, / И каждый щипнуть норовит.
А мощные крылья пробиты, / А белые перья в крови!
И мерзок хулителей лепет! / Последние силы собрать
Пытается раненый лебедь, / Мой смелый прекрасный собрат.
Мне в консерваториях тесно. / Прекрасное – это река,
Да ветер, да грустная песня / Откуда-то издалека.

Так что же, если даже допита / Вся брага молодости пенной?
Мы ль за соленой чашей опыта / Найдем наш мир благословенный?
Тогда зачем его искали мы? / И пусть пронзительно хохочет
Упрек, язвительно оскаленный, / Нам в наши выцветшие очи.
Но остановимся ли немы мы / Другим охотно предоставить
Громами, битвами, поэмами / Свое грядущее восславить?!
Из бед и битв вернуться вправе ли, / Чтобы в раздумьях бестревожных
Мы грустно блекнули и ржавели / Клинками, брошенными в ножнах?!

59 СЕНТЯБРЯ 1962 ГОДА, АЛТЫНКА
Я не дрогну – картина знакома: / Предо мною опять расцвели
Корпуса сумасшедшего дома / На холмах, словно чайки белы.
Частоколы опять, где стадами / Неизбывное, точно по гроб,
Бритолобое бродит страданье, / То хохочет, то плачет взахлеб.
Здесь офелий и гамлетов наших / Обреченный тоскующий мир.
Леди Макбет под Яблочко пляшет, / Седовласый кривляется Лир.
Эта драма не сходит со сцены. / Пусть красуясь, как чайки, стоят
Загляни он за белые стены, / Позавидует Дантовский ад.
Сам здесь Фюрер кричит без умолку, / Рядом яростно чешет висок
Наш Иосиф, считающий, сколько / Он прекрасных голов пересек.
Высоко меня, жизнь, вознесла ты: / В черный день содрогающих мук
Водворяюсь я в эти палаты, / Череды алкоголиков внук.
Ко всему привыкаю опять я, / Перешедший и эту межу.
В гнойники рокового проклятья / Равнодушнее трупа гляжу.
А внизу непоседливый, шумный / Утопающий в море огней
Бьется город, такой же безумный, / Или, может быть, даже больней.

13-15 СЕНТЯБРЯ 1962 ГОДА, АЛТЫНКА
Красивая, дерзкая, злая / Такой в этом мире и быть
Должна ты, любовью играя, / Не в силах, как нужно любить.
Ты дышишь, чем дышится ныне. / И все же с неясной тоской,
Мне кажется, никнешь в кабине / Оплате красы шоферской.
Заветные гнезда свивая, / Целуются рядом, а ты,
Красивая, дерзкая, злая, / Попутчикам мечешь цветы.

И видно по жесту, по взгляду, / Как часто одна и вдвоем
ИСКАЛА ты в жизни отраду, / Но нет ее в сердце твоем.
И, кажется, срезали крылья / Чудесной какой-то судьбе.
Не ведаю, что полюбил я / Несбывшееся в тебе.
Но знаю: не выветрит память / И, дрогнув, представит не раз
Тревожное черное пламя / Недобро мерцающих глаз.

8 ОКТЯБРЯ 1962 ГОДА. РУФИНЕ
Взгляд чуть мерцает: так устал. / И лишь египетской царевне
Вполне бы, кажется, пристал / Твой тонкий профиль с вазы древней.
Мне не ответить, что верней: / Прекрасна ты иль некрасива,
Но это ж ты в своем зерне / Все человечество носила.
И путь-дорога далека. / Еще не там, куда стремилась,
Перешагнувшая века, / Ты отдохнуть остановилась.
Однообразен и уныл / Вид бледной северной природы
Для той, что видела, как Нил / Струил божественные воды.
Угрюмы наши города / В лучах неона, как не живы,
Для расцветавшей в дни, когда / Молились Сириусу Фивы.
Спи, позабытая давно. / Уж не твои изгибы ныне
Несут по пляжам да кино / В трико нейлоновых богини.
Ты не дошла еще. Суров / Великий путь мечты высокой!
Сегодня в смутном мире снов / Улыбкой грустно-одинокой
Своей Отчизне улыбнись / Там для подруги фараона
Под величайшей из гробниц / Горит алмазная корона.
А здесь ты лишняя – сейчас / Все на футбол, на мотогонки.
Не для дикарских узких глаз / Твой, с древней вазы, профиль тонкий.

30 ИЮЛЯ 1963 ГОДА. МАНЕКЕН
Очаровательная дама! /Ах, я не против, манекен,
Влюбиться пылко и упрямо / В картон не лапанный никем.
Ведь эти, крашеные тоже, / От губ до челок и бровей
Так потрясающе похожи, / что я не вижу, чем живей.
Ты хоть за грязные монеты / Сама не валишься ничком
И не наступишь на сонеты / Колючим стильным каблучком.

ИЮНЬ-АВГУСТ 1963 ГОДА. ЗАВЕЩАНИЕ ВИЛЛОНА (по гравюре Мазереля)
Пускай до нитки оголена / Его любовь. Еще голей,
Жмет ее грудь скелет Виллона, / Сейчас раздвинет ноги ей.
Пока был жив, других ласкала, / Но вот, целуя горячо,
Всей страстью мертвого оскала / Он впился в теплое плечо.
Сам сдох отпетым из отпетых, / Но так прелестна, так спела
В его немеркнущих сонетах / Ты для бессмертья расцвела.
Так пусть бессчетны преступленья, / Убийства, буйства, грабежи.
Не избежав совокупленья, / ВСЕ вдохновившая, лежи.
Что насмерть бит, что был повешен, / Что, проклят богом, в яму лег
ВСЕ возместить пришел промеж он / Тех, что сейчас раздвинет, ног
И прогундосит: Был я лишний... / А посоветуйся со мной,
Как пожалел бы скот всевышний, / Что эту щель назвал срамной.
Я не кляну святое лоно / И не скверню, хотя давно
Меня, острожника Виллона, / На пытки бросило оно.

9 АВГУСТА 1963 ГОДА. ПОЗА
Конец мой, я знаю, близок. / Не множа числа потерь,
Придет пресловутый призрак, / В мою постучится дверь.
Быть может, и поза где-то, / Противна и не нова,
Отверженного поэта / Трагические слова.
Все Байроны это пели, / Но мне не до броских поз:
Я лишний на самом деле, / Ненужный вполне всерьез.
Я знаю, конец мой близок, / И чувствую, как же плох
Он будет, когда тот призрак / Застанет меня врасплох.
Отчаяние все глуше. / Черна и, как змей, скользка,
Ползет, обвивает, душит / Чудовищная тоска.
А силы до схватки вышли. / Не до театральных поз,
Когда в самом деле лишний, / Ненужный вполне всерьез.

8 СЕНТЯБРЯ 1964 ГОДА
Порою снятся два крыла. / Но даже то, что утром было,
Где пять минут назад была, / Душа постыдно позабыла.
Иная грезится страна. / Но утверждают поумнее,
Что только тем и лишь спьяна, / Что жить, как надо, не умеют.
И посреди земной весны, / Как будто есть и краше что-то,
Предпочитают видеть сны / И словно правда, без полета
Никак дышать не могут тут, / С неукротимостью железной
Приподнимаясь, вновь бредут / До их последней встречи с бездной.

12 СЕНТЯБРЯ 1964 ГОДА
Прямая, верная дорога. / И лишь по ней – такая честная! –
Шагают праведные люди. / Где начинать, увидел место я,
Не знаю то, что дальше будет. / Не разрешу один вопроса я.
Но признаюсь и не краснею: / Как ни мани меня безносая,
Я по добру не лягу с нею. / И если все же стану дедушкой,
Не изменю свой вкус позорный, / Как и теперь, любуясь девушкой,
Ее разденет жадный взор мой. / И отвечаю, кем-то спрошенный,
Что мне угодно делать вправе: / Вновь я путями нехорошими
Бреду к моей бесславной славе.

17 СЕНТЯБРЯ 1964 ГОДА. ДУХ ИСТОРИИ
Уже дышать почти не мог я, / Когда, прорезав небеса,
Вдруг некий дух взглянул к нам в окна / И все, что видел, описал.
От надоедливого взора / Себя изъяв и отдалив,
Творил он яростно и скоро, / Надменно-зол и горделив.
И перепутались столетья. / И явью сделалась страна
Гуманных слов, где мог дотлеть я / И снова встать, все сохраня...
И тьмы копыт дробили стены. / Раскосоглазый, молодой
Он управлял великолепьем / Из тронной юрты золотой.
Затем надменно сунув руку / За борт глухого сюртука,
Он доверительно, как другу, / Сказал судьбе: И все мука...
Там, где воинственные орды / Жгли бивуачные костры
Мы тоже сгинем, перетерты / Чуть остановимся, остыв.
И воспоются те набеги,/ Все попиравшие ногой...
А древний царь в дремотной неге / С блудницей юной и нагой.

Вновь на пиру она запляшет / И загорится, брызнув вновь,
На белизне распутных ляжек / Из шеи праведного кровь.
Всего такого ж будет много... / А человека, что не смог,
То выносить, во имя бога / Распнут и скажут: Это бог!..
И за дела примерно те же, / Но уповая на Христа,
Марата девушка зарежет, / Прекраснодушна и чиста.
И вот в державе мрака мглистой / Срубил для мира новый сруб
Опять с бородкой золотистой / Мудрейший человеколюб.
Единоборствуя со злобой, / Он одолел и мертвый лег.
Входи бровастый, низколобый, / Казнитель лучших, в твой чертог.
Но лег и он. Что будет дальше? / Высокомерен, замкнут, сух
Но без пристрастия и фальши / Все пишет, пишет некий дух.

ЯРЫГИН: из неопубликованного
(Печатается по авторской рукописи)

Здравствуйте, с прибытием, с приездом
Слушать хор – как ангельский поет
Через, над и к – безднам, безднам, безднам
Ты решился на такой полет.

1970 ГОД. ЧЕРНЫЙ ГОСТЬ. Поэма **(не окончена – В.Л.)**
Ларисе Дубовой

К черту! Ставьте последнюю дату. / Скорбный лик. Где у вас образа?
Вот уже соответственно зату- / маниваются глаза.
Жизнь соль песни, суть правды, конечно, / в проводах непогодкой гудит,
гулко в лад с ее болью, что нежно / не прильнет больше грудь ко груди.
Я о тех, чей когда-то, бывало, / про нее так, слезу покатив,
про губившую вроде обвала, / страсть-любовь изливался мотив.
Отзвенела! Красу этих песен / возвратить уж не думай, не чай,
пожирает покрывшая плесень / их бескрайнюю удаль-печаль.
Обрели у снискавшей признанье, / завозной ныне тешась дудой,
жизни смысл, где – как при обезьяньем – / их оргазме! – корежит – у той.
С этой точечки прямо восторг лишь / сущий – парни, а глянь на девчат! –
то ж экзотика ж, джунгли ж, ведь вторглись / африканочки с озера Чад.
Мне-то что. Не до этого. Пусть и, / не жалеющие копыт,
так и чешут, без боли, без грусти – / им свое еще легче пропить.
Но сегодня лишь с краю да боком, / где друг о друга гордые лбы
не молотят, я – идучи с Богом – / той поры побеседовал бы.
Той поры человеком очнуться / я хотел бы и, что ныне спит –
коль уж доля великого чувства! – / удуши меня боль, а не стыд.
Афродитами не посещаем, / ни одной не имею в виду,
будто с кем-то, в ком больше не чаем / мы души, я беседу веду.
Не они бы – все мертвенно тихо, / только дождик да ветер свистит.
Вера маниакального психа – / икс! Лишь именно! – кто навестит.
Никакого мне счастья не надо. / Наплевавший на хворь и нужду,
вон из не отпускающей взгляда / тьмы за окнами будто что жду.
Раньше просто – чуть что и за шпаги! / Краткий спор, кто скорее проткнет.
Больше, может быть, надо отваги / взоры скрещивать через окно.

Не такой уж я вовсе никчемный. / Тоже пламя порой из-под век.
Поглядим – не боюсь, коли черный! /– Залезай, молодой человек.
Я ведь тоже вторгался в науку, / в суть, до Мебиусова кольца!
Только здесь – что надежней? Дай руку! / Дай свою, где-то ночью скользя.
Вся простуда в такое ненастье ж... / и ко мне, слушай, лучше, чем в гроб. –
Обе створки немедленно настежь –/ как и живы! – с лязг-дребезгом хлоп.
– Обстановочка не комфортабель!.. / – Но тепла и среди этих стен
чутку есть. Ты кого же ограбил, / денди этакий. Ух! Джентельмен!
Камильфо, что ушел от погони. / Я: – Ну хватит морочить чертей!
Я ж: – Не выдали черные кони... / Я же: – Здравствуйте! вижу, Сергей
Александрович? Да, не угадан, / ты по русской земле не пройдешь
и того, кто сегодня был гадом, / лично чтишь ты, бросающий в дрожь.
Но – что, мол, не намерен дрожать я! – / прерывая, он: – Знаю с азов
мордобои и рукопожатья. / Не юродствуй! Я вышел на зов
на отчаянный, как помоги у- / топающего в ушах,
что застрял, я сюда, где в могилу / остается единственный шаг.
Извини, что из-за костюма / – как с буржуя! – царапнул слегка.
Страсть мне лужа, такому гостю я / рад, стекай с него Волга-река.
Без нее он не он – уж пол-литра / достает, я нервозно ищу
для его фатовского цилиндра / место, как на безводье лещу.
Зацепился на гвоздике где-то. / Дверь как на век, уже заперта.
Два беседующих поэта. / Все здесь. Прочее нуль, ни черта!
И пошло. То добрее, то злее / обо всем, что цветет, что гниет.
Не минуешь и мировоззренье –/ я, зверея, свой взгляд на нее –
жизнь, кошмароподобное нечто, / что, присутствующих при сем,
одного за другим нас, как свечка, / зримо тая, кладет мертвецом.
И словинушки против не смейте. / Без одерга не бякнешь бухой.
Жуткий повар на кухне у смерти – / жизнь со всею своей требухой.
Что болтать о каком-то распятом. / Позади Бухенвальд, Майданек.
Воплотить в апокалипсис атом / разнуздавший готов человек.
И со знаньем, чего не минует / каждый как-то освоился, смог.
Ест, пьет, любит да как ведь ревнует, / развлекается очередь в морг.
Поглядишь на иную молодку. / Со слезинкою очи томят...
– А ну-ка их, ебаных в глотку! / К бесу на хуй! В крест, в господа мать!
Убедил окончательно тут уж / таковой речевой оборот,
кто мой гость. Эх, сготовил бы ужин. / Чуть прибрался бы, знай наперед.
Дельце не шарлатана затея, / коль спасать человека мостки
с того света – коль это! – затем я- / вление барда кабацкой Москвы.
Покачал головой, не одобря: / – Сколько ж ты, всех вчерашних мрачней,
под чугунные эти надгробья / уложил своих дней и ночей...
– Ныне, вроде, и не голосила... / –То в беспамятстве, значит, забыв...
Как давно не слыхала Россия, / В ней ведь некому все, ни вдовы. –
Здесь подумали бы, попали / мы куда ж, не Шопеном оркестр,
что почтил. – А вы жертвою пали, / из таких бы, кто вдруг повторил. –
Не хочу на безбогое небо! / Здесь беда, что меня поедай,
жри, глотай, пусть и нитинки не о- / станется этой жизни следа.
Вот же где, потрясенно смолкая, / скептицизм маломозглый глуша,
пью, пришлось, упиваюсь, какая / по натуре людская душа!
Миг от мига все краше, бесценней. / Ведь, представьте, не небыль мелю.
Привидение то, Есенин / сам читает стихи во хмелю.

Трудно не разрыдаться, жалея / уронившего эти слова
Запрокинулась и отяжелела / золотая моя голова...
Но креплюсь. Хоть и мне напророчил, / с той лишь разницей, что не беда,
что вот-вот! –Как до лампочки прочим! – / успокоюсь и я навсегда.
И невольно прощаю вопросы, / каковые, сиречь, уже на
языке унизительной прозы, / что ни мне, ни ему не нужна.
Например: Отчего же угрюм, как / он пред перерезанием жил?
– В хате мусор, пуста твоя рюмка. / Очень скверно! Я так бы не жил!
Философия вся под ногами. / Сам вон Гегель тормашками вверх.
– А слабы, мол, еще не догнали / ихних троек серебряный сверк. –
Тут уж, как ни ладны его кони, / чуть склоняю, смешна похвальба
ради вежливости, огонь и / сеть морщин воспаленного лба.
– Но нисколько не хвастаюсь петлей, / и в которой гремел вечевой
дай от колокола, поэт в ней / не промолвит уже ничего.
И когда, говоря откровенно, / положеньице, что острие,
иссеченная каждая вена / призывает – не слушай ее!
Тяжко жить и, конечно, не ново. / Но по опыту, что не новей,
при крушении, честное слово, / не помога пусканье кровей.
Но пора закругляться, пожалуй. / Я еще непременно приду.
Погощу. Ты занятливый малый. / Пропасть времени... – В полубреду:
– Обогнал, что ль, ваш спутник наш месяц,/ все темней... – и, махнувши рукой:
– Я в гульбе переперчил, повеса./ А! Не глядючись, в сумрак такой! –
И влезавший настолько красиво / с матерней и стихами на стол...
– Жду, Сергей Александрыч! Спасибо!/ – Спят живые, а мертвый зашел.

ОТТЕПЕЛЬ!.. ОТТЕПЕЛЬ...ОТТЕПЕЛЬ?

ОКАЗАЛОСЬ НЕВОЗМОЖНЫМ УМЕРТВИТЬ В ТЮРЬМЕ ЮСТИЦКОГО, ЩЕГЛОВА, ПРЕДОТВРАТИТЬ ЯВЛЕНИЕ ЧУДИНА, ОТБИТЬ ОХОТУ РИСОВАТЬ ГУЩИНУ: «ТАК МЫ ТЕБЯ ПОСАДИМ!»

1959–1960 ГОДЫ: ЗИМА. ГУЩИН – ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ДИВЕРСАНТ

СХУ. Общеучилищное собрание.

Сотрудник КГБ информирует... Необходимо усилить идеологическую работу. Саратов объявляется закрытым городом для иностранных туристов.

Гуров: ...под видом реставратора Радищевского музея... приехавший из Франции эмигрант Гущин идеологический диверсант.

Просянкин: к нам проникает буржуазная мода: джаз, рок-н-рол, девушки в штанах, ребята с длинными волосами... стиляги: антисоветское поведение.

1959-1961 ГОДЫ

Саратовское отделение Союза художников СССР пишет в Обком КПСС коллективный донос: директор Радищевского музея Завьялова держит на работе под видом реставратора идеологического диверсанта Гущина. А тот, под ее покровительством, группирует вокруг себя формалистов, разлагает молодежь в художественном воспитании. Безнадежно испорчен Михаил Аржанов... а вот за молодого художника Виктора Чудина еще можно побороться.

ОБКОМ КПСС обязал Завьялову сделать отчетную закрытую выставку Гущина, Аржанова,Чудина: разбираться будет обкомовская комиссия.

1961-1962 ГОД, ЗИМА

Гущин с удовольствием, неоднократно рассказывает об одновременном получении им двух сообщений: Министерство культуры СССР уведомляет о невозможности передать его картину «Ганди» в Индию; Министерство иностранных дел СССР – о предстоящем вручении Джавахарлалу Неру в дар от Советского правительства картины «Ганди».

1962 ГОД. *Газета «Правда», 28 января. «Сообщение ТАСС».*

Портрет Ганди, национального героя Индии, работы Гущина, от имени Советского правительства подарен премьер-министру Индии Джавахарлалу Неру... во время войны Гущин, проживавший в Монте–Карло, организовал и поддерживал своими средствами близко примыкавший к движению французского Сопротивления «Союз советских патриотов».

1962 ГОД. *Саратов. Газета «Коммунист», 31 января.* «Подарок саратовца премьер-министру Индии»: «Сейчас художник работает над созданием образа вождя кубинского народа Фиделя Кастро».

1962 ГОД. *Газета «Советская культура», 6 февраля.* ...о Гущине, о его картине «Ганди», подаренной премьер-министру Индии Джавахарлалу Неру.

1962 ГОД. *Газета «Советская Россия», 3 августа.* «Родники»: заметка о картине Гущина «С тобой, Лумумба», (подарена художником МГУ).

1962 ГОД. Саратовский Союз художников, перевоспитывая Чудина, не дает ему работы и тот вынужден... завербоваться на работу в Польшу.

Чудин обязан присутствовать на просмотре обкомовской комиссией «закрытой» выставке работ Гущина, Аржанова, Чудина: Завьялова велит Чудину рта не открывать...– на следующий день Гущин обвиняет Чудина... молчал, надо защищаться. Итога просмотра Чудин не дождался, наступил срок отъезда в Польшу, туда ему Гущин и пишет письмо.

ИЗ ПИСЬМА ЧУДИНУ: ГУЩИН. Была большая возня с предстоящим просмотром работ Обкомом... Впечатление, вынесенное от работ, было диаметрально противоположно тому, на что рассчитывали доносчики...

Помимо всего произошло необычайное событие... В Министерстве Иностранных дел – в Москве мне указали, что помимо художественности данного произведения, сам по себе акт (передача портрета Ганди) является актом Государственного значения. Больше всего я упиваюсь тем, что нелегко будет проглотить такую пилюлю нашим саратовским художникам, которые, вероятно, вынуждены будут, наконец, оставить меня в покое.

1962 ГОД

Переизбран Алексей Иванович Бородин – инициатор гонения Гущина: председателем Саратовского отделения СХ РСФСР стал Бобров Борис Павлович.

1962 ГОД, 24 АВГУСТА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ САРАТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СХ СССР. Присутствуют: Черных – ОБКОМ КПСС, Родионова – Фрунзенский Райком КПСС, Карташев – секретарь Правления СХ СССР.

«Мнение Карташева, информирующего о Радищевском музее, основано на суждениях поспешных и необоснованных»: Бобров.

Фамилия Гущина «не употребляется».

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПРИНИМАЕТ РЕЗОЛЮЦИЮ: В САРАТОВЕ НЕТ ФОРМАЛИЗМА. В резолюции «собрание с негодованием отвергает клеветнические измышления Лопатина». (По словам Щеглова, его посадил Гуров, написав донос в КГБ: Лопатин – выступление на собрании.)

Завьялова и Солянов с собрания идут вместе: «Неужели Гуров написал донос на Щеглова? Они же работают вместе!» «Да прекратите! Тогда все писали друг на друга!.. А ваш Лопатин, он что дурак или юродивый?»

Секретарь Союза художников Прокопенко предлагает Гущину вступить в Союз художников: «Сплоченное осиное гнездо» (Гущин); «Волки сбиваются в стаю» (Аржанов).

1962 ГОД. ПАВЕЛ КУЗНЕЦОВ О РАБОТАХ СТУДИИ БЕЛЮТИНА

Такое искусство или не такое! Факт, что оно есть, вон кругом. ...А судить, приговоры выносить... это дело палачей всякого рода. *Нина Молева. Баланс столетия. – М.: Молодая гвардия, 2004. С. 389.*

1962 ГОД, СЕНТЯБРЬ. ПОРА ВОССТАНОВИТЬ ИМЕНА ПЕТРОВА-ВОДКИНА, ПАВЛА КУЗНЕЦОВА, ЛЕНТУЛОВА, ФАЛЬКА, ТАТЛИНА, МАТВЕЕВА.

Н. Андронов. Живые традиции. – Ж-л «Искусство». 1962. № 9.

ЗАВЬЯЛОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА: ИЗ ГОНИТЕЛЕЙ ЗАЩИТНИК

1947-1951 ГОДЫ. Характеристики Завьяловой обосновывают санкцию Обкома ВКП(б) на арест, последующее осуждение Щеглова.

1950 ГОД. Радищевский музей – из экспозиции удалены картины Павла Кузнецова «...произведения искусства, извращающие действительность, не являются произведениями»: Завьялова.

1962 ГОД, ОСЕНЬ. Радищевский музей – краткий период: Завьялова отбилась от идеологических обвинений; Гущина велено не трогать.

Гущину так понравилась свеженаписанная работа Солянова «Душанбе. Осень», что он своими руками повесил ее в экспозиции «Советского отдела», хотя пейзаж еще даже не был закуплен музеем.

1963 ГОД, начало года. РАДИЩЕВСКИЙ МУЗЕЙ: ВНУТРИМУЗЕЙНЫЙ ИНСТРУКТАЖ: ...Живописное выражение степей... эту традицию не продолжают... Эскизно намечен П. Кузнецовым... к этим вещам надо присматриваться. Была традиция, мы не поддержали. Надо рассмотреть, поднять и продолжить Павла Кузнецова.

...Не всегда умеем понять, что у нас находка или что потеря... В чем наибольшая слабость местных художников? Отсутствие настоящей культуры – живописной и всякой... Вальков, Чечнев – за пределами искусства, отрицание искусства как такового...

Завьялова

Твердо себя поставивши / – раком! – к тебе спешим –
милый, кровавый! Сталинщи- / ны режим.
Ярыгин

1962 ГОД, ДЕКАБРЬ. «МАНЕЖ»

В чем-в чем, а в отношении искусства и культуры Сталин был абсолютно прав! Слышите? Прав без всяких оговорок! *Хрущев. (Нина Молева. Эта долгая дорога через XX век. – М.: Книжная находка, 2003. С.201.)*

1962 ГОД, 6 ДЕКАБРЯ. «ТВОРИТЬ ДЛЯ НАРОДА»

...«новаторство»... проникло и в среду саратовских художников.Такие художники, как Чудин, например, своими поисками тоже хотели бы «сдвинуть» искусство, но не вперед, а в сторону от столбовой дороги. Не этим ли обьясняется и то, что в советском отделе музея имени А.Н. Радищева показываются слабые, чисто формальные опыты художника Аржанова и других. *И. Новосельцев, член Союза художников СССР. Жизнь –источник вдохновения. – Газета «Коммунист».*

1963 ГОД, 13 ЯНВАРЯ. «СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО СОЗДАЕТСЯ ДЛЯ НАРОДА»

Кое–кто из этой братии хотел прикрыться поисками новых форм в искусстве, способных выразить новое содержание, но их быстро разоблачили. *А. Кибальников. «Встреча Кибальникова А.П. с молодыми скульпторами». – Газета «Коммунист».*

1963 ГОД. Радищевский музей: новая комиссия Союза художников СССР во главе с Миловидовым изымает из постоянной экспозиции Советского отдела картины Павла Кузнецова, Юстицкого (вид Радищевского музея со стороны Театра, из скверика), парного ему размером Загоскина (этюд с курами), Михаила Аржанова («Зимка»).

«Пример мрака: руками художников вынесли»: Солянов.

1963 ГОД, 26 ФЕВРАЛЯ

Для чего был выставлен в музее Аржанов, Павел Кузнецов?...Чудин попал под влияние.

Просянкин, выступление: «Собрание актива творческой интеллигенции г. Саратова».

1963 ГОД. УМИРАЕТ НЕОЖИДАННО ЗАВЬЯЛОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА: «прозрев», не может «перестроиться» в духе указаний Хрущева, недоумевает, почему «ОБКОМ перестал ее слушать», внезапно умирает («от огорчения» – *говорили «в ее кругу»*) скоротечный рак.

1963 ГОД. Аржанов в письме размышляет – не уехать ли из Саратова, пока не выслали... отпускает бороду – для работы над образом Фиделя Кастро Гущину нужен подходящий типаж. Гущин рисует и приговаривает: «Что красота в искусстве? Жизнь надо претворять в красоту!»

Да зачем же вы вернулись? Живете в коммуналке, недоброжелательное окружение, опасность ареста за свои неординарные взгляды... ответ: «Вы ещё не понимаете, молодой человек, что такое тоска по родине». Руки Гущина – крупные кисти, тонкие в кости с длинными пальцами, подушечки приплюснутые на кончиках пальцев – пальцы не сужаются, а расширяются. Манера вскидывать голову, стоя близко при разговоре, прямая посадка головы, тонкая, широкой кости фигура.

1965 ГОД. Умирает художник Гущин: его творчество – альтернатива социалистическому официозу: новое поколение «музейных художников» реставраторы Аржанов, Солянов – ПРОТИВОСТОИТ Союзу художников.

2000 ГОД. ...Гущин учил выживать, советовал писать к выставкам «приемлемые вещи». Гущин знал, что такое успех у публики, был готовым к компромиссу в том, что не считал для себя главным. На примере своей жизни показал, что можно... быть защищенным, уметь защищаться. *Солянов, обсуждение выставки «Гущин - Аржанов».*

КУЛЬТУРА... НУЖДАЕТСЯ В ОТКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ И СВОБОДНОМ СЛОВЕ... А если в стране, уже как бы и привычно, устанавливается вынужденно подпольная и контрабандная форма существования культуры (в том числе и экономической), то само по себе это тоже несомненный признак снижения и упадка культуры, ее малой продуктивности. Ибо культура всегда публична...В нишах и подвалах не может ничего возникать, кроме вторичного (я говорю, конечно, о принципе, а не об исключениях)... *Мераб Мамардашвили. «Если осмелиться быть..» Беседу вели А. Караулов, Ю. Сенокосов. – Ж-л «Родник». 1989. №11. С. 45.*

1949-1968 ГОДЫ. ПРИЕХАЛИ В САРАТОВ В СОРОК ДЕВЯТОМ ГОДУ. Мне было плохо, меня отвезли в Первую советскую больницу, где я все время лежала в изоляторе. Там я и жива и нежива была. Лечили меня Цветков покойный и Шварц. И консультировал Шамарин. Кололи, кололи, вызвали мужа и: Мы бессильны, медицина бессильна. Шварц говорит: Вам нужно домой жену взять, все равно похоронить придется, я уж вам говорю, как мужчина мужчине. Привезли домой.

Я начала протестовать, почему меня домой привезли, почему меня не вылечили – я возмутилась. Андрей Григорьевич вызвал врача. День был такой – гроза: у меня руки скрючило и ноги. Ударило в позвоночник и голову, и меня скрючило. Я уже теряла сознание почти. Столько уколов сделали морфия противного, меня морфием рвало, не принимал организм. Вообразите комок свернутого человека, обтянутого кожей, весом тридцать восемь килограммов. И тогда у меня мысль пришла: Ага, они меня не хотят держать в больнице, значит, я не выживу. А я хочу жить.

Тогда я сыну письмо продиктовала и попросила отнести секретарю Обкома. И он отнес **(Лидия Ивановна в партии ВКП(б) с 1919-го г., «старый большевик» – на учете в обкоме КПСС. – В.Л.).** Вечером прислали скорую: Мне нужно в больницу, нечего меня хоронить.Обком поручил Райкому создать медицинскую комиссию. Тугушев был секретарь парторганизации. Из моей парторганизации пришли женщины дать мне кровь. Сказали, что поздно. Я Андрею Григорьевичу говорю: Ты не бросай, не бросай, я чувствую, что буду жить. Меня отправили во Вторую советскую больницу, умирать, конечно. Это я говорю – умирать, мне-то не сказали. Поручили Завотделением терапевтическим Диомидовой Лидии Павловне – ей Горком поручил. Поместили меня в изолятор. Спрашиваю ее: Я умру? а она стоит, и у нее вот это место, подбородок – затряслось, затряслось: врачи-то люди. И тогда я все поняла. А лежу я скрюченная. Во рту у меня были как будто сплошные иголки. Язык распух и разговор человеческий я слышу уже как лай собаки: Гав, гав, гав. И народ интересуется: Да она молодая, жалко. А меня злость разобрала, я говорю Завотделением: Это чего меня жалеют? Я не хочу умирать!

И Завотделением запретила ко мне ходить. А я уж с матерью попрощалась и говорю: Андрей Григорьевич пусть принесет мне шоколадку самую лучшую и пенсию. Мама принесла. И в эту ночь я начала умирать, и сестры меня на уколах держат, каждые пять минут укол и кислород. И вот я ночью умираю. И сознание у меня, голова-то хорошо работает, и я думаю: Я умираю от голода и меня этими лекарствами отравили. Мама, позови няню. И нянечка прибежала. Я говорю: Знаешь, няня, покорми меня. Ты насильно корми меня, ложкой открывай рот и корми, не смотри, что я скрюченная. Дала ей денег и попросила сама сырых яиц, их жевать не надо, а питательность есть. А я как начинала есть – спазмы, меня уродовало, ломало. И два яйца мне скормили. Через некоторое время несут тарелку простокваши. И она у меня задержалась.

Через некоторое время опять они мне два яйца дали, и к утру у меня ноги и руки распрямились и заработал кишечник. Утром на обходе врач, улыбается: Будем жить? Будем! Ночью звонил секретарь Горкома. Прибегают дежурные: Вам звонил хозяин города.У меня организм выбросил кровь, это редкое – на тысячу случаев раз бывает. Врачи говорили: Это вы заставили организм жить, человек большой силы воли. – Я пошла на поправку. Перевели меня в общую палату, тут я поверила, что буду жить.

Не была б я настойчива, не была б я живая. Мне стало лучше. Но каждый год я лежала в больнице. Кровь вливать – мне не вливали. Сейчас кровь у меня хорошая. Но вот ноги, позвоночник. Долго лежала – атрофия.Отложение солей, заболевание центральной нервной системы. Потом сердечно-сосудистая недостаточность. Какое тут здоровье. Тут нервы да нервы надо. Это хорошо – я еще из крепкой семьи, у нас не было ни туберкулеза, ни других заболеваний. И мама в девяносто три года умерла. Ей девяносто три года, а она в памяти, все время, до самого последнего.

Это я со здоровым сердцем была, а то едва ли бы выдержала.

Чтобы отвлечься от своей болезни, я начала заниматься живописью, творчеством. Это меня отвлекло. В лежку лежала, вся обложена подушками – а сейчас я хожу и еще в музей хожу, и еще Лауреатом стала **(Лидия Ивановна Суворова-Алферова Лауреат Всесоюзного фестиваля самодеятельного искусства, посвященного 50-летию Советского государства. На Всероссийской и Всесоюзной выставках работ самодеятельных художников 1967 года экспонировался ее триптих «Вся власть Советам»: бум., акв., аппликация – В.Л.)** Потому что борьбу вела, жизнь есть борьба.

А вот ноги не годятся, ноги мне не подчиняются. Врачи говорят о моем рисовании: Бросать ни в коем случае нельзя – это жизнь. Вы не замечаете своей болезни, у вас все сосредоточено на

работе. Я сама переживаю – а знаний-то у меня мало, все сама, сама. Спросить не у кого. Знания, техники нет, вот жизнь есть, душа. Без работы, без людей, в четырех стенах жить нельзя – здоровый-то с ума сойдет. Так уж получилось – суждено мне жить, да еще и поработать.

Как я догадалась рисовать. Мне тяжело ничего не делать. Всю жизнь проработать – все время, с детства работала. Мне лучше стало, я пошла общественным инспектором в Собес, помогала. Помогла, свалилась – уже стало одиноко. И увидела, соседка картинки срисовывает. И мне это понравилось, я говорю: Подарите работу. Нет, я не дарю. Не могу вам, мне надо украсить квартиру, мы ее скоро получим.

Попросила мужа репродукций купить и начала рисовать. Поработала, думаю, зачем же мне копировать, дай свое собственное. Меня не удовлетворяло, что я переписывала репродукцию. Попробовала свою дачу написать, это моя первая проба **(«Моя дача» 1960 год, принадлежит Радищевскому музею В.Л.).**

«Четверка отважных», это когда я баржу написала с нашими моряками и понесла в художественное училище, не я, конечно, понесла, муж понес. А там одобрили и показали студентам: Смотрите, как быстро среагировала на события. Вы посмотрите, насколько смело написано море и никакого сюсюканья. Свое воображение написала. Я спросила: Можно ли такую картину подарить? Не будут ли смеяться? Сказали: Можно! Я и подарила саратовской газете «Коммунист».

«Маевка» **(«Маевка», 1968 г. принадлежит Государственному российскому дому народного творчества; «Маевка», 1969 г. принадлежит Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику; «Маевка», 1969 г. принадлежит Саратовскому областному музею краеведения – В.Л.)** на даче написана... Не скатерть, столешник брали с собой. Прямо на траве раскладывали. Кто как. Кто на пеньке сидел, кто как. И пели песни там. Революционные и такие – чтобы это уж как отвлекать – народные песни пели. Косоворотки как тогда носили? Я видела у художников на левую сторону, а это женская сторона. Кто думал в жизни, что у меня будут какие-то способности к рисованию. Я и мечтать не могла. Теперь я живу полноценной жизнью, несмотря на то, что я тяжело больной человек. Эти картины дали мне жизнь. Не будь картин, я и жива бы не была. Не поверишь – я не чувствую боли за картинами. Вечером, да – я вся болею: и ноги, и голова.

У меня зрительная память хорошая до сих пор, несмотря на возраст. Вот, например, дерево – если я посмотрела, мне уже вглядываться не нужно, я могу его рисовать. И человек, если раз увидела, лицо уже не забуду. Живое я еще не могу ухватить. Как обидно, что нехватает грамотности. Что я раньше не думала, очень жалею.

Художникам надо тогда писать, когда всю жизнь проживешь.

Заходит к нам герой гражданской войны, член партии, персональный пенсионер Бакулин Сергей Федорович. С двадцать пятого года в партии, комбат, комиссар в Отечественную войну. Говорит: Вот талант! Вот это существенное. Здесь вы творите и народу что-то даете. А я что, у меня награды, а я их внуку отдал, он ими играет. А ко мне никто не зайдет, не узнает. Отвоевал и все. Ордена и медали – это побрякушки все, лежат и лежат. Это очень хорошо, что цель жизни есть, вы что-то можете делать для народа, вас не забывают.Сколько у меня наград, и они лежат, лежат. Хорошо, что вы умеете рисовать. – Сказали мы ему, что на обсуждении выставки некоторые художники объясняли успех у меня тем, что политические темы беру. – Тысячу раз я буду политическим, а таланта нет и сделать ничего не могу.

Цель есть в жизни, и радость есть – этого и говорить нечего.Что ни говори, мы уходим. Каждый день уходим. Чтоб осталась память внукам, детям.

Воробьев кормить пора, они собрались уже. Мурка, а ну давай быстро сходи оттуда! Иди сюда, прыгай скорее, кому сказала, что ты не слушаешь! Если бы я была здорова, может и не было бы у меня столько кошек. Это живое, поговорить, покричать на них и то жизнь. **(«Муркина семья», 1969 г., принадлежит Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику – В.Л.)**

Молодость вспоминаешь. Самые золотые годы прошли, некогда было, в войне и работе. И завидуешь современной молодежи. Какие они счастливые. И завидуешь, и радуешься.

Время другое и песни другие. Каждому свое время. Я, бывало, запевалой была среди своих, на

фронте. Голос-то уж сорван был – запевалой была. В строю обязательно пели. Особенно, когда на курсах была. Тогда песни действовали зажигающе, дух поднимали. С душой идешь!

Сме-ло, товари-щи, в но-гу
Особенно это во время войны гражданской,
Ду-хом окреп-нем в борь-бе. / В царство свобо-ды доро-гу
Гру-дью проло-жим се-бе!
Любила песни и сейчас люблю их:
Но скоро то вре-мя наста-нет. / Во-ли добьется народ.
Доб-рым нас сло-вом помя-нет, / К нам на моги-лу при-дет.
И внук научился подпевать мне. И сейчас, когда мне трудно:
Сме-ло, друзья, не теря-йте / Бод-рость в нерав-ном бою –
это мне облегчает, трудно мне. Да, много, много песен было:
Тем-ные силы реют над на-ми...
Но мы подни-мем, гордо и сме-ло, / Зна-мя борь-бы за рабочее де-ло...
Сейчас снова их поют, а то было забыли одно время:
На бар-рикады, на барри-кады. /Марш, марш впе-ред, рабо-чий на-род...
Хорошие песни. Не забывать их надо нам, старикам, а молодым тоже знать надо.
Суворова-Алферова: 1968 год.

1966 ГОД. **«ПОСЛЕ СОРОКА ЛЕТ ЗАМАЛЧИВАНИЯ»**

2001 ГОД. Константин Владимирович Шилов... именно этому писателю мы обязаны возрождением интереса к имени, личной судьбе и судьбе творческого наследия автора нетленных «Призраков», «Водоема», «Жемчужного ожерелья»... Первая Шиловская книга о художнике «Мои краски-напевы» (1979 г.), построенная на разысканных им документах, сыграла важную роль в спасении усадьбы Борисова-Мусатова. А недавно (1985 г.) в магазинах Москвы, Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Самары и других городов появилось заново возрожденное издание книги К.Шилова о нашем земляке...в популярной серии «ЖЗЛ»... новое издание книги о Борисове-Мусатове (2000 г.).

«...спустя много лет выяснилось, что готовый набор моей первой книги о Борисове-Мусатове чуть не рассыпали в связи с одной злобной рецензией. И тогда меня – по доброй воле «взяла под крыло» крупнейший искусствовед – ленинградка Алла Александровна Русакова... вернула нам Мусатова после сорока лет его замалчивания – своей монографией 1966 года. Она захотела написать предисловие: рукопись ей понравилась. ...книжка моя и увидела свет». *К. Шилов (Наталья Проскурякова. «Константин Шилов. Три моих Мусатова это как три этапа судьбы». – Газета «Саратов СП». 2001. 20 апреля.)*

1973-1974 гг. Улица (не «Вольская», переименованная «Братиславской», на которой расположен дом Борисова-Мусатова), названа именем Борисова-Мусатова.

1991 г. ... улице «Имени художника В.Э. Борисова-Мусатова» возвращено прежнее имя «Белоглинская».

1984-2009 ГОДЫ. ДИРЕКТОР РАДИЩЕВСКОГО МУЗЕЯ ГРОДСКОВА ТАМАРА ВИКТОРОВНА ИНИЦИИРУЕТ И КООРДИНИРУЕТ РАБОТУ МУЗЕЯ И ЕГО ФИЛИАЛОВ. Радищевский музей, продолжая традицию Завьяловой, получив от наследников Павла Кузнецова несколько сотен полотен его и Бебутовой, сумел заинтересовать администрацию Саратовской области, организовать свои филиалы – Дома-музеи художников Борисова-Мусатова, Павла Кузнецова, Петрова-Водкина, Мыльникова.

1984 ГОД. Решением Горисполкома дом Борисова-Мусатова передан Радищевскому музею. Штатные должности сотрудников будущего филиала утверждены с января 1988 года: Ефремова

Людмила Петровна, Савельева Елена.

1988 ГОД. Дом Павла Кузнецова передан Радищевскому музею. Штатные должности сотрудников утверждены 31 мая 1989 г: Сорокин Игорь, Бельская Ольга.

2000 ГОД, 14 АПРЕЛЯ. Открылся Филиал Радищевского музея «Дом-музей Борисова-Мусатова». Ефремова Людмила, Савельева Елена – превышая свои возможности, за счет дорого обошедшихся личных инициатив, подготовили к открытию Филиал Радищевского музея «Дом Борисова-Мусатова».

2001 ГОД, 11 ЯНВАРЯ. Открылся Филиал Радищевского музея – «Дом-музей Павла Кузнецова». Игорь Сорокин, Заведующий филиалом, своей неуемной энергией и поэтическим настроем поднял из руин мемориальное здание благодаря акциям «Актуального искусства», пробравших «до самого сердца» администрацию города Саратова.

1961 ГОД, 1 МАЯ. Основана Художественная галерея им. Петрова-Водкина.

1990 год: Дом матери Петрова-Водкина передан Галерее.

1995 год: «Дом матери...» открылся для посещения.

1997 год: Галерея отделилась от Хвалынского краеведческого музея.

ПЕРЕСТРОЙКА! ПЕРЕСТРОЙКА.... ПЕРЕСТРОЙКА?
ГЛАСНОСТЬ! ГЛАСНОСТЬ... ГЛАСНОСТЬ?

1990 ГОД ...А.А.ЛЮБИЩЕВ ОТКРЫТО ОБЪЕДИНЯЛ ЛЫСЕНКО СО СТАЛИНЫМ И ГИТЛЕРОМ В ЕДИНУЮ ГРУППУ ПРЕСТУПНИКОВ ПО ВРОЖДЕННОМУ СКЛАДУ ЛИЧНОСТИ. *А.И. Голуб. Что-то очень важное происходит в нашей жизни. К столетию со дня рождения А.А. Любищева. – Ж-л «Химия и жизнь». 1990. № 4. С. 6.*

1988 ГОД. ...1964 ГОД, 26 ДЕКАБРЯ. Ослабление цепей не мирит нас с рабством, но усиливает стремление порвать оные, как сказал наш великий историк Карамзин по поводу татарского ига, и эти слова справедливы в неменьшей степени и по поводу сталинского ига, которое было ничуть не лучше татарского. Хрущев, конечно ослабил цепи, но система полного деспотизма сохранилась. *А.А. Любищев. «Неприлично молчание мне...» – Ж-л «ЭКО». 1988. № 3. С. 159*

1989 ГОД. «ЗАБВЕНИЯ ЭТОЙ ВЕЛИЧАЙШЕЙ ТРАГЕДИИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ»

...Значительный объем информации «из первых рук» получил я после личного ознакомления с большим количеством архивных документов, находившихся тогда в Каргопольском ИТЛ. В свое время из ГУЛАГа была дана команда о концентрации здесь архивов всех закрывающихся лагерей. В начале 1960 года ...Министерство внутренних дел своим приказом обязывало начальников всех исправительно-трудовых лагерей пересмотреть имевшиеся архивы прошлых лет, отобрать документы до 1955 года, определить их ценность, целесообразность дальнейшего хранения и, если таковой не усматривалось, составив описи, подвергнуть комиссионному уничтожению, то есть сжечь.

В этих архивных делах были зафиксированы документально допросы и показания, заявления и доносы тысяч и тысяч людей, здесь переплелись правда и ложь, мужество и предательство, горе и страдания, смерть одних и освобождение из лагеря других за счет предательства. Переплетались судьбы политических заключенных и бытовиков, мужчин и женщин, гражданских лиц и военных, граждан СССР и иностранцев.

...Сейчас, спустя 28 лет, задаю себе вопрос, зачем была дана такая команда на уничтожение архивов? ...Видимо, кому-то в высшем партийно-политическом руководстве и МВД–КГБ эти архивы не давали покоя, ведь в них хранились многие тайны прошлого, перешедшие в настоящее. *Дмитрий Яковенко. Осужден по 58-й. – Ж-л «Звезда Востока». 1989. № 4. С. 82.*

2009 ГОД.*«Зачем была дана команда на уничтожение архивов?»*

...трудности доступа к источникам, скрываемым с такой тщательностью, как будто бы хранители архивов чувствуют себя соучастниками преступлений. *Иерей Александр Мурылев. Возьми крест свой, и следуй за мною. /В кн.: Алексей Руфимский. Схиигумения Мария и «Пустынная Церковь священномученика Николая (Парфенова), епископа Аткарского». – Саратов–Камышин–Волгоград, 2009. С. 13.*

На нас прицеленный, / мигнул глазок –
сейчас проверят нас / еще разок!
Ярыгин

1960 ГОДЫ. ЯРЫГИН И ГРИГОРЬЕВ ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА: ВСПОМИНАЮТ

Процессы были открытыми, по радио транслировались – Якир, Уборевич, Тухачевский сами признавались, что они враги народа. А на другой день учительница в школе велит в учебниках глаза выколоть врагам народа: воспитывали на них, а тут и разоблачили! Как у тебя?: «Не вспыхнут более / при вашем имени / подростки, бредючи, /о ваших подвигах. / Свинцом подкошен / цвет Революции – / орлы Октябрьской,/ Гражданской соколы!»

Моего отца приятель, тоже художник. Написал лозунг по хлебозаготовкам, слово длинное не уместилось в одну строку, перенос сделал, а получились инициалы общества старых революционеров, царских политкаторжан как раз разоблачили, вредителями оказались. Затаскали художника – зачем врагов народа пропагандируешь, кто научил, где сообщники? На ночь домой отпускают о семье подумать! себя не жалко их пожалей, признавайся. Идет домой ночевать – к нам заходит, сидит, плачет. Обошлось, не посадили.

1970-е ГОДЫ. Уж нет Ярыгина, похоронили и Федосью Алексеевну, мать Григорьева. На поминках вспоминает Николай довоенные годы. Сын «того» художника, ровесник Николая – отцов давно нет, семьями продолжают дружить – слушает, который раз, про своего отца: лицо непроницаемо... Его теперешняя обязанность – гостевой домик начальству содержать. Казенные легковушка-вездеход, охотничьи, рыболовные припасы. Гостей привезти, ночевать устроить, вывезти на охоту и на рыбалку, домой отвезти. Домик не он охраняет, удочки гости сами закидывают, зверей – егеря выгоняют.

...в нашем образе жизни отражается сущность социалистического строя. В советском человеке воплощены ценности такого масштаба, которых не могло достичь ни одно общество до социализма. *Олег Феофанов. Западный образ жизни и реклама. – Ж-л «Молодой коммунист». 1976. № 7. С. 38.*

1987 ГОД. АЛЬТЕРНАТИВА ОПРИЧНОМУ ПУТИ СУЩЕСТВОВАЛА.

С конца сороковых годов до 1560 года шла активная реформаторская деятельность сложившегося вокруг молодого Ивана IV правительственного кружка, вошедшего в историю под названием «Избранная Рада». За несколько лет до опричнины царь Иван резко порвал с ее руководителями – священником Сильвестром и Алексеем Федоровичем Адашевым. Сильвестра сослали в Соловки, Адашев умер в заточении. Но за десяток предшествующих лет «Избранная Рада» провела столько коренных реформ, сколько, должно быть, до того не видело ни одно десятилетие русской истории... Однако этот путь не обещал немедленных результатов: структурные реформы дают плоды не сразу, а потому порой обманывают нетерпеливые ожидания.

...Суровость, жестокость часто путают с силой...Опричнина была попыткой компенсировать слабость власти ее суровостью.

...на оптимистический лад ...настраивают нас размышления над оценкой деятельности царя Ивана: гений и злодейство, и в самом деле, несовместны, не дано тирану и палачу быть двигателем прогресса. *В. Кобрин, доктор исторических наук. Посмертная судьба Ивана Грозного. – Ж-л «Знание–сила». 1987. № 8. С.5, 459.*

1988 ГОД. ...ЕЩЕ (У МЕНЯ) БЫЛА РАБОТА ОБ АДАШЕВЕ – РУКОВОДИТЕЛЕ ИЗБРАННОЙ РАДЫ. ЭТО ОН ИЗОБРАЖЕН НА ПАМЯТНИКЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ РОССИИ, ПОСТАВЛЕННОМ В 1862 ГОДУ В НОВГОРОДЕ. ТАМ НЕТ ГРОЗНОГО! Адашев – нейтральная фигура? Далекий XVI век? Но когда в сорок пятом меня принимали в партию, в кандидаты, секретарь горкома спросил: «Как же так, вы пишете об Адашеве, он же был против Грозного? И брата его казнили, там же измена. Как можно?» Хорошо, я уже понимал: можно отвечать только цитатами и привел слова Маркса, что всеми достижениями Грозный обязан Адашеву... *С.О. Шмидт. Хочется думать, что я не обрывал связь времен. – Ж-л «Знание–сила». 1988. № 2. С. 74.*

1989 ГОД. ...В тридцатые годы окончательно изменяется и социальная база режима: истребляются остатки кадрового пролетариата, практически все коммунисты с дореволюционным стажем, не успевшая или не пожелавшая эмигрировать интеллигенция, кооператоры, передовая часть крестьянства, то есть последовательно и целенаправленно уничтожается весь сохранившийся к тому времени и немного окрепший в годы нэпа культурный слой, а место его в политике, науке, искусстве занимают полуграмотные «выдвиженцы» из «деревенской бедноты» или из городских «маргиналов». Так формируется сталинская бюрократия – не государственный аппарат европейского образца, а традиционная правящая элита.

...в действиях режимов, подобных сталинскому, а в том числе и в действиях совершенно, на наш просвещенный взгляд, абсурдных, скрывается своя внутренняя логика, а не просто злая воля или тем паче, психическая патология вождей. Понять эту логику. ...Сталинская Россия – едва ли не типичная традиционная докапиталистическая деспотия... выступления профессора Г.И. Куницына... коллективизация, впервые в советской официальной печати, трактовалась не как «извращение ленинского кооперативного плана», а как возрождение барщинного хозяйства. Тем самым... был сделан решительный шаг к научной модели сталинского режима в общем контексте отечественной и мировой истории.

«Загадки» же сталинизма возникают в нашем сознании оттого, что мы – даже самые ярые противники Сталина – слишком серьезно воспринимаем взятую им на вооружение социалистическую фразеологию, которая по мере эволюции режима имела все меньшее отношение к действительности. К деятельности самого же Сталина социалистические идеалы имеют такое же отношение, как христианские заповеди – к деятельности православного христианина Ивана Грозного.

И. Смирнов. История с историей. – Ж-л «Знание–сила». 1989. № 6.

2009 ГОД. «СТАЛИН ХОТЕЛ ВОЙНЫ!». ...Сталин, как и любой другой человек, имел право на ошибки. Но их количество и систематичность говорят о том, что ему все сходило с рук. С него некому было спросить... Сталин никогда не признавал ошибочности своих приказов. И это прежде всего потому, что для него было все равно – потерять тысячу или сто тысяч, миллион или десятки миллионов человеческих жизней. И даже чем больше, тем лучше, тем весомее выглядели его, Сталина, усилия по спасению Родины.

...Лишь трое из каждых ста, ушедших на войну ребят 1921-1924 гг. рождения, остались в живых... Но мы все-таки победили... ...почему же Сталин, хорошо зная, что война на пороге, не сделал упреждающего хода, который мог бы коренным образом изменить предвоенную обстановку? ...14.06.1941 г. было сделано Заявление ТАСС о том, что мир прочен, войны не будет, нам нечего бояться, а на провокации не следует отвечать. Кому и для чего нужен был этот обман народа и армии? Кого вводили в заблуждение? Кто давал такие указания?

...без ведома Сталина такое заявление сделать было нельзя. «Великий стратег» оттягивал приведение войск в боевую готовность умышленно... для того, чтобы Гитлер, конечно, хорошо осведомленный о том, что наши войска в приграничных округах не готовы к боям, не струсил... и не отменил вторжения.

Делал это Сталин потому, что хотел войны... Сталин был уверен в том, что мы сильнее, что мы

победим.Ужасная по своим последствиям кажущаяся противоречивость поведения вершителя наших судеб в тот период на самом деле была его жестокой хитростью, маневром, направленным на развязывание войны. Но Сталин тщательно скрывал это от народа, армии и даже от ближайшего окружения, так как считал, что в политике никому доверять нельзя... Сталин обрекал миллионы советских людей на гибель.

...3 июля 1941 года... Сталин явно проговорился, высказывая сокровенное: Германию признают страной **нападающей,** а СССР, следовательно, **обороняющимся, то есть ведущим СПРАВЕДЛИВУЮ войну. В ЭТОМ СУТЬ ДЕЛА**... Сталин и Гитлер, действуя каждый в соответствии со своей теорией, были уверены в победе. И война, которой, если бы народы знали правду, могло и не быть, началась. Она стала величайшим преступлением в истории человечества.

...война Сталину была нужна... зачем? ...Массовые репрессии, подготовленные и развязанные Сталиным в предвоенные годы, не имеют себе равных. Они унесли многие миллионы человеческих жизней. Это был самый настоящий геноцид своего народа ...чтобы скрыть свои преступления, удержаться у власти да еще быть «великим учителем народов», надо было переключить внимание всех и вся на что-то другое, еще более впечатляющее... что-то действительно грандиозное, что сразу заслонило бы собой все вчерашнее. Война... для него... была желанной.

...Сталин явно мечтал о славе великих полководцев. Будучи Генеральным секретарем ЦК, обладая всей полнотой власти, он возглавил Государственный комитет обороны, Народный комиссариат обороны, назначил себя Верховным Главнокомандующим. Он присвоил себе звание маршала, Героя Советского Союза, а затем и генералиссимуса... Война... нужна была Сталину еще и для собственного прославления.

А за все это расплачивались кровью и жизнью миллионы людей.

Петр Петрушин, ветеран Великой Отечественной войны. Сталин хотел войны. – «Новая газета». 06. 05. 2009. № 46. С. 16-17.

2009 ГОД. **...(первая половина 30-х гг. – В.Л.)**, когда в обстановке жесточайшего мирового экономического кризиса крупная буржуазия промышленно развитых стран мира (США, Англии, Франции, Германии) наперегонки бросилась продавать Сталину военную технику, технологию, станки и целые заводы в полной комплектации, Гитлер еще только «зачищал» политическое пространство своей власти в Германии, а новорожденный Вермахт проводил полевые учения с картонными макетами танков. Безрассудная и самоубийственная политика Запада позволила Сталину превратить гигантские финансовые ресурсы (как насильственно изъятые у прежних владельцев, так и вновь созданные трудом многомиллионной армии колхозных и гулаговских рабов) в горы оружия и военной техники. То, что советские историки скромно называли «неудачей приграничного сражения», означало на самом деле полный разгром Первого стратегического эшелона Красной Армии (по числу дивизий превосходившего любую армию Европы, а по количеству танков превосходившего их все, вместе взятые)...

...сравним потери первых недель советско-германской войны с потерями Вермахта в Польше (сентябрь 1939 г.) и Франции (май-июнь 1940 г.).

Война в Польше: 14 тыс. убитых и пропавших без вести, 30 тыс. раненых, общие потери – **44 тыс.** человек.

Война во Франции: 45 тыс. убитых и пропавших без вести, 111 тыс. раненых, общие потери – **156 тыс.** человек.

Эти цифры взяты из известной монографии Типпельскирха. По уточненным данным, представленным в столь же хрестоматийно известной работе Мюллер-Гиллебранда, в Польше Вермахт потерял безвозвратно 17 тыс. человек, а во Франции – 49 тыс. человек.

...К концу сентября 1941 г. Красная Армия только в ходе семи основных стратегических операций потеряла **15 500 танков, 66 900 орудий и минометов,** 3,8 млн единиц стрелкового оружия...

...цифры потерь Вермахта: – 19,8 тыс. убитых и пропавших без вести;

– 44,3 тыс. раненых. Итого: 64 тыс. солдат и офицеров.

...Красная Армия потеряла в 1941 г. как минимум 8,5 млн. человек.

Марк Солонин. Простая причина великой катастрофы. /В кн.: 1941. Великая Отечественная катастрофа. Итоги дискуссии. – М.: Эксмо, 2009. С. 55-56.

2008 ГОД. КОММУНИЗМ – это великий и не потерявший глобальной актуальности проект, исторически обусловленная ипостась предельно амбициозного гуманизма, победившего антигуманную нечисть.*Сергей Кургинян. Медведев и развитие. – Газета «Завтра». 2008. № 19 (755).*

2008 ГОД. ...особенность молодежного, промежуточного сознания заключается в том, что сильные фигуры, воплощающие силу, агрессию, имеют особое значение. Это игра с образами зла, с образами агрессивной силы, не знающей никакого закона. Именно у молодежи по сравнению с россиянами других возрастных групп резко поднимается значение двух таких фигур, как Сталин и Гитлер, что не случайно и впрямую не связано с пропагандой. Во многом это механизм протеста против тупого запрещения и умолчания всего, что было связано со Сталиным и Гитлером на протяжении нескольких десятилетий...

...в Германии, где задорной и протестной молодежи немало, возможна популярность образа Гитлера как символа страны?

Это совершенно исключено... В Германии на протяжении десятилетий в школе, в университетах, в массмедиа, в кадровой политике были предприняты такие усилия, что все попытки пропаганды нацистской символики и идеологии, попытки возвеличения таких фигур, как Гитлер, стали невозможными... упоминание имени Гитлера в позитивном контексте для любого политика в Германии сегодня – это самоубийство. А вот у нас это – вполне возможное явление. *Интервью руководителя отдела социально-политических исследований Левада-центра Бориса Дубина: беседу вела Елена Гаревская. «Соседство Сталина и Ленина с Николаем II...» – Газета «Культура». 2008. 24-30 июля. № 28.*

...Но, если на миг повернут времена, / пусть не забывают о том, что
все ржавые гвозди во их имена/ известные! – внижет потомство.
Ярыгин

«САМОЕ СЕНСАЦИОННОЕ И ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ последних десятилетий – необъяснимая слепота человечества». ...для оказавшегося в идеологическом тупике и состоянии духовной безысходности любого жителя земли... переориентация с материалистических и фарисейских представлений о природе и устройстве мира и действующих в нем сил на библейскую правду будет не самым худшим выбором. *Калинин Владимир. Апостол Павел и его значение в христианском вероисповедании. – М.: АСТ, 2005. С. 188.*

1988 ГОД. САРАТОВ – РОДИНА БОРИСОВА-МУСАТОВА

Мусатовские «веяния» привлекают общественное вниманение еще и благодаря «чужакам» – Куделина, Мошников, Ярикова приехали по назначению в Саратовский политехнический институт на отделение архитектуры преподавателями рисования, живописи, композиции. Одаренные художники, талантливые педагоги – Мошников, Куделина, Ярикова, Виктор Учаев, Никифорова, их ученики и Радищевский музей изменили к лучшему художественную атмосферу Саратова и возродился интерес к «саратовской школе».

Мошников открыл «для себя», заинтересовал, привлек и воодушевил выпускников СХУ творчеством Борисова-Мусатова, Павла Кузнецова, Петрова-Водкина.

«В особенности, Мусатов был воодушевлен заражающим идеализмом, направляемым немного туманной, но возбуждающей энергию верой в «принципы искусства»; еще утверждал, что эти принципы должны быть конкретизированы в действии, в завершенных картинах, прежде чем

создан набор недостижимых идеалов, разрушающих волю художника». *PETER STUPPES. «PAVEL KUZNETSOV». CAMBRIDGE UNIVER-SITYPRESS. 1989. С. 12-13. Перевод: М. С. Савенкова, В. С. Палькова.*

Художников сплотили ежегодные творческие поездки в Хвалынск – двадцать лет существования в обстановке, далекой от благоприятной. Мошникова и его друзей воодушевляет *Борисов-Мусатов:* «Я создал себе мир грез и мечтаний и идеалы этого мира нахожу выше жизненных идеалов. Нахожу их выше идеалов окружающего общества...»

Энтузиазм Бородиной Валентины, директора Филиала Радищевского музея Хвалынской галереи им. Петрова-Водкина... Музей изучает прошлый опыт, практику сегодняшнего дня – художников группы Мошникова «...и многих, многих других, ставших близкими и необходимыми в этом общем теле-чувствилище, в котором онтогенез одного влияет на филогенез всей группы»: *В. Бородина.*

2008 ГОД – для группы Мошникова юбилейный – увенчался отчетной выставкой «Но зовет нас путь...» в Радищевском музее. 21 октября 2008 года в Радищевском музее состоялось обсуждение выставки. Солянов говорил о необходимости «возвратить изобразительному искусству язык, вырванный семьюдесятью годами тоталитаризма», о фундаментальном значении для художника «числа и геометрии»...

Освободить сознание, программируемое Союзом художников, – чего еще пожелать участникам выставки, подвижникам, энтузиастам? Вольно ли – невольно, Чудина от тоталитарно-провинциального сектантства спасла дистанция – не был принят в члены СХ СССР.

Иначе сказалась просветительская деятельность Мошникова, Куделиной, Яриковой в Политехническом институте: приобщение к современному пониманию искусства будущих профессиональных архитекторов. Авангардисты – ученики Мошникова из Политехнического института – не пошли дорогой учителя. Что учителя? Константин Коровин, переживший Борисова-Мусатова, Уткина, учивший Павла Кузнецова, Петрова-Водкина, своей живописью остался в девятнадцатом веке.

1987 ГОД. «ИСКРЕННЕЕ ИСКУССТВО ЦЕНЫ НЕ ИМЕЕТ»

Саратовской художественной общественностью не замечено — подобно «Алой Розе» 1904 года — событие: выставки объединения художников «Желтая Гора». Отсутствие членов Союза художников СССР – причина европейского уровня деятельности «Желтой Горы». Столь же непровинциален Каталог 1990 года, изданный объединением «Желтая Гора» в 1990 году – с тех пор о «Желтой Горе», зачинавшей в Саратове «Актуальное искусство», упомянуть некому. («Актуальное искусство» – архаический принцип магического вовлечения в мистерию; фрагменты клоунады, театра, элементы изобразительности...«звуковой язык», «обонятельная», «тактильная» речь).

«ZHOLTAYA GORA». КАТАЛОГ. САРАТОВ. 1990 ГОД

Типография издательства «Коммунист». Тираж 3000. Графический дизайн – Е. Солодкий, М. Лежень. Обложка – Е. Солодкий.

«Как таковая, «Желтая Гора» возникла зимой 1987 года благодаря проводившимся выставкам–продажам, которые доказали, что искреннее искусство цены не имеет. Ядром «Ж.Г.» стали молодые архитекторы – Михаил Ле Жень, Евгений Солодкий и Сергей Беляков – одинаковые в своей непохожести друг на друга и считающие, что реализм – очень хорошо, особенно когда он субъективный.

Подобное мнение распространяется и на коллективную творческую деятельность «Ж.Г.» – организацию и проведение своих выставок, которые благодаря творческому энтузиазму незакомплексованных представителей различных видов искусств, все больше становятся похожими скорее на спектакли, где в главных ролях даже не сами картины, а их настроение. Это и выставка «Активное пространство», где зрители были вынуждены сами высвечивать свечами картины, бу-

дучи запертыми в психоделическом пространстве черного бомбоубежища и авангардного джаза, и «Антиветряная выставка», проводившаяся наоборот, на открытом воздухе, у самого берега Волги, где от картин пахло рыбой, а ветер пытался унести их вместе с сухой листвой, Хиндемитом и Бранденбургскими концертами, или другими, реализованными и не реализованными планами и идеями «Ж. Г.»

В настоящем каталоге представлены зафиксированные во времени работы художников «Желтой Горы» – С. Белякова, С. Кругляка, А. Лебедь, М. Гаврюшова, Е. Солодкого и М. Ле Женя с комментариями поэта Е. Звездакова».

XIX-XXI ВЕКА. ЭТАПЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: «СОВРЕМЕННЫЙ»;
«НОВЕЙШИЙ»;
«АКТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»;
ИСХОД XX ВЕКА: официозный «профессиональный художник» – имитация мастерства эталонных художников прошлого; искусством остается – рисование животных, необученного ребенка, первобытное, примитивов, сумасшедших, маргиналов;
«2015-2020 годы «ИСКУССТВО ПРИДЕТ К СВОЕЙ ФИНАЛЬНОЙ ЧЕРТЕ»: ШМИТ – ПРОКОФЬЕВ»;
«XXI ВЕК – РЕАНИМАЦИЯ ЖИВОПИСИ»: основа – «Формула цвега Чудина», носитель цвета – электромагнитная волна.

«ШМИТА СЕГОДНЯ ПРИХОДИТСЯ ОТКРЫВАТЬ ЗАНОВО». ...осенью 1933 года научная деятельность академика Ф.И. Шмита в Ленинграде была насильственно оборвана. 10 ноября 1941 года его не стало. Спустя пятнадцать лет Ф.И. Шмит был полностью реабилитирован. Но реабилитированный как человек и гражданин, он не был реабилитирован как ученый... Находясь в 1934-1937 годах в ссылке сначала в Акмолинске, а затем в Ташкенте, Шмит еще пытался работать. *В.Н. Прокофьев. Федор Иванович Шмит (1877-1941) и его теория прогрессивного циклического развития искусства. – Ж-л «Советское искусствознание». 1980. №2. С. 28, 261.*

...Задачу своих научных поисков Ф. Шмит видел прежде всего в том, чтобы вместо «варварского лоскутного одеяла» создать теорию искусства, непосредственно переплетенную с его историей, которая обнимет все искусство: и «зоологическое», и «археологическое», и «этнографическое» и «историческое», и искусство народных масс, и парадное и бытующее в ежедневном обиходе (*Шмит Ф.И. Искусство. Основные проблемы теории и истории. – Л., 1925, С.23,15.)*. Он говорил о необходимости соединения исторического и теоретического подхода к изучению искусства; рассмотрения искусства как целостной системы... и исследование этой системы комплексом наук — историей, психологией, стилистикой, социологией. *Н.И. Ушакова. Проблемы искусствознания в трудах Ф.И. Шмита. / В сб.: Проблемы искусствознания и художественной критики. Выпуск 2. – Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1982. С.189.*

1977 ГОД. «ИСКУССТВО ПРИДЕТ К СВОЕЙ ФИНАЛЬНОЙ ЧЕРТЕ»

Спираль всеобщей истории искусства... имеет начало, теряющееся где-то в сорокатысячелетней отдаленности... она развивается с очевидным ***убыстрением*** – иначе говоря, ее витки–циклы становятся все более сжатыми во времени, сужающимися в своем графическом выражении...обе стадии палеолетического цикла (витка) заняли около двадцати семи-тридцати тысяч лет, неолитически-античный цикл уложился в девять-десять тысяч лет, средневеково-нововременной продлился уже только тысячу шестьсот лет. Если мы подсчитаем ***ускорение процесса*** – второй цикл протек в три раза быстрее первого, третий – в шесть раз быстрее второго, – то при сохранении такого темпа четвертый цикл – тот, в котором мы живем, – должен будет закончиться в двенадцать раз быстрее того, который ему предшествовал, то есть промелькнуть уже за какие–то сто тридцать–сто сорок лет. А дальше? Дальше спираль уходит в точку, а время развития искусства устрем-

ляется к нулевой величине... Значит ли это, что около 2015-2020 года (а именно тогда должен по только что приведенному расчету кончиться наш, начавшийся около 1880–1885 годов четвертый цикл) искусство придет к своей финальной черте и умрет или же спираль его, пройдя через кризисную ситуацию, изменит направление своего движения, превратившись из сужающейся в расходящуюся, из убыстряющейся в замедляющуюся? *В.Н. Прокофьев. Художественная критика, история искусства, теория общего художественного процесса: их специфика и проблемы взаимодействия в пределах искусствоведения. – Ж-л «Советское искусствознание». 1977. №2. С. 261.*

Эстетический конец света! Этот апокалипсис – он не для животных: он для людей.
Людмила Перерезова

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ — ЧЕЛОВЕКУ совершенный «оптический язык», обонятельно-тактильное поведение, эстетику звукового общения, «художественный язык» игры. Человеческий коллектив развивает науку и внеразумное познание – искусство, религию –

«особый тип принципиально непонятийного, **формирующего и напечатлевающего** познания, в результате которого красота (а она выражает его сущность) объекта познания сама напечатлевается в душе субъекта, то есть своеобразный вид эстетического познания...» (*Николай Кавасила. XIV век). В.В. Бычков. Малая история византийской эстетики. – Киев: Путь к истине, 1991. С. 378.*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ «ЭСТЕТИЧЕСКОГО КОНЦА СВЕТА»

Технические признаки гораздо определеннее, нежели стилистические и формальные, в оценке которых всегда много субъективизма. *В.А. Щавинский. Очерки по истории техники живописи и технологии красок в Древней Руси. – Москва–Ленинград: ОГИЗ, 1935. С.61.*

ИКОНОПИСЬ. «Открытие» живописи Византии и Древней Руси – начало XX века, изучение эстетики Византии и Древней Руси светским искусствознанием не насчитывает и одного века. Тысячелетний опыт работы темперой имеет столь же долговечное теоретическое осмысление: не имеющее аналога в истории изобразительного искусства единство художественной практики и теории.

«Волнистая поверхность», «зернистость» – признаки древней иконы.

«Зерно» цветного камня: подсознательно воспринимаются микроскопические игольчатые «лучики света» кристаллического пигмента краски. «Волнистость» – принцип мозаики: поставленная перед иконой свеча отражается не «зеркально» – множественными бликами света. Лучики света и блики свечения поверхности иконы внушают идею видимого, чувственно воспринимаемого света и «света духовного».

«Посредник между... уровнями бытия – световая информация — **фотодосия** (светодаяние) – «истинно стремящихся к ней возвышает в соответствии с их достоинствами и приводит к единству по примеру своей простоты и единства»: *Ареопагит, рубеж V–VI вв.* «...Установив тесную связь между Богом и светом, византийцы констатировали подобное же отношение между светом и красотой. *Василий Великий (IV–V в.в.)* утверждал, что красота есть свет, по сравнению с которым свет солнца – тьма». *В.В. Бычков. Малая история... С. 78, 275.*

ЖИВОПИСЬ. Не актуальна «проблема непонятийного выражения духовных сущностей»; «познание ушло из сферы неформализуемых феноменов»»; сузились «возможности развития эстетики и художественной культуры». «Устарела» для сегодняшней практики изобразительного искусства иконопись и *теория живописи Плотина (III в.н.э., основатель неоплатонизма):* «...его программа была реализована в феномене иконы» (*Бычков).* Картины – «на сезон»: спроса нет на вечность. Неформализуемо-непонятийный способ познания Византии и Древней Руси утилитарно-рациональной цивилизации Запада без надобности.

«Что касается византийской живописи... природа и жизненность сошли здесь на нет ...моделировка при помощи светотени, яркости и темноты и их переходов, а также перспектива и искусство живой группировки не получили никакого развития или достигли развития очень несовершенного.... Подобный тип живописи наводнил жалким искусством пришедший в упадок Запад...». *Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Эсте-тика. Том третий. – М.:Искусство, 1971. С. 261-262.*

НОСИТЕЛЬ ЦВЕТА – МАТЕРИАЛЬНЫЙ: ПРИРОДНЫЕ ПИГМЕНТЫ И ХИМИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ. Иконописцы сами готовили краски на основе природных пигментов: на иконе «работают» семь-девять красок (включая золото, при этом одних «белых» на иконе насчитывается до шести оттенков).

Развитие промышленности: художники покупают готовую фабричную краску – «тюбиковую», десятками цветовых оттенков. Химические красители ярче природных пигментов: живописцы пишут «пестро» – у иконописцев было «ярко».

НОСИТЕЛЬ ЦВЕТА – НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ: «ОКРАСКА НЕ ПИГМЕНТНАЯ, А ИНТЕРФЕРЕНЦИОННАЯ». Энтомологи всегда с удовольствием наблюдают за красивыми жуками-скакунами – проворными хищниками, хорошо маскирующимися на почве или среди негустой травы ... изучая с помощью электронного сканирующего микроскопа и микрофотометрируя покров скакуна... обнаружили, что его окраска не пигментная, как думалось раньше, а интерференционная; она возникает в результате смешения двух типов цветных лучей, появляющихся на микроструктурах кутикулы. Надкрылья жука сплошь испещрены шестигранными точками диаметром 13 мкм. Каждая такая точка — многослойный интерференционный фильтр, причем группы из 5-8 сине-зеленых (с максимумом отражения около 500 нм) точек строго чередуются с группами красных (максимум—около 660 нм) точек... окраска обусловлена аддативным смешением различных интерференционных цветов.Оказывается, природа давно изобрела принцип, до которого импрессионисты додумались лишь в конце прошлого века, а инженеры—и того позже. *Г. А. Мазохин-Поршняков, доктор биологических наук. – Ж-л «Природа». 1990. № 7. С. 112.*

ФОТОАППАРАТ, КИНОПРОЕКТОР, ТЕЛЕВИЗОР, КОМПЬЮТЕР... ГОЛОГРАФИЯ.

Пришло изобразительное искусство к концу своего материального существования, к своей «финальной черте», предсказанной циклической теорией Шмита – Прокофьева.

«Компьютерного века» художник: не природными пигментами, не химическими красителями живописец «пишет», не надо мрамора и бронзы скульптору – творят электромагнитной волной, нематериальным носителем цвета.Технические трудности решаемы. Скульптура? Голография!

А живопись?

«Живопись ошибочно считают изобразительным искусством!»: *Гущин.*

АВАНГАРД. ...проблема появления изобразительного и неизобразительного способов отражения действительности...человек с помощью одного из этих способов начинает отражать окружающий мир. Ф. Шмит обосновывал появление двух способов отражения действиительности социально-историческими причинами. *Н.И. Ушакова. Проблемы искусствознания в трудах Ф.И. Шмита. / В сб.: Проблемы искусствознания и художественной критики. Выпуск 2. – Ленинград: Изд. Ленинградского университета, 1982. С. 191.*

НЕИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ВИЗАНТИЯ. Иконоборчество знаменует собой критический момент, когда провозглашается принципиальная невозможность выразить существенные представления о мире в изобразительной форме, с помощью воссоздания реальных явлений жизни...

КИТАЙ. ...в станковой китайской живописи...к 4-5 векам вполне определился средневековый метод творчества, имеющий дело с внутренней сущностью предмета («ци»), общемировым зако-

ном («дао») и воплощением этого содержания в эмоционально-декоративной форме...в тех же 4-5 веках расцветает каллиграфия. ...Но «как бы ни освящалась декоративность каллиграфии духовной связью с внутренним миром художника, она не имеет прямого отношения к достижению сходства с предметами внешнего мира, о которых может идти речь в надписи» (*Сб.: Художественный образ и декоративность в искусстве Азии и Африки. – М., 1969., С.34,35.*). ...в китайской каллиграфии...выражение тенденции к неизобразительному символическому творчеству...

СТРАНЫ АРАБСКОГО ВОСТОКА. Искусство их строго придерживалось «иконоборческих» идей – никаких изображений, связанных с религией... Но в этом случае запреты были весьма относительны...Вспомним хотя бы замечательные миниатюры народов Ближнего Востока, выполненные на литературные, исторические и бытовые темы. ...ислам закрепил своими запретами неизобразительную программу (запрет был сформулирован примерно в 9-10 веках)...развивается богатейшее искусство орнамента... Нигде более в средние века искусство орнамента не содержало в себе таких высокоразвитых представлений об абстрактно-математическом порядке мироздания, который улавливался и в числах, и в астрономических явлениях, и в земной природе. И нигде больше эти понятия...не получали такого тотального неизобразительно-декоративного выражения. ... арабская культура ответила своим «иконоборчеством»...и небывалым развитием орнаментального способа передачи отвлеченных понятий в эмоциональной художественной форме.

ПУТИ НАРОДОВ ЕВРОПЫ. ...«неизобразительность» искусства периода перехода к средним векам. ... Привкус древней магии знака, темной жреческой тайны ощущается в этом искусстве, не порвавшем со своими первобытными истоками. Оно выразило кризисные потрясения...

ПОБЕДА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ? ...иконоборческое искусство в известном смысле отступает назад, в предшествующие эпохи...признание невозможности передать глубинные представления о мире с помощью изображения вызывает поворот к архаическим формам и мотивам. *В.М. Полевой. Искусство Греции. Древний мир. Средние века. Новое время. – М.:Советский художник, 1984. С. 137, 219-223, 231, 233-234.*

...развитие неизобразительных тенденций имеет свою закономерность. Они являются в периоды крупнейших исторических переломов. *В.М. Полевой. Искусство Греции.Сред-ние века. – М.: Искусство, 1973 г.*

НЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ. «Знак...как отношение, связывающее два компонента – означающее, «акустический образ», и означаемое, или «понятие». «Языковой знак есть... двусторонняя психическая сущность» (*см.: Ф. де* Соссюр. *Труды по языкознанию. // Пер. с фр. под ред. А.А. Холодовича. – М.: Прогресс, 1977. С.34, 99.)*

...для Соссюра никакой реальности по ту сторону знака не существует; так, мышление без языкового выражения для него «представляет собою аморфную, нерасчлененную массу... *Никита Сироткин. О методологии исследования авангардизма, или семиоти-ческие отношения авангардизма к действительности. /В сб.: Семиотика и авангард: антология. – **М: Культура,** 2006. С. 35.*

БЕЗЪЯЗЫКОЕ МЫШЛЕНИЕ «РЕАЛЬНОСТИ ПО ТУ СТОРОНУ ЗНАКА»...авангардистское (творчество) ...не воспроизводит и не подразумевает известную нам, окружающую нас или лишь возможную действительность, а направлено к тому, чтобы сформировать новые экстенсионалы – сформировать прежде всего средствами языка.

...авангардистский текст, выстраивая свои значения, задает новые параметры формирования значений и, строго говоря, вырабатывает особый тип семиозиса, с иными фундаментальными категориями: с иной прагматикой, синтактикой и семантикой. *Н.Сироткин...С. 36.*

ЯВЛЕНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ. Показатель рождения знака: авангардная «неизобразительность» наскальной живописи – предтеча, провозвестник, прообраз буквы Западу, иероглифа Востоку – сменяет «фигуративную» стадию.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – АКТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: «Авангардистский текст» требует знак, реализующий «новые параметры формирования значений»; «иные фундаментальные категории» – письменность, скотоводство, земледелие.

«КОНСТРУИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКОМ»

Речь идет о переходе от семиотического оперирования, оперирования знаками, к практическому оперированию – оперированию объектами... ...новые научные перспективы. Речь идет не столько об изучении такого явления культуры, как авангардистское искусство, сколько о том, чтобы ...описать универсальные механизмы конструирования действительности человеком. *Н. Сироткин...С.42.*

«МИР ЕСТЬ КОНКРЕТНО – ЧУВСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЗАМЫСЛА ХУДОЖНИКА»: *Византия (Бычков)*

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ: КОНСТРУИРОВАНИЕ – ВИЗАНТИЯ

Идея уподобления Бога художнику.... *С.16.* Бог творил мир с помощью своего «художественного» Логоса в соответствии с мерой, числом (ритмом), порядком, гармонией (*Ириней Лионский, II в.*). *С.17.*

Словами, убежден *Тертуллиан (ум. после 220 г.)* вряд ли можно воздать человеческому телу столько чести, сколько оказал ему тот, кто создал его своими руками... *С. 21.*

Душа и тело – едины в человеке. ...плоть является «якорем спасения» человека». Тело, по мнению Тертуллиана (ум. после 220 г.), служит украшением души. *С. 22.*

В конце IV в. Эмесский епископ Немесий... «естественные» удовольствия необходимы человеку. «Душевные... удовольствия, возникающие при занятиях науками и при созерцании. ...удовольствия – те, которые происходят при участии души и тела...называются телесными; таковы удовольствия, касающиеся пищи и совокуплений». *С.66.*

Ранние византийцы, продолжавшие традиции ранней апологетики, неразрывно связывали красоту с наслаждением. Все прекрасное возбуждает в человеке вожделение... *С. 69. ...Псевдо–Дионисий Ареопагит, (рубеж V–VI вв.* крупнейший мыслитель христианского мира)...отводит важное место прекрасному в своей картине мира. ...все в универсуме подчинено закону высшего порядка, основой которого является стремление от множественности к единству. Главной силой, направленной на его осуществление...выступает божественный эрос...«Эрос, назовем ли мы его божественным, или физическим, понимается нами как некая сила единения и слияния...» Эрос представляется Псевдо–Дионисию движущей силой всего универсума от первопричины до самого низшего существа и обратно. Красота и прекрасное – важнейшие возбудители этой силы... В системе катафатических (утвердительных) обозначений Бога «единое–благое–и-прекрасное» занимает одно из главных мест.

...красота состязающихся атлетов максимально выявляется только при полной обнаженности их тел – они «тогда поражают зрителей полной соразмерностью всех членов, когда уже ничто не скрывает их тела». Приводит же *Иоанн Златоуст (344/54–407),* знаменитый византийский ритор, проповедник и отец церкви, этот пример для того, чтобы подчеркнуть, что нагота во всех отношениях способствует выявлению красоты. *С. 69.* Женщины, писал Климент Александрийский (ум.ок. 1215), затемняют истинную красоту, скрывая ее... *С. 33.*

...епископ Нонн был поражен красотой известной танцовщицы Пелагеи. «...в один день, – сетует он, – красота блудницы победила красоту всех лет (подвижнической – В.Б.) жизни моей»... «Как вы думаете... сколько времени она мылась в спальне, наряжалась, прихорашивалась и с какой любовью к красоте гляделась в зеркало, чтобы достигнуть своей цели и явиться возлюбленным красивой? И это она делала, чтобы понравиться людям, которые сегодня живы, а завтра уже нет» ...Главная же причина, по которой «пречудный муж и подвижник» был «весьма сильно услажден и возлюбил красоту ее» состоит в том, что ему дано было постичь высоту нравственно–аскети-

ческого подвига, который предстояло совершить этой красавице...«ее невиданная и удивительная красота увяла от строгого воздержания и истаяла, словно воск», но бесконечно возросла красота душевная. *С. 98.*

Григорий Палама (глава исихастов, XIV в.), обращаясь к мирянам, не призывает их полностью отказываться от любви к миру, и от чувственных наслаждений...Только «наслаждение души, происходящее от Бога и от божественных вещей, является чистым, бесстрастным и несмешанным с печалью». *С. 366.*

Важной предпосылкой развития эстетического сознания в Византии можно считать своеобразную религиозную гносеологию, которая в **IV–VI вв. пришла к осознанию невозможности** формально-логического познания Первопричины и перенесла завершение познания (высший его этап) в сферу неформализуемых феноменов. Эмоционально–эстетический опыт и проблема непонятийного (образно–символического, в частности) выражения духовных сущностей занимают с этого времени важное место в византийской духовной культуре, открывая широкие перспективы развитию эстетики и художественной культуры. *С. 65–66. В.В. Бычков. Малая история...*

ЭСТЕТИКА: КОНСТРУИРОВАНИЕ – ВИЗАНТИЯ

Прекрасен мир, – *писал Афинагор Афинский (II в.)*, – Но не ему, а его Художнику следует поклоняться. *С.18.*

Мир, понятый как произведение искуснейшего Художника, а в нем и все, созданное руками человека, подражающего в своем творчестве божественному создателю, представлялся христианским идеологам хранилищем особой информации, сознательно заложенной в него Богом и доступной восприятию человека. Необходимо только найти ключ к получению этой информации, хранящейся именно в **формах** произведений божественного и человеческого искусства. Проблема, таким образом, ставилась в чисто эстетической сфере – мир есть конкретно-чувственное **выражение** замысла художника... Все бытие предстает в раннехристианской философии грандиозной всеобъемлющей и всепронизывающей системой образов и символов. *С. 42–43.*

В литературном и живописном образах, то есть в образах искусства, *Григорий Нисский (IV-V в.в.)* отчетливо различал внешнюю форму произведения и его содержание, которое он называл «мысленным образом», «идеей»... В живописи и словесных искусствах зритель или читатель не должны останавливаться на созерцании цветовых пятен, покрывающих картину, или «словесных красок» текста, но должны увидеть ту «идею», которую художник хотел передать с помощью этих красок ... *С. 82–85.*

...Символы и условные знаки возникли, по мнению *Псевдо–Дионисия...* с определенной и притом противоречивой целью: одновременно выявить и скрыть истину. ...особые формы хранения в нем истины. ...«красоту, скрытую внутри» символа...Красота же эта открывается только тому, кто «умеет видеть». Поэтому необходимо учить людей этому видению символа. *С.85–86.* ...познание символа приводит к неисчерпаемому изысканному **наслаждению.** *С.87.* ...«условные знаки» (=образы=символы) должны воздействовать прежде всего не на разумную, но на внесознательную область психики...Идея возведения человеческого духа с помощью образа к Истине и архетипу стала с этого времени одной из ведущих идей византийской эстетики. *С.92.*

...образ возбуждал духовное наслаждение, свидетельствовавшее о со-звучии, со-гласии, соединении на сущностном уровне субъекта восприятия с объектом, выраженным в образе, в конечном счете – человека с Богом. *С.157.*

Наряду с принципом каноничности идея «высшего вдохновения» (вдохновения свыше) составляла основу творческого метода византийских мастеров. *С. 230.*

...прекрасное, как один из предметов духовного наслаждения...перемещается с уровня конкретно–чувственных вещей и явлений в духовно-нравственную сферу, которая, по словам *Феодора Студита*, освящена духовной «красотой Христа». *С. 216.*

Красота Христа...Более доступна человеческому восприятию и пониманию красота и совершенство Матери Иисуса...Царь всего «возжелал таинственной красоты сей Приснодевы», сошел с небес и осенил ее... *С. 374–375.*

...Бог до такой степени возвысил и украсил человеческую природу потому, полагает Григорий Палама что изначально приуготовил ее в качестве своей одежды, в которую он облекся через посредство Девы. *С. 370.*

...посредством святого крещения, вложив в воду крещения свою творческую силу и уподобив крещальную купель чреву Богоматери, через которое прошел он сам. *С. 371.*

...эстетический идеал православия. ...вдохновил бесчисленных древнерусских иконописцев на создание галереи непревзойденных по духовной красоте, возвышенности и лиричности образов Богоматери...

Обращаясь к духовной красоте, святоотеческая эстетика палеологовского времени...связывает ее с особым познанием, которое осуществляется без посредства слов, разума, логического мышления и оказывается...более глубоким, чем понятийное познание. Вся информация в структуре небесной иерархии от небесного чина к земному передается в форме духовного света, который иногда принимает образ видимого сияния. *Псевдо–Дионисий Ареопагит. С. 365.*

... конценция света утвердилась в византийской эстетике практически до конца ее истории. Другой важной и близкой к **свету** модификацией и реализацией прекрасного в византийской эстетике выступал **цвет**, воспринимавшийся византийцами как материализованный свет. ...Цвет играл в византийской эстетике особую роль. Наряду со словом он выступал важным выразителем духовных сущностей... *С.267*

....цвет, благодаря синестезичности и ассоциативности его восприятия, являлся могучим возбудителем сферы внесознательного...Цветовые структуры живописи способствовали углубленному восприятию неформализуемого знания. *С. 79-80.*

...поздние исихасты и их сторонники...в борьбе с экспансией католического и ренессансного рационализма, а также в противоборстве с отечественными гуманистами с новой энергией обращаются к мистицизму, открывая к нему доступ не только избранным подвижникам, как ранее, но и практически всем христианам. Особое внимание уделяется при этом духовному наслаждению... И здесь исихасты вполне закономерно обращаются к традиционным уже для византийской эстетики категориям красоты и света. *С. 369-370.*

Эмоционально–эстетический момент **удивления красоте.** ...Эстетическое чувство... осмыслялось как один из путей непонятийного постижения Бога. *С.19.*

«Прекрасное есть начало всего, как действующая причина, приводящая целое в движение, объемлющая все эросом своей красоты. И в качестве причины конечной оно есть предел всего и предмет любви (ибо все возникает ради прекрасного)». *Псевдо–Дионисий Ареопагит, рубеж V-VI вв.* говорит, что «красота сияет» и «сообщает свой свет (!) каждому по его достоинству». *С. 73, 79.*

Ириней Лионский... деятельность по совершенствованию человека (а она стояла в центре всего христианского учения) воспринималась христианскими мыслителями как художественное творчество, результатом которого должен был явиться особый «образ», «прекрасное» произведение искусства – совершенный в духовно–нравственном отношении человек. *С.19. В.В.Бычков. Малая история...*

XIX ВЕК. РОССИЯ. «ЛОГОС И ХАОС — БОРЬБА ЗА МИРОВУЮ ДУШУ»

Традиция, восходящая к Достоевскому, видеть в личной драме души вселенскую катастрофу с участием «надмирных» конфронтирующих сил позднее у символистов легла в основу целого миропредставления. Мифологическая философема В.С. Соловьева, выстраивающая становление мира и исторических путей человечества как отражение борьбы божественного логоса и хаоса за мировую душу, стала тем прамифом, к которому возводились многие авторские миры символистов... конкретная личность... становилась центром их проявления. ...Искусство шло навстречу этому желанию... произведение искусства – картина или скульптура – оказывается магическим субъектом, наделенным своей собственной духовностью, способной к саморазвитию. ...Для Врубеля жизнь художественного образа не ограничивалась живописным пространством, но продолжалась за его пределами – в пространстве мифологическом.



Вяч. Лопатин. У Николая Григорьева дома: С. Васильева, Л. Перерезова, В. Ярыгин, Н. Григорьев. Карандаш. 1960-е гг.



Л. Перерезова. Слава Лопатин. Карандаш, сангина. 1958 г.



Вяч. Лопатин. Чудин, Григорьев, Ярыгин. Монотипия. 1991 г.



Вяч. Лопатин. Гущин и Аржанов играют в шахматы. Карандаш. 1963 г.



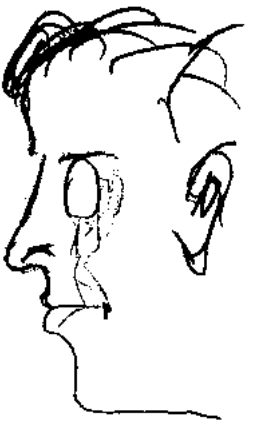
Л. Перерезова. Гущин и Аржанов играют в шахматы. Цветной карандаш. 1963 г.



Вяч. Лопатин. Чудин и Аржанов. 1970-е гг.



Вяч. Лопатин. У Гущина дома. Чёрные чернила, авторучка. 1963 г.



Валентин Ярыгин. Вячеслав Лопатин. Карандаш. 1960-е гг.



Валентин Ярыгин. Автопортрет. Карандаш. 1960-е гг.



Вяч. Лопатин. Ярыгин. Карандаш. 1960-е гг.



Вяч. Лопатин. Ярыгин. Карандаш. 1964 г.



Валентин Ярыгин. «Лицо эпохи». Карандаш. 1960-е гг.



Валентин Ярыгин. А.Г. Ярыгина, мать поэта. Карандаш 1960-е гг.



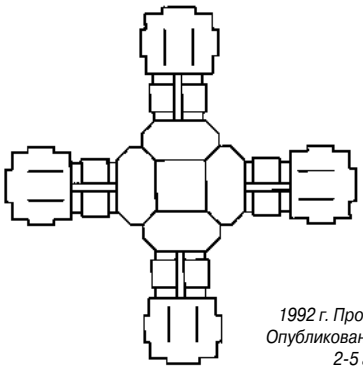
Н. Шабаева. Лидия Ивановна Суворова-Алфёрова. Карандаш. 1981 г.



Л. Перерезова. Автопортрет. Цветной карандаш, сангина. 1970 г.



Вяч. Лопатин. Фантазия на тему Радищевского музея. Карандаш. 1997 г.



1992 г. Проект пристройки Радищевского музея. Лопатин В./ Опубликовано: Материалы VIII Боголюбовских чтений. Саратов, 2-5 апреля 2002. — Саратов, 2003. С. 237-239.



Вяч. Лопатин. Люся.
Чёрная тушь, палочка. 1959 г.



Вяч. Лопатин. Ярыгин.
Цветной карандаш. 1993 г.



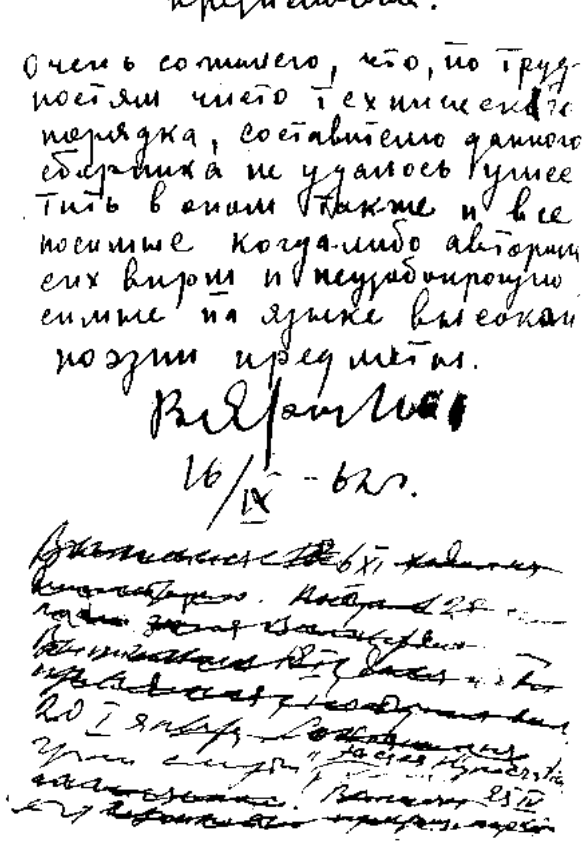
Вяч. Лопатин. Н.М. Гущин.
Карандаш. 1975 г.



Н.А Григорьев. Зоя Михайловна Олехнович. Цветной карандаш. 1964 г.



Вяч. Лопатин. Н.А. Григорьев.
Карандаш. 1990 г.



3-я страница самиздатовской книги (машинописные и авторские рукописные листы, переплёт, вклеенная фотография): Валентин Ярыгин. Стихотворения разных лет. – Саратов, 1962. Тираж 1 экз.

Н.О.Тамручи. Проблема мифологизма в творчестве М.А. Врубеля: авторские мифы. – Сб. «Советское искусствознание». 1982. Выпуск 1(16). С. 111–112, 117.

Индивидуальность – это драгоценная чаша, из которой Единый пьет вино Познания страдания и радости. Я – только чаша. *Скрябин*

XX ВЕК. ЭСТЕТИКА (теургическая – духовно озаренная) – ТЕЗИСЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ. БЕРДЯЕВ

«Творческий акт есть акт, совершаемый человеком, и в нем человек чувствует в себе превышающую его силу.Это гениально выразил Пушкин».

«Подлинное творчество есть теургия, богодейство, совместное с Богом действие. ...Не одно искусство ведет к теургии, но искусство – один из главных путей к ней».

«...теургическое творчество в строгом смысле слова будет уже выходом за границы искусства как сферы культуры, как одной из культурных ценностей, будет уже катастрофическим переходом к творчеству самого бытия, самой жизни». Под «катастрофическим» Бердяев... понимает глобальность и быстроту процесса разрушения, «распыления», «распластования» традиционной культуры и наступления принципиально новой творческой эпохи, в которой уже никакой культуры, никакого искусства в их современном понимании не будет. ...в современном модернистском искусстве он видит энергичное начало процесса «распыления». «...полная и осознанная человеком реализация теургии ожидается в будущем, когда творец...перейдет от создания произведений искусства и культуры к реальному преображению мира, созиданию нового бытия на чисто эстетических принципах – как абсолютного царства неземной красоты...».

В.В. Бычков. Русская теургическая эстетика. – М.: Научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 2007. С. 705–707, 709-711.

1932 ГОД. СТУПЕНИ ТВОРЧЕСТВА: Г. ФЕДОТОВ

...можно установить следующие ступени боговдохновенности человеческого творчества. На самой вершине непосредственное «стяжание Духа Святого». Здесь человеческое творчество направлено на самого Св. Духа и Формой, восприемлющей Его, является человеческий дух. Этот процесс протекает вне культуры, если не считать культурой аскетического очищения личности. Это творчество святых. Ниже стоит твор-ческое вдохновение, исполняющее жизнь Церкви: ее литургику, ее искусство, ее умозрение. Здесь творчество... объективируется не в человеческом духе, а в вещности: формах, красках и звуках, в идеях и словах. Это творчество совместимо с личной греховностью, но предполагает участие в жизни Церкви. ...Это творчество святое, творчество святого, хотя и не всегда творчество святых. Спускаясь ниже, мы вступаем в христианское творчество, обращенное к миру и душе человека...В каждом моменте его заложена возможность падения, подмены, искажения. Нужно ли прибавлять лишний раз, что эта возможность не исключена и на высших ступенях творчества? Еще ниже, и мы вступаем в секуляризованное, оторванное от Церкви творчество...оно может быть грешным и чистым, губительным и животворящим – нередко в одно и то же время, в том же самом создании... И, наконец, творчество языческого человека, не знающего Христа, но и не предающего Его, тоже причастное божественным вдохновениям. Трудно сказать, стоит ли оно на последней ступени или же выше, невиннее, святее грешных вдохновений отпадшего христианского мира. Правда то, что язычество никогда не падало так низко в своем вдохновении, как наше обезбоженное и обездушенное творчество... Нигде, ни на одной из ступеней творчество человека не оставлено вдохновением Святого Духа. «Аще сниду во ад, тамо еси» (Евангелие от Иоанна, 3, 8)...Страшно, следуя обманчивым зовам, отдаться в плен духам стихий. Еще страшнее угасить Дух...

Г. Федотов. О Св. Духе в природе и культуре. – Ж-л «Вопросы литературы». 1990. Февраль. С. 212-213.

Что красота в искусстве? Жизнь надо претворять в красоту! *Гущин*

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ – ПОСТИЖЕНИЕ: КОНСТРУКЦИЯ. ГУЩИН

В узких парижских кругах благосклонно принят (1927 год) теоретический *трактат Гущина* «ПОСТИЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКОЙ ШУМАНА ТРЕМЯ СОСТОЯНИЯМИ НА ШЕСТИ УРОВНЯХ».

1955 ГОД. ТВОРЧЕСТВО. ГУЩИН

...Оккультные и мистические учения всегда говорили о сложности человека, включающего в себя все планы вселенной, в нем скрыты тайные, оккультные, космические силы, неведомые официальной науке и будничному сознанию человека. Человек – точка пересечения всех планов бытия, наделенный властью творить красоту. Восприятие красоты в мире – есть творчество. Но в свободе, а не в принуждении бытия красота и творчество, не в приспособлении к миру, а в созидании мира иного, просветленного.

...Тайна Возрождения в том, что оно не удалось, хотя и было в нем великое напряжение творческой энергии...Что такое Рафаэль? – Это отвлеченный предел классически совершенной традиции в искусстве, предел законченности, но он самый не индивидуальный художник. В его совершенном искусстве нет протеста живой души, ему чужда переходящая за грани мира тоска. Микел Анджело был подлиннее, но и его здоровое совершенство – кажущееся; он также не осуществил задач Возрождения. Болезненное искусство кватрочентистов – ценнее и значительнее. У Ботичелли и Леонардо, столь разных, есть магия обаяния, этой магии нет ни у Рафаэля, ни у Микел Анджело.– От них идет начало упадка искусства, за ними следует Болонская школа – мертвый академизм. Так трагизм творчества, его неудача является последним поучением Великой Эпохи Возрождения. В великой неудаче Возрождения – его величие. Абсолютная завершенность и совершенство для христианского мира лежит в запредельной дали. Но в строгом смысле – творчество и не языческое и не христианское – оно дальше. В творческом художественном акте побеждается тьма, преображается в красоту. Наиболее исчерпывающим примером для нас, в этом отношении может быть творчество Скрябина. Его творчество – это потрясающее пророчество о новой, мировой эпохе, пророчество, переходящее за пределы культуры к новому...Искусство Скрябина – искусство освобожденное от навязывания норм этого мира. У него красота – не только цель искусства, но и цель жизни. И цель последняя – не красота, как культурная ценность, а красота, как сущее, т.е. претворение хаотического уродства мига в красоту космоса. Конечно, все определения красоты частичны, т.к. красота в последней своей сущности – неопределима; красота – великая тайна. Чтобы познать эту красоту – нужно быть посвященным. Музыка Скрябина – это не наши домашние горести и заботы, это не наш покой и отдых после трудового дня, это не наши радости от будничных удач...Не наши в смысле житейском, но глубоко наши, то есть истинно человеческих в тех душевных глубинах, где вечно существует связь наша со стихиями, куда неудержимо тянется наше сознание, чтобы стать космическим сознанием, и интуитивно постигающим все, чем строится вселенная. Вот в чем величие творчества Скрябина. Его гордый дух узурпирует права, принадлежавшие, когда-то, в темные времена, – только Божеству, но он идет не с тем, чтобы поставить на место Божества человеческий разум, как Вольтер, или повышенную чувствительность, свойственную будто бы первобытным людям, как Руссо, или категорические императивы совести и нормы красоты – Канта, нет он несся к экстазу, к очищению в борьбе со стихиями и к слиянию с ними. Его дух был полон творческой энергии космоса: в свободном творческом напряжении и в самом наслаждении творчеством, он познавал себя и мир. *Из письма Гущина Ненашевой: 3 мая 1955 года.*

1955 ГОД. Областная художественная выставка саратовских художников. Николай Михайлович Гущин участвует «Автопортретом».

«...Поучительным в этом портрете является его психологическая выразительность и очень хо-

роший в пластическом отношении рисунок. Отрицательными свойствами портрета является сущность его содержания – мрачность и потусторонность взгляда, граничащая с символизмом».*В. Завьялова. «Об областной художественной выставке саратовских художников 1955 года». СГХРМ. Архив: № фонда 369 (1). опись 4. ед. хр. 17.*

Творчество молодого скульптора Л. Головницкого характеризуется большими темами, среди которых образы Н. Островского и его героев занимают главное место.

...Гущину нельзя отказать ни в точности рисунка, ни в мастерстве живописи. Автопортет, так сказать, приковывает к себе внимание зрителей. Вызывает возражение другое – сущность созданного образа, его какая-то трагическая замкнутость в самом себе, а также некоторая условность цветового решения темы. *В.Завьялова. «Этюды и эскизы (к итогам выставки работ саратовских художников)». – Газета «Коммунист». 3 июля 1955 г.*

1955 ГОД. Хочу пояснить, что поведение Желновых, Головницких, Кабановых и им подобных грядущих лауреатов, в известной мере снимают мой энтузиазм к себяраспылению и невольно хочется самоуглубленности, как бы то ни было досадно, что мною им далеко не все сказано (многое было оставлено до соответствующих моментов их роста и развития). Но у меня возникает внутренняя необходимость, властно от меня требующая оставить все эти свои, не находящие настоящей почвы благожелательные порывы.

...Мне всегда хотелось Вас и всех вас троих увлечь этими далекими далями, но не удалось... Идите своим путем... но не забывайте, что помимо искусства лауреатов – есть еще большое искусство. *Н. Гущин – Г. Ненашевой.*

1958-1959, ЗИМА. Впервые назначив нам, студентам, встречу в Радищевском музее, в «Французском зале» – Гущин прежде всего заинтересовался нашим отношением к Монтичелли. ...Картина Монтичелли «Окрестности Парижа»: неизученный период творчества художника. Одно присутствие этой картины ставит Радищевский музей в ряд крупнейших музеев мира. Монтичелли, опередив свое время, – одновременно и предтеча импрессионизма, и представитель постимпрессионизма: «*Его картина – это даже не живопись!*»

Всех восприятий узел – художник! *Гущин.*

1959—1965 ГОДЫ: (УВИДЕТЬ ГОЛОС?). «Кухонный натюрморт» (Х.м., 31х61) Людмилы Перерезовой в традициях живописи Шардена исполнен в 1959 году – семьи Лопатина и Чудина живут в полуподвале. Это быт времен примуса и керогаза, тот быт, от которого все мы хотели уйти – да, но к нам, в этот подвал приходит и Гущин...

Люсин натюрморт: горизонтальный формат, напоминает пейзаж – средневековый город. Колючий блеск – металлический звонок будильника, его круглый корпус как бы выглядывает из-за возвышающегося башней кофейника. Алюминиевая кастрюля излучает ровное свечение, а фаянсовый чайник – мягкие блики. Чугунная сковорода прикрыта эмалированной миской: зеленое глухое и коричневое. Фоном – побелка кухонной стены: все краски мира в неярком, тончайшем соответствии – никакого крика.

Гущин – и начинаются открытия там, где уже все привычно: наглядно-живописное осмысление предметного мира может сказаться не традиционно – оптическое срисовывание, изобразительная повествовательность – организацией красок по типу звуковой грамоты. *Николай Михайлович спрашивает*: «Имею ли право я, художник, если мне не нравится ручка чайника, рисовать ее так, как мне хочется?»... Художник имеет право не просто изменять форму предметов на холсте, но вообще не изображать предметный мир – подобно музыканту...

Условность – коричневый цвет: нет такого цвета в природе – на самом деле это желтый низкой тональности, может быть, удар колокола? Составляющие натюрморт предметы не только

«смотрятся», их можно «слушать» – целый концерт для многих инструментов. Тогда и чайная ложечка в натюрморте звучит колокольчиком – высокая тональность. Художник, **«в**нутренним взором» глядя – слышит «фактурные шумы», «ритмические звучания», **о**рганизуя «живописные формы», работая с красочной насыщенностью, внимает «материальным сущностям»... «Игра материальных сущностей может быть содержанием произведения искусства. Игру организует ритмика – линейная, цветовая, фактурная (объемная не обязательно)»: *Гущин.*

Известна картина Гущина: «Ритм материальных сущностей». 1963 г. К., м. 44х58. Собственность Солоницына А.П. (Ленинград) № 187. *Каталог «Николай Михайлович Гущин (1888-1965). К столетию со дня рождения». – Саратов, 1991. (Выставка состоялась в 1988 году.)*

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «СУЩНОСТЬ». Го Жо-Сюй (Х1 век) употребляет иероглиф «яо» – «требование», «сущность», «важное», «необходимое», который, однако, в данном контексте имеет не только этот смысл, но и напоминает о «лю яо» – «шести сущностях», сформулированных Цзин Хао (Х век)...– это «ци» – «дух», «одухотворенность»; «юнь» – «ритм», «гармония»; «сы» – «помыслы», «замыслы»; «цзин» – «пейзаж»; «би» – «кисть»; «мо» – «тушь». *Го Жо-сюй. Записки о живописи: что видел и слышал.// Перевод с китайского и комментарий К.Ф. Самосюк. – М.: Наука, 1978. С. 157.*

Художник должен писать то, что видит, но видеть Он должен глазами Духа, вне света дня и вне света ночи. *Гущин*

«ТОЛЬКО МИСТИКИ...» Когда наша душа вливается в космос, соприкасается с неминуемой правдой – умолкает однообразное, тревожное дребезжанье рассудка, которое дробит и заглушает музыку сфер. Только тогда свободно и легко входят в нас волны мировой жизни – звуки, шумы, запахи. Только мистики хорошо понимали, что все происходящее в человеке имеет мировое значение, что в человеке можно открыть все наслоения мира, что душевные стихии его – космичны. *Гущин. Из письма Ненашевой. 1955.*

ЕДИНСТВО ДУХОВНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СУЩНОСТЕЙ...

В Саратове (1947-1965) Гущин одинокий мистик. Но с ним:

Монтичелли!

Шуман – особенно поздние произведения: «Концерт для виолончели с оркестром», и конечно, «Фортепианная фантазия До-мажор, Опус 17», имеющая (относимое Гущиным себе) программное посвящение *из Фридриха Шлегеля:*

Во сне земного бытия / Звучит, скрываясь в каждом шуме,

Таинственный и тихий звук, / Лишь чуткому доступный слуху.

Гоголь: «Струна звенит в тумане» – эта строка встречается в дарственных надписях на оборотах картин Гущина, произносится часто, но не всуе – из «Записок сумасшедшего».

...Шуман ведет нас в такие места, которые без него мы никогда бы не отыскали. Порой его музыка бывает настолько спокойной и мягкой, что мы словно чувствуем себя на небесах. Но иногда она становится до того яростной и пугающей, что мы как будто попадаем в ад. Все зависит от того, о чем грезит сам Шуман... все, что Шуман сочинил, прелестно, странно, индивидуально... Шуман просто блуждает по неизведанным тропам, и это наше дело – последовать за ним или нет. Если да – перед нами откроются восхитительные пейзажи, только совсем иные. Музыка всегда стоит тех дополнительных усилий, которых она требует от слушателя...вы познакомитесь с музыкой Шумана и полюбите ее. Через нее вы проникнете в его душу – а это прекрасная душа. Музыка Шумана рассказывает нам о том, каким был Роберт Шуман. Но при этом она обращена ко всем нам... Все, что он испытал в своей жизни, изливается в его музыке. Ни одного другого композитора мы не можем узнать так близко. Шуман делится с нами своими самыми сокровенными тайнами, расска-

зывает свои самые заветные мечты – он говорит со слушателями так, словно они его любимые друзья. *Стивен Иссерлис. Всякие диковины про Баха и Бетховена, а также про Моцарта, Шумана, Брамса, Стравинского. – СПб: Азбука – классика, 2007. С. 132.*

ГУЩИН И МУЗЫКА. Козача Виталий Федорович: – От Гущина у меня работа,«Птицы» называется – их сразу не видно...вот – появилось! Потом исчезает... опять смотришь. Скуп был на объяснения: – Что тут? – А вы что тут видите? –

«ПТИЦЫ», авторское название «Движимые страстью (пассионарность). Из серии «Земля – эхо солнечных бурь». К. м. 69,5х47,5. 1957 г. Собств. Козачи В.Ф. (Саратов). № 151. *Каталог «Гущин...».*

Щеглов, как у меня увидел: – Я, за то, что ее приобрел, готов тебя расцеловать, такая прекрасная живопись. – Все в плоскости, как ковер. Он её называл мудрено – словом, дело с музыкой связывается. Он был виолончелистом, играл в оркестре в парижском театре после Харбина, сначала в Париже художником не мог прокормиться. Виолончель и в Саратов с собой привез. Редкий инструмент– продал в Театр оперы и балета.

Гущин говорил, что должно тренироваться, упражняться. Как музыкант гаммы гоняет, так и художнику надо делать этюды – это, переводя на музыку... клавиши фортепиано дают разные звуки; живопись – та же музыка, те же ритмы, пассажи, лессировки. Двойника музыки живописью не сделаешь, а можно сделать только эквивалент, а не подобие.

КРОХОТНАЯ (*...в архиве обнаружила документ – ордер на восемь квадратных метров*: *М.А. Богадельщикова. Вокруг Гущина. По архиву художника. – Ж-л «Волга–XX1 век». 2008. № 3–4. С. 170.*) КОМНАТА ГУЩИНА, за дверью – общая кухня. На стенах впритык картины – оформление простейшее – стекло обязательно, окантовка аптекарской клейкой лентой. Размер побольше и стекло на полу – вдребезги: сожаления автора – оформленную, под стеклом, работу имеет обыкновение «дописывать» – на стекле появляются цветные точки, линии. «Разрешили» выставку Гущина в 1987 году – как на музейных стенах показывать картины в простом гущинском оформлении? Оформляли в рамы, стекла меняли или чистили – уходили авторские правки.

Собираясь показывать свеженаписанную картину, Гущин тщательно готовится к приему гостей. Живопись на мольберте, под стеклом, в углах гвоздики набиты, чтобы свежая краска к стеклу не прилипла. Пишет Гущин при ярком свете – электрическая лампочка под потолком на 300 свечей. Так и показывает работу – при ярком, как писал, освещении. В уголке, на треугольном столике цветы – торчит обычно репейник, зимой и летом. И бутылка хорошего вина. Обязательно музыка.

У Гущина проигрыватель «Рекорд», набор долгоиграющих пластинок. «Грустный вальс» Сибелиуса – гостям, пришедшим первый раз; знакомым – Шопен. Почитает Баха, «в родстве» с Шуманом, с пиететом – к Скрябину. – Николай Михайлович, – спрашивает Перерезова – почему у вас нет Бетховена? – Бетховена у меня не может быть! –

Интонация Гущина обращена к каждому конкретно, не ко всем сразу.
Людмила Перерезова

И Бетховен был субъективен, но субъектом Бетховена было всё человечество, а субъектом Шумана – он сам. Для Шумана музыка, прежде всего, была способом выражения всего того, чем возбуждалось его внутреннее, духовное «я».

А.Г. Рубинштейн. Лекции по истории фортепианной литературы. – М.: Музыка, 1974. С. 98.

«ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК – ЗРЕЛАЯ ДУША». «Литературный музыкант, музыкальный литератор Шуман – апостол романтизма... Истинная романтика связана с детством, а не со зрелостью... Близость к детству: заставлял слушателей домысливать и фантазировать... Его музыка

– подсознание детей, поэтому музыка помогает быстрее созреть душой». «Вдохновил тип живописи Yugendstil – «юношеский стиль», а также разновидность постмодерна – аспект «наивности»: Гоген, Ван Гог, Руссо».

Сирил Скотт. Оккультное воздействие музыки. – М., 2005.

КАРТИНА ЗАЗЫВАЕТ и вовлекает зрителя в процесс общения. Она активна. Требует отклика. Художник организует восприятие. (Это от Гущина).

Ирина Пятницына, рабочие заметки. 1995 г.

...ТОЛЬКО ПОНЯТЬ**.** В наследии Гущина есть несколько произведений, где сконцентрировано и зашифровано некое сокровенное знание о жизни, открывшееся художнику. Содержание таких вещей может быть понято на нескольких уровнях – от реального до мистического, восприятие их организовано художником, вдумчиво рассчитано им. Причем, они содержательны на разных этапах восприятия. Его работы многомерны, содержат в себе тайну. *Ирина Пятницына. «Две судьбы. Размышления о судьбах двух художников, живших в Саратове, Н.М. Гущине и В.М. Юстицком». Рукопись. 2000 .*

Когда наша душа вливается в космос, соприкасается с неминуемой правдой – умолкает однообразное, тревожное дребезжанье рассудка, которое дробит и заглушает музыку сфер. Только тогда свободно и легко входят в нас волны мировой жизни – звуки, шумы, запахи. Только мистики хорошо понимали, что все происходящее в человеке имеет мировое значение, что в человеке можно открыть все наслоения мира, что душевные стихии его – космичны. *Гущин – Ненашевой. 1955.*

СВЕТ – ИСТОЧНИК ЗВУКА, ИЗОБРАЖЕНИЯ, МЫСЛИ

Важнейший посредник между...уровнями бытия – световая информация – **фотодосия** (буквально: светодаяние). ...важной и близкой к **СВЕТУ** модификацией и реализацией прекрасного в византийской эстетике выступал **ЦВЕТ**, воспринимавшийся византийцами как материализованный свет. ...цвет, благодаря синестезичности и ассоциативности его восприятия, являлся могучим возбудителем сферы внесознательного. ...Цветовые структуры живописи способствовали углубленному восприятию неформализуемого знания. Цвет... в византийской эстетике... выступал важным выразителем духовных сущностей, обладая глубокой художественно-религиозной символикой. *Бычков. Малая история... С. 79-80, 267.*

СЛОВО – ТВОРЕНИЕ

Ты нанизал, как ожерелье, свою газель. Читай, Хафиз!
Чтоб ожерелье звезд блистало перед тобою ввечеру!
Перевод. Семен Липкин.

...наиболее наглядным примером динамики формы в пространстве... функция сакрального центра, или центра мира. Любая точка окружающего пространства символически устремляется к этому центру с целью обрести или приобщиться к высшим духовным ценностям, сосредоточенным в центре мира. ...обратное движение – от духовного центра к периферии. ...основные сакральные ценности растекаются по окружающему пространству, освящая и ритуализуя определенные точки этого пространства....

...Мужское и женское начало, порядок и хаос, сон и пробуждение, пространство и время составляют двуединую основу конкретного образа, получающего то или иное чувственное выражение. Одним из самых известных в иранской средневековой культуре символов с ярко выраженным противопоставлением двух дополнительных образов является символ двери. ...важен

контекст, в котором появляется мотив открывания врат – борьба света и мрака, горнего и дольнего, верховного божества и дракона... Пространственный образ порталов и дверей в древности являл собой образ некоего предела, межи, разделяющей противоположные космические миры – верхний–небо и нижний – преисподнюю. Дверь – это порог добра и зла, дня и ночи, нового и старого – она то открывается, то закрывается, знаменуя тем самым не только свою бытовую функцию, но и символическое действие встречи и проводов восходящего и заходящего Солнца... Дверь... связывается с пограничными ситуациями в космологических и теологических представлениях...

С этой стороны мир, с той стороны мир, я же сижу на пороге миров.
Руми

Я есмь дверь: кто войдет Мною, то спасется, и войдет и выйдет, и пажить найдет.
Иоанн,10,9

Упоминание и изображение дверей во время особых кризисных ситуаций... оправдывается символом двери как формы, разделяющей и вбирающей в себя различные качественные зоны и состояния и ориентирующей изображения и литературное повествование по оси **верх – низ.** ...Противопоставления **правый – левый** и отождествления правой, восточной стороны с верхом, а левой, западной – с низом показательны для мусульманской культуры в целом. Так, например, считается, что рядом с Аллахом нет никого с левой рукой, и обе его руки правые.

«...в реальном мире все-таки есть различие дня и ночи, в реальном мире люди имеют две руки — левую и правую, имеют два полушария мозга — левое и правое, которые отличаются друг от друга по функциям, очень важным. И поэтому описание мира в таких терминах, как различия «мужской» и «женский», «темный» и «светлый», «левый» и «правый», необходимо, оно диктуется самой структурой мира». *Вяч. Вс. Иванов. Дуальные структуры в антропологии. – М., 2008. С. 21. (Цит. по: Игорь Сорокин. «Музей как поцелуй». Машинопись. 2009. С. 7.)*

...левая сторона связывается с севером, а правая с югом...Йемен находится в правой части мира, разделенного Каабой...он является символом Светоносного востока, т.е. обычное горизонтальное направление оси восток–запад приобретает вертикальное направление с соответствующими отождествлениями **восток–верх–правый** и з**апад–низ– левый.** ...отмеченность центра симметрии посредством дерева, столба тронной сцены, стоящего человека, т.е. изобразительными вариантами универсальной космической оси...которая соотносит эти формы через посредство мира символов с миром архетипов.

...важно проследить... логику мышления поэта и художника...Сейчас можно с уверенностью говорить о существовании различных способов мышления – мифологическом, сказочном, эпическом...несколько уровней истолкования текстов... Один и тот же текст может быть истолкован... на трех уровнях – буквальном, символическом и универсальном метафизическом. *Ш.М. Шукуров. «Шах–наме». Фирдоуси и ранняя иллюстративная традиция (текст и иллюстрация в системе иранской культуры X1–X1V**веков).** – М.: Наука, 1983. С. 51, 53, 98-107.*

Прохожие люди трезвым не встретят меня вовек!
О вечность! Хмельная чаша! Хафиз этой чашей пьян.
Перевод. К. Липскеров.

БЕЙТ (стих двух полустиший)...представляет собой законченную по смыслу единицу стихот-

ворной речи, замкнутую как по форме, так и по содержанию. Незаконченность мысли в одном бейте рассматривается как нарушение, хотя и допустимое, канона.

Османов М.– Н.О. Синтаксическая структура бейта (на примере «Дивана» Хафиза). /В сб.: Проблемы восточного стихосложения. – М., 1973. С.109.

ГАЗЕЛЬ – стихотворение, состоящее чаще всего из пяти-семи двустиший (бейтов), нанизанных на одну рифму. В первом двустишии строки рифмуются между собой, в последующих рифмуются только четные строки. ...газель Хафиза – бейты не связаны железной логической связью, а как бы живут каждая отдельной жизнью...его двустишия связаны внутренней связью, единством настроения, единством переживания ...единством горения. Цельность восприятия его стихов создается, если читатель восстанавливает в уме выпавшие по сознательной воле поэта отдельные ассоциативные звенья. Как это ни странно, Хафиз, живший в X1V **веке, ближе нервной поэзии XX** века, чем плавному течению классического европейского стиха.

...недостающие звенья... есть для нас и другая трудность при чтении газелей Хафиза. Речь идет о суфийской символике... Символика суфийской поэзии основана на том, что любовь есть стремление к познанию Бога. И если мы у Хафиза читаем: – Аромат ее крова, ветерок, принеси мне, – то надо прислушаться и к знатокам, которые под «кровом» разумели «мир Божий», а «ее аромат» объясняли как «дыхание Бога»...

Хафиз, ни мига без вина, ни часа без любви!
Перевод. Семен Липкин.

...особенность словаря Хафиза. Поэт умышленно придает мусульманским положительным понятиям отрицательный заряд, а всему «крамольному» – заряд положительный...Хафизу претят увещевания мудрецов, уже тоску наводят на него иносказания и он поет... радость жизни, любовь и вино...красоту мира могут понять лишь глаза, которые видят не оболочку, а душу мира...

Семен Липкин. Над строкой Хафиза. – Ж-л «Новый мир». 1971. № 10. С. 242–245.

ГАЗЕЛЬ – ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ: КОНСТРУИРОВАНИЕ

Восход Солнца – мир Божий – заход Солнца.

Ввод (портал, вход, ворота, порог – межа миров) – Небо, верх, правый. Низ, левый, преисподняя – Автор.

Линия – ожерелье – круг.

Начало – центр – конец.

Замок – цепь – ключ.

Смысл – тема – суть.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕ ИСЧЕРПЫВАЕТСЯ НАСУЩНЫМ, ИБО «ОГРОМНОЮ СВОЕЮ ЧАСТИЮ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В НЕМ В ВИДЕ ЕЩЕ ПОДСПУДНОГО, НЕВЫСКАЗАННОГО БУДУЩЕГО СЛОВА» *Достоевский*

...мир спасет красота! *Мышкин («Идиот»)*

«ИСКУССТВО...КОТОРЫМ НЕЛЬЗЯ НАСЛАЖДАТЬСЯ» ...Достоевский представил в своем искусстве...незакрытость, неконечность мира...И гармония, когда о ней говорит Достоевский, отнюдь не то, что подразумевали под ней, скажем, художники Возрождения, и не спокойно–просветленная уравновешенность античного искусства... воображение художника... пытается в дисгармонический период исторического развития представить абрис суммы этих слагаемых, в то время, как мысль занята их анализом.

...творчество Достоевского – это аналитическое углубление в современное безыдеальное именно для утверждения будущего идеального, утверждение прекрасного отрицанием безоб-

разного – отрицанием художественным... Он сполна узнал сам, как это высоко – желать быть человеком, как тяжело и как необходимо. Он дал это почувствовать всем, кто обращается к его наследию, к его искусству – тревожному, предупреждающему, которым нельзя наслаждаться...

...чувствовать мысль...Но прежде всего Достоевский ее слышал. Читатель не столько видит мир, изображенный Достоевским в линиях и красках, сколько слышит. Голос человека, выражающего мысль, идею, слово как высказывание кого-то о мире – Достоевский знал лишь этот его смысл....о предпочтении уму сердца, о его первенстве над разумом...

...роман («Идиот») излучает свет, как выразился однажды Иннокентий Смоктуновский, свет этот запредельный, к восприятию его наше зрение не совсем еще привыкло, не приспособилось.

...«Действительность выше всего» – запись времени работы над «Идиотом». «Почему это стоят погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дитё, почему голая степь, почему они не обнимаются, не целуются, почему не поют песен радостных, почему они почернели так от черной беды, почему не кормят дитё?..»...страдания ребенка всегда были неопровержимым аргументом Достоевского в неприятии им «лика мира сего». Эстетика Достоевского насквозь этична...мысль Достоевского...в необходимости угадать человека, который **будет. ...**Достоевскому было известно, что искреннее и глубокое чувство вызвать в себе одним сознанием невозможно...что духовность в жизни людей не есть развитость одного только ума человеческого...

...сверхреальный рывок к ощущению гармонии и связи с целостным, а не расколотым миром, бросок за пределы общепринятой нормы. Князь Мышкин... Достоевский видел в нем и драму прекрасной, но не умеющей обратить себя к нуждам людей души, способной поэтому стать смешной и этим посеять сомнение в чьем-нибудь горячем, но слабом сердце относительно необходимости красоты вообще...

Мышкин – творец красоты...

А. А. Станюта. Постижение человека. Творчество Достоевского 1840 –1860–х. годов – Минск: Изд. БГУ им. В.И. Ленина, 1976. С. 8-158.

ЗВУК – СЛОВО – ЦВЕТ. ...нужен мозг... где есть непрерывная цепь от звука к слову и цвету без существующих теперь границ... творчество– это неистовое стремление к неведомому. И вот здесь возникает грань двух стихий, когда музыка делает безбрежной гармонию красочных звуков, когда живопись приобщает к непостижимым тайнам музыки: *Гущин.* (*Маргарита Богадельщикова. О Гущине. – Ж-л «Волга–XX1 век». 2007. № 5-6.)*

...идея синтеза живописи, музыки, поэзии характерна для начала XX века, а опыты ее воплощения находим у А. Скрябина, М. Врубеля, М. Чурлениса. ...пейзажи (Гущина)... словно слышим веселые, зеленые шумы весны, золотые звоны лета, печальные скрипки осени. «Моя симфония»... Что слышится в этом оркестре цветов – звуков? Шум и свист ветра (красный), звуки гобоя и виолончели (синий), взывающие песни труб (желтый). Может быть, так следует интерпретировать «Мою симфонию» Николая Гущина?.. последний автопортрет... итог его творческих исканий и духовное завещание нам.

Л. Пашкова. 1991 г.

Меня в работе со светом в спектакле интересует не импрессионистическая игра светотенью, а создание световой партитуры... музыкальная терминология очень помогает. Я ее люблю потому, что в ней есть почти математическая точность... музыкальные термины: крещендо, стаккато, маэстозо, глиссандо, легато, рубато...Их у нас в театре прекрасно знают не только оркестранты, но и актеры. ...Актерская игра – это мелодия, мизансцена – это гармония...Я понял, что такое искусство мизансцены, когда научился гармонизовать мизансценами мелодическую ткань спектакля, то есть игру актеров. Мизансцена. ... Кроме пластического начала, в ней есть и начало временное, то есть ритмическое и музыкальное. *Мейерхольд: Александр Гладков. «Не так давно. Пять лет с Мейерхольдом. Встречи с Пастернаком. Другие воспоминания». М. Вагриус. С. 112.*

«СРОДНИ МУЗЫКАНТ, ЖИВОПИСЕЦ». Антон Веберн... утонченность выражения и необыкновенность красок и форм... поиски «Синей птицы» чистой художественной формы... ...графические «линии красоты», живописные гармонии красок, симметрия пространственных фигур и плоскостей, симметрия звуковых волн и длительностей... Именно этого рода художественная крайность в некоторой мере сблизила Веберна с В. Кандинским и П. Клее. *В.Н. Холопова, Ю.Н. Холопов. Антон Веберн. Жизнь и творчество. – М.:Советский композитор, 1984. Стр. 34-35.*

«МУЗЫКА ИЗОБРАЖАЕТ». Шуман. Опус 9. Карнавал: – ...(Вступление) изображает громадный, блестящий, ослепительно освещенный зал, наполненный пестрой толпой масок, которые суетятся, снуют, стремятся куда-то. Вот является Пьеро – весь в белом, с длинными рукавами, в остроконечной шапке...широко размахивающий руками. Арлекин – в клетчатом обтянутом платье, в полумаске, с бичом в руке; он идет, подпрыгивая и похлопывая бичом. *А.Г. Рубинштейн. Лекции по истории фортепианной литературы. – М.: Музыка, 1974. С. 68.*

И.С. Бах осмелился переступить естественные границы звукового искусства.
Альберт Швейцер.

...(Гете сказал) что он словно воочию видит вереницу разряженной публики, спускающейся по большой лестнице: *Мендельсон-Бартольди (переложил для фортепиано увертюру оркестровой ре-мажорной сюиты Баха и исполнил ее для Гете в 1830 году).*

...Бах изображает стояние и ходьбу, покой и движение, подъем и спуск примерно с той же наивностью, которая свойственна примитивному искусству: *Иоганн Теодор Мозевиус. «И.С.Бах в своих церковных кантатах и хоральных песнях». 1845 г. «**J.Th. Mosew us. J.S.Bach in seine Kirhen-kantaten und Choralges ngen,** 1845.».*

...Бетховен и Вагнер – поэты в музыке, Бах – живописец...фантазия композитора в первую очередь направлена к живой пластике наглядного представления...его темы и мотивы, где только возможно, обусловлены живописной ассоциацией идей...

...Признав же поэтическую и живописную музыку в качестве двух основных равноправных родов звукового искусства, мы уже не будем считать баховский язык чувств и образов за что-то примитивное и превзойденное Бетховеном и Вагнером, но станем рассматривать индивидуальную манеру Баха как последовательную разработку другого звукового языка. ...Ясность и последовательность баховского языка...его основные элементы проистекают из наглядных представлений...

...ни его (Баха) ученики, ни сыновья никогда ничего не говорили о его намерениях в отношении звукового изображения. Неясно только, до какой степени сам Бах сознавал своеобразие своего звукового языка и самобытность художественно разработанных им средств выразительности. Но и на этот вопрос нет ясного ответа, так как у Баха в еще большей степени, чем у какого – либо другого гения, нельзя провести грань между сознательным и бессознательным. Его звуковой язык так ясен и кажется столь продуманным, что не представляешь себе его иначе, как порождением определенного сознания.

...его звуковой язык, которым он сообщает свои идеи.

...живописный момент...В ранних произведениях мелодическое начало еще сдерживало его в определенных границах. Позже живописное начало беспрепятственно разрастается. Бах создает тогда темы, поразительные по своей характерности, но слуховому восприятию они уже не доставляют полного удовлетворения. Его большие хоральные фантазии «**Jesus Christus, unser Heiland**» (У1,№3О) и «Ch**rist, unser Herr, zum Jordan kam» (V**1,№17) стоят уже почти за границами музыки, обращающейся к слуху. И в потрясающей кантате «**Ich qlaube, lieber Herr, hies meinem Unglauben**» (№ 109), в которой Бах изображает неустойчивую веру, кажется, будто «другое искусство» слишком активно вторглось в музыку. Можно считать это ошибкой Баха. Он осмелился переступить естественные границы звукового искусства. ...ошибка заключается в том, что он последовательно,

до конца разработал язык, на котором говорил с таким мастерством, и в котором мелодическое и прекрасное в обычном понимании было почти полностью поглощено пластическим началом. Так ошибается только гений.

Альберт Швейцер. Иоганн Себастьян Бах. Классика-XX1. – М., 2004.

ЗВУК ЦВЕТА

МОНТИЧЕЛЛИ...Попробовал отойти от реальности и начал цветом создавать подобие музыки...Как Делакруа и Рихард Вагнер, Монтичелли логичный колорист, умевший произвести самые утончённые расчёты и уравновесить самую дифференцированную гамму нюансов. *Из писем Ван Гога. Ревалд. «Постимпрессионизм».*

СЕЗАНН, применяя музыкальные понятия, распределял планы цветовых ощущений по свету на полутона и четверть тона. «Писать – это значит ухватить гармонию между многочисленными цветовыми соотношениями и развивать их в новой оригинальной логике»: *Поль Сезанн.*

ХОАН МИРО. 1931 год, серия триптихов: Голубое 1, Голубое 2 и Голубое 3. Миро реализует свою мечту: «поэзия и музыка, воплощенные в живописи». Между поэзией и живописью существовала своего рода алхимия. *Хуан Пуньо–Миро и Глория Лолив–Раола. Хоан Миро художник со звезд. – М.: АСТ, Астрель, 2003. С. 100, 124.*

ЛЕНТУЛОВ...живопись подобна органной музыке: «Ты смотри, как я меняю регистры каждый раз. Вот видишь, начинаю с синего и тяну до желтого. Потом начинаю с красного и тяну до зеленого. Главное – разместить краски–цвета в пространстве твоей живописи. Тогда звуки станут возвращаться к тебе, и ты поймешь их величие и емкость». *А. Лентулов. Цит.по: Нина Молева. Эта долгая дорога через век. Жизнь и творчество Элия Белютина. С. 140.*

ЦВЕТ ЗВУКА, ЦВЕТНОЙ СЛУХ

Оливье Мессиан: ...Дебюсси – музыкант, понявший соотношение цвета и звука, которое я сам ощущаю так остро...

КлодСамюэль: – Для вас, музыканта, наличие в природе цвета, столь же важно, как и наличие звука?

Оливье Мессиан: – Они взаимосвязаны... физиологическая связь звук–цвет. Я Вам говорил о моем друге, швейцарском художнике Блан-Гатти, подверженном синопсии (нарушение зрительного и слухового нервов, что позволяло ему... видеть различные цвета и формы, когда он слушал музыку). У меня есть его две-три картины... Он зафиксировал на полотне очень краткое, очень беглое мгновенье увиденных им, таким образом, красок, в этом случае, естественно, все краски движутся, кружатся и взаимно проникают друг в друга, совершенно также, как и звуки. ...я все-таки подвержен своего рода синопсии, которая скорее охватывает мой интеллект, чем мое тело и позволяет мне, когда я слушаю музыку, или когда я ее читаю, видеть мысленно, духовным оком, цвета, которые движутся вместе с музыкой и я их ощущаю очень остро; иногда я даже точно указываю в моих партитурах эти музыкально-цветовые соответствия.

Клод Самюэль: – Вы видите эти краски или воображаете их.

Оливье Мессиан: – Я вижу их внутренним взглядом... Это внутренняя реальность...

Клод Самюэль: – Не пытаетесь ли вы выразить цвета в своей музыке?.

Оливье Мессиан: – Я действительно пытаюсь выразить цвета в музыке... для меня некоторые звучания связаны с некоторыми цветовыми комплексами и я их использую как цвета, противопоставляя их, подчеркивая одни с помощью других, как художник подчеркивает какой-то цвет с помощью его дополнительного цвета.

Клод Самюэль: – Некоторые другие композиторы пытались установить соответствия между цветом или красочным светом и музыкой; я думаю о Скрябине или еще о Шенберге, в своей «Счастливой руке» точно предусмотревшего красочные световые пятна прожектора, которые должны сопровождать эту тему. Как вы считаете, это выражает такие же устремления, как и ваши?

Оливье Мессиан: – Конечно, начиная с Моцарта, мы замечаем сознательную связь...В сцене

Командора (Дон Жуан) существует такое обращение уменьшенного септаккорда с альтерированной терцией, которое впоследствии будет использоваться Шопеном как цветовой эффект, а Дебюсси употребит его под названием гаммы по тонам (целотонной гаммы). Позднее Вагнер...

Клод Самюэль: – Таким образом, это понятие цвета связано с музыкой у многих великих классических музыкантов?

Оливье Мессиан: – Бесспорно, и те, кто этого не учитывал, совершали большую ошибку. ...это был балет на музыку Бетховена... Не знаю, представляете ли вы себе это, но соль мажор и фиолетовое освещение находятся в абсолютно ужасающем диссонансе. ...В сущности, нельзя говорить о точном соответствии между тональностью и цветом, это было бы несколько наивно... В моих первых произведениях я часто использовал то, что я называю системами ладов ограниченных транспозиций. Две основных системы связаны для меня с совершенно определенной окраской: система №2 связана с некоторыми оттенками лилового, некоторыми синими тонами и лилово-пурпурными, а система № 3 соответствует оранжевому с зелеными, красными и золотистыми пятнами, а также с молочно-белым, с радужно-опаловым оттенком.

Клод Самюэль: – Такое соответствие звука и цвета основывается на научных данных или это результат чисто субъективной оценки?

Оливье Мессиан: – Я думаю, что оно имеет научную основу, преломляющуюся по- разному в зависимости от индивидуума, который испытывает это явление на себе. Тут также имеется определенная доля воображения и литературных влияний, которую очень трудно выявить.

Клод Самюэль: – Какие краски из бесконечной гаммы цветов вы предпочитаете?

Оливье Мессиан: – С самого детства я испытывал пристрастие к лиловым оттенкам...

Клод Самюэль: – Существуют ли цвета, которые вызывают у вас аллергию?

Оливье Мессиан: – Да, я не очень люблю желтый.

Клод Самюэль: – Вы имеете в виду чистый желтый цвет? Я знаю, что вы предпочитаете тонкие сложные оттенки.

Оливье Мессиан : ...как раз фиолетовый цвет является сложным, потому что он представляет собой смесь синего цвета предельно холодного, и красного, предельно теплого. Но фиолетовый или лиловый цвет может обладать множеством нюансов: лиловый с доминирующим красным, так называемый алый или лиловый, в котором больше синего, чем красного, так называемый «гиацинтовый». Эти два лиловых оттенка имеют большое значение: в средние века, в символике и в витражах один отождествлял Любовь к истине, а другой – Истину любви, причем такая перестановка – не простая игра слов, она, без сомнения, точно соответствует этим оттенкам лилового. ...эта символика обладает необыкновенной красотой и дала необыкновенные результаты. Мы должны преклоняться перед витражами Буржа, Шартра, «розами» Нотр Дам. ...это Свет, плененный человеком...

Клод Самюэль: – ...Каковы ваши взаимоотношения с художниками?

Оливье Мессиан: – Художник, которого я предпочитаю всем остальным, не только потому, что он провозвестник абстрактной живописи, то есть очень близкой к тому, что я вижу, когда я слушаю музыку, но в особенности, потому, что он установил одновременно и очень тонко и очень ярко соотношения между дополнительными цветами, в основном по принципу «одновременного контраста» и «орфизма» и этот художник – Робер Делоне.

...*Оливье Мессиан:* – Пятая моя пьеса называется «Мийаима и Тории в море»... я хотел почти текстуально выразить в моей музыке, эта пьеса действительно зеленая, красная, золотая и голубая, и я туда даже добавил другие цвета: фиолетовый, сиреневый, пурпурно-лиловый (мои любимые цвета), комбинируя различные звуки и различные инструментальные тембры.

Клод Самюэль: – ...должен вам заметить, весьма любопытно, когда музыкант, объясняя истоки своего музыкального языка, прежде всего, говорит о цвете.

Клод Самюэль. «Беседы с Оливье Мессианом». Париж, 1968 г. Перевод с французского, 7 глав. Машинопись.

НЕ СКАЖЕТ КОМПОЗИТОР – ПИШУ, КАК СЛЫШУ
ПОСЛУШАТЬ БОРИСОВА-МУСАТОВА – Я ТАК ВИЖУ!

Ведь я же хочу звучать! *Борисов-Мусатов*

«Гармония» (1900). Картина производит музыкальное впечатление, именно то, на которое она рассчитана, как «гармония». *С. 9.* ...картина («Гармония»), то есть система, созданная творцом из переработанного материала. *С. 70-71.*

«Дафнис и Хлоя» (1901)...первоначально яркие этюды были путем гармонизации по воле художника сведены до ковра, старой вышивки, до гобелена. Дойдя до этого в картине «Дафнис и Хлоя», Мусатов решил, что ковер в сущности есть идеальное решение красочной композиции. ...взгляд на картину, как на ковер, развил в Мусатове крайнюю требовательность планирования. Все красочные композиции строго им выверяются, все кричащее, красочное, нарушающее гармонию холста, тщательно изгоняется....Сообщая своим вещам характер гобелена, Мусатов тем самым раз и навсегда отказывается от задачи дать в картине иллюзию действительности... *С. 84-85.*

Встреча у колонны» (1901)... увлечение ковром, в котором линия принимает магическую выразительность... представляет собой гармоническое произведение, в котором доминирует воля и темперамент нового творца. *С. 90.*

...закон ковра...Этот принцип спас «Водоем» (1900), привел в порядок сложную мозаику картины, дал ей нужное равновесие пятен и сообщил певучесть. *С. 100.* «Призраки» (1900). Картина написана по старому, живописно дедуктивному методу Мусатова – методу ковра. *С. 101-103.*

«Изумрудное ожерелье» (1903-1904) ...картина строго выдержана в принципе ковра, в ней нет ни одного слабого места, каждый квадрат (участок) холста написан с одинаковым вниманием и равнозначущ, как в ковре. *С.107.*

...в последний период палитра Мусатова изменилась, и он перестал видеть тени. *С.125.*

Мусатов скоро отверг дорогу ощущений и перешел от импрессионистического этюда к построению картины. ...созданий, которые строились сначала по академической указке («Гармония»), а начиная с «Guand les lilas» – и по принципу ковра. *С.133.*

Когда Мусатов сам говорил о своих работах, или когда нам приходится говорить о них, мы не можем обойтись без слов: «ритм», «гамма», «гармония», «симфония»...Искусство Мусатова, посвященное гармонизации явлений, близко по своей стихии к музыке. ...Музыка привела его к гобеленам, к ритмическим композиционным задачам и, наконец, наложила печать на психологию изображаемых образов. Они скорее музыкальны, чем психологически выразительны. *С.134.*

...образы принимают особую выразительность и оживают в новом мире, и чем дальше идет Мусатов, тем оторваннее, удаленнее от земли и в то же время выразительнее становятся его создания...властвует воля и мечта художника. Мир его создан интуитивно. Он не осознан, да как и могло быть иначе? Рассудочность и сознательность немедленно бы разрушили воздушные замки художника. Мир этот живет красочно-музыкальной логикой художника. В достигнутых гармониях покоится смысл и философия искусства и жизни Мусатова... жизненно-психологическая выразительность заменяется в его видениях красочно-музыкальной... *С. 135.*

В создании его миров... картина... строилась по принципу гармонического ковра. Главным вдохновителем является любовь к природе... Состоянием неба и освещением определяется настроение картины. Природа в картинах Мусатова является неизменно организованной. На фоне поющего ритма пейзажа возникают образы девушек. Их фигуры, расположенные одиноко или группами, усиливают впечатление организованного, одушевленного пейзажа, доводя лирическое настроение до предельной ясности... художник не допускает в свои картины дыхания реальной жизни». *С.135-138.*

...владение в конце пути всеми средствами, «всеми напевами» искусства, завершение здания всей жизни созданием нового мира, в котором все красочно-музыкально и графически-логично,

– все это выделяет Мусатова и сообщает его фигуре особую выразительность и индивидуальность. *С.139.*

Владимир Станюкович. «Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов». Монография. 1930. Машинопись. 141 стр. Саратовский областной краеведческий музей.

«ЦВЕТОВЫЕ МЕЛОДИИ И АККОРДЫ. КАРТИНЫ МУСАТОВА ЗВУЧАТ»

Решающее влияние оказали на художника итальянские фрескисты Раннего Возрождения Фра-беато Анжелико, Сандро Боттичелли и др. А также маэстрисимо монументальной живописи – француз Пювис де Шаванн... они завершили художественное воспитание Мусатова, помогли ему подвести итоги и нащупать свою собственную дорогу.Они вплотную подвели его к проблеме стиля так называемого «Большого искусства» (Grand Art), к его заветной мечте, к монументальной живописи, к росписи стен фреской.

Колориста Мусатова давно пленяла «характерная» матовость самой поверхности фрески, позволявшая наилучшим образом разыгрывать на ней задуманные художником цветовые мелодии и аккорды. ...Мусатов сумел создать в искусстве свой собственный мир красоты, гармонии и душевной тишины... Но погружаясь в старину и в свои грезы, художник никуда не убегает от действительности и как легендарный Антей, всегда крепко опирается «на землю». Придерживаясь метода больших мастеров, художник обычно подолгу «вынашивает», собирает и проверяет по натуре, необходимый для картины материал ...Вот почему все его работы так убедительны и эмоциональны, и правдивы. ...Цвет являлся, для колориста Мусатова, основным стержнем для построения композиции картины и ее пространства (глубины). Он всегда, поэтому, тщательно обдуман, проштудирован и прочувствован художником, – вот причина какой-то исключительной «музыкальности» его произведений – его картины положительно звучат.

А.А. Лушников. 1945. Статья о В.Э. Борисове-Мусатове (машинопись): Саратовский областной краеведческий музей. – СМК 2590023.

НО ГЛАВНОЕ – БОРИСОВ-МУСАТОВ КОМПОНОВАЛ И СТРОИЛ. Именно это качество и оказалось столь привлекательным для художников следующего поколения... Борисов-Мусатов преодолел импрессионизм, не отвергая его целиком: он воспринял от него артистическое отношение к фактуре, ее динамизм, сложность картинной поверхности, но отказался от случайных точек зрения, от игры света и теней и начал вырабатывать свой стиль. *Д.В. Сарабьянов. Русская живопись конца 1900-х– начала 1910-х годов. – М.:Искусство, 1970.*

«ПОЮЩАЯ ЖИВОПИСНАЯ ТКАНЬ». Художник высокого гармонического дара, Мусатов выделяется среди своих собратьев как несравненный мастер живописной «музыки». *С.42.* «Апеллируя к музыке, художник отнюдь не старался возбудить какие- либо звуковые ассоциации, не стремился к фоническим эффектам. Музыкальность живописи Мусатова состоит совсем в ином... Искусство Борисова-Мусатова оказывает свое воздействие на зрителя в большой мере собственно структурными средствами... Логика построения произведения не просто помогает выявить смысл изображенного, но становится равноправным самостоятельным носителем содержания. Образное значение заключено в построении картины и выявлено в нем, строй и смысл слиты. Это их новое соотношение приближается к музыкальному, где такой способ выражения содержания является основным. Именно музыке в большей мере, чем любому другому искусству, свойственны глубокая осмысленность структуры, неразрывный синкретизм строения и образа.

Борисов-Мусатов писал: «Бесконечная мелодия, которую нашел Вагнер в музыке, есть и в живописи...» Стремясь насытить свое искусство подлинно музыкальным мелодизмом, художник ищет разнообразных возможностей, чтобы пробудить в живописи способность «петь». Ее кантабильность – это, конечно, в первую очередь, плавное струение, пластичность, «мелодическая текучесть» (Б. Асафьев) линий и форм...«...Во фресках этот лейтмотив – бесконечная, монотонная, бесстрастная,без углов линия. Мне так чудится.», писал художник. *(Из письма Мусатова А.Н. Бенуа. /В кн.: Мастера искусства об искусстве. Т.7. С. 322.)*

Борисов-Мусатов использует не только мелодию с основным ее свойством напевности, но и некоторые специфические особенности организации музыкального материала... Возникает аналогия и с музыкальной фактурой ...склад музыкальной ткани с ее сложным соподчинением основной мелодии и аккомпанемента. ...специфика ритми-ческой драматургии в живописи Борисова-Мусатова. Ее сближает с музыкой...особый характер организации ритмики. *С.43-46.*

...различный характер наложения красок и разнообразные фактурные эффекты играют большую роль в достижении живой вибрации живописного слоя...Подвижность цвета...внутреннее движение, развитие цвета. ...хроматическое движение – не прямая фиксация видимых рефлексов и светового дрожания атмосферы, а инструмент цветового построения. Подвижная стихия организована в закономерной ритмической структуре. Чередование светлых и темных, теплых и холодных оттенков, ясные цветовые различия, логичная кладка валеров продуманно сбалансированы на каждом сантиметре холста. Следуя вдоль красочной поверхности картины, глаз повсюду соприкасается с расчлененным разумным строением цвета. Мертвых, живописно пустых участков нет, нигде не прекращается общий живой поток тончайших оттенков. Ритм повторений и последовательное распределение порождают музыку цвета, сплетают его в единую поющую живописную ткань». *С.109.*

...сложность заключена в самой организации живописной поверхности, в рациональном построении красочного слоя. «Гобелен» (1901 г.). Весь процесс работы от первого прикосновения кисти к холсту до последнего мазка развивается логично. В нем нет ничего случайного. Каждый последовательный слой краски учтен в конечном результате, каждый этап работы не преодолевается последующими, а участвует в создании целого. ...темп исполнения...быстрая кладка моментальных мазочков-бросков сменяется нежным и медленным, заранее обдуманным ведением кисти. Это сообщает живописи особую сосредоточенность и характерный протяжный ритм. *С. 174.*

О.Я. Кочик. Живописная система В.Э. Борисова-Мусатова. – М.: Искусство, 1980.

ТВОРЧЕСТВО: КОНСТРУИРОВАНИЕ

ЖИВОПИСЬ БОРИСОВА-МУСАТОВА –АНАЛОГИЯ ИКОНОПИСИ

...цветовые варианты четко определены и заранее приготовлены, Цветовые сочетания чрезвычайно разнообразны, но строго регламентированы. Мы не найдем здесь достаточно свободного отношения к цвету, который, находясь в рамках той или иной тональности, может слегка варьировать свою плотность, становясь то более прозрачным и светлым, то более плотным и насыщенным. Такая «импрессионистическая» колористическая система, предполагающая работу художника как бы с палитры, известна в ряде византийских и русских памятников XII столетия, в частности в церкви Св. Георгия в Старой Ладоге... *В.Д. Сарабьянов. Мастера фресок Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря и методы их работы. /«Хризограф»: сборник статей к юбилею Г.З. Быковой. – М.:Изд. «Сканрус», 2003. С. 59.*

XXI ВЕК: АВАНГАРДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА

«Эстетический конец света» – бездуховная электромагнитная действительность (проникнутая жизнью?)

...Сознание как сила природы. ...С одной стороны, значение сознания в изменении хода планетных процессов, с другой – проникновение жизнью не только нашего поля тяготения, но и поля молекулярных сил.*В.И. Вернадский. Размышления натуралиста. Пространство и время в неживой и живой природе. 1927 г. – М.: Наука, 1975. С. 17-19.*

СЛУХ: ЗРЕНИЕ – ЗВУК: ЦВЕТ

Видимый свет – это только часть длинной шкалы, аналогичной музыкальному звукоряду, в котором есть ноты и выше, и ниже, чем можно услышать. Световую щкалу можно описать при

помощи чисел, которые называются частотами... свет – только число другое. (Не следует быть ограниченными: то, что мы можем непосредственно обнаружить своими органами чувств, глазами, это далеко не все, что есть на света).

Р.Фейнман. КЭД странная теория света и вещества. – М.:Наука, 1988. С. 15.

К 1700 году немецкий органист Андреас Веркмейстер (1645–1706) осуществил **смелое и гениально простое** решение: он отказался от совершенных и несовершенных консонансов – квинт, кварт и терций, **оставив... лишь одну октаву**, и попросту разделил её (геометрически!) на 12 равных частей.Так в музыке восторжествовала темперация (лат. «соразмерность»), а новый двенадцатизвуковой строй был назван **равномерно–темперированным**... В простоте и математической строгости равномерной темперации Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) гениально предвидел подлинный путь развития музыки. Предвидения Баха сбылись: равномерная темперация сегодня лежит в основе всей мировой музыки.

...Вопрос о цветовой гамме – совокупности взаимосвязанных цветов и их оттенков, эстетике цвета и математике цвета – во многом остается загадочным. Между тем еще Ньютон, разложивший солнечный свет на семь цветовых составляющих,заметил, что частоты V границ цветов солнечного спектра относятся как частоты самой симметричной фригийской гаммы чистого строя (10.8).Тем самым вместе с дисперсией света Ньютон открыл и удивительную аналогию между цветом и музыкой, послужившую толчком к развитию цветомузыки. *А.В. Волошинов. Математика и искусство. – М.: Просвещение, 2000. С. 155, 157, 264.*

«ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КОНЕЦ СВЕТА»: «НОВАЯ»ЖИВОПИСЬ

Живопись по природе своей не имеет дела с высшим духовным миром, хотя и может его иметь, если, подобно музыке, сосредоточит свои усилия на ритме и гармонии.
Плотин

1965-2009 ГОДЫ: «ФОРМУЛА ЦВЕТА»

Глаза просят цвета.То ли дело радуга – кого она не остановит, не охватит восторгом.
Чудин

Григорьев Николай Андреевич – ИДЕЯ, Чудин Виктор Федорович (образно-понятийное мышление) – РЕШЕНИЕ. Двумя словами МАНИФЕСТ: непонимание, отвержение «близкими и далекими», «простаками и учеными», неравнодушны «художники и зрители» – к чему страсти?

1992 ГОД. РАДИЩЕВСКИЙ МУЗЕЙ – ВЫСТАВКА «ФОРМУЛА ЦВЕТА» организована Лидией Петровной Красноперовой. Этой выставке предшествовала другая, передвижная, с добавлением работ Гущина, Юстицкого, Борисова-Мусатова, Щеглова: формировала Симонова, Главный хранитель Радищевского музея. Выставка «авторская» – делается Альбиной Трофимовной на материале, близком ее сердцу: особенно возмущает ее невозможность экспонировать Юстицкого. Участие к «гонимым» заставляет использовать все возможности, показывая «запрещенные» картины, рассказывая о любимых художниках, среди которых оказались, к их счастью, Солянов, Чудин, Лопатин. Такого лестного соседства удостаивает нас Симонова в своей книге «Пейзажные образы Саратовского края» (1981 год). В 1988 году, возвращенная (из Кизляра?), выставка показывается в Пензе, планируется экспонировать ее в Радищевском музее: увольняется Симонова – выставка в Радищевском музее не состоится.

ВЫСТАВКА «ФОРМУЛА ЦВЕТА» объединила, не примирив, «сторонников и противников». Экспозиция Солянова – наглядная история изобразительного искусства. Работа природными пигментами – Вячеслав Лопатин, «сислеевский» импрессионизм – Юрий Машков, мистико-музыкальное «гущинское» видение – Людмила Перерезова, авангард – Владимир Солянов, живо-

пись завтрашнего дня – Михаил Аржанов, конструирование красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, фиолетового: «Формула цвета» – Виктор Чудин.

ЧТО ТАКОЕ «ФОРМУЛА ЦВЕТА ЧУДИНА»? (Цветовых формул много, формула цвета – одна). Мы знаем состав дополнительных цветов: оранжевая краска (О) состоит из красной (К) и желтой (Ж); зеленая (З) из желтой (Ж) и синей (С); фиолетовая (Ф) из синей (С) и красной (К).Задумался Чудин, из чего состоят основные цвета – красный (К), желтый (Ж), синий (С) – и нашел решение: ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА СОСТОЯТ ИЗ ТЕХ ЖЕ, ЧТО И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, РАЗЛИЧАЯСЬ КОЛИЧЕСТВОМ ЦВЕТА И МЕСТОМ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗОВАННОЙ СТУПЕНЧАТО – ПОДОБНО РАДУГЕ! – ЦВЕТОВОЙ ШКАЛЕ.

СТУПЕНЧАТОСТЬ ЦВЕТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ – ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОСНОВА «ФОРМУЛЫ ЦВЕТА ЧУДИНА»

Современная теория изобразительного искусства не обосновывает интуитивную работу художника. Практика изобразительного искусства: художник – автор, он же исполнитель картины. Действительность различает автора музыкальной композиции и исполнителя. Теория музыки в подспорье интуиции разработала нотную грамоту – звуки записываются, звучание музыки читается в партитуре: октава осмыслена звуковым интервалом – понятия «мажор–больше» и «минор–меньше» (прямой перевод с итальянского языка).

МУЗЫКА. Звуковая ступенька – интервал наделяет звуки «индивидуальностью». «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха имеет программное, не мелодически организованное, содержание – ощущение. Используя звуковой интервал прямым значением, И.С. Бах выстраивает ощущение – радость (мажор), грусть (минор).

ЖИВОПИСЬ. Ступенчатый колорит – точно найденный цветовой интервал организует не сюжетное, эмоциональное воздействие-восприятие картин Борисова-Мусатова, Уткина, Чудина, византийской и древнерусской иконы, старого гобелена, народного орнамента, рисунка необученного ребенка, небесной радуги.

«ФОРМУЛА ЦВЕТА» – разработка Чудина; ВАРИАНТЫ ПОНИМАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ: «ЦВЕТ – ЗВУК», «ЦВЕТ – КРАСКА»

Смотришь на работу, она чем–то берет, чем – не знаю.Как музыка действует.Чудин.

ЦВЕТ – ЗВУК: нематериальный носитель спектрального цвета – длина электромагнитной волны используется изобразительным искусством применительно техническим возможностям «компьютерного века», предстоит авангардное создание «цветовой грамоты» на основе «Формулы цвета Чудина».

Состоявшийся авангард музыкального искусства – «натуральный шум» заменен абстрактным понятием «звук», натуральный звукоряд преобразован темперированной октавой, ступенчатая тональность применяется осознанно, нотная грамота позволяет писать, читать музыку.

Музыка доставляет нам удовольствие, хотя красота ее состоит только в соотношении чисел и счета ударов и колебаний звучащих тел, повторяющихся через известные промежутки, счёте, который мы не замечаем и который душа наша непрестанно совершает. *Готфрид Вильгельм Лейбниц.*

Цветоряд – «формула цвета Чудина»: цвет организован ступенчато.
Звукоряд – темперированная октава: звук организован интервалом.
КРАСНЫЙ – ДО
ОРАНЖЕВЫЙ – РЕ
ЖЕЛТЫЙ– МИ
ЗЕЛЕНЫЙ – ФА

СИНИЙ– СОЛЬ
ФИОЛЕТОВЫЙ – ЛЯ

Почтенный Пифагор отвергал оценку музыки, основанную на свидетельстве чувств. Он утверждал, что достоинства её должны восприниматься умом, и потому судил о музыке не по слуху, а на основании математической гармонии и находил достаточным ограничить изучение музыки пределами одной октавы. *Плутарх.*

Краска в тюбике! Каждый цвет имеет свой тон. *Чудин.*
ЦВЕТ – КРАСКА: изобразительное искусство – принцип подражания природе; материальный носитель цвета – природные пигменты, химические красители; ступенчатый колорит применяется интуитивно. Практика живописца заставляет Чудина скорректировать первоначально спектральную «Формулу цвета» – ввести «белое и черное».

РАДУГА – отсутствует «белое и черное».
«Формула цвета» – принцип радуги: черное и белое понятия замещены тепло-холодными отношениями. Соответствие «белому» и «черному» цветных парных понятий.
БЕЛОЕ – ЧЕРНОЕ: КРАСНОЕ – ЗЕЛЕНОЕ
БЕЛОЕ – ЧЕРНОЕ: ЖЕЛТОЕ – ФИОЛЕТОВОЕ
БЕЛОЕ – ЧЕРНОЕ: СИНЕЕ – ОРАНЖЕВОЕ

Сезанн считает абстракцией черное и белое.

«БЕЛОЕ» – живопись Борисова-Мусатова. «Водоем» (1902 г.)...Фиолетовое пятно, включаясь в общую структуру, замыкает цикл цветов, участвующих в картине и образующих в совокупности полный подбор холодной части спектра: зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Колорит построен... как созвучие близких друг к другу холодных цветов. Большое фиолетовое пятно, естественно, вступает во взаимодействие с синим овалом на первом плане. Диалог этих двух самых крупных по величине пятен становится одной из основ цветового строя полотна.

Фиолетовый и синий – это ярко выраженные по своим хроматическим качествам цвета... В «Водоеме» мы.... видим чистый освобожденный цвет... синева и фиолетовость остро выражены... Необходимая связь фиолетового с остальными тонами устанавливается с помощью белого. Разработка и распределение белого вырастает в самостоятельную тему. Он каждый раз соотнесен с каким-нибудь из основных хроматических цветов. «Накинут» на синий и фиолетовый в фигурах, рассеян внутри зеленого и голубого в воде. Имея определенную мотивировку в натуре (кружевная кофточка поверх платья, прозрачная накидка, просветы в листве), такая трактовка белого выполняет вместе с тем важную функцию в создании колористического единства полотна. Белый тон неразрывно сплетен с каждым из трех цветовых планов, и поэтому перекличка белых объединяет все цвета картины в целостное построение. *О.Я. Кочик. Живописная система В.Э. Борисова-Мусатова. – М.:Искусство, 1980. С.80.*

БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ – византийская эстетика. «Белый – равноправный (в отличие от новоевропейской живописи) цвет. Он часто противостоит красному, как символ божественного света...С античности белый цвет имел значение «чистоты» и святости, отрешенности от мирского (цветного), устремленности к духовной простоте и возвышенности. Черный цвет в противоположность белому воспринимался как знак конца, смерти. В иконописи только глубины пещеры – символа могилы, ада – закрашивались черной краской. *В.В. Бычков. Малая история... С. 267–268.*

Скорректированная Чудиным «Формула цвета» включает белое и черное.

2008 ГОД – опубликовано

АНАЛОГИЧНАЯ СХЕМА – В.В. КАНДИНСКИЙ. «Черный и белый лежат за пределами цветового круга... Если мы рассмотрим черное и белое с точки зрения температуры, то белый будет в любом случае более теплым, чем черный, а абсолютно черный – внутренне безусловно холодным. Не случайно горизонтальная шкала цветов направлена от белого к черному (рис. в кн. 21).

БЕЛЫЙ – ЖЕЛТЫЙ – КРАСНЫЙ – СИНИЙ – ЧЕРНЫЙ. Медленное, естественное скольжение сверху вниз (рис. 22).

В.В. Кандинский. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука-классика, 2008. С.116.

СИТУАЦИЯ АВАНГАРДА: музыка ушла от звукоподражания – аналогичный этап изобразительного искусства – БЕСПРЕДМЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ

Художник созерцает образец на основе памяти и внутреннего замысла в своей душе ...И если бы нашлась какая–нибудь возможность глазами увидеть душу художника, то ты увидел бы там дом, или статую, или какое–либо другое произведение искусства только без вещества: *(Николай Кавасила, XIVв.) В.В. Бычков. Малая эстетика... С. 388.*

«МУЗЫКАЛЬНАЯ, БЕСПРЕДМЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ»

Я видел поразительные сны. Это была несмолкаемая музыка. Я проникал в какие-то лучезарные пространства, поразительные по цвету. Лучи шли в разных направлениях – то прямыми линиями, то спирально. Цвет был как бы иллюстрацией музыки. Вибрация цвета была поразительно тонкая, еле уловимая, а при музыкальных подъемах все преображалось в какие-то ясные тона, почти торжественные, и только извилистые чŕрные линии шли все время как некий лейтмотив. Это какая-то музыкальная, беспредметная живопись. Но она сферична и при ясности очертаний не имеет никаких точных границ. Всё мгновенно переливается, все это очень кинетично...Описать этот сон более точно я не имею возможности. Он грандиозен. Это путешествие мысли, в общем это какой-то космический сон, причем пространства грандиозны, все как-то безгранично и огромно. Но особенно интересно – это сочетание цвета с музыкой. Нет сомнения, что будет когда-нибудь такое искусство. Такого большого впечатления я никогда нигде не получал. Значит, где-то в извилинах мозга имеется зародыш соединения этих двух искусств в новый организм.

В. Юстицкий. Письмо из тюрьмы. 8 марта 1939 г.

СОЗДАНИЕ ИСКУССТВА ВНЕ ГРАНИЦ РАЗЛИЧНЫХ ЕГО ВИДОВ

...объединение таланта мыслителя и гениального живописца... сделало из Кандинского одного из величайших мастеров XX века. ...сочинение «О духовном в искусстве», опубликованное в 1911 году...идеи пророческого предназначения искусства, мысли о наступлении царства духовности, первые попытки самоинтерпретации и самоанализа...

Любимая идея Кандинского – это поиски... тех общих закономерностей существования, которые роднят живопись с другими искусствами, в первую очередь с музыкой и танцем. Цвета для него обладают звучанием, а то и запахом... Опираясь на искания музыкантов, психологов, поэтов (Скрябин, Сабанеев, Андрей Белый), Кандинский искал не просто аналогии, но и пытался выявить внутреннее родство, единство всех искусств.

...поиск связи искусств, в данном случае музыки и поэзии, выразился и в книге «Звуки», изданной в Мюнхене в 1913 году...

...главным для Кандинского было объединение трех искусств – живописи, музыки и танца... Попытки Кандинского теоретически осмыслить эти поиски совпадают по времени с поисками австрийским композитором Арнольдом Шенбергом нового музыкального языка – создания атональной музыки. «О духовном в искусстве» Кандинского и теоретические сочинения Шенберга вышли из печати одновременно. Шенберг сам был одаренным художником и искал пластические

аналогии своим музыкальным образам. И композитора, и живописца сближал интерес к «диссонансу», к такому нарушению традиционных правил и норм красоты, из которого рождается новая эстетика и новая красота... Для друга и коллеги Кандинского Франца Марка диссонанс – основа современного мышления, как в живописи, так и в музыке... Ф. Марк писал, что «раньше искусство отражало трансцендентную реальность в формах, взятых из видимого мира, сегодня мы больше не привязаны к объектам, так как проникли в их внутреннюю жизнь»...

...Новому режиму в нацистской Германии и в сталинистской России окажутся одинаково непонятны, ненужны и чужды как идеи интернационального братства художников на основе высшей духовности, так и глубоко национальное, почвенное искусство немецких экспрессионистов. На смену одной утопии, художественной, пришла другая – социальная, которая в отличие от всех прочих, воплотилась в жизнь, ибо именно она была «понятна народу». *Марина Дмитриева. Художник мироздания. –Ж-л «Наше наследие». 1990. № 3. С. 128-132.*

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПАМЯТНИКА КУЛЬТУРЫ: СВЕТ – ИКОНОПИСЬ; ЗВУК – МУЗЫКА; СЛОВО – ПОЭЗИЯ; ЦВЕТ – ЖИВОПИСЬ

«НЕ ОПИСАНИЕ, А ВНУШЕНИЕ, КАК В МУЗЫКЕ»

Не нужно забывать, что именно Гогену принадлежит одна из важнейших формулировок, определивших принципы и цели новейшего искусства: «В живописи надо искать не описания, а внушения, как в музыке». (Цит. по: Тугенхольд Я. «Французское искусство и его представители». СПб., 1911. С.103.) Но «поющая» линия, суггестивный цвет вкупе с особым образом организованным и тяготеющим не вглубь, а вовне (на зрителя) пространством характеризуют средневековую живопись, живопись повышенного апеллятивно-внушающего действия. Тому же Гогену принадлежит решающая роль в стремлении западно-европейского искусства новейшего времени покончить с высокомерной концепцией европоцентризма и вступать во все более разнообразные контакты с внеевропейскими культурами. *В.Н. Прокофьев. Западное искусство новейшего времени и наследие мировой художественной культуры. – Сб. «Советское искусствознание». 1979. 1. С. 244.*

ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА

...искусство людей, «живших в условиях каменного века, и искусство современного ребенка проходят одни и те же начальные ступени. *К. Риччи*

...между филогенезою (развитием рода) и онтогенезою (развитием особи, принадлежащей к данному виду) имеется существенное сходство. *Ф. Шмит*

«В КАКОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНОК ВИДИТ РАДУГУ?» ... В каком же возрасте ребенок начинает различать цвета?...Оказалось, что в 2,5-3 года дети уже достаточно хорошо определяют красный цвет, хуже – зеленый и еще хуже – синий. ...становление цветоощущения у девочек и мальчиков возникает в различные сроки. У девочек ощуще-ние красного появляется в 14 месяцев, ощущение зеленого – в 16 месяцев, синего – в 18 месяцев. У мальчиков этот процесс запаздывает на 2 месяца.

...Между 14 и 16 месяцами и двумя годами происходит резкое повышение цветоощущения, а после 20-24 месяцев цветоощущение нарастает медленнее. Заканчивается становление цветоощущения в 7,5 года у девочек и в 8 лет – у мальчиков. *А. Новохатский, доктор медицинских наук. О. Уварова, кандидат медицинских наук. В каком возрасте ребенок видит радугу? – Ж-л «Наука и жизнь». 1990. № 12. С. 50-51.*

ОПТИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ РАЗВИВАЕТСЯ

Разницу между человеческим зрением и тем, что видит фасеточный глаз насекомого, можно сравнить с разницей между полутоновым клише, сделанным на тончайшем растре и тем же изображением, выполненным на самой грубой сетке, которой пользуются для газетных репро-

дукций. Так же относится зрение Гоголя к зрению средних читателей и средних писателей. До появления его и Пушкина русская литература была подслеповатой. Формы, которые она замечала, были лишь очертаниями, подсказанными рассудком: цвета как такового она не видела и лишь пользовалась истертыми комбинациями слепцов-существительных и по-собачьи преданных им эпитетов, которые Европа унаследовала от древних. Небо было голубым, заря алой, листва зеленой, глаза красавиц черными, тучи серыми и т.д. Только Гоголь (а за ним Лермонтов и Толстой) увидел желтый и лиловый цвета. То, что небо на восходе солнца может быть бледно-зеленым, снег в безоблачный день густо-синим, прозвучало бы бессмысленной ересью в ушах так называемого писателя-«классика», привыкшего к неизменной общепринятой цветовой гамме французской литературы XVIII века. ...мертвые, тусклые «принятые краски» (как бы «врожденные идеи») постепенно выделяют тонкие оттенки и создают новые чудеса изображения. Сомневаюсь, чтобы какой–нибудь писатель, а тем более в России, раньше замечал такое удивительное явление, как дрожащий узор света и тени на земле под деревьями или цветовые шалости солнца на листве. Описание сада Плюшкина поразило русских читателей почти так же, как Мане – усатых мещан своей эпохи.

Владимир Набоков. Николай Гоголь. – Ж-л «Новый мир». 1987. № 4. С.204.

1896 ГОД. ПАРИЖ. ...Сделать опыт над женской головой на воздухе, не стесняясь яркости красок. Все лицо будет голубое, ярко лиловое, зеленое. *Борисов-Мусатов. Записная книжка.*

1897 ГОД. САРАТОВ. Борисов- Мусатов учит смотреть. «Женщина в качалке в Русском музее – Агриппина Эльпидифоровна. Писалась в полдень в 12 часов на солнце. Агр. Эльп. утомилась, было жарко, протестовала против позирования. В.Э. просил потерпеть и продолжал писать. Агр. Эльп. удивилась синим оттенкам на своем лице в этюде. В.Э. говорил что он так видит и добился, что и она увидела фиолетовые тени в зелени, в цветах... *А. и В Леонтьевы. СГХРМ. Архив: ед. хр.22. «Записи В. Леонтьева дневникового характера (на отдельных листах)». Том 1. 1933 май 3–1937 ноября 20. На 233 листах. «Запись беседы А. и В. Леонтьевых с А.Э. Немировой (сестрой Борисова-Мусатова)». Лист 1. оборот.*

Странная вещь: когда я перестану делать в Мусатове открытия. *Н.Д. Россов.*

СМОТРЕТЬ «ГЛАЗАМИ ЖИВОПИСЦА»: СУМЕРКИ

Тициан сказал, что только в девяносто пять лет понял живопись. «Видеть»: постепенно «переключать» «бытовое смотрение», рассматривая в музеях картины («Искусству учатся в музеях»: *Ренуар*), приучаясь ценить краткое «цветное» состояние – сумерки.

Аналог цветового «смотрения» художника-колориста – преображающее дневное «смотрение» «цветовое видение» в сумерках.

...феномен Пуркинье – при переходе от дневного зрения к сумеречному зеленые и синие цвета кажутся светлее красных и оранжевых. ...в сумерки зеленовато-голубоватые части рисунка выделяются как заметно более светлые. *Е.Б. Рабкин, Е.Г. Соколова. Цвет вокруг нас. – М.: Знание, 1964. С. 17.*

Потенциал «сумеречного» цветовидения Борисова-Мусатова СГХМ представляет этю-дами:

«В лодке» (1892-1894гг.?) Инв. Ж-301, х.м. 27,2х35,5. Пост. в 1930 из ГТГ.

«Кавалер, читающий стихи» – (1899 – 1900 гг.). Инв. Ж-2237.

«Город (Город зимой)» – (1892-1894 гг.?) Инв. Ж-939. х.м. 24,5х35,8. Пост. в 1930 из ГТГ (Мусатов не любил зиму и ни разу за всю свою жизнь не дал зимнего пейзажа. *Владимир Станюкович. «Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов». Монография. Машинопись... С. 55.*):

наглядное преображение дневной действительности сумеречным смотрением – этюд «Город

(Город зимой)» на самом деле изображает южные сумерки. Из дверей на землю падают теплые, цветные «света», тени «холодные», рассудочному сознанию представляются «снегом», отсюда «зима» в названии. Этюд написан в 1895 году –«кавказские этюды» Борисова-Мусатова: вдали одиночные огни в окнах домов, дальше горы.

ЧУДИН ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ

1981 ГОД. ...неповторимое «чудинское» качество... Для Чудина цвет – главное средство эмоциональной выразительности... Поверхность красочного слоя... сложная, богатая... Цвет очень интенсивен, выражает энергию и возбужденность. *А.Т. Симонова. Пейзажные образы Саратовского края. – Саратов, 1981.*

1987 ГОД. «РАДОСТЬ ЕСТЬ». Картина – не зеркальное отражение действительности (и никогда им не была), а окно в душевный мир художника. Чудин вспоминает, что он в своем развитии неоднократно оказывался в тупике внешнего сходства: – Как только подходишь к натуре слишком близко – радости нет. Начинаешь перебирать работы – там не так похоже, а радость есть... ...последовательно и настойчиво ощутимо... воздействие...саратовских традиций – Борисова-Мусатова и Уткина, Щеглова и Юстицкого. Н.М. Гущин... сказал, что у Чудина «искренний цвет». И это правда.

Г. Федорова. Живопись учит смотреть и видеть. – Газета «Заря молодежи». 25 апреля 1987 г.

1987 ГОД. Постепенно Чудин овладевает всеми типами цветовых гармоний, тонким чувством дирижера разнообразно и широко используя игру «теплых и «холодных» тонов, «легких» и «тяжелых», «глухих» и «звонких», «выступающих» и «отступающих»... В последние годы натурновоспроизводящая форма художественного мышления Чудина имеет тенденцию к преобразованию в ассоциативную. А. Симонова. Автор вступительной статьи. *Живопись Виктора Федоровича Чудина. Каталог выставки. – Саратов, 1987.*

1997 ГОД. Глубок ли Чудин? А глубока ли вода? Глубоко ли небо? Глубока ли жизнь? Философ ли он? Да, если в рассыпанных на полу сливах видит весь мир. Его живопись осуществляет то, что философия выражает понятием «микрокосм». Цвет – его бог, и этот бог живет во всем. *Наталия Свищева. «Солнце в любую погоду». – Газета «Саратовские вести». 15 июля 1997 г.*

2003 ГОД. Картина 2003 года «Идущие»... Две фигуры – точнее, легкие контуры фигур, взрослой и детской. Тени ярче, чем сами фигуры, контур маленькой фигурки почти не касается земли. Виктор Чудин: – Человеческий детеныш идет и летит. Тени яркие...На самом деле, когда я ее написал – я выложился. Потом смотрю – как будто «мало нарисовано». Но она больше не дала к себе прикоснуться. – ...в Чудине есть... внезапность, детскость, легкость и глубина одновременно. Картины для него – живые: «не дала к себе прикоснуться». *Анна Сафронова. Вечная формула цвета. – Газета «Новые времена». 26 сентября– 2 октября 2003 г.*

2003 ГОД. ...править надо было. И краска идет глухо! Когда по первому разу ее поло-жишь — хрусталь! По белому, на лессировках...Свечение такое идет!... Тон...в него сразу надо попадать! Как-то раньше писалось дробнее, мельче. А сейчас – обобщеннее. Интересно взять одним тоном большое пространство, и чтобы оно держалось...проще. Я и другим говорю – очищайтесь! Найти надо, чтобы минимум работал. *Н.А. Сидорова. Акриловый период. Чудин Виктор Федорович. Каталог выставки. – Саратов, 2003.*

2007 ГОД. САМЫЙ ЯРКИЙ СВЕТ в жизни – любовь. Бог ее знает, что это такое. Но только без любви жизнь пресная, словно черно-белая. И тьма без любви скорее одолеет. Сам я любил всю жизнь. Знаю, любили и меня. Меня любовь возвышала и возвышает...

К цвету я отношусь с почтением: в нарядности цвета – смысл радости жизни ...Абстракция. Реальность. Есть жизнь, есть живое. Абстракция может мертвой быть. Реализм тоже может мертвым быть... Все это от души человека зависит.

До «Формулы цвета» и «Акрилового периода» моя живопись была прозой – сильной, буйной, цветистой. А потом началась поэзия. Я стал обобщать и ощутил, что белое и желтое – весна, молодая сила и здоровье. Красное и синее – осень. Синее и черное – зима, отдых природы, сон. А белое, черное и серое – вечность. Белый снег напоминает о вечности, и яблоневый цвет – тоже.

Вряд ли какая-нибудь из лучших моих работ расскажет обо мне все. Скорее, это будет ряд картин в разных тональностях, объединенных в гармоническом ключе. Я люблю жизнь и, к счастью, верю, что она вечная. У меня пять времен года в жизни: детство, юность, зрелость, старость, вечность. Поэтому она – одна, времен много. Человек, как и все живое, развивается, вступает в противоречия. Его идеи яростно сопротивляются миропорядку. Тьма и свет – это всегда борьба. Но приходит любовь, и наступает смирение... *Н. Проскурякова. Ряд картин в оттенках цвета и тьмы. – Ж-л «Дирижабль» (Саратов). 2007. Апрель–май.*

2008 ГОД. ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА ВИКТОРА ЧУДИНА. ...подлинная элита мира живописи часто живет в глубинке, неосознанно бежит и чурается суеты городской ...Художник Чудин...подвижник своего духовного труда, настоящий русский художник, удачливый и фанатичный старатель духовного опыта, носитель знаний, стремящийся все это передать, перенести краской на холст... ...этот любимец муз, каторжник вдохновения? Есть ли в современной жизни место художнику – творцу?

...Его детство... – Я рисовать начал мальцом. Кусочком угля на печке. Рисование вообще считалось «дамским» занятием. Поругивали меня... Да и печку пачкал...–

...Школа, ученичество... Он испытал влияние мастеров сформировавшейся в Саратове на рубеже XIX–XX веков знаменитой плеяды художников, которую до сих пор называют «саратовской художественной школой»...и сейчас продолжает и развивает традиции многих великих живописцев с волжских берегов: К. Петрова-Водкина, В. Борисова-Мусатова. Чудин – ученик известного русского живописца европейской школы Николая Гущина. От Гущина ему достались непередаваемый словами колорит и особое отношение к цвету... Чудин не просто «ученик Гущина», он до сих пор работает над своей «формулой цвета». Он в постоянном поиске совершенной формы, и все это без пафоса, нарочито буднично, природно интеллигентно...

...Его тема – полнота жизни... Чудин всегда был независим от официоза Союза художников СССР... Художник жил и работал, не ввязываясь в дрязги и подковерные игры. – Не мое это, я сбоку от этого, обхожу, как умею, – говорит он о вакханалии 1990–х годов. До «перестройки» Чудин жил и, одновременно, выживал стоически. У него, в отличие от «планов партии и правительства», всегда был свой идеальный проект переустройства мира. Только делал он его не по людским судьбам, не рушил страну, а творил свой светлый мир на холстах. – В молодости очень много соблазнов, многое липло ко мне, а сил отказаться не хватало. Хотя, если бы жил праведнее праведников, может, ничего и не сколотилось бы ни в жизни, ни в искусстве. От пережитого остались, конечно, раны, но с ними становишься мудрее, – говорит он.

Чудин не только мудрый, он – радостный художник... Как верно подметила когда-то известный искусствовед Наталья Свищева, говоря о Викторе Федоровиче: «...радость живет в нем и может вспыхнуть от чего угодно. От того, что рыбья чешуя отливает ржавчиной, что ромашки вымахали огромные, что чей-то потерявшийся сенбернар выбрал его своим новым хозяином, что луна похожа на грушу, что из другого города приехал на пару дней друг, что грязь после дождя подобна россыпи драгоценных камней...Душа веток, листьев, облаков, холмов, зверей и птиц откликается на голос своего художника». ...В век потрясающих технологий, рациональности и цинизма трудно нести в мир свой светлый взгляд, гармоничное творчество. Чудину это удается. Подчас кажется, что самым непостижимым образом. Он живет как будто в пятом времени года, и сам же именует его «Вечность». По крайней мере, именно так называется цикл его работ «Формула цвета. Четыре времени года и пятое – вечность».

Простота и оригинальная «затемненная афористичность» речи Чудина порой приводит в недоумение людей, не искушенных общением с художником. Ведь сегодня, в век тотального сленга и «фенечек», обычная русская речь уже кажется чудом... живопись получила в лице Чудина уже на сращении XX и XXI веков своего достойного продолжателя... Мир Чудина – это тайна ребенка. Она проста и доступна любому, кто отнесется к ней всерьез... картины Чудина можно разглядывать часами и находить там глубокий философский, даже космический смысл. Их сотни, этих картин, они живут среди нас и помогают нам жить. *Евгений Малякин. Пятое время года Виктора Чудина./ В альбоме: Виктор Чудин. – Саратов, 2008. С. 9–12.*

1952–2008 ГОДЫ. «ФОРМУЛА ЦВЕТА», РАЗРАБОТАННАЯ ЧУДИНЫМ... ПРИВЕДЕНА К СВОЕМУ ЛОГИЧЕСКОМУ ЗАВЕРШЕНИЮ». Виктор Чудин: «От отца у меня огненно-рыжая шевелюра да фамилия».

В картинах В. Чудина с чистыми, яркими, но всегда сведенными в гармонию красками... чудо превращения привычного – будь то знакомое лицо, букет цветов или ежедневный пейзаж за окном – в новую, трудно определяемую словами реальность, в чудо искусства...

...Николай Гущин – русский художник... почти тридцать лет проживший в эмиграции (в Харбине, Париже, Монте-Карло)... Всех, кто осмеливался поддерживать отношения с художником-репатриантом, поражала его живопись – сложная, многослойная, мерцающая, точно россыпь драгоценных камней. И, конечно, свободная творческая манера этого мастера, уникальным образом донесшего эстетику живописного символизма из дореволюционной молодости в послевоенную мудрую зрелость, не могла не повлиять на молодого Виктора Чудина... Сам Чудин чувствовал и понимал, что для реализации того, что дано Богом и природой, нужна другая степень личностной свободы, чем та, которую предлагало общество. Ему хотелось зачерпнуть от мерцающих глубин густой, многослойной «гущинской» живописи, приобщиться к тому, чем жила художественная Европа и что никакими учебными программами не предусматривалось.

...в окружении друзей... молодых, ищущих, как и он, своего пути в искусстве, своей маленькой цветной точки в «Вечности». Так называлась картина Н. Гущина, на которой сам автор определял место и в шутку, и всерьез своим ученикам.

...Искусство Чудина развивается по собственным законам. С середины 1960-х годов он последовательно разрабатывает свою живописно-цветовую концепцию, так называемую «Формулу цвета». Эти поиски новой, цельной художественной системы, знаменующей переход от символического хаоса и «неразобранности» цвета к решениям, обусловленным закономерностями цветового круга, продолжаются до сегодняшнего дня. В ряде чудинских произведений 1970-1980-х годов кажется, что «формула цвета» оставлена художником чуть в стороне, что его увлекает эмоционально-экспрессивное, спонтанное изображение человека и окружающего мира. Но он вновь обращается к почти лабораторным поискам «Формулы цвета» в геометрических и фигуративных циклах картин, складывающихся в целые ансамбли, многочастные композиции – совершенные по философскому звучанию и цветовому решению.

...циклы картин символического плана. Начало, течение и завершение жизни человека соотносится со сменой времен года и изобразительно показаны в виде сложно написанных, перетекающих друг в друга, цветовых полос на квадратах холста. Вот авторский комментарий к циклу картин «Круг жизни»: «...Человек приходит из белого безмолвия зимы, а не из черного космоса, в зеленовато-желтое радостное, светлое детство весны, когда весь мир кажется вечным и прекрасным. Затем наступает оранжево-красная пора летней зрелости, когда чувства ярки и сильны, как эти интенсивные цвета, плавно переходящие в спокойно-мудрую старость с холодновато-блеклыми сине-фиолетовыми тонами, перетекающими в серые краски поздней осени. И уходит человек, закончив цикл земной, вновь в белую вечность...».

К рубежу тысячелетий «формула цвета», разработанная Чудиным в циклах картин, была приведена к своему логическому завершению... Его произведения... в которых – вера в Бога и спокойствие, глубокое понимание духовных и религиозных ценностей... вновь возвращают нам

веру в неслучайность и не бессмысленность земного пути человека.

Людмила Пашкова. Виктор Чудин.../ В альбоме: Виктор Чудин. – Саратов, 2008. С.3-7.

ЯРЫГИН, ГРИГОРЬЕВ, ИВАНОВ – ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА

ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИВАНОВ (1918-?), – ученый секретарь Саратовского сельскохозяйственного института. Библиофил. Стены – книжные полки. (Лев Александрович – это воинствующая мораль и добродетель. – Если будешь продолжать в таком духе, то я – как возьму сейчас эту табуретку! И уйду домой! – во дворике у него сидели: это апофеоз нашего конфликта – он описывал процессы гниения, происходящего в недрах его кладбища, именуемого библиотекой: *Ярыгин*). Сам пишет стихи, стихи Ярыгина печатает, переплетает тремя экземплярами – себе, автору, Григорьеву. Печатать – деяние, печатная машинка «на учете»: «множительная техника», как и фотоаппарат. «Если придут» – острота снята: Лев Валентина в опасных местах «направил на путь истинный», и в руки ему уже «свой» экземпляр не дает, как бы тот ни порывался исправлять. Магнитофон – появились в продаже – восторг, Окуджава! Конец письменной литературе! Наступила «диктофонная» эпоха! Жена Вера, учительница. Сын Вова, пятый класс.

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ ГРИГОРЬЕВ (1920-1990), врач-психиатр «на Алтынке» (Саратовская областная психоневрологическая больница), отделение «хроников», «распавшихся». Жена Руфина, врач-психиатр, работает с Николаем. Дочь Лена – школьница, девятый класс, рисует – осталось несколько работ – влияние Гущина: «Голова рыбы» не лучшая ли вещь всего «гущинского круга»? Сын Вова –первоклассник. Отец Николая – художник по стеклу, умер давно. Мать Федосья Алексеевна... напророчила сыну: «Из меня душа – из тебя добрые дни». Экземпляр напечатанных на машинке стихов Валентина весь исчеркан, исправлен автором. Каждый год отпуск – семейное путешествие: добыча – раковины, камни, улитки, лягушки, скорпионы, змеи.

Собака Ирма редкой Саратову породы – сибирская лайка. Сурок Яшка спит с Вовкой в обнимку. Аквариумы тремя этажами, коллекция кактусов на полтораста видов – крупнейшая в Саратове. Интересы разнообразные, всей семьей фотографируют, рисуют. Гостеприимные – дешевая морская рыба свежемороженая появилась: Руфина купит, нарисует – участие Николая, Лены, Вовы! – сварит и гостей накормит. *Николай*: – (Состою весь из идей!: *Ярыгин*) – Мы скоро разоблачим творчество – всю живопись вгоним в математическую формулу! *Ярыгин мгновенно откликается*: Жизнь моя последнее время бурна, но пустопорожня! – ...вопреки сомнениям окружающих, решение идеи «Формулы цвета» нашел Чудин. Везде книги – не хранитель, читает. (Хороший мужик, а по мелочам от него всяк натерпишься. Николай чем хорош – он живет чем-то сверх материального содержания жизни. Это уж большое значение в нашей жизни – сколько вокруг безразличия: Николая заслуга – в старые времена из таких святые формировались! Надо сказать, он несчастнейший человек – но довольно! Светлая личность!: Ярыгин).

ВАЛЕНТИН АКИМОВИЧ ЯРЫГИН (1920-1970). Аким Еремеевич Ярыгин – отец Валентина, сельский учитель. Дядя – Василий Григорьевич Ермишин, брат матери Валентина, Анны Григорьевны. Оба коммунисты, попали в «антоновщину». (Двадцать первый год, Сердобский уезд Тамбовской губернии)... мучили: – «Вы нас зарубите, но на нашей могиле вырастут будущие цветы жизни. Очень убежденные люди были, самоотверженные!» – рассказывает Анна Григорьевна. Ей проломили голову пистолетом, Валентина из зыбки вывалили – посчитали убитыми.

ЯРЫГИН: автобиография

...В 1938 г. я окончил 16 среднюю школу в г. Саратове и в том же году поступил в Саратовский юридический институт. В январе 1940 г. учеба в институте была прервана в связи с добровольным вступлением в ряды действующей армии финского фронта. В феврале после тренировки был в составе 68 отдельного ...лыжного эскадрона отправлен на фронт, где в марте м-це вплоть до заключения мира принял непосредственное участие в боях с белофиннами. В апреле 1940 г. вернулся на учебу в институт, где и пробыл до 28 июня 1941 г., когда по заявлению о добровольном вступлении в ряды Красной армии был Саратовским облвоенкоматом призван и направлен в Во-

енно-политическое училище Приволжского военного округа. В.П.У. окончил 13 февраля 1942 г. 16 февраля того же года мне было присвоено звание «младший политрук»... В марте 1942 работал политруком в 179 курсантской стрелковой бригаде, откуда был отозван и через Главное политическое управление Красной армии вместе с большой группой политработников направлен в действующую армию. С 9 апреля 1942 г. по октябрь 1942 работал политруком 7 стрелковой роты в 51 гвардейском стрелковом полку 18 Гвардейской краснознаменной дивизии. С октября 1942 г. по 22 февраля 43 заместителем командира по политической части в той же роте. В октябре 1942 года мне присвоено командованием воинское звание – гвардии старший лейтенант. 22 февраля 1943 г. тяжело ранен при наступлении на ст. Букино на Западном фронте. После нахождения в госпиталях Москвы, Ижевска, Иркутска был направлен в распоряжение Заб.В.О., откуда получил назначение на должность заместителя командира дивизиона по полит части в 21 конное депо, в котором нахожусь и по настоящее время. Член ВЛКСМ с 1935 по 1941 г. Член ВКП(б) с октября 1942 г.

Гв. ст. лейтенант В. Ярыгин.

Демобилизацию встретил на острове Итуруп. Окончил блестяще Саратовский юридический институт, по направлению работал – 1953-1954 г.г., Березняки, Туголуково, едва ли не районный прокурор? Не захотел быть «юристом» – запил. Слесарь – запойные перерывы – Николай вытаскивал из запоя. Удивлялся, почему не исключают из партии. Внезапно удалили три четверти желудка – мать выхаживает, Валентин «отращивает» желудок, оформляется на пенсию по инвалидности. Где печатный экземпляр собственных стихов и сам не знает, записывает стихи отдельными листочками – везде лежат, на полу валяются: прибираться матери не дает. Рисует – высоко ценим Николаем.

Событие – выход в большой серии «Библиотека поэта» Пастернака с предисловием Синявского. Только нашумел «Доктор Живаго» – новый шабаш: дело Синявского и Даниэля. (Не знаю уж, какую вину припишут, но профессиональнее Синявского в поэзии сейчас никто не разбирается! – отзыв Валентина диссонанс окружающей акустической вселенной). Вышел отдельным изданием «Один день Ивана Денисовича» с фотографией автора на обложке. Смотрит долго на Солженицына, находит человечески обыкновенным лицо – отмечает несломленность: отличие от себя.

– Для меня только Пастернак открывает новую для меня область поэзии! – пыл полемики. Валентин уважает Ахматову, любит Цветаеву: – Единственная из женщин не поэтесса – поэт! – Учился на лейтенанта в Елабуге, там в то время погибла Цветаева – узнал много лет спустя, усматривает знак – «некий!». Ярыгина интересует перенос слова, внимание Цветаевой к звуку: – А звук – исток смысла! Вот «рыбу» на ходу гужу, а слово нашлось – его гудел! –

Ярыгин увлекается Хлебниковым, критерий – Достоевский: – ...осадок остается, такое же ощущение внутреннее, как от романа Тургенева... Достоевский источник! – Шутит над собой: – Пейзажная лирика – ее нет у меня! Как у Достоевского – нет пейзажей, только интеръеры! –

Художники: Виктор Чудин; Михаил Аржанов... сделал в реставрационной мастерской Радищевского музея портрет Ярыгина — в фуражке, трезвый сидит. Однажды на углу тогдашнего громадного реставрационного стола стоит поллитра – рассуждает Валентин. Заходит Главный хранитель, душа и сердце музея – Наталия Ивановна Оболенская – не стала мешать. Снова заглядывает — те же и то же! – командирским голосом: – Бу-тыл!- ку! Под! Стол! – Рука Ярыгина – навыки военные – хватает бутылку и ...под стол.

При запоях эфедрин – недорого, его в аптеках без рецепта дают. (Фармацевточки девчонки – / Погоняет! Ох и дрын! / Уж и вдарит вскачки – вгонки, / дай любая! – эфедрин!) Анна Григорьевна с фотографией Валентина обошла все аптеки Саратова – ему давать перестали. Робеет Ярыгин Гущина – тот терпеть не может пьянства. Интервал сохраняется, еще и ляпнул с большевистской правотой: – /Вы все палитры перебрали. / Но мы в удушливой пыли / вне ваших шелковых спиралей, / окровавленные, цвели. / И потому немного тужим, / что столь приятны для очей / вы

ни людским сердцам, ни душам / не приготовили речей. – Изъяны и у Ярыгина: «Ну и чего? – Гущина они выгнали из училища! А часть молодежи все равно качнулась к нему, стала испытывать священный трепет – хуже только сделали. Все способные ребята поспорили со школой: кого я ни слушал из молодых ребят – никто слова доброго не сказал ни об училище, ни о Просянкине!»

Ярыгин имел дело – а как же? – с профессиональными поэтами. С самим Исаем Тобольским – водку с восьми утра дают! – в очереди стоял.

...стихи Ярыгина? Они нравятся – нянечкам-медсестрам, некоторым врачам, и, совокупно, алкашам саратовским...

Проницательности горькой не лишен Ярыгин: о себе, о месте в мире таких же: – Телеграмма. Белому Дому, Красной Москве. / Пры – га – я, бла – го – дарству – ем. Авели. / Стоит, Каины, что нас к е- / к оной матери еще не отправили.

ПЕРЕРЕЗОВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА (1935-2009)
Печатается впервые

ГРИГОРЬЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
Раз такие, брат, дела / Мы не будем с ними ЗА.
Забодай кобылу пес – / Это, братцы, я всеръез.
И какая нам беда / Есть ли хобот у слона.
Проскакал мимо ворот – / Голова на выворот,
Протащили за порог, / Волоча за шиворот.
Не бродяги, не воры, / И к чему вериги?
Расступитеся, браты, – / Все вы, братцы, дураки
С разницею сдвига.

ЯРЫГИН ВАЛЕНТИН АКИМОВИЧ
Ярыгин из под эфедрина
Торопит время / в стельку пасть!

То было в праздники. / Достал немного спирта.
Но как выхаживал! / Друзей ты ожидал.
Каблук начищен, как у гипнотизера.
Каблук начищен. / Дантовский овал.
Все было.
Не было лишь случая / ковчег дырявый залатать.
Он шел ко дну / как знойный пар в оледенении
Свой опрокинул шатер.
Он рос. Он гас
как хруст непривитого саженца. / Но не трава, а просто хлам.
Он рос как почва для других.

ЯРЫГИНУ
Мерцанье мучившее, / маги, сановных дам
пустая болтовня – / далекие кумиры мирозданья.
Явлюсь заученным штрихом, заученным стихом / сознанью внове.
Меня таит печаль сегодняшнего дня.
Я здесь, я буду снова, вдали иль близко, как из сна
Явлюсь я из излетья ремесла.

ЯРЫГИН: публикуется впервые
(запись Вяч. Лопатина)
Ни черное, ни белое, / ни синее, ни красное –
навек оледенелое, / бесцветное, безгласное.
Итог:
и ничего не сделает тут, / ни трудясь, ни празднуя –
и Бог!

Игорь САВЕЛЬЕВ

«Большой взрыв» в большом городе

Айдар Хусаинов. Башкирский девственник: романы. – Уфа: Вагант, 2009. – 162 с.

У Айдара Хусаинова удивительное отчество – Гайдарович, и недавно только в кулуарах автор этих строк присутствовал при разговоре, почему оно настолько редкое, что не встречается в башкиро-татарской среде. (Сейчас проверил через поисковики: иногда все же встречается.) Если сказать, что писатель Хусаинов популярен в Уфе, это будет не вполне точным, поскольку в провинциальных литературах такой критерий работает вообще очень редко. Хусаинов авторитетен. Он вот уже несколько лет возглавляет и секцию перевода в союзе писателей Башкирии, и наиболее заметное в городе ЛИТО, и обладает статусом не то чтобы местного «классика» – до этого еще не дошло, но, скажем так, он встроен в эту преемственность. Когда недавно умер старенький корифей еще советской башкирской литературы Газим Шафиков, Айдар Хусаинов напечатал в газете «Республика Башкортостан» (от 6 марта 2009 года) стихотворение «На смерть...», созданное в лучших традициях жанра: «Зазвени, мой курай, На горе той Урал, Гнев обрушь на высокую зиму...» – и далее в том же духе; местами напоминало газету «Правда» (от 6 марта 1953 года). Тем неожиданней был финальный поворот «сюжета», напомнивший о прежней, куда более неформальной творческой манере Айдара Хусаинова: «Так прощай же, Газим, Я зайду в магазин И возьму, как любил ты, сухого».

В издательстве «Вагант» вышел сборник ранней прозы Хусаинова: роман «Башкирский девственник» он писал, еще будучи студентом сельскохозяйственного института, юношей, приехавшим из глухого района в шумную Уфу восьмидесятых годов. Роман «Аджаха» создан чуть позже, уже в середине девяностых, в годы учебы в Литинституте. На самом деле, прочитав сборник, после – в памяти – трудно провести четкую границу меж двумя вещами, так как оба романа, не обладая четким сюжетом в классическом понимании этого слова, представляют собой грозди довольно импрессионистических по духу новелл, микросюжеты и смыслы смешиваются и перетекают друг в друга.

Итак, перед нами молодой человек, открывший для себя что-то помимо большого города: «я помню, как отмечал 84-й новый год совершенно один в 530-й комнате общаги на Айской, 92, читал Арсения Тарковского, пил холодный чай и чувствовал себя расширившимся до крайних пределов». Очень значимое слово. В этом контексте важно название романа: не прочитав еще, заранее настраиваешься, что вещь названа так эпатажа ради. Потом уже убеждаешься, что это не так (во всяком случае, не вполне так). Груз невинности давит на героя тем сильнее, чем больше он ощущает себя белой вороной в обществе городского андеграунда конца советской эпохи, всех этих непризнанных гениев, подпольных поэтов, доморощенных философов. (Долго не мог вспомнить, что же мне напоминает сама эта атмосфера в романе, сейчас сообразил. Был такой беззлобный анекдотец. Приехал чукча в столицу. Ему говорят: сходи на «квартирник» группы «Аквариум». Он сходил. «Понял что-нибудь?» – «Нет». – «Еще раз сходи». Чукча сходил еще, и еще, ничего не понял и основал группу «Кино».) Эротические сны, вкупе с внушенным патриархальным ужасом перед «детским грехом онанизма», неумение заговорить, начать, уложить в постель совершенно невыносимы рядом с разбитными богемными девицами, в пропахших сигаретным дымом и портвейном общежитских комнатах. «У нее были любовники, много, я писал ей стихи, я любил ее, я пришел к ней, она жила около Центрального рынка, и признался ей в любви, но она меня не понимала. Она была честна и сказала, что не любит меня, вот и вся правда. Я не порвал с ней, я все приходил, я говорил с ней, я даже поцеловал ее, но все было напрасно. Она уважала меня, но не любила. Видит Бог, я не

люблю, когда меня не любят. Скоро я выпущу книгу, я пошлю ей с трогательной надписью, но что она будет обозначать?..» «И я впервые увидел так близко обнаженную женщину – она лежала как долина, в которую спускаются с небес».

С этим все ясно, но не важнее ли духовная «девственность», с которой молодой человек пришел в новый для него мир? Здесь-то как раз его сознание, мышление, мировоззрение начинает расширяться «до предела», и стремительный процесс этот можно сравнить, пожалуй, с «большим взрывом», в результате которого родилась Вселенная. Отсюда и хаотичность романа, которая ставит в тупик едва ли не большинство читателей, привыкших к более цельным и четким конструкциям в прозе. Автор сознательно валит в одну кучу микроновеллы, плохо спаянные порой даже по стилю и форме (открываем наугад: подряд следуют «Неотвратимое действие духов», «Воображаемая речь к Ирине Петровне», «Взаимность как феномен существа...»), запутана в них и биография героя (который то пребывает в состоянии невинного закомплексованного первокурсника, то обзаводится молодой женой с новорожденным ребенком, отосланными куда-то в отдаленные районы, вероятно, к родне, – к ним он добирается на бесконечно долгом, полном грез «Икарусе»). Наконец, этот герой может и вовсе скрываться где-то за кулисами, исчезать бесследно из новелл, когда на сцену выходит другой персонаж, которого, кстати, нельзя воспринимать всерьез («История с Багровым»). Наконец, сознательно перемешана и «внешняя» хронология романа: он писался с 1989 по 1991 год, под каждой новеллой – дата, и даты эти не последовательны, из 91-го автор (за ним и читатель) кидается в 89-й, и назад...

Эту летопись «расширения до предела» читать интересно, хотя и не всегда получаешь от этого одинаковое удовольствие (где-то писатель «дает петуха», ему изменяет чувство стиля и должного вообще, где-то читатель просто вынужден «буксовать»). Довольно часто отправной точкой для путешествия в мыслимые вселенные служит прием, который проще всего выразить твеновской цитатой «Том остановился поболтать с Гекльберри Финном»: «Мы с Пашей Госсеном сидели у него на кухне и болтали о всяком разном», «Мы с Себастьяном не так часто, как хотелось бы, разговариваем о всяких вещах, так, в августе этого года он мне рассказал о том, что история всего – это, говоря приближенно, есть история мысли». Куда «расширяется» сознание, отправляясь, в частности, от этих точек? Извольте. С Пашей Госсеном обсуждается старый провинциальный писатель Лупанков, кондовый коммунист, разрабатывающий историко-революционную тему. Он написал книгу о расстрелянном в 1907 году рабочем-большевике Акулове. Поднял документы, выяснил, что рабочего «сдал» некто, агент, которому полковник жандармов позвонил по телефону. Книжку, в которой строятся версии – кто бы это мог быть, Лупанков так и назвал: «Звонок полковника». И вот наши герои держат эту скучную партийную книгу в руках и делают вывод, что звонил полковник – самому писателю Лупанкову. Конечно, тот еще не родился. Ну и что же. «С чего ты взял, что времена не общаются? Ну, в пределах госбезопасности... Звонить кому-то другому – дорого и ненадежно, а материалы все у него, и он, как солдат, оттарабанил, и готово». С Себастьяном речь уже о «магическом сознании»: «У нас сознание технологическое. Мы любим искать причину и следствие, любим выстраивать законы, слово «методика» – это вообще что-то сущностное, конечно, есть и недостаток в виде «метода тыка», которым все достигается, когда гробится время и материал, но сие никого не волнует. А вот древние люди, скажем, египетские жрецы, имели сознание магическое, они «прозревали», а не «искали», воплощались, и им удавались поразительные вещи... Есть люди, которые обладают каким-то частично магическим сознанием. Они видят мысль, но изменить ее не могут или не хотят, тут сам черт ногу сломит. Я их называю «даллерами», от слова “даль„».

Неудивительно, что читателя стремительно проносит мимо формальной границы «Башкирского девственника» и «Аджахи», как, бывало, задремав в кабине после бессонной автостопной ночи, пропустишь мимо сознания стелу между Башкирией и Татарией, и очнешься уже в другом временном пространстве – в другом часовом поясе, хотя все, вроде, почти то же.

Роман «Аджаха», также состоящий из многих разобщенных, на первый взгляд, новелл – только теперь они сшиты в несколько крупных глав, – безусловно, более зрелая проза. В частности, если «Девственник» казался местами слишком «худосочным» из-за оголенной привязки проговоренных высоких материй к бытовым сценкам, то за «Аджахой» чувствуется большой накопленный капитал: культурных связей и отсылок, мифологии, опыта. Не в последнюю очередь это связано с родственными друг другу национальными культурами – татарской и башкирской. Первый роман мог с одинаковым успехом именоваться «Алтайским девственником», «Американским», а то и «Марсианским». Второй же начинается с весьма добротной, неплохо сделанной стилизации под эпос кочевого племени: в кибитке рождается младенец, которого старцы объявляют Муйтаном – повелителем народа, и ради спасения его жизни отдают порожденью тумана талисман света («мы не можем сохранить и Муйтана, и талисман»). И в принципе многие реалии того времени, когда создавался роман (середина девяностых), узнаваемы сквозь призму мифов, иносказаний или откровенно фантастических построений.

Много внимания, например, уделяется теме отравления города химическим производством, какой-то подспудной опасности, когда нужно с предельной осторожностью пить воду, дышать воздухом и т.д.: одна из глав романа так и называется, «День. Душа. Диоксин». Едва ли это так близко жителям других городов, но Уфа в 1990 году была отравлена фенолом, и даже у нас, у тех, кто был детьми, отложилась в памяти общая паника, ужасы, безумные слухи и, главное, очереди во всех дворах за питьевой водой – ее везли в город автоцистернами, водопроводной пользоваться запрещалось. От беременных тогда врачи требовали сделать аборт, а сейчас в ходу термин «фенольные дети» применительно к поколению нынешних студентов средних курсов: утробным отравлением объясняют определенные интеллектуальные дефекты некоторых из них. Все это можно рассказывать долго, мне же всегда было интересно, почему в уфимской литературе эпопея с ядовитой водой никак не отражена. Что-то подобное по духу я встретил недавно в старой «Дружбе народов» (1989, № 6): дневник Сергея Скляра «Чернобыль глазами киевлянина», где просто описывается паника и разрастающиеся донельзя химеры слухов (можно ли в Киеве открывать окна и пускать детей погулять? – будут ли детей эвакуировать? – возможно ли достать билеты на хоть какой-нибудь рейс из города? – что продают на рынке?..). Теперь приятно узнать, что и в нашей местной литературе – в книге Хусаинова – это ощущение немного отражено.

Но если ядами отравили только Уфу (хотя и в этом, наверное, есть элемент типичности: индустриальный город рубежа восьмидесятых-девяностых, производства разогнаны до предела, но все уже начинает сыпаться и «лететь», даже чисто ментально), то есть в «Аджахе» и более общие узнаваемые моменты. Ведь национальных окраин, провозгласивших себя суверенными, было не одна, не две. Погружая читателя в самые разнообразные фантастические построения и повороты сюжетов, круто замешанные на местном фольклоре, автор рисует то будущее государство Башкортостан, то Великий Татарстан, куда Башкирия вошла на правах провинции (и кстати, это не такая уж смелая фантазия: в уфимской печати первой половины 90-х годов идея объединения Башкирии и Татарии в одну независимую страну, получающую выход к Казахстану, всерьез обсуждалась). Смутное ощущение, что в «Аджахе» нет чего-то важного, при прочтении нарастает, и можно догадаться, что это важное – это ощущение писателем России, принадлежности к России, к русскому миру. Это, разумеется, не упрек Айдару Хусаинову. Писатель только поймал и передал в романе это общее чувство национальных элит девяностых годов. И в этом смысле книгу можно осторожно назвать документом эпохи.

У читателя настоящей рецензии может возникнуть вопрос (вполне справедливый): зачем сейчас копаться в этих древностях. Но, по-моему, книга Айдара Хусаинова важна именно сегодня. Вообще, строго говоря, эти старые романы только сейчас обрели настоящую – а если угодно, и «официальную» – жизнь. Пятнадцать лет назад они выходили фактически в самиздате, сколько-нибудь широкой читательской аудитории не имели, а сейчас изда-

тельством «Вагант» выпущена полноценная книга, которая, кстати, была выдвинута на новую литературную премию «Нос» (попала в лонг-лист). Эта книга могла бы сегодня оказать сильное положительное влияние на местную литературу, прежде всего – башкирскую (ведь, даже будучи написанными на русском языке, романы Хусаинова тесно связаны именно с этой культурой). Беда национальных литератур сегодня – стагнация, откат на позиции соцреализма, неразвитость авангардных, альтернативных течений и методов. В Уфе есть люди, работающие над этими проблемами, но их можно сосчитать на пальцах одной руки. Прозаик Зухра Буракаева пытается прививать башкирской литературе модернистские «веточки». Переводчик Светлана Чураева говорит о том, что при правильной обработке башкирский фольклор может «заиграть» на русском почти так же, как в свое время «заиграл» для западного читателя незнакомый прежде мир латиноамериканской литературы. Новаторские романы Айдара Хусаинова, тесно связанные с национальной традицией, тоже могут сыграть в этом процессе немалую роль.

Я бы даже сказал, что для самого Айдара Хусаинова издание этой книги – шанс «вернуться к истокам», к тем поискам абсолютно нового писательского голоса, которые потом, к сожалению, в его творчестве оказались почти свернуты.

Анна ГОЛУБКОВА

Встреча на ином берегу

Мария Галина. Малая Глуша. / Серия «Лучшая современная женская проза». – М.: Эксмо, 2009. – 480 с.

Книга «Малая Глуша» выпущена издательством «Эксмо» в серии «Лучшая современная женская проза». И хотя на презентации Мария Галина говорила, что более органичной содержанию книги была бы серия, посвященная фантастике, тематический выбор редактора, безусловно, не случаен. Об этом же, кстати, свидетельствует и то, что книга вошла в лонглисты премий Букер и «Большая книга». Интересно поэтому будет рассмотреть «Малую Глушу» именно как соединение самых разных семантических пластов и направлений современной литературы.

Роман состоит из двух частей – «СЭС-2» и собственно «Малая Глуша». В критике встречается определение «роман-двойчатка», впрочем, вполне возможно назвать эти части также двумя повестями с отдельными пересекающимися персонажами. Ведь несмотря на некоторые сюжетные переклички, выстроены эти произведения по совершенно разным принципам: «СЭС-2» скорее относится к психологической прозе, «Малая Глуша» – к фантастике с философским уклоном. Различия связаны с мотивацией действий персонажей и с главным определяющим моментом построения сюжета. В первой части события мотивированы психологически, во второй – герой выбирает модель действия, после чего события с ним случаются независимо от его воли и желания. Говоря проще, поступки героев «СЭС-2» почти всегда связаны с их характерами и личным выбором, герои «Малой Глуши» вовлечены в череду каких-то непонятных им действий и событий, на ход которых их личные качества оказывают минимальное влияние. Именно по признаку связи сюжета с психологической обрисовкой персонажей как раз и проходит, по-моему, граница между различными видами современной литературы. Эта принципиальная разница двух текстов, помещенных под одной обложкой, свидетельствует о том, что книга Марии Галиной оказалась в точке пересечения основных проблем современной прозы.

В критике уже отмечали сходство «СЭС-2» и советского производственного романа (Лев Данилкин). И это действительно так – если убрать фантастическую составляющую, мы получим описание самого обычного производственного конфликта. Есть небольшой трудовой коллектив со своими интригами и разнонаправленными интересами, начальница которого допускает невольную оплошность – вернее, это даже не оплошность, а чужая халатность и неудачное стечение обстоятельств. Есть более высокое начальство, которому выгодно замолчать случившееся. Чрезвычайное происшествие, тем не менее, выходит на государственный уровень. Приезжает специалист

из Москвы, которому, несмотря на все его высокомерие и якобы высокую квалификацию, не удается справиться с возникшей проблемой. Наиболее ответственные члены коллектива обращаются к «старому специалисту» (в раннем советском производственном романе им, к примеру, мог быть отошедший от дел дореволюционный инженер), который, рискуя собой из общих гуманистических побуждений, устраняет чрезвычайную ситуацию. Персонажи по своему типу тоже вполне узнаваемы: Елена Сергеевна Петрищенко, искренне болеющая за свое дело начальница СЭС-2, женщина с несложившейся личной судьбой и постоянными семейными неурядицами; карьеристка и эгоистка Катюша; молодой специалист Вася, несколько неустойчивый в моральном плане, но в целом ответственный и очень способный; поглощенная своими собственными переживаниями юная стажерка Роза Белкина. Концовка повести у Галиной, впрочем, прямо противоположна нормативному для советского романа радостному финалу: в «СЭС-2» побеждают эгоисты и карьеристы, в личных целях пользующиеся чужими оплошностями. Но и тут можно найти определенные переклички с литературой времен оттепели, пытавшейся хотя бы в таком полускрытом виде критиковать советскую систему. Складывается впечатление, что, обратившись к эпохе конца 1970-х, Галина сознательно использовала сложившиеся к тому времени литературные штампы. Как ни странно, благодаря удивительному капризу истории, на фоне современной литературы эти штампы смотрятся на редкость свежо.

Галина прописывает обстоятельства советского быта настолько тщательно и подробно, что «СЭС-2» временами превращается чуть ли не в документальное повествование. Тут и вечные очереди, и ругань в магазине, и дефицит, и покупка втридорога с рук модных тряпок, и давящее чувство какой-то вечной бытовой безысходности... Недаром Евгения Риц в своей рецензии самым страшным эпизодом книги назвала не какую-то из сцен со сверхъестественными силами, а простое посещение героиней самого обычного советского гастронома. И все-таки, несмотря на все ужасы советского быта, в «СЭС-2» есть, безусловно, еще и чувство ностальгии, которую только усиливает четко осознаваемая дистанция с современностью. В подробных воспоминаниях о тех временах есть нечто весьма привлекательное. Запах разбавленного кофе или жидкая манная каша, на которой блестит темно-желтая лужица подтаявшего сливочного масла, столовские тарелки с отбитыми краями, перекрученные скользкие алюминиевые вилки – все эти детали, непереносимые в момент непосредственного переживания, в памяти обретают совершенно другое значение, становясь своеобразным ключом к навсегда исчезнувшему прошлому. Мы не можем – да и, признаться честно, вряд ли хотим – туда вернуться, но нам нравится вспоминать этот исчезнувший мир, эту своеобразную Атлантиду, навсегда скрывшуюся в волнах истории.

Особенно в этой связи примечателен образ стажерки Розы Белкиной: эта юная девушка – со всеми своими комплексами, мечтами, юными надеждами и полудетскими обидами – изображена Галиной просто блистательно. Роза одновременно и наивна, и практична, она, естественно, мечтает о любви и о красивой яркой жизни, которая, как ей кажется, ждет ее впереди. Видимо, именно из-за этой своей мечты она и решилась поступать на иняз – ведь в советское время заграница представлялась чем-то совершенно чудесным и почти недостижимым. На всем протяжении повествования Роза читает книгу «Анжелика в Новом свете» и мечтает об ее героях, мысленно погружаясь в эту лубочную, но для нее – вполне реальную атмосферу. И по странному капризу судьбы или, скорее, благодаря ироническому складу ума автора книги Роза Белкина получает желаемое – она на самом деле становится предметом неземной любви. Но, как оно всегда бывает в нашей жизни, желаемое на самом-то деле оказывается вовсе не таким, каким оно являлось в мечтах.

Сюжетная линия, связанная с Розой Белкиной, фактически представляет нам нечто вроде обряда инициации, который обстоятельства вынуждают пройти героиню. Впрочем, разве не напоминает примерно такую же инициацию и обычное «испытание любовью», через которое обязательно проводят своих героев авторы русских классических романов? Как бы там ни было, подробная психологическая

прописанность образа придает какую-то особую достоверность и происходящим в книге фантастическим событиям. Именно будничность и обыденность фона, на котором они случаются, делает их особенно убедительными и, если так можно выразиться, реальными. И в то же время складывается впечатление, что при всей увлекательности фантастической интриги главным для автора все-таки является не это. При помощи фантастики, как мне кажется, Галина пытается решать чисто психологические задачи, и все чудесные события повести «СЭС-2» лишь призваны помочь раскрыть то, что заложено в характерах ее героев. И потому самое страшное, позволим себе не согласиться с Евгений Риц, в книге Марии Галиной – это не советский быт и не деструктивные проявления сверхъестественных сил, а та глубина подлости и мерзости, которая при малейшем неблагополучии с обескураживающей легкостью обнаруживается в человеческой душе. Впрочем, Галина не осуждает никого из своих героев, скорее, она их жалеет, справедливо предполагая, что за каждым некрасивым поступком непременно последует возмездие.

Концовка повести с этой точки зрения, впрочем, остается открытой. Да и вообще в ней вполне завершена только линия Розы Белкиной, необратимо взрослеющей после всех своих испытаний. Все остальное немного повисает в воздухе. С точки зрения массовой литературы тут, на мой взгляд, не хватает четко обозначенной победы добра над злом, без которой ожидания читателя невольно оказываются обманутыми. С точки зрения «серьезной» литературы остаются нерешенными многие психологические проблемы – вроде наметившихся изменений в характере Елены Петрищенко, наконец-то позволившей себе испытывать тщательно подавляемые чувства. Но что именно дало столкновение с неизведанным всем остальным героям, как оно повлияло на их жизнь? Все эти вопросы, к сожалению, остаются без ответа, и это заставляет надеяться на продолжение повести. Вторая часть – «Малая Глуша» – дает отчасти какие-то сведения о дальнейшей судьбе героев «СЭС-2», но, как уже было сказано выше, представляет по своей структуре совершенно другой тип повествования.

Лев Данилкин увидел сюжетные истоки «Малой Глуши» в мифе об Орфее и достаточно распространенных в фольклоре разных народов описаниях путешествий в страну мертвых. Это, безусловно, так, однако есть у этого произведения и более близкий по времени аналог – это литература абсурда, в свою очередь, конечно, тоже не пренебрегавшая обращениями к этому мифу. Выпавшие из своей обыденной жизни персонажи, бредущие неизвестно куда по незнакомой местности, пытающиеся приспособиться к постоянно меняющимся правилам игры и вообще не понимающие того, что с ними происходит, встречаются и у Андрея Платонова, и у Сэмюэла Беккета. Но в отличие от этих писателей, Галина очень подробно описывает не только то, что случается с героями, но и то, что они при этом чувствуют. Эта психологическая дотошность сразу же выводит произведение за рамки мифа, и потому, дочитав повесть до конца, ничуть не удивляешься тому, что автор при помощи фантастических средств снова ставит и решает чисто психологические задачи. В результате своего пути главный герой обретает не утраченную возлюбленную и не какую-то высшую силу, а «всего лишь» знание о самом себе. И это снова возвращает нас к русской классической литературе XIX века, искавшей решения внешних проблем внутри человеческой души.

Впрочем, однозначно приписывать книгу «Малая Глуша» к классической традиции все-таки нельзя – слишком много в ней намешано разновременных литературных пластов. Кроме советского производственного романа, тут можно найти и какие-то элементы авантюрной прозы, и типические ситуации литературы абсурда, и психологическую глубину русской классики, и сюжетные схемы современной массовой литературы. Ключ к пониманию творческого метода прозаика Марии Галиной можно, на мой взгляд, обнаружить в ее известном стихотворении о докторе Ватсоне («Доктор Ватсон вернулся с афганской войны...»). Здесь доктор Ватсон оказывается ни много ни мало как самим Джеком-потрошителем. Если учесть, что рассказы Артура Конан Дойла построены на вульгарной интерпретации романтической концепции исключительной личности и что обычный человек доктор Ватсон

является одновременно противопоставлением и необходимым дополнением к «сверхчеловеку» Шерлоку Холмсу, то в этом стихотворении Галина производит некую операцию, которую условно можно назвать «растождествлением» романтического героя. Галина как бы уравнивает этих персонажей – в ходе поэтического повествования вдруг оказывается, что и доктор Ватсон, мягко говоря, совсем не так прост, да и Шерлок Холмс, увы, вовсе не так уж исключителен. И вполне возможно, что в этом поэтическом жесте можно увидеть некий подсознательный протест против эстетики и поэтики литературы романтизма.

Как видим, произведения Марии Галиной представляют собой интереснейшее смешение тенденций массовой и «серьезной» литературы. Более того, пристальное чтение разных ее романов заставляет даже предположить, что сделать большего в этой пограничной позиции просто невозможно.

Сергей ТРУНЕВ

Тайная метафизика скупого жеста

Феликс Чечик. Алтын. Книга стихотворений / Серия «Русский Гулливер». – М.: Центр современной литературы, 2009. – 140 с.

Прошлое видится на расстоянии, позволяющем, как это ни странно, разглядеть несущественные при иных обстоятельствах детали, мелкие приметы времени, из коих оно, собственно, и соткано. Это тем более верно для прошлого страны, в которой ты родился и вырос: чтобы видеть его во всем его многообразии, надо пространственно отдалиться, и в то же время суметь сохранить глубокое и тонкое чувство биологического и культурного родства. Волей судьбы Феликсу Чечику удалось и то, и другое, а остальное, видимо, оказалось делом техники (письма и/или памяти), вызвавшей из небытия такие, скажем, реалии, как двухколесный «Орленок» или песня «Ванька-холуй».

Здесь, собственно, возникает проблема, которая в силу ряда причин волнует меня уже несколько лет, и которую я бы обозначил как проблему соотношения временного и вечного в поэзии (шире: в литературе). Иначе говоря, стихи Феликса Чечика понятны мне, как и любому представителю близкого по времени поколения советских детей, для кого двухколесный велосипед «Орленок» был вторым после «Зайчика», а чертовски неприличная песня про Ваньку – одним из первых устных пособий, обучающих дворовую шпану настоящей взрослой матерщине. И кто из нас не ожидал с непередаваемым трепетом, что однажды в его спальне (если таковая имелась), или в его отгороженном (если повезло) от остального мира детском закутке вдруг раздастся, как приснопамятный «гром небесный», «долгожданный гудок паровоза из коробки «Made in DDR»?!

Едва ли все это будет адекватно понято выбирающими «пепси» поколениями «next», чьи мозги и большие пальцы заточены, скорее, на мелкую моторику мобильника, нежели на изготовление отрывающего эти самые пальцы «поджига» (в стихотворении Феликса Чечика последний именуется синонимичным понятием «самопал»). И куда деваться? Либо затворить выход собственной лирике далее сопредельных тебе по социальному и культурному опыту поколений, либо сопровождать каждую выбивающуюся строку комментариями, которые со временем не оставят от нее четкого следа, но одни лишь бесконечные напластования культурных смыслов, принципиально нелокализуемая совокупность которых в свое время была неудачно обозначена понятием культуры постмодерна.

Поэзию Феликса Чечика спасают не комментарии, которые, кстати говоря, неизобильно присутствуют в книге, но своеобразная метафизика, позволяющая ощущать временное чем-то наподобие ряби на поверхности незыблемого океана вечности. Понятие метафизики в данном случае не должно смущать: в рассматриваемых нами текстах нет претендующих на высоколобость русскоязычных постэлиотовских рассуждений (не буду называть фамилий их авторов), все чаще ошибочно относимых к области поэзии. Просто (просто ли?) каждая отмеченная авторским взглядом деталь прошлого превращается в видимый символ неких невидимых глубинных движений, чей импульс

равнозначно формирует и прошлое, и настоящее, и будущее. Или, словами Феликса Чечика: «Цвети сирень – цвети и пахни / и никогда не отцветай, / и прошлым будущее трахни / и вечности бесплатно дай». Так вечность становится временем, а время, в свою очередь, снова растворяется в вечности, и все эти периодические трансформации отливаются в форму скупых поэтических жестов, которые, однако, гораздо крепче связывают земное и небесное, человеческое и божественное, нежели хитроумные сети доморощенных метафизиков:

друг на атасе
на пасеке я
на тарантасе
по небу Илья
молнии всполох
и в пятках душа
двоечник олух
жизнь хороша

И если еще до начала чтения объяснить, что такое «атас» и откуда оно возникло, любые дальнейшие комментарии окажутся либо несвоевременными, либо неуместными. Останется лишь поэзия, приоткрывающая любопытному взгляду читателя нехитрые тайны бытия.

Андрей ПЕРМЯКОВ

Облака московского метро

Евгений Никитин. Невидимая линза. – М.: Издательство «Икар», 2009. – 128 с.

Вопреки довольно значительному объему, 100 стихотворений, собранных в семь циклов, «Невидимая линза», вторая книга московского поэта Евгения Никитина, оставляет на редкость цельное впечатление.

Помимо безусловно узнаваемой манеры Евгения, на единство образа работает общий эмоциональный и визуальный ряд текстов. Это очень городская, более того, изумительно московская поэзия. Только поэзия не старого Арбата и уютных двориков, а нынешнего, постиндустриального и доинформационного города: темные провалы переулков, морковный Кремль, скворечники дальних районов, золотые гири дорогих витрин, и метро как единственно возможное для чудес место:

Разлиты в электрическом дыму
железных листьев тонкие сюиты.
Похожие на маленьких муму,
кассирши разноцветные сердиты.
Метро, в твоих раскидистых руках
тепло, как в продуктовом магазине,
где, со снастями юбок и рубах,
все тети, дяди, дети – на резине.
<...>
Нас вынесла огромная волна
и схлынула, но, верно, не людская:
так пафосная звездная война
выносит уцелевшего джедая,
<...>

Вообще, если обратиться к зрительной, колористической составляющей книги, безусловной доминантой будет та самая, андеграундная гамма. Но это не обычная непосредственно наблюдаемая подземка, а стилизованный под арт-объект вагон марки «Яуза»: резкий, почти нестерпимый свет люминесцентных ламп поглощается типовой черно-джинсовой раскраской пассажиров оранжевой ветки. Сами едущие кажутся сделанными из папье-маше; разве что один-два из них действительно живы, и к ним пытается обращаться лирический герой, оказавшийся в том же вагоне. Однако, вглядываясь в кадр чуть дольше, мы заметим, что альтер эго автора отчего-то не отражается в стеклах, а у одного из пассажиров слишком подозрительно блестит запястье между перчаткой и рукавом куртки:

Я исследую череп, словно бы открываю,
где у меня теперь – подбородок, щека, висок.
Найденное хороню под кроватью,
как отрубленную руку Т-800
<...>

Вот сквозь эту жизнь симулякра среди симулякров проходит главная хорда «Линзы»: попытка обрести себя в мире, где другие себя потеряли:

Всё уже, ребята, решено.
Вот и тусклых окон решето,
переулок, пахнущий мочою,
над дворами пепел голубой.
Старый пес поводит головой,
словно электрической свечою.
<...>
Это небо – пиксельный раствор.
Высушил, рассыпал и растер
по холсту ночного монитора.
Эта жизнь – пиратское кино.
То ли по цветам искажено,
то ли дефицит люминофора.

К сожалению, «мысль изреченная есть ложь», и одно из ключевых стихотворений книги, где мысль о многократной, точнее непрерывной, потере собственного «я» высказана напрямую, проигрывает более тонкому представлению свершившейся утраты в других текстах:

На сайте «одноклассники» не раз
я Вас встречал как некий образ смутный,
как призрак с фотоснимка неуютный,
где наш изображен 9-й класс
<...>
Лишь Оля мне сказала: «Как же так,
неужто сам не узнаешь балбеса –
он был как ты, очкарик и чудак,
стихи писал... Куда теперь он делся?»

Какая-то в словах ее была,
досадная, неявная накладка...
Но имени она не назвала,
а я не понимаю, в чем разгадка.

Дело не в потерянности поколения как таковой – все поколения потерянные, но в том, каким образом случилась потеря на сей раз и что именно нужно искать.

Друзей? В поэзии Никитина это, как правило, один друг, чуть выделяющийся из плоского фона персонажей, то ли нарисованных на холсте, то ли зафиксированных на снимке, прошедшем слишком уж жесткую обработку и постепенно с этими персонажами сливающийся:

Следи, мой друг, следи за тем, как профиль твой
становится точней и правильней, и строже.
Как нос похож на клюв, а, может быть, башмак
из кожи бычьей или медную подкову.
Вот это упрощение всех черт
и есть примета приближенья к совершенству.
Еще совсем чуть-чуть, и станешь ты точь в точь,
как оттиски богов и доблестных вождей
с монет старинных – финикийских, римских.
Тогда придет пора, навеянная сном,
и зеркала завесят черной тканью.

В любом случае, лишь единицам дозволено быть «ты» среди окружающего моря «их». Причем «они» – это не взрослые представители враждебного подростку мира, но совершенно иные биологические, а то и просто неживые сущности:

Человеки торчат на ветвях,
как огромные черные птицы
или цифры, что ты второпях
посадила в столбцы и таблицы.

Иногда другие это аллегории в средневековом смысле термина:

А где же мастера? Ушли и не вернутся.
И дымкой золотой подернут мир вокруг.
Краснодеревщик, часовщик, фонарщик
возникли на пороге, но их лица –
мираж, и вот они исчезли торопливо,
как будто кто-то их убрал с доски.

Итак: самоидентификация лирического героя предельно затруднена, окружающий мир либо не существует, либо предельно равнодушен, опора на плечо друга невозможна в силу аморфности этого плеча. Что остается? То, что и было – Слово. Высказываюсь, следовательно, существую.

Особенность метавысказывания «Невидимой линзы» – честность, явленная в том числе и методом отбора текстов: сюда вошли стихи, писавшиеся на протяжении достаточно долгого периода и затем уже составившие циклы. Вот эта история развития автора и становится

доказательством подлинности его бытия. И подлинность слова оказывается возможной все-таки через проекцию себя в Иного:

Старик такой же человек, как ты.
Он путает опята и зонты,
не видит правды в шутке бородатой,
он судорожно дергает струну,
он знает женщин и любил одну,
что приходилась пионервожатой.
Все узнаваемо. Под нами черный снег.
Он скажет: «Брось-ка ты свое занятье».
Обычный день, февральский человек,
но как пугающе его рукопожатье –
так листья жгут, от смерти устают,
так очи покрасневшие целуют,
так пьют вино, так смотрят и не пьют,
так смотрят в сторону и кошелек воруют.

Эскапизм в слово – при том, что слово остается подлинным – не худший вариант. Это уже и не бегство от реальности, но перекраивание ее на свой лад, попытка из детства, исполненная взрослыми методами. Создание собственного мира и предъявление его не слишком дружественному окружению – безусловно, достойный ответ существованию из более высокого бытийного плана. Модель предъявлена, вопрос ее принятия или не принятия – дело вкуса и собственных познаний реальности.

Олег РОГОВ

Маленький двойной без сахара

Сумерки «Сайгона». – СПб: Zamizdat, 2009. – 832 с.

Et in Arcadia ego. В «оруэлловском», кажется, году. С кем-то заходил, кого-то встретил. Конечно, выпил кофе. Стоя и разочарованно. Легендарный «Сайгон» не оставил никаких впечатлений. Может быть, потому что дело было днем и правильная публика пока не подтянулась. Или внутренний градус еще не был повышен до нужной кондиции, так что душа не распахнулась навстречу многоцветной ауре заведения на углу Невского и Владимирского.

Выход книги совпал с двумя значимыми датами – 45 лет со дня открытия «Сайгона» и 20 лет со дня его закрытия. Мемуарная грусть – вот, не уберегли знаковое место – быстро проходит, если представить себе, что было бы на месте «Сайгона», уцелей он за эти годы. Сердце подсказывает мне, что ничего хорошего. Ведь многие «сайгонцы» переросли тусовку уже в 70-е, а молодняк нулевых туда бы не пошел. Консервация превратила бы «Сайгон» в ненужный музей, а модернизация убила бы десятилетиями настаивавшийся «дух места» Ведь «Сайгон» был живым, и, как у всего живого, у таких мест есть свой срок жизни. Вот и выходит, что «Сайгону» было отмерено 25 лет, что немало.

(Либо ты уходишь от места, либо оно уходит от тебя. Года два назад мы прошли с другом моей юности, поэтом Светланой Покровской, по «местам боевой славы» 80-х. Надо сказать, что в Саратове мест встреч внестатусной творческой публики было немного. Если не брать неизбежные кафешки в непосредственной близости от университетских корпусов, то главным Местом было «Стойло», часть кондитерской с дрянным кофе (заведение ныне утрачено), позже, уже в середине 80-х, появилась неподалеку стеклянная боковая пристройка к магазину «Чай» – там кофе был отменный. Так вот, мы посетили «Арлекино» – излюбленное место посиделок с 1981 по 1994. Вместо честной бедности тогдашней отделки и душевного аскетизма советской кофейни – кабацкий психоделл разноцветных огоньков и убогость обстановки с непритязательным меню и приблизительной «культурой обслуживания». Другое кафе – «Деревяшка» на Железнодорожной – за эти годы почти не изменилось. Те же граненые стаканы, тот же сок из банок. Та же буфетчица, встретившая нас после двадцатилетнего перерыва словами «Давненько вы к нам не заходили». В общем, эпопея Пруста, последний том, обретенное время со всеми его обертонами.)

Сборник, посвященный легендарному ленинградскому кафе и радует, и удручает своей толщиной. Радует по понятной причине – это увлекательная экскурсия по заповедной и уже отсутствующей координате культурного локуса. Причем, имеется в виду и реальная территория, и душевная цель траектории уличного

маршрута («надо, чтобы было куда пойти»), и некая духовная константа – во всяком случае, на ее наличии настаивают многие авторы сборника. Удручает эта книга тем, что читать ее подряд и долгое время невозможно. Хочется раскрывать том на случайной странице и возвращаться к нему через несколько дней. И вот настает время, когда книга начинает распахиваться на уже читанных страницах и выясняется, что одолеть осталось всего листов пятьдесят в разных местах. Действительно, разных.

Треть книги занимает литературная часть: своеобразная антология поэзии и прозы завсегдатаев «Сайгона», так же разбитая на временные отрезки, как и основной корпус книги. Он начинается с рассказа об аристократическом конкуренте «Сайгона», кафе на Малой Садовой, потом блок материалов собственно о «Сайгоне» («Рассвет. Конец 1960-х – начало 1970-х», «Prime Time. 1970-е», «Закат. Середина 1970-х – начало 1980-х»). Завершает книгу свод биографических справок и именной указатель, где рядом с Роальдом Мандельштамом есть и буфетчица Марина, и Макс Грязный Петроградский.

Собственно, так и было. Странноприимный «Сайгон» собирал самую разношерстную публику – метафизических поэтов и графоманов, девок, богемных музыкантов, воров, непризнанных официозом художников, фарцовщиков и философов.

Составитель и редактор книги Юлия Валиева собрала несколько сотен статей и интервью, а число имен в указателе на порядок выше – несколько тысяч. Разумеется, мнения и воспоминания о кафе и тамошней публике у тамошней публики самые разные и неизбежно взаимопротиворечивые. Для кого-то «Сайгон» – прикольная клоака, для кого-то – возможность встретить в одном месте сразу много знакомых. Еще: кузница духовного опыта; рай для стукачей; независимый университет; культурное гетто; срез маргинального слоя. А началось все с установки в кафешке кофейного автомата...

Эта книга – вторая в серии «Творческие объединения Ленинграда», первая вышла три года назад и была посвящена литстудии Дворца пионеров. Тираж маленький – 500 экземпляров, как раз авторам и достанется.

Виктор СЕЛЕЗНЕВ

«Привязанность к истине соответствует естественной простоте вашего дыхания...»

Калмановский Е. С. Мое собранье лиц. Жизнь. Книги и люди. Опыт рассудительной прозы. / Составитель Т. А. Клявина. Предисловие Д. В. Циликина. – СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2009. – 533 с.

Один саратовский историк, готовя вступительную статью для сборника документов о Чернышевском, оснастил и переоснастил ее буквально всеми высказываниями Ульянова-Ленина. Я был редактором сборника и посоветовал автору хотя бы вдвое сократить сей бурный поток изречений основоположника. Историк задумался, а потом сказал: нет уж, лучше все оставим, как есть, а то меня кто-нибудь упрекнет, что я, мол, чего-то не учел, сознательно игнорирую мысли вождя.

Евгений Соломонович Калмановский, наш земляк, завлит саратовского ТЮЗа, московского «Современника», петербургского Александринского театра, выдающийся теоретик литературы, замечательный литературный и театральный критик никогда не жил и не писал по этому перестраховочному принципу. В своих статьях и книгах он ни разу не процитировал ни одного из классиков так называемого марксизма-ленинизма, не защищался загодя от возможных нападок.

Когда в начале 60-х годов его принимали завлитом в «Современник» и, как водится, спросили о его партийности, Калмановский с легкой усмешкой ответил: «Беспартийный», и после короткой паузы добавил: «Но лучше быть беспартийным, чем быть исключенным». Этакие шуточки даже в то либеральное по нашим меркам времечко не очень-то приветствовались.

Дмитрий Циликин, автор толкового предисловия к сборнику критика и историка литературы, изданному спустя 15 лет после выхода

последней книги Калмановского и через 13 лет после его смерти, дивится, как это статьи и книги, «написанные в советскую пору» были «совершенно свободны от всего советского». Да не эти идеологические клише всю жизнь занимали Калмановского, а сложный поиск истины, стремление «во всем дойти до самой сути», как прекрасно сказал его любимый Борис Пастернак.

В 1956 году, когда никто не из критиков не смел не то что молвить словечко доброе о Михаиле Булгакове, но хотя бы упомянуть о писателе, зачисленном в трубадуры «Белой гвардии», Калмановский в рецензии на первый его небольшой сборник, куда вошли лишь две пьесы: «Дни Турбиных» и «Последние дни (А. С. Пушкин)», пророчески сказал о значении его творчества в статье под знаменательным названием – «Возвращение Михаила Булгакова»: «Пора вынести объективное суждение о произведениях писателя, пора восстановить полностью его сложный, но живой и яркий облик. По отношению к М. Булгакову эта задача не трудна. В его книгах нет ни слова лжи против собственных мыслей и взглядов...» («Нева». 1956. №10. С.180). Как и у его любимого писателя, так и в статьях и книгах самого Евгения Соломоновича не отыщешь «ни слова лжи против собственных мыслей и взглядов».

Калмановский – автор замечательных исследований о Сухово-Кобылине, Иване Аксакове, Лескове, Бунине, по-иному он взглянул и на иконописный лик Некрасова и Щедрина. Евгений Соломонович первым высказал – еще в 1976 году! – непредвзятое суждение о Михаиле Никифоровиче Каткове, о том самом публицисте, которого советские ортодоксы неизменно гвоздили как самого реакционного кликушу. Сокращенный вариант очерка был опубликован только в 1995 году в журнале «Новая Россия» (№ 3), полный же текст напечатан в рецензируемой книге: ее продумал и подготовил к изданию сам автор.

В первую часть сборника вошли повесть «Дни и годы. Жизнь Т. Н. Грановского», очерки о И. А. Гончарове, П. В. Шумахере, Д. Н. Мамине-Сибиряке, актере МХТ Артеме, театральном критике Н. Е. Эфросе. А герои второй части книги – учителя автора историк литературы Григорий Александрович Гуковский и драматург Евгений Львович Шварц; Олег Николаевич Ефремов, Эдуард Николаевич Успенский, Анатолий Андреевич Ким, грузинский маг и волшебник Резо Габриадзе.

По словам Калмановского, его учитель Гуковский «как бы проживал жизнь большинства своих героев. Это обстоятельство позволило людям, хорошо его знавшим, находить те или иные его свойства в рассказах то о Ломоносове, то о Карамзине, о Батюшкове, о Гоголе, других писателях. Нет, он не пытался всю жизнь представить свой портрет сквозь чужие силуэты. Но душевная связь возникала и сказывалась» (С. 304).

Так и в книге самого Евгения Соломоновича, читая, скажем, о Грановском, находим столько знакомых бытовых черточек, привычек, наконец, нравственных критериев ее автора. А до чего созвучны ему душевные сомнения и терзания театрального критика Николая Ефимовича Эфроса: «Дикари театральные думают, что критику самая большая радость ругаться. А между тем чистое мученье сидеть в зале, смотреть, смотреть и остаться ничем не тронутым. Или раздражаться. И досадно, и стыдно даже. Но деваться некуда. Критик обречен служить истине»; «А он готов радоваться по самому самомалейшему поводу. Готов верить, поддержать, хлопотать. Оказывать тысячи услуг». (С. 279, 281).

«Возможность совершенства» – так назван впервые публикуемый в сборнике рассказ, который Евгений Соломонович писал в последние годы своей жизни, о драматурге Евгении Львовиче Шварце (примерно седьмая часть всей книги). Это и признание в любви к учителю, и личные воспоминания, и доскональный анализ всех его пьес.

Никому до автора книги не пришло в голову сопоставить сказочника Шварца с Чеховым, так далеким от всяких сказок. А Калмановский доказывает, как эти, казалось бы, так внешне непохожие друг на друга писатели «перекликаются из разных времен», находит у Шварца явственные чеховские отзвуки (С. 374). А у Эдуарда Успенского чутко слышит отзвуки и Чехова, и Шварца (С. 484).

Автор предисловия сожалеет, что известность Калмановского «не вышла за пределы профессиональной литературной и театраль-

ной среды, он не стал, как некоторые его собратья по цеху, общепопулярной фигурой...». Ну, во-первых, чтобы литератора хорошенько узнали, должны, по меньшей мере, регулярно выходить его книги; для подсчета же всех отдельных изданий Калмановского достаточно пальцев одной руки. А во-вторых, и это главное, Евгений Соломонович никогда и не гнался за летучей и переменчивой славой.

В сборнике не указано, где и когда были впервые напечатаны работы Калмановского, вошедшие в книгу, нет списка хотя бы основных его статей и книг. Теоретик и критик такого масштаба, конечно же, заслужил, чтобы была изданы его главные труды по литературе и театру, была опубликована полная библиография его книг, статей, рецензий. Вот бы чем и заняться многочисленным ученикам и почитателям Евгения Соломоновича, а не предаваться безутешным сетованиям на судьбу-злодейку, к чему никогда не питал не малейшего пристрастия сам автор.

Полиграфически книга издана превосходно: отличный переплет, хорошая бумага. Это тоже заслуга составителя сборника Татьяны Алексеевны Клявиной, жены (никак не могу написать – вдовы) Калмановского.

Серьезный читатель прочтет и по достоинству оценит сборник «Мое собранье лиц» – напомню, первую книгу после того, как 13 лет от нас ушел Евгений Соломонович Калмановский. Дай Бог – не последнюю!

Иван КОЗЛОВ

Бесславный ублюдок Джонни Д. в разомкнутых объятиях

«Разомкнутые объятья»

О чем этот фильм, можно было понять еще по титрам с мелькающей рамкой кадрирования – о кино. Несмотря на эксплуатацию столь любимых Педро Альмодоваром приемов массового кино, несмотря откровенно трэшевые сюжетные ходы, – все это есть в «Разомкнутых объятиях», как же иначе. Но это фильм про кино.

В новом фильме есть и слепой режиссер, и пересъемка «Женщин на грани нервного срыва» – раннего фильма Альмодовара. Фильмы вкладываются друг в друга, как матрешки – один из героев ведет документальные съемки о том, как снимается фильм. Более того, согласно извивам сюжета, герои будут вместе только пока идут съемки фильма, следовательно, в идеале он должен быть бесконечным (режиссер влюблен в актрису, а та – любовница продюсера). Наконец, снятый фильм восстанавливают через много лет в режиссерской версии, несмотря на то, что режиссер ослеп.

Конечно, в фильме играет Пенелопа Крус, как и во всех последних фильмах Альмодовара. Играет она актрису, и, в поисках подходящего имиджа, ее гримируют на пробах то под Одри Хепберн, то под Мэрилин Монро. Если режиссер снимает кино про кино, то получается или исповедь, или откровенный стеб. В случае Альмодовара большое кино и низкие жанры взбиты в одном шейкере.

Альмодовар обладает удивительным качеством – он заставляет служить себе темы и приемы, годные лишь для самых тупых сериалов. Как маг, он властвует над всеми этими мелкими бесами, которые преображаются в его фильмах в высокое искусство.

Впрочем, может быть, хитрый испанец лишь возвращает нам доверие к таким древним, но выхолощенным временем темам? Ложное отцовство, роковая страсть, смертельная любовь. Что такое, собственно говоря, мыльная опера, как не написанная в миллионный раз бесталанным писателем античная трагедия?

«Бесславные ублюдки»

Мне повезло, я не знал сюжета, когда смотрел этот фильм Квентина Тарантино. Хотя думал, что знаю! Когда зашла речь о покушении на Гитлера, я расслабился, предполагая еще один «День Шакала». Но действительность оказалась «куда кошмарней». Пожалуй, это самый шокирующий фильм года. И дело тут вовсе не в насилии или ложно понятой политкорректности.

Ради интереса я залез на сайт Кинопоиска и обнаружил, что жанровая принадлежность «Ублюдков» размыта до полной неопределенности: и военный фильм, и драма, и комедия, и боевик. Фишка в том, что эти жанры проявляются постепенно, и по первым минутам невозможно обозначить эту ленту как комедию.

Однако постепенно расстрелы евреев сменяются казнями фашистов, и вот тут начинается полный расколбас. Специфическая музычка губной гармошки за кадром обозначает действо как пародию на вестерн, так что, например, снятие скальпов с эсэсовцев становится как бы оправданным.

Ну да, пусть, соглашается зритель. «Нацисты – не люди», – заявляет герой Брэда Питта. Хорошо, око за око, в конце концов, они ведь евреев тоже людьми не считали, – думает зритель, продолжая «вестись» на поводке у Тарантино. Зритель снова принимает условия игры, хотя то, что он произнес слово «тоже» должно его очень насторожить.

Дальше – больше. Фильм уже хочет быть гротеском. Зритель глотает и пафосного карикатурного Гитлера, и фирменные тарантиновские перестрелки. Но «Ублюдки» к середине фильма вдруг начинают играть на мета-уровне, скатываясь в откровенный и тотальный стеб.

Разумеется, и этот фильм Тарантино – цитатник мирового кинематографа. Да и имена персонажей отсылают к известным (не у нас) актерам первой половины прошлого века или известным киноличностям. Но стихия кино – великой иллюзии – буквально захлестывает вторую половину фильма.

Благо одна из героинь фильма – владелица кинотеатра, с ней ведутся разговоры о кино (кто лучше – Линдер или Чаплин), на самом деле этим обозначается попытка ухаживания. Обсуждается творчество Пабста и Рифеншталь. Один из заброшенных к фашистам англичан – известный кинокритик. В трактире герои долго играют в киноугадайку. Местом для теракта выбран кинотеатр. Демонстрируется фильм о человеке, который сидит в зале. Хозяйка кинотеатра – еврейка-антифашистка – намерена убить собравшихся в нем нацистов. Но перед этим она покажет им небольшой фильм с собственным участием. Способ убийства – поджечь кинотеатр, где хранится 350 фильмов – пленка хорошо горит.

А удавшийся теракт вообще сводит на нет хоть какое-то правдоподобие и отменяет любое сочувствие. Если все «понарошку» – и Гитлер, и Холокост, то стоит ли тратить эмоции, когда тебя весь фильм водят за нос?

«Джонни Д.»

Удивительно, как американцы чтут память своих бандитов. Можно подумать, что мы имеем дело не с банальными уголовниками, а со своего рода национальным достоянием. Детали их биографий столь же пристально изучаются, будто это хронология жизни ученых, политиков и писателей. Наконец, про них снимаются фильмы. Бонни и Клайд, а вот теперь и Диллинджер, вызывают неизменное сочувствие у публики. Похоже, эту публику никогда не грабили. Ну ничего, при таком эмоциональном отклике, у нее все еще впереди.

Фильм Майкла Манна снят по документальному роману Брайана Барро «Враги общества». Наши прокатчики нашли оригинальный способ привлечь в кинотеатры публику, переименовав ленту в «Джонни Д.», сыграв на созвучии имен и первых букв фамилии героя фильма и сыгравшего его роль Джонни Деппа. Изданную к выходу фильма бешеным тиражом книгу Барро тоже переименовали, вернее, присовокупили второе, киношное, название. Разумеется, поместив на обложку кадр из фильма: мрачный Депп в плаще и шляпе с автоматом на фоне небоскребов.

Собственно говоря, Майкл Манн снял вторую «Схватку», – так назывался его известный фильм 1995 года, в котором сошлись в противостоянии и герои, и, что было куда более интереснее, актеры – Роберт Де Ниро и Аль Пачино, доселе никогда не встречавшиеся на экране (во втором «Крестном отце» тоже, так как Де Ниро играл старшего Корлеоне в молодости). Противостояние известного гангстера с имиджем Робина Гуда и гуверовской ищейки составляет и основной стержень ленты «Джонни Д.». Любопытно прогнозировать распределение зрительских симпатий: само собой, интеллектуально они должны быть на стороне полицейского (его играет Кристиан Бейл), сердечно же – на стороне даже не конкретного бандюка, но исполняющего его роль Деппа. Кто победит, мы уже знаем, хотя главный выигрыш достался Гуверу, преобразовавшему бюро расследований в мощную федеральную структуру.

Фильм, как это часто бывает у Манна, жанрово эклектичен – тут и мелодрама, и гангстерский боевик и производственное кино. Эклектика, как это сейчас модно, проникает и в киношную фактуру, операторскую работу, в частности. Воссоздается атмосфера тридцатых с огромными пространствами банков и вокзалов, но вдруг камера начинает дрожать в самых неожиданных местах, забивается в арт-хаусные уголки в поисках непривычных ракурсов, исчезает цвет, превращаясь в кадры хроники. Это, в общем-то, слегка тормошит зрителя, потому как фильм длинный и трудно вынести без малого два с половиной часа довольно предсказуемого зрелища.

Великая депрессия, зловещие и алчные банки, бедный люд, сочувствующий удачливым грабителям этих самых банков. У нас это еще будет? В таком случае, где-то сейчас подрастает юный Диллинджер, который станет здешней поп-звездой, уж пресса-то постарается. Ждем?

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 23 декабря 2009 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.